

Петр Заломов



ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЛЮДИ



Петр Заломов

ЗАПРЕЩЕННЫЕ
ЛЮДИ

Петр Заломов

**ЗАПРЕЩЕННЫЕ
ЛЮДИ**

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ

ВОСПОМИНАНИЯ

РЕЧИ И ПИСЬМА

СТИХОТВОРЕНИЯ

МОСКВА · ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» 1985

Составление, вступительная статья и комментарии
А. Г. НИКИТИНА

Иллюстрации
А. К. ЯЦКЕВИЧА

3 $\frac{4702010200-882}{080(02)-85}$ 882—85

84 Р 7

ЖИЗНЬ И РЕВОЛЮЦИЯ В ЛИТЕРАТУРНОМ НАСЛЕДИИ ПЕТРА ЗАЛОМОВА

«Мою жизнь будут судить тысячи людей,
но это меня не пугает. Я показал ее такой,
какой она была. Мой читатель мне поверит...»

П. А. Заломов.

(Из неопубликованного письма. 1935 год.)

Как родилась эта книга? Чтобы ответить на вопрос, сначала вспомним строку из послания Алексея Максимовича Горького к литературоведу В. А. Десницкому. Объясняя истоки замысла повести «Мать», писатель называл и конкретные документальные источники своего творения. В частности, он сообщал: «...У меня были письма Заломова из ссылки, его литературные опыты...»¹.

Куда же делись потом эти ранние «литературные опыты» революционера? Они пропали якобы еще в 1905 году. По предположению Горького, их или взяли жандармы при обыске его петербургской квартиры, или они были забыты на ней, когда писатель уехал в Америку. Там, за океаном, в 1906 году он и написал первую часть повести «Мать», не имея материалов, «по памяти». Вторая часть повести была завершена уже в Италии зимой 1907 года.

Эти горьковские строки, конечно, читали многие. Заманчиво было все-таки найти исходные подлинные материалы, послужившие А. М. Горькому для создания образов Пелагеи Ниловны, Павла Власова и их товарищей-революционеров. Искали эти материалы в бывших жандармских архивах, на старой петербург-

¹ Горький А. М. Собр. соч. в 30 томах. Т. 30. М., 1956, с. 298.

ской квартире писателя. И все оказалось бесполезным: уникальные материалы как в воду канули...

Широкие литературные поиски последних лет показали, что замечание А. М. Горького было верным лишь по отношению к своему собственному архиву, который теперь хранится в Институте мировой литературы в Москве. Там нет ни ранних заломовских писем к пролетарскому писателю, ни стихотворений и рассказов, ни каких-либо других «литературных опытов» революционера периода его сибирской ссылки и последующих лет.

Заметим при этом, что до недавних пор не был полностью исчерпан другой путь поисков — со стороны самого автора «литературных опытов». Ведь не секрет, что любой автор, отсылая на творческий суд свое произведение, как правило, что-нибудь да оставляет у себя. И это оставленное про запас может быть или черновым вариантом, или копией... Петр Заломов, как выяснилось, не был исключением из этих правил.

Внимательное изучение частично сохранившегося семейного архива Заломовых принесло немало интересных находок. В частности, там удалось обнаружить и впервые прочесть многие стихотворения Петра Заломова. Первые из них были написаны еще весной 1903 года, вскоре после приезда революционера в сибирскую ссылку. Возможно, что именно эти ранние «литературные опыты» Петра Заломова вместе с его другими стихотворениями, рассказами и письмами оказались на петербургской квартире пролетарского писателя. Обнаружена в личном архиве революционера и целая автобиографическая повесть Петра Заломова, написанная позднее, уже по совету А. М. Горького.

Более полувека спустя оригинальная заломовская повесть о детстве и отрочестве была наконец извлечена из семейного архива революционера, литературно обработана мною, снабжена комментариями и впервые издана в 1977 году на родине революционера в городе Горьком. Автобиографическая повесть Петра Заломова — это своеобразный пролог к горьковской «Матери», раскрывающий глубинные, идущие из детства истоки подвига сормовского знаменосца.

В новой книге впервые собраны вместе автобиографическая повесть, воспоминания, речи и письма Петра Заломова. А также стихотворения революционера, большинство которых публикуется здесь впервые. Это история роста самосознания русского рабочего, история страстных поисков цельной и осмысленной жизни.

Это было в самом начале нашего века — в 1902 году. В далекий Лондон, где печаталась тогда газета русских революционеров «Искра», пришло письмо с берегов Волги. Когда послание, написанное между строк невидимыми чернилами, проявили, то прочли слова: «Все только и говорят о том, что произошло в Сормове 1 Мая...» И строчки из России поведали всему миру о том, как на Большой улице Сормова тысячи рабочих открыто выразили протест царскому строю, как громко звучали в тот день революционные песни, как гордо развевались на весеннем ветру красные знамена...

Нижегородский губернатор Унтербергер направил против демонстрантов солдат с винтовками и конных казаков с саблями наголо. «Безоружные рабочие, — говорилось в письме, — должны были уступить. Только один товарищ остался до конца, не выпускающая из рук знамени. «Я не трус и не побегу!» — крикнул он, высоко поднимая знамя, и все могли прочесть на нем грозные слова: «Долой самодержавие! Да здравствует политическая свобода!»

Этим знаменосцем был молодой рабочий Петр Заломов.

Письмо из России, напечатанное в ленинской «Искре», заканчивалось пламенным призывом: «Товарищи! Кто из вас не преклонится перед мужеством этого человека, который один, не боясь солдатских штыков, твердо остался на своем посту! Мы никогда не забудем его примера, товарищи! И пусть все твердо запомнят те слова, что стояли на знамени. Пример его возбудит в нас горячее, неудержимое желание до конца бороться за свободу»¹.

С гордо поднятым красным знаменем вошел Петр Заломов не только в историю великих русских революций, но и в мировую литературу, став прообразом Павла Власова в бессмертной повести Максима Горького «Мать».

Как известно, горьковская повесть заканчивается описанием суда над революционерами. Продолжить повесть, вернее, написать новую книгу, для которой у Алексея Максимовича уже было найдено название — «Сын», не удалось. Так оборвалась биография литературного героя Павла Власова. Но не его прототипа. Жизнь Петра Заломова была долгой, насыщенной многими событиями поистине исторического значения.

Не прошло и трех лет после сурового приговора, вынесенного Петру Заломову царским судом, как грянула первая русская ре-

¹ Искра, 1902, № 21.

волюция. Она позвала в боевой строй сормовского знаменосца. «Я не мог оставаться в Восточной Сибири до Октябрьской революции,— писал Заломов,— не мог примириться с пожизненной ссылкой и лишением всех прав состояния. Я сам вернул себе свободу, сам взял себе право бороться с самодержавием. Я бежал из ссылки... в начале марта 1905 года в Петербург к своим товарищам-большевикам».

В Петербурге Петр Заломов выполнял ответственные поручения. Вместе с двумя товарищами он был послан на поиск оружия, доставленного для русских революционеров из-за границы и тайно спрятанного на дне Финского залива. Тогда же, на финской даче Горького в Куоккале¹, сормович встретился с писателем и земляком, подробно рассказал ему о своей жизни и революционной борьбе. Он давно уже любил Алексея Максимовича за его честную пролетарскую душу, за большое сердце, за вдохновлявшее на борьбу творчество.

Наступила осень бурного пятого года, и Петр Заломов уехал в Москву, где большевики готовили вооруженное восстание рабочих. Сормовскому слесарю поручили изготовление металлических оболочек для «македонок» — ручных бомб. А когда на улицах восставшей Пресни появились первые баррикады, скрывавшийся под чужим именем Заломов занял на них свой боевой пост. Революционер стал организатором боевых рабочих дружин Пресненского и Рогожско-Симоновского районов столицы, руководил на Моховой обороной студентов университета от разъяренной толпы черносотенцев...

Минуло еще двенадцать лет. Весна 1917 года застала Петра Заломова в маленьком городке Судже Курской губернии, где после поражения первой русской революции он жил под надзором полиции. Но теперь уж было действительно — самодержавие долой! — и навсегда. В горячие дни Октябрьской революции Заломов внес в местный ревком письменный проект организации «Суджанского уездного Совета народных комиссаров». В основу его сормович положил структуру Совнаркома, только что созданного тогда в Петрограде во главе с Владимиром Ильичем Лениным.

Вспоминая впоследствии об этом событии, Петр Андреевич рассказывал: «Мой проект был принят, а я сам на уездном съезде рабочих и крестьянских депутатов был избран комис-

¹ Ныне поселок Редино в Ленинградской области.

саром труда». Так революционер-подпольщик, испытавший царские тюрьмы и сибирскую ссылку, стал активным строителем новой жизни.

И, когда наступило время массовой коллективизации сельского хозяйства, потомственный нижегородский металлист Петр Заломов вошел в инициативную семерку, а потом стал членом правления колхоза «Красный Октябрь» — одного из первых в окрестностях Суджи. Как и в годы революции, Петр Андреевич готов был всего себя отдать важному делу. В письме к ученикам Большесолдатской школы крестьянской молодежи он писал в 1931 году: «Бьюсь за... выполнение хлебозаготовок на 100 процентов и готов отдать свою жизнь за каждый лишний центнер хлеба, который так необходим государству для строительства социализма».

Большой, знаменательный путь от романтика революции до трезвого мудрого практика социалистического переустройства жизни суждено было пройти Петру Заломову.

Двадцатые и тридцатые годы стали для Петра Андреевича периодом глубокого осмысления пути, пройденного им и его товарищами. Великий Октябрь был венцом самоотверженной борьбы не одного поколения российских революционеров, в то же время он положил начало стремительному созиданию новой жизни. Недавнее героическое прошлое становилось историей. Петру Андреевичу все чаще и чаще приходилось рассказывать молодежи о годах своей юности: его с волнением слушали и в деревенской избе-читальне, и в фабричном клубе, и в школе всех ступеней Заломова спрашивали о Сормовской демонстрации и Максиме Горьком, о матери Аанне Кирилловне — прообразе Пелагеи Ниловны, просили рассказать — особенно любознательные школьники — и о его детстве.

Но разве обо всем расскажешь?

Совет подал Алексей Максимович:

— Постарайтесь сами описать свою жизнь...

— Легко сказать — постарайтесь! Тяжелым, загрубевшим от работы рукам, приученным сначала держать молот, а потом и серп, перо было непривычно. Слова выходили нескладные, корявые. И это особенно становилось заметным, когда Петр Андреевич брал со стола и в который раз перечитывал страницы знаменитой горьковской повести. Не сразу, но вполне осознанное решение написать о своей жизни наконец пришло к Петру Андреевичу.

Вот что говорилось об этом важном решении в письме Петра Заломова к старшей сестре Елизавете:

«Алѣксѣй Максимович Горькій заставил меня описывать всю мою жизнь, начиная с детства. Я тогда смеялся. Мне казалось это ненужным, казалось бессмысленным. Но теперь я понял, что моя жизнь может научить других тому, как надо жить, и она потому может научить, что я являюсь обыкновенным человеком, каких миллионы, и мое преимущество только в том, что я ясно понял самую суть учения марксизма-ленинизма».

Широко известны воспоминания Петра Заломова, посвященные десятилетнему периоду его жизни,— с начала работы в 1892 году на механическом заводе Курбатова в Нижнем Новгороде и кончая судом за участие в Сормовской демонстрации 1902 года. Эти воспоминания печатались уже четыре раза. Многие письма и другие документы, относящиеся к этому десятилетию и последующим годам жизни революционера, опубликованы в альманахах, журналах, центральных и местных газетах.

Зато совершенно неизвестной оставалась до недавних пор наиболее ранняя часть биографии Петра Заломова, охватывающая значительный отрезок времени: со дня рождения до пятнадцатилетнего возраста, до поступления на завод учеником слесаря. А ведь это был как раз тот период, который, по мнению самого Петра Андреевича, подготовил всю дальнейшую его судьбу, во многом предопределив путь в революцию.

Получилось так потому, что свое детство и отрочество Петр Андреевич решил описать не в форме воспоминаний, а в жанре автобиографической повести. Чем был продиктован этот выбор, значительно осложнивший задачу и замедливший ее решение, неизвестно. Можно только предположить, что Заломов увидел в жанре художественного повествования более широкие возможности для многогранного отображения жизни, нежели в рамках строго документальных исторических мемуаров.

Так или иначе, но первые наброски этой повести были сделаны Петром Андреевичем еще в двадцатые годы, задолго до начала работы над воспоминаниями, которая проходила уже в тридцатые годы. Сохранившиеся письма революционера, как уже опубликованные, так и никому ранее не известные, позволили впервые заглянуть в историю создания повести, началом работы над которой следует считать 1924 год. Именно в этом году Петр Андреевич, которому исполнилось сорок семь лет, после долгого перерыва снова побывал в Москве, встретился там со старыми друзьями-нижегородцами.

Среди них был Иван Павлович Ладыжников, которого Заломов очень любил и встреча с которым была особенно радостной.

Бывший пермский фельдшер Ладыжников познакомился с Петром Андреевичем в Нижнем в 1898 году. Тогда же он дал ему подпольную явку в Перми, где Заломов, бежавший от преследования нижегородской полиции, проработал год¹. Сам Ладыжников оказался в городе на Волге по той же причине: в Перми тогда над ним нависла угроза ареста.

Во время подготовок к Сормовской политической демонстрации Иван Павлович был уже членом Нижегородского комитета Российской социал-демократической рабочей партии. Это у него Анна Кирилловна Заломова взяла и привезла в Сормово красное знамя, которое нес ее сын во главе демонстрантов. Позднее, в 1907 году, Ладыжников организовал в Берлине издание горьковской повести «Мать» на русском и немецком языках.

Московская встреча с Ладыжниковым, который был другом Заломова и Горького (писатель жил в то время за границей), растревожила сердце сормовского знаменосца. Теперь уже не только Алексей Максимович, но и другие товарищи говорили Заломову, что ему надо описать свою жизнь, «начиная с детства». Специально для этой цели Ладыжников подарил Петру Андреевичу стопку линованой бумаги, сказав на прощание:

— Садитесь-ка писать! Немедленно!..

Но, возвратившись в Суджу, Петр Андреевич не сразу принялся за работу. Только ближе к осени, когда ненастные дни стали короче, а вечера длиннее, разложил он перед собой чистые листы бумаги, и память перенесла его в Нижний Новгород, в далекие годы детства.

Строки рождались мучительно медленно. Иногда за весь вечер удавалось написать всего полстранички. Но Петр Андреевич не откладывал перо. Исправлял написанное, дополнял вставками, а в письмах к матери и старшим сестрам задавал все новые и новые вопросы о годах своего детства, просил ускорить ответы, требовал уточнений. Заломов будто переживал свою жизнь заново; пристально всматривался в нее глазами взрослого, умудренного богатым опытом человека.

«Произведение Горького,— подчеркивал Заломов в письмах к школьникам,— не является простым пересказом моей жизни и жизни моей матери, и Горький взял две эти жизни лишь как канву для своего художественного произведения. Действительная

¹ Этой ранее неизвестной странице жизни и деятельности П. А. Заломова посвящена книга: Никитин А. Г. Уральская явка. Поиски, находки, встречи. Пермь, 1976. (Прим. ред.).

жизнь была гораздо более сурова и менее красочна, блестяща». И конечно же, куда более сложной, противоречивой.

С большим напряжением, чуть ли не каждый день писал Петр Андреевич первую и единственную в своей жизни повесть. Этой работе он отдавал все свои душевные силы. Так Заломов писал до середины 1925 года, а потом надолго отложил бумагу в сторону — одолевали болезни, заботы о хлебе насущном. Работа над повестью продвигалась очень и очень медленно.

Понадобилось целых десять лет, чтобы в 1934 году Ладыжников узнал наконец о судьбе своего подарка. Цитируем строки из неопубликованного письма Петра Андреевича: «Помните стопку бумаги, которую вы мне подарили в 1924 году? Так вот, исписал уже 72 листа. Рассказал о своей жизни с двух до пятнадцати лет»¹. Это значит, что повесть к тому времени вчерне уже была набросана.

В том же 1934 году, снова ненадолго оказавшись в Москве, Петр Андреевич Заломов встретился с Алексеем Максимовичем Горьким, вернувшимся из Италии. Встреча произошла в четыре часа дня 19 июня в доме писателя на Малой Никитской улице. Заломов вспоминал:

«Я подошел к Алексею Максимовичу. Мы обнялись и несколько раз крепко поцеловались. На глазах у Алексея Максимовича показались слезы. Я чувствовал, что и мои глаза наполняются слезами. А. М. Горький быстро заходил по комнате и, потирая руки, радостно повторял: «Встретились старички, встретились старички». Подали обед, Алексей Максимович обедать не стал. Потом за чаем мы сидели рядом и беседовали...»².

Как и при встрече в 1905 году в Куоккале, когда Горький еще только собирал материал для повести «Мать», Заломов подробно рассказывал писателю о себе, о напряженной работе в колхозе «Красный Октябрь», где он в тридцатые годы был членом правления.

Не забыл Петр Андреевич отметить и такую деталь: «В беседе с Горьким я, по старой привычке, все сбивался на «ты» и наконец сказал: «Ты извини меня, Алексей Максимович, что я все сбиваюсь на «ты». Горький ответил мне: «Это хорошо. Так и надо. Это очень хорошо. Так и надо»³.

¹ Архив А. М. Горького в Москве. ПТЛ, 8—11—42.

² Лит. газ., 1937, № 51, 20 авг.

³ Там же.

В тот день Москва торжественно чествовала героев-челюскинцев, и Горький с Заломовым отправились на Красную площадь. Петр Андреевич занял место на одной из трибун у Кремлевской стены, а Алексей Максимович поднялся с челюскинцами на трибуну Мавзолея Ленина. И старый революционер видел на лицах собравшихся людей счастье победы.

Эта встреча с писателем, оказавшаяся последней, запомнилась навсегда. Под ее впечатлением Заломов писал 26 октября 1934 года видному революционеру, первому управляющему делами Совнаркома, а в те годы директору Литературного музея в Москве Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу:

«Если встретитесь с Алексеем Максимовичем, то передайте ему мой сердечный привет и скажите, что его наказ я выполняю и свои воспоминания пишу. Передайте ему также, что у меня есть воспоминания с двух до пятнадцати лет, около 70 листов писчей бумаги. (Имеется в виду автобиографическая повесть о детстве.— А. Н.). Я писал это просто для себя в 1924 году. Если это будет нужно, то я просмотрю, подправлю и пришлю»¹.

Алексей Максимович Горький, как видно из опубликованных и неопубликованных архивных материалов, знал о работе Петра Андреевича и над повестью и над воспоминаниями. К тому же Бонч-Бруевич и Ладыжников были давними друзьями Горького, следовательно, можно предположить, что все, о чем сообщал Заломов в письмах к ним, было известно и писателю. Мало того, удалось обнаружить ответное письмо Бонч-Бруевича от 5 декабря 1934 года, в котором он сообщил Заломову: «Алексее Максимовичу все ваши приветы передал...»².

Как теперь установлено, Горький перед смертью успел прочесть первые 113 рукописных страниц заломовской повести и оставил в ней свою закладку. Ладыжникову, навещившему больного Алексея Максимовича, писатель говорил о революционере: «Вполне владеет пером и перо хорошее»³. Пролетарский писатель хотел сам отредактировать и издать автобиографическую повесть Заломова. Наверное, Горький увидел в ней пролог к своей «Матери». Но смерть помешала писателю осуществить задуманное.

Работа Петра Андреевича над повестью и воспоминаниями продолжалась. Шла она, как и прежде, очень медленно. Даже в

¹ Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ), ф. 612, оп. 1, д. 1075, л. 3 об.

² ЦГАЛИ, ф. 612, оп. 1, д. 1075, л. 6 об.

³ Горьковский рабочий, 1937, № 99.

1939 году, спустя три года после смерти Горького, заломовская повесть не была еще завершена. В том же году в письме к старшей сестре Елизавете Петр Заломов писал: «Я получаю письма от школьников, которые, изучая повесть Горького «Мать», интересуются моей жизнью, задают мне различные вопросы. Несомненно, что эти школьники с интересом прочитают мое «Детство», когда я его закончу и когда его напечатают».

Иначе говоря, Петр Андреевич писал повесть чуть ли не до конца своей жизни. Последний раз он возвращался к своему труду уже в пятидесятые годы, живя в Москве, тогда же продолжал собирать различного рода материалы автобиографического характера. Но заломовская мечта увидеть повесть о своем детстве напечатанной при его жизни не осуществилась. Помешала этому прежде всего незавершенность повести, несовершенство языка и стиля некоторых ее частей, хотя многие места в повествовании написаны по-настоящему образно, эмоционально.

Прошло еще более двух десятилетий, прежде чем мне удалось литературно обработать повесть. С помощью дочерей революционера Галины Петровны и Елены Петровны Заломовых на основании сохранившихся документов семейного архива, а также государственных архивов страны были уточнены некоторые места в тексте повествования, устранены явные опуски и ошибки, сделаны необходимые сокращения и комментарии. Подход же автора к явлениям жизни, их оценка, наконец, стилевые особенности повести оставлены в основном без изменений.

В публикуемой здесь автобиографической повести Петра Заломова рассказывается о годах детства и отрочества мальчика из многодетной рабочей семьи, проведенных сначала в доме сердобольных родственников, а затем в стенах вдовьего сиротского дома, где он вместе с матерью, маленьким братом и сестрами оказался после смерти кормильца-отца. Значительное место в повествовании отведено описанию быта городской бедноты конца прошлого века, остававшейся нередко, как и главный герой повести Петька, без хлеба и крова.

Эта среда не только ожесточала сердца детей, но и закаляла их характеры, раньше обычного выталкивая подростков в мир реальной, ничем не приукрашенной жизни. Из уличных ребят, окружавших Петьку в детстве, выходили разные люди: одни становились босяками, ворами и пьяницами, опускаясь на самое дно жизни; другие правдами и неправдами добивались до мещанского

болота и пропадали в нем. Третьи становились пролетариями и бунтарями, искали смысл жизни и находили его в революционной борьбе, в высоком призвании посвятить себя рождению новой исторической эпохи, достойной человека. К числу таких людей относится Петр Заломов.

Социальная и биографическая закономерность избранного пути особенно ясной стала революционеру, когда он взялся за перо, чтобы рассказать о своей жизни: «Я просто записывал то, что было, но когда прочитал написанное, то мне стало видно, как развивалась моя личность, как складывался, формировался мой характер, и мне стало ясно, что иного пути, чем пройденный мной, у меня не могло быть: сама жизнь толкала меня на определенный путь, который привел меня к борьбе за коммунистическое общество».

Отсюда двоякое значение заломовской повести: как социального документа эпохи и как истории рождения личности.

Выступая с речью на суде в 1902 году, Петр Заломов прежде всего старался ответить на вопрос, почему он «пришел на демонстрацию». В этой речи, «желая объяснить все причины», заставившие его избрать революционный путь борьбы против существовавшего строя, сормович приводит примеры из жизни своей семьи, столь типичные для многих рабочих семей,— примеры нищеты, рабства, угнетения.

— Семья у нас была большая,— говорил Петр Андреевич,— кроме меня, было семеро детей, был и дедушка. На него смотрели как на обузу, как на лишний рот, над ним смеялись, издевались.

Старший председатель судебной палаты А. Н. Попов тут же прервал Заломова:

— Не вдавайтесь в лишние подробности, ближе к делу.

На это Заломов твердо ответил:

— Все это относится к делу.

Справившись с охватившим его волнением, он продолжал:

— Когда дедушка замечал смех над ним, он сердился. Я его сильно любил и жалел. Отец тоже любил дедушку, но вследствие нужды на него в семье смотрели, как на обременение. Отец его не укорял. Часто ведь бывает, что в тех семьях, где не хватает средств, стариков ругают. Мне кажется, лучше бы им умереть. Мой отец зарабатывал в месяц рублей 50. Их было недостаточно, приходилось бедствовать, даже ссорились из-за куска хлеба...¹

¹ Стенограмма судебного заседания хранится в Центральном государственном архиве Москвы, ф. 131, оп. 66, д. 93, л. 3.

Автобиографическая повесть Петра Заломова одновременно является и своего рода развернутым комментарием к его знаменитой речи на суде. Давая оценку речи Заломова и речам его осужденных товарищей, В. И. Ленин писал в газете «Искра» в 1902 году: «Эти речи — превосходный, от самих глубин пролетариата исходящий комментарий к событиям...» И дальше Ленин писал: «Замечательно в этих речах простое, доподлинно-точное изображение того, как совершается переход от самых повседневных, десятками и сотнями миллионов повторяющихся фактов «угнетения, нищеты, рабства, унижения, эксплуатации» рабочих в современном обществе к пробуждению их сознания, к росту их «возмущения», к революционному проявлению этого возмущения (я поставил в кавычки те выражения, которые мне пришлось употребить для характеристики речей нижегородских рабочих, ибо это — те самые знаменитые слова Маркса из последних страниц первого тома «Капитала», которые вызвали со стороны «критиков», оппортунистов, ревизионистов и т. п. столько шумных и неудачных попыток опровержения и изобличения соц.-дем. в том, что они говорят неправду»¹.

Доподлинно точным, глубоко правдивым изображением жизни пролетарских низов — вот чем привлекает, чем ценна в первую очередь заломовская повесть. Судьба Петьки, изображенная в ней, поможет глубже, полнее осмыслить и жизненный путь Петра Заломова и духовный облик Павла Власова. В этом отношении, мы думаем, публикуемая повесть в равной мере будет интересна и историкам и литературоведам — исследователям обширного горьковского наследия, и, конечно, тем, кому повесть адресована непосредственно, — школьникам, молодежи. Эта повесть как историческая эстафета, полвека спустя переданная от революционера — сегодняшнему поколению.

Заломовская повесть о детстве и отрочестве — произведение многоплановое. Но почти во всех главах повести прямо или косвенно мы видим главного героя Петьку в ситуациях, лежащих в определенной социальной плоскости. Мальчик легко сходится с сыновьями кучера или типографского рабочего, но с барчуками братьями Лапшиновыми сближается не сразу и то на очень короткое время после того, как их отец разоряется и дворянские отпрыски становятся равными среди уличных мальчишек.

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 7, с. 63.

С толстовским пересказом знаменитой эзоповской басни о тетере и лисице Петька знакомится по книге для чтения. Но его воображение невольно рисует рядом с аллегорическими героями басни реальные лица: полицейского с саблей на боку и лавочника Курепина. Петьку трогает не утонченная дипломатия лесных обитателей, а совсем другие жизненные ситуации — конкретные будничные сцены городского быта, которые привычно встают перед его глазами:

С глубоким социальным подтекстом рисует Заломов две встречи Петьки, в котором пробуждается юноша: с дочерью фельдшерицы, беззаботной Зочкой, напоминающей красивую куклку, и дочерью бедной вдовы, чахоточной Груней, которая умирает, так и не встретив в жизни ни любви, ни ласки, ни простого человеческого сочувствия.

В этих резко контрастных сценах и слабость автора и его сила проявляются чрезвычайно отчетливо. Несмотря на очарованные Зочкой, он ничего не может сказать о ее внутреннем мире, в который не может проникнуть и который не может понять. Девочка-куклка так и остается спрятавшейся за своей маской привлекательности, за которой угадывается пустота и никчемность.

Совсем другой представлена Груня. Она отнюдь не нравится Петьке. Но через противоречия отношения к ней приходит к Петьке после смерти девушки понимание одинокой, затравленной нищенской жизнью судьбы, стремящейся к своему маленькому, тихому счастью. И хотя не созвучны эти стремления настрою бунтарской Петькиной души, он не только понимает Груню, но и глубоко сочувствует ей.

В заломовской повести мы почти не встретим красочных описаний природы, которыми так изобилуют известные книги о детстве. Причина этого, думается, в социальной направленности повести. Ее героя больше занимали другие вопросы: как дождаться обеда или ужина? Природа вольно или невольно отходила на задний план. Зато какое внимание к людям! И к сверстникам и к взрослым. Портреты их даны выпукло, ярко, живо.

Гнетущая душу атмосфера церковноприходской школы, неотделимая от духовного насилия церкви, казалось, должна была притупить здравый разум Петьки и его товарищей, убить волю. Но этого не случилось. И в мрачном подвале вдовьего дома, где уживались смелость и страх, справедливость и ханжество, где надзиратель неустанно отравлял радость детей бесконечными нравочениями, отверженные, казалось бы, всем миром дети остава-

лись живыми, озорными и непокорными. Они искали справедливости, которая восхищала и сплачивала их, во имя которой они защищались как могли и от розог матери, и от линейки педагога, и от самого господа бога.

Следует особо подчеркнуть, что повесть несет в себе большой атеистический заряд. Церковь и религия, предстающие сначала на страницах книги как, казалось бы, неизбежные атрибуты забытого нищего мира, постепенно переоцениваются, а потом целиком отрицаются главным героем повести. Мы видим первоклассника Петьку на первой исповеди в церкви, а в эпилоге повествования узнаем, что рабочий, к которому пятнадцатилетний Петька определен слесарным учеником, считает несовместимыми веру в бога и революционную борьбу пролетариев за свои права.

Постепенно, исподволь раскрывался в характере Петьки буйтарский дух. Насилие воспитывало презрение к насилию, несправедливость — к несправедливости. Суровым, не всегда разумным было воспитание мальчишки.

«Чумазой педагогикой» называл К. И. Чуковский жизнь, изображенную А. М. Горьким в повести «Детство», и тут же подчеркивал, что от его страшной повести о страшном словно свет идет. И если Чуковский в сопротивлении Алеша Пешкова окружающему укладу жизни видел истоки горьковской «романтики бури и бунта»¹, то в заломовской повести мы видим в характере Петьки одного из тех, кто поднимает эту бурю.

Многие страницы заломовской повести посвящены Анне Кирилловне. Еще не той Пелагее Ниловне, которую мы встречаем на страницах горьковской «Матери», а многодетной вдове, зажатой тисками безысходного горя и нищеты. Но и в ней, в этом неспешно развивающемся, поначалу традиционном для своей среды характере мы видим первые, хотя еще и робкие шаги к той Матери, которой будет восхищаться весь мир.

Нижегородская революционерка Софья Павловна Невзорова в 1935 году в своем письме к Заломову делилась мыслями: «Между прочим я задаю себе вопрос, как могла вырасти из Вашей матери — скромной и запуганной женщины — крепкая и стойкая революционерка? Конечно, тут сказались Ваше влияние, это — так. Но, кроме этого, несомненно, в глубине природы этой женщины было заложено истинное понятие правды и справедливости,

¹ См.: Горький А. М. Соч., т. 15, М., 1972, с. 581.

которое передалось и всем ее детям. В общем получилась удивительная семья»¹.

Этот процесс был не только длительным, но и сложным. Он, как верно подметила Невзорова, был к тому же взаимным. В одном из своих посланий к Софье Павловне Заломов писал: «Мать меня родила, но я сделал больше. Я создал ее как мать революционера, а это не всем детям своих матерей удается... Она была самым трудным материалом, который когда-либо попадал в мои руки»². Немного позднее, уже в своих воспоминаниях, Заломов, говоря об Анне Кирилловне, одновременно раскрывал и средства воздействия на ее сознание:

«Мать встала на нашу сторону только после длительной, упорной и непрерывной борьбы со мной и особенно с самой собой. Я говорил ей, что за счастье трудового человечества бились и бьются только самые лучшие люди, которые ради этой борьбы не жалеют своей жизни, и что я хочу быть в числе этих людей, и смерть и муки мне не страшны. Мать наконец поняла меня, и у нее самой явилось желание помогать нам в борьбе, что она и делала впоследствии по мере своих сил...»

Петр Заломов, как человек, готовящийся решительно перестраивать жизнь, должен был в одном случае преодолеть мораль господ, а в другом — мораль рабов: Быть смелым в порывах к свободе, к «выпрямлению жизни» коллективными усилиями людей честного труда. Своего рода культ слова «мы», как выражение коллективизма борцов за новую жизнь, становится логичным явлением и для автора и для героя повествования.

Заключительная глава повести знакомит с первыми днями работы Петьки на заводе, куда мать устроила его слесарным учеником. Уже в этой небольшой главе, представляющей собой скорее эпилог повести, мы видим, что Петька пойдет не тем путем, по которому шел его отец. Порукой тому — знакомство с подпольщиком Степаньчем, лицом реальным, сыгравшим огромную роль в судьбе Петра Заломова.

В личном архиве семьи Заломовых сохранились подлинные письма Петра Андреевича к слесарю Якову Степановичу Пятибратову, написанные спустя много лет после их первой встречи³.

¹ Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина: ф. 369—272—30, л. 14.

² ЦГАЛИ, ф. 140, оп. 3, д. 14, л. 242 об.

³ Подробнее об этих письмах см. во втором разделе настоящей статьи.

В одном из этих писем, относящихся к осени 1924 года, когда Заломов как раз начинал работать над повестью, есть очень важное для понимания их отношений признание:

«Расскажу тебе одну смешную историю из своей юности. Когда осенью 1892 года ты предложил мне вступить в подпольную марксистскую организацию, я тебе ответил, что не могу сразу решить такого вопроса и что мне надо подумать. Так вот, главной причиной моей нерешительности была боязнь, что я не смогу выдержать пытки. И я делал опыты.

Несколько раз я разбивал себе руку ручником (молотком.— А. Н.) во время работы, и она распухла у меня как подушка. Потом один раз, когда я внизу притирал шток к поршню с Федоровым, я, пролезая под железной рукояткой хомута, как бы нечаянно выпрямился под ней и ударился об нее головой так, что упал на пол, а когда встал, то все предметы вокруг меня танцевали. После этого опыта я признал себя «годным» и заявил тебе о своем желании вступить в организацию. Я стал считать себя полноправным членом Группы освобождения труда, но временами на меня находили сомнения, и я снова проверял себя.

А помнишь ли ты случай, когда схватил меня за волосы и, сжимая свою железную руку, старался выдрать у меня из головы как можно больше волос? Но ты все же не выдавил из меня ни звука. Теперь я с удовольствием вспоминаю все это.

Конечно, все эти испытания были по-детски наивны и смешны. О них я боялся заикнуться из опасения быть жестоко высмеянным. Но одно несомненно: если бы я не смог выдержать тех детских испытаний, то не смог бы выдержать и всего того, что пришлось перенести впоследствии. И я помнил, дорогой Яша, о своем первом учителе, который казался мне *скованным из цельного куска железа, и старался быть достойным его*¹.

Петр Заломов, определяя меру влияния Пятибратова на свое мировоззрение, подчеркивал: «Начало всему — мать, потом — Яков Пятибратов...»². Своего первого учителя пролетарской борьбы Заломов ставил в один ряд с матерью Анной Кирилловной, отмечая этим ту важную роль, которую сыграл Пятибратов в его революционной судьбе.

Повесть Петра Заломова дополнит собой ту поистине огромную литературу о детстве, созданную как великими писателями, так и людьми, впервые взявшимися за перо. К числу последних

¹ Личный архив Г. П. и Е. П. Заломовых.

² ЦГАЛИ, ф. 140, оп. 3, д. 14, л. 247.

отнес себя автор повести о Петьке. Он исходил из сформулированного им принципа: «Всякое литературное произведение... можно исправить, прожитой жизни исправить нельзя»¹. Хотя заломовская повесть и является художественным произведением, документальное ядро ее содержания составляет реальная жизнь самого автора и его товарищей «Мою жизнь,— писал Заломов,— будут судить тысячи людей, но это меня не пугает. Я показал ее такой, какой она была. Мой читатель мне поверит...»².

Автобиографическая повесть Петра Заломова «Петька из вдовьего дома» — это своеобразный документальный пролог к горьковской «Матери», написанный одним из ее главных героев. И одновременно это необычная литературная находка, которая стала книгой. Книгой неожиданной и интересной для миллионов читателей.

II

Если автобиографическую повесть Петра Заломова условно можно считать прологом к горьковской «Матери», то воспоминания и письма революционера — комментарием или послесловием. Очень широк названный в них круг имен, который так или иначе оказывается связан с Заломовыми. Сестры Невзоровы, нижегородцы Ванеев и Сильвин, участники ленинского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» в Петербурге — В. И. Ленин; Ладыжников, Десницкий, О. И. Чачина — А. М. Горький; О. И. Чачина — Н. К. Крупская — А. И. и Е. И. Пискуновы — и опять В. И. Ленин, «Искра»; В. М. Загорский, Я. М. Свердлов, Д. А. Павлов, Г. М. Кржижановский. Можно назвать не названных в воспоминаниях Л. Б. Красина и других в Петербурге, В. Л. Шанцера (Марата) и Н. Э. Баумана в Москве. И простой перечень этих имен лучше длинных доказательств показывает, насколько действительно в центре больших событий русской общественной жизни оказалась простая рабочая семья Заломовых, насколько исторически значительна, то есть действительно народна, была ее деятельность³.

Надо предостеречь читателя, отмечал горьковский писатель Н. Г. Бирюков, от слишком упрощенного восприятия некоторых

¹ Архив А. М. Горького в Москве. ПТЛ, 18—15—1. (Из неопубликованного письма П. А. Заломова иркутским школьникам, 1935 г.).

² ЦГАЛИ, ф. 140, оп. 3, д. 14, л. 242 об.

³ См. Предисловие к сборнику воспоминаний и документов: Семья Заломовых, М., 1956, с. 5.

мест в воспоминаниях. Может, например, случиться, что из рассказа П. А. Заломова о развитии социал-демократической работы в Сормове иные читатели вынесут ложное впечатление, будто до его появления в Сормове такая работа там не велась и вообще партийной организации не существовало. Меньше всего тут надо винить самого рассказчика. Это объясняется особенностями того далекого уже от нас времени, когда по самим условиям работы — особой конспиративности, принципам организационного построения — далеко не все совершающееся оказывалось известно даже всем членам «центрального десятка», то есть руководства. Еще менее известно было прошлое организации, зачастую даже довольно близкое по времени.

Сама руководящая роль П. А. Заломова в Сормове, центральное место его в сормовском «искровском» подполье начала нашего века несомненны — они достаточно авторитетно подтверждены документами. Но успешный разворот партийной работы в Сормове в описываемое автором время, рост влияния партийной организации на рабочие массы (как, впрочем, и само выдвижение Заломова на руководящую роль в организации) не явились из ниоткуда, они — дело зрелости движения, они подготовлены. Социал-демократическая работа в Сормове непрерывно велась с начала девяностых годов прошлого века¹.

Воспоминания, пожалуй, наиболее известная часть литературного наследия Петра Заломова, поскольку печатались уже несколько раз. В новой публикации они дополнены ранее пропущенными главами, внесен ряд уточнений².

Но зато многие письма Петра Заломова все еще остаются неопубликованными. Они рассыпаны по разным архивам и библиотекам, хранятся среди семейных собраний документов родственников сормовского революционера или его боевых товарищей — в прошлом «запрещенных людей».

Однажды, работая в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР в Москве, я обнаружил копию письма, под которым стояла подпись директора Литературного музея Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича — видного революционера, первого управляющего делами Совнаркома:

«Петру Андреевичу Заломову. Дорогой товарищ, пишу Вам это письмо для того, чтобы сообщить Вам о существовании на-

¹ Семья Заломовых, с. 5.

² См. комментарий.

шего музея. У меня теплится надежда, что, может быть, у Вас сохранились письма А. М. Горького, Л. Б. Красина, Г. М. Кржижановского и других наших товарищей, которые с Вами находились и находятся в переписке. Мы все Вас очень чтим и любим и как Заломова, и как Павла Власова»¹.

Это письмо было написано 20 октября 1934 года и в тот же день отправлено в город Суджу Курской области, где с конца 1906 до середины 1941 года жил Петр Андреевич Заломов.

Собственноручный ответ Заломова на письмо В. Д. Бонч-Бруевича хранится в том же самом архивном деле:

«Дорогой товарищ! Леонида Борисовича Красина я считал и считаю крупнейшим революционером, он привлекал меня к разным делам. Встречался я с ним на даче Алексея Максимовича Горького в Куоккале, в Москве у него же на Моховой, в Перловке на даче М. С. Кедрова² и на его собственной даче в Мытищах. Последнее, что я выполнил по его поручению, это изготовил оболочки для македонских бомб перед Московским вооруженным восстанием.

У Алексея Максимовича Горького я прожил на даче в Куоккале, в два срока, около десяти дней. Виделся с ним в последний раз 19 июня 1934 года в Москве.

Весной 1905 года (в марте) я получил в Киеве, благодаря Глебу Максимилиановичу Кржижановскому, через его жену Зинаиду Павловну, копию паспортной книжки на имя Антона Федоровича Волоховича с женой Юлией Ануфриевной. Познакомившись лично с Глебом Максимилиановичем в Москве только в 1923 году, в начале декабря, прожил у него на Садовнической улице недели полторы или две, тоже в два срока.

Но ни одного письма от этих трех крупнейших революционеров я не получал».

Откуда же тогда у В. Д. Бонч-Бруевича возникло предположение о возможной переписке? Какой-то повод должен был быть все-таки для такого письма. Но какой?

Петр Андреевич в конце своего послания обронил несколько слов в адрес одной газетной статьи: «Я мучительно краснел, когда прочитал статью Орлова в «Известиях», что Л. В. Красин до самой смерти поддерживал со мной дружбу и т. д.»³.

¹ Переписка В. Д. Бонч-Бруевича с П. А. Заломовым хранится в ЦГАЛИ, ф. 612, оп. 1, д. 1075, л. 1—3, 6 об., 11 об., 24.

² М. С. Кедров, как и Л. В. Красин, участвовал в организации снабжения боевых дружин оружием.

³ См. «Известия», 1934, 17 окт.

Однако эта статья сослужила в конце концов добрую службу. Заломов сообщил директору Литмузея: «У меня есть письма Якова Степановича Пятибрatова, который познакомил меня с идеями революционного марксизма в 1892 году, в конце осени».

Речь шла о письмах бывшего слесаря механического завода Курбатова в Нижнем Новгороде. Это к нему в конце августа 1892 года был определен учеником пятнадцатилетний Петр Заломов. Пятибрatов оказался учителем не только слесарного дела, но и революционной борьбы. Яков Степанович играл видную роль в первых марксистских кружках нижегородцев. Летом 1896 года он в числе многих участников революционного подполья был арестован и выслан на Урал.

— Как отнесся В. Д. Бонч-Бруевич к сообщению Заломова о письмах Пятибрatова?

Переворачиваю несколько страниц архивного дела и вижу машинописную копию еще одного письма В. Д. Бонч-Бруевича к своему адресату от 5 декабря 1934 года:

«Письма Якова Степановича, конечно, нам интересны, а также письма других товарищей. Их, несомненно, надо сохранить, потому и прошу их прислать нам... Ведь все мы перейдем в минеральное царство, и после нас будет важно каждое письмо для исследователей нашего времени. Переписка с рядовыми рабочими — самая жизненная, она отражает ту действительность, которая нас окружает».

Исходя из содержания этих документов, можно было предположить, что переписка Петра Заломова с Яковом Пятибрatовым должна храниться в архиве или, в крайнем случае, в рукописном отделе Литературного музея в Москве. Но ни в музее, рукописные фонды которого в 1941 году были переданы в ЦГАЛИ, ни в самом архиве такой переписки не оказалось. Что могло с ней случиться? Затерялась? А может быть, оба адресата решили не расставаться со своими письмами и не отсылали их в музей?

Нить поиска, казалось бы, оборвалась. Обратился за помощью к Галине Петровне Заломовой, старшей дочери революционера. Она сообщила:

— Эти письма отца хранятся в нашем семейном архиве.

— Значит, оба адресата вернули друг другу старые письма?

— Выходит, что вернули. А в музей отослать, наверное, не успели...

Вырванные из ученических тетрадей странички были исписаны крупным круглым почерком. Они рассказывали то о событиях да-

лекого прошлого, то о 20-х и 30-х годах, то есть о том времени, когда посылались к Якову Степановичу Пятибратову.

Первое из писем было написано красными чернилами 11 августа 1924 года. В нем — воспоминания о годах революционной юности, о тревогах и радостях текущих дней. Письмо это как бы разрезает собой две эпохи: конец XIX века, когда зарождалось социал-демократическое движение в России, и 1924 год, начало строительства социализма, год Ленинского призыва в партию.

Петр Андреевич Заломов, в годы царской реакции оторванный от родного Нижнего Новгорода, где ему запретили жить, оторванный от большевистских организаций, самостоятельно вел пропагандистскую работу в Судже, а в начале 1918 года был избран там уездным комиссаром труда. Белогвардейцы в Судже, как когда-то полицейские на Большой Сормовской улице, избивают и арестовывают Заломова, приговаривают к расстрелу. Ссылка, тюрьма, побои и голодовки не прошли даром: Петр Андреевич тяжело заболел. Требовательный к людям и к себе, Заломов считал, что партии нужны сильные, крепкие люди, а он, больной человек, уже не сможет вести напряженную работу, будет балластом.

Но смерть Владимира Ильича Ленина, пример многих товарищей, откликнувшихся на Ленинский призыв в партию, наконец, помощь и поддержка старых друзей приводят Петра Андреевича к выводу: он должен стать официально членом партии и все оставшиеся силы посвятить делу построения социализма. Об этом своем решении, напоминая исповедь ученика перед учителем, и повествуют письма Заломова к Пятибратову.

Осенью 1925 года Центральный Комитет партии, рассмотрев заявление Петра Андреевича, вынес решение о приеме старого революционера в члены партии без прохождения кандидатского стажа. Заломову был вручен партийный билет № 838646. А в 1929 году Петр Андреевич, напомним, войдя в инициативную семерку, принял активное участие в организации первого в окрестностях Суджи колхоза «Красный Октябрь», где долгие годы был потом членом правления.

Успехи социализма в стране радуют обоих революционеров. Не случайно в это же время в письме к Зинаиде Павловне Кржижановской Петр Андреевич Заломов замечает, что теперь социализм уже приобрел международное значение. В одном из писем к Пятибратову Петр Андреевич образно и тепло рассказывает о Глебе Максимилиановиче Кржижановском.

Завершается переписка Петра Андреевича с Пятибратовым письмом на тему, о которой мы начали наш рассказ,— просьбой сдать переписку в Литературный музей в Москве. Но Заломов, передавая Якову Степановичу слова В. Д. Бонч-Бруевича о значении переписки рядовых рабочих, уточняет формулировку. Вместо слов «действительность, которая нас окружает», Петр Андреевич пишет о четко очерченном социальном понятии — «настроение масс».

Мы так и не знаем до сих пор, почему эти письма тогда не попали в Литературный музей. Не успели отослать? А может быть, заломовские письма нашлись уже после смерти их автора? Жена Петра Андреевича, Жозефина Эдуардовна, собирала его письма по старым адресам как память о муже и друге и как исторические реликвии.

Но как бы там ни было, а эти письма, ранее мало кому известные, обогащают биографию сормовского знаменосца Петра Андреевича Заломова новыми важными деталями. Они повествуют о верности старых борцов рабочего класса идеям пролетарской революции. Так что В. Д. Бонч-Бруевич был прав насчет значения переписки рядовых революционеров.

Бонч-Бруевич оказался прав вдвойне, когда на страницах «Комсомольской правды», а потом и отдельной брошюрой была опубликована серия писем Петра Заломова времени коллективизации в суджанских селах. Блестящий комментарий к ним сделал публицист В. В. Чикин¹. Заломовские письма к Пятибратову и Кржижановским² значительно расширили наши знания о Петре Заломове, как Павле Власове периода коллективизации в деревне, периода политически очень острого и ответственного.

В представлении коллективизаторов суджанской деревни, справедливо отметил В. В. Чикин, Павел Власов той поры сохранился как человек, уверенно стоящий за кумачовым столом перед бурлящим собранием, утопающим в сизом табачном тумане. Как усталый полуночный ревизор, заваленный грудями правленческих бумаг. Как мастеровой, склоненный над станком в своей домашней мастерской, вечно кому-то что-то мастерающий. Как заглядочный краснокнижник, у которого можно все про все узнать.

Его считали счастливым человеком за добрую и дружную семью, за его умельство и познание, за то уважение, которое к

¹ Чикин В. В. Возвращение Павла. Послесловие к повести М. Горького «Мать», составленное из писем Петра Заломова к своим друзьям.— М.: Правда, 1967.

² Письма к Г. М. и З. П. Кржижановским в 60-х годах поступили в Центральный партийный архив.

нему питали. Но мне кажется, заключает свою мысль В. В. Чикин, Петр Андреевич понимал свое счастье не так. Мне кажется, у него вообще было «двойственное» представление о счастье. Если счастье общелюдское он непременно связывал с достатком, обилием благ материальной и духовной жизни, то счастье личное видел только в добытии этих благ для людей, в работе на общую пользу. Как-то он признался своему старому другу Григорию Козину: «Если бы мне дали возможность заснуть на сто лет и проснуться при полной победе коммунизма во всем мире, то я бы от этого отказался, потому что борьба за коммунизм для нас, старых подпольщиков, ценнее, чем коммунизм, упавший в неба...».

III

Встречаясь с людьми, знавшими Петра Заломова, разбирая архивные документы, читая письма и воспоминания революционера, я находил и кропотливо собирал стихотворные строки, написанные рукою сормовского знаменосца. Так создавалась коллекция ранее неизвестных поэтических проб пера прототипа горьковского героя.

Далеко не все заломовские стихи совершенны в литературном отношении, но за каждой их строкой — чувства и мысли «чернорабочего революции», как называл себя Петр Заломов. Стихи автобиографичны, они свидетели сознания высокого гражданского долга одного из славных сынов рабочего класса революционной России.

Стихи Петра Заломова чаще всего встречались в его письмах к старым нижегородским друзьям, товарищам по революционной борьбе. Порой стихотворные строки заменяли собой письма, служили продолжением воспоминаний. За этими строками безошибочно узнаешь не только рабочего, преданного делу пролетарской революции, но и рабочего-публициста, продолжающего оружием слова борьбу за переустройство жизни.

Вспомним речи Петра Заломова и его товарищей на суде, которые высоко оценил Владимир Ильич Ленин, назвав превосходным, от самых глубин пролетариата исходящим комментарием к событиям и фактам классовой борьбы. Эти речи отличались цельностью взглядов, четкостью мысли, искренностью.

«Прибавлять что-либо к этим речам, — отмечал В. И. Ленин в 1902 году, — значит лишь ослаблять впечатление, производимое этим бесхитростным рассказом о бедствиях рабочих и о росте среди них возмущения и готовности к борьбе. Наш долг теперь —

приложить все усилия; чтобы эти речи были прочтены десятками тысяч русских рабочих. Пример Заломова, Быкова, Самылина, Михайлова и их товарищей, геройски поддержавших на суде свой боевой клич: «Долой самодержавие», воодушевит весь рабочий класс России для такой же геройской, решительной борьбы за свободу всего народа, за свободу неуклонного рабочего движения к светлому социалистическому будущему»¹.

Речь Петра Заломова была опубликована ленинской газетой «Искра» и стала широко известной в России и за границей. Стихи же, написанные Петром Заломовым вскоре после его знаменитой речи, долгое время оставались неизвестными. А ведь в них соромовский знаменосец отстаивает и развивает, в сущности, ту же мысль, что и в речи: революционная борьба рабочих закономерна, и сила ее не в подвигах героев-одиночек, а в пролетарской солидарности, в массовом героизме рабочего класса.

В строгих и точных по мысли строках Петр Заломов так изложил свои взгляды:

В героев я не верю,
Герои устают,
Герои умирают,
Герои предают.
Один лишь в целом взятый
Весь трудовой народ
Идет, нуждой объятый,
Без усталости вперед!²

В письме Петра Заломова к нижегородскому революционеру, слесарю Якову Пятибратову есть такие строки: «О моем настроении ты можешь судить по моим стихам... Правда, я плохой поэт, но мои стихи достаточно ярко характеризуют мое настроение». Не только настроение передают стихи Петра Заломова. Они рассказывают о реальных событиях жизни революционера и близких ему товарищей. Стихи во многом автобиографичны. Этим прежде всего они и ценны.

Одно из заломовских стихотворений может служить своего рода вступлением ко всем остальным: «Мой мозг — экран. В нем рой картин запечатленных...» Картин народного быта и революционной борьбы, созидания нового общества.

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 7, с. 65.

² Из вступления к неопубликованной поэме П. А. Заломова «Никита Сагайдаков».

Подтверждение правоты этих слов — вся жизнь бесстрашного революционера. Сошлемся на один пример из жизни молодого Петра Заломова. В те далекие годы существовал обычай: каждому рабочему при переходе с одного завода на другой устраивать довольно строгие испытания. Работая на заводе Курбатова в Нижнем, Заломов был свидетелем подобных экзаменов, иногда принимавших жестокий характер. В семейном архиве Заломовых сохранилось стихотворение Петра Андреевича под заголовком «Новичок». В нем рассказывается о том, как во время испытаний молодого слесаря ради потехи был смазан салом боек молотка. Из-за этого молоток, соскользнув с зубила, сильно ранил руку новичка:

Рука как подушка, зубило в крови.
А он не моргнет даже бровью.
«Довольно, ребята, ворон не лови!
Крещен он железом и кровью!»

Рабочая среда той поры закаляла характеры. И поэтому все симпатии Заломова были на стороне молодого слесаря, в глазах которого он увидел не слезы испуга, а непреклонную решимость выйти победителем. По мнению Заломова, это важнее всего, потому что рабочий поступал не просто на завод, а как бы в рабочую школу будущих борцов революции:

В суровую школу железных борцов,
Работы и точного знания.
Где чуть переносят насилье оков.
Таится где пламя восстанья.

Правда, сам Петр Заломов подобным испытаниям в Нижнем не подвергался, так как поступил на завод Курбатова учеником. Зато ему трудно было сделать другое: перейти из учеников в слесари. Целых три года Заломов числился в «мальчишках», хотя он уже выполнял работу квалифицированных слесарей.

Лишь в Перми, куда уехал революционер, скрывшись от нижегородской полиции в 1898 году, Петру Заломову позволили держать экзамен по всем «правилам» того времени.

Мастер приказал сделать из круглого железа пробный кубик, каждая сторона которого должна быть равной одному дюйму. Петр не спеша подошел к слесарному верстаку, засучил рукава. Но Заломова ожидал подвох: крейцмессель и зубило ему вручили поломанные. Не раздумывая долго, Петр Заломов сам нагрел их

в горне, заново отковал, закалил в воде и заточил. Кубик был вырублен со стороны в один и три шестнадцатых дюйма, то есть с небольшим запасом. Оставалось опилить его сначала драчовым напильником, а потом напильником с мелкой насечкой. Но последний оказался тоже негодным. Он был не ровным, как струна, а дугообразным. Петр ухитрился и с таким напильником добиться нужной точности, навести блеск.

Несмотря на далеко не случайные неожиданности, работа была выполнена в срок. Петр был действительно человеком опытным, и провести его, как того новичка, было не так-то просто. Инженер, принимавший пробу, одобрил ее. Казалось, что с коварным дюймо́м покончено, испытания завершены. Но тут подошел помощник мастера. Он сказал, что слесарь не умеет работать, так как пилил не во весь размах. Заломов пытался объяснить, что напильник изогнут и для такой работы вовсе не годится. Но все доводы Петра были отвергнуты. Пробная работа слесаря была признана недостаточно хорошей, и плата поденщику определена низкой — всего 70 копеек в день.

Оскорбления и унижения поджидали рабочего на каждом шагу. Но самое главное, что и подчеркнул Петр Заломов в герое своего стихотворения, это проявление характера человека, который должен стать «железным борцом». Автор не называет имени новичка. Но в его поведении, в образе его мыслей нетрудно узнать характер самого Петра Заломова.

Вот о какой поистине железной черте характера революционера напоминает стихотворение «Новичок».

Во многом автобиографичны и другие стихи Петра Заломова, испытавшего не только тюрьмы и ссылку, но и ни с чем не сравнимую радость борьбы:

А вдали реет красное знамя,
Революции песня гремит.
Ближе, ближе. Не песня, а пламя!
Огненным языком говорит!

Эти строчки взяты из стихотворения, посвященного сормовской политической демонстрации 1902 года. Они запечатлели не только это знаменательное событие, но и довольно точно передали настроение знаменосца, готового принести себя в жертву во имя победы революционного дела:

Вот уж близко. На солнце сверкают
Устремленные к бою штыки.

Демонстранты в толпе исчезают —
Их укрыли рабочих полки.

Так решили. Но красное знамя
Смело реет навстречу штыкам.
Революции будущей пламя
В нем горит на погибель врагам.

Знаменосец назад не отступит.
По закону петля его ждет.
Но смерть его подвиг искупит —
И один на врагов он идет.

Как непохожи с первого взгляда эти яростные слова на рассудительные строки о том, что Петр Заломов был мастером конспирации и вообще человеком очень осторожным. А тут вдруг — один на штыки! Но никакого «вдруг» нет. Петр Заломов, обладая непреклонным и твердым характером, был в то же время человеком гибким там, где этого требовали обстоятельства, а точнее, условия революционной работы. Одно дело — узкий круг подполья и совсем другое — открытое выступление перед тысячами людей. Вот почему в этом, казалось бы, отчаянном порыве была прежде всего строго продуманная еще накануне линия поведения.

«Скованными из цельного куска железа» показали себя 1 Мая 1902 года Петр Заломов и его товарищи — Дмитрий Павлов, Алексей и Семен Барановы. Братья Барановы вслед за Петром несли еще два знамени, меньших размерами. Но первое знамя — оно одно было с грозной надписью — нес высоко над собой Заломов и не опустил перед штыками солдат. Революционер шел на верную смерть, но во имя жизни — светлой, разумной, достойной человека. С этим знаменем он и вошел в историю..

«Это был высший момент счастья в моей жизни!» — скажет спустя много лет об этом дне сам Петр Заломов.

Что же вдохновляло рабочего на беспримерный подвиг, что придавало ему мужества и силы?

«Самое большее, что в их власти, — писал из Бутырской тюрьмы о царских судьях Петр Заломов, — это то, что они могут отнять у нас жизнь. Вот если бы они могли отнять у нас наши убеждения, — это было бы действительно ужасно. У нас против наших врагов имеется сильнейшее оружие — это вера в правоту нашего дела, вера в близкую победу [...] Я бы пошел теперь на муки, на пытки, а мне дали... всего вечную ссылку».

Из далекой сибирской ссылки несется голос революционера:

Братьев тиран беспощадный терзает.
Скоро последняя битва начнется.
Дума до боли сердце сжимает:
Ужель не в бою умереть мне придется?

Стихотворение под названием «В ссылку» написано весной 1903 года в селе Маклакове Енисейского уезда. Это самый ранний из всех дошедших до нас поэтических опытов Петра Заломова, о которых напомним, знал и Алексей Максимович Горький. В письмах из Сибири к сестре Варбаре революционер тоже говорит о своем увлечении стихами. В частности, речь идет о стихотворении под названием «Доля», оставшемся неизвестным. Возможно, это лишь иное название стихотворения «В ссылку».

Через год в село Маклаково к Петру Заломову приезжает учительница Жозефина Гашер, француженка по национальности, дочь инженера-химика, приглашенного для работы в Россию. Оба они, Петр и Жозефина, были знакомы еще раньше, в Нижнем Новгороде. Когда Заломов в тюремном замке ожидал суда, Гашер под видом невесты приносила обеды, которые помогли ему быстро поправиться после голодовки. И, как показало время, известой она назвалась тогда не случайно. «Я сразу угадал в ней натуру родственного порядка и сразу полюбил ее», — признался Петр Заломов в одном из писем к своим сестрам. В Сибири Жозефина стала женой Петра Заломова, где вскоре у них родилась дочь Галина.

Но как Жозефина Гашер оказалась в Восточной Сибири?

Предоставим слово ее старшей дочери Галине Петровне Заломовой:

— Жозефина Эдуардовна распространяла листовки, на которых были отпечатаны речи сормовских рабочих, произнесенные на суде. С этими листовками ее схватили жандармы в Ростове-на-Дону. Местом ссылки она сама избрала село Маклаково на Енисее. Туда, к Петру Андреевичу, и заявила, как когда-то жены декабристов. Только она была еще невестой...

В Красноярске мне удалось разыскать сохранившийся в местном архиве список лиц, состоявших под особым надзором полиции в январе 1905 года. В список были внесены, причем даже рядом, имена двух прототипов литературных героев горьковской повести: Степана Семеновича Погнирышко (Находки), привлеченного к дознанию Нижегородским губернским жандармским управлением в 1903 году, и Жозефины Эдуардовны Гашер — Саши, аре-

стованной годом позже Донским областным жандармским управлением¹.

Местом поселения Погнирыбко в этих документах указан Красноярск, а местом нахождения Гашер, как и говорила Галина Петровна,— село Маклаково Енисейского уезда. Против имени Гашер в списке сделана пометка: «французская подданная». Однако это обстоятельство ничуть не помешало применить по отношению к Гашер все правила процветавшего в России той поры «полицейского демократизма».

В марте 1905 года Петр Заломов на деньги, переданные от Горького, нанимает местного крестьянина-извозчика и тайно бежит в санях из ссылки. Полиция рассылает секретные указания о задержании приговоренного к пожизненной ссылке Заломова, сообщает его приметы. Но революционер, подоспевший в Красноярске прямо к сибирскому экспрессу быстрее полицейских депеш, прибыл в центральную часть России. Он благополучно добирается сначала до Киева, а потом до Петербурга.

На финской даче в Куоккале Петр Андреевич встречается с Алексеем Максимовичем. Писатель заносит рассказы революционера о своей жизни в записную книжку. Давний интерес Горького к Заломову, а потом прямая помощь ему, наконец, эта встреча вплотную приблизили писателя к тому дню, когда, отложив в сторону все дела, он начнет писать бессмертную повесть «Мать».

А пока разгорается первая русская революция. Петр Заломов уже в Москве, живет по фальшивому паспорту на имя Антона Волоховича. На квартире, снятой близ Серпуховской площади, он изготавливает бомбы-македонки для вооружения боевых дружин рабочих, а когда пробили час восстания, и сам с оружием в руках занял место на баррикадах Пресни.

После поражения революции ни в одном из промышленных городов России жить беглому-ссылному Петру Заломову не разрешают. Жена находит место учительницы в маленьком городке Судже Курской губернии. Сюда и переезжают Заломовы. Здоровье у Петра Андреевича неважное: побои, тюрьма, ссылка не прошли даром. Жандармы, как и прежде, следят за каждым его шагом. Поэтому Суджа неожиданно оказалась, по существу, местом второй ссылки революционера.

Это было, бесспорно, самое трудное время в жизни соромовского знаменосца. Недаром мы не встречаем ни одного ети-

¹ Красноярский государственный краевой архив, ф. 827, оп. 1, д. 1084, л. 5 об.

хотворения Петра Заломова, написанного в эти годы. Кажется, что реакция победила надолго. Но и в то тяжелое время революционер жил мыслями о борьбе.

И как жадно, всем сердцем отдается Петр Заломов пропагандистской работе, когда приходит весна 1917 года. Открыто вступает он в схватку с монархистами, кадетами, эсерами. Петр Заломов — не только оратор на митингах и собраниях, он принимает непосредственное участие в первых практических шагах по организации Советской власти в уезде. А потом, спустя годы, на бумагу лягут стихотворные строки:

Эй, пахарь, защищайся!
Не прозевай земли!
В Советы собирайся,
Винтовку береги!

Насколько авторитетным человеком становится Петр Андреевич в Судже, говорит уже тот факт, что его в числе трех делегатов от Курской губернии избирают на II Всероссийский съезд крестьянских депутатов. Революционер собирается в Петроград.

На крестьянском съезде в Петрограде Петр Заломов впервые увидел В. И. Ленина, услышал его выступление перед делегатами. Пятнадцать лет тому назад Владимир Ильич комментировал в «Искре» его, заломовское, слово, произнесенное на суде. Теперь же посланец курских крестьян Заломов с огромным вниманием слушал речь Ленина, которая мало чем походила на тот давний комментарий к стачкам и забастовкам. Это была программа борьбы за социализм, это был смелый взгляд в будущее России. «Я твердо уверен,— сказал тогда Владимир Ильич,— что Советы никогда не погибнут...»¹.

Да, именно этой революции посвятил Петр Заломов ровно двадцать пять лет борьбы, невыносимо тяжелого труда. И как прямой ответ на это звучат его стихи:

Все последние силы отдать,
Возвратясь, надо ей.
Пусть придется
За то умирать
От руки палачей!

После возвращения из Петрограда Петр Заломов разрабатывает письменный проект организации Суджанского уездного Со-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 139.

вета народных комиссаров и вносит на рассмотрение местного ревкома. Проект Заломова в основных чертах повторял структуру центральной власти — Совнаркома, во главе которого стоял Ленин. Проект «уездного совнаркома» был принят, а его автор избран уездным комиссаром труда. Он выступает на митингах с отчетом о крестьянском съезде, подробно излагает ленинскую позицию на нем.

Гражданская война прервала мирное развитие революции. Сначала немцы, потом гайдамаки, денкиницы не оставляют в покое старого революционера. Петра Андреевича арестовывают, приговаривают к смертной казни. И лишь стремительный натиск Красной Армии спасает его от белогвардейских палачей.

Целиком автобиографично заломовское стихотворение «Ночь перед расстрелом», которое складывалось в денкинской тюрьме как прощальное слово жене перед казнью:

Крепки тюремные мрачные стены,
Злоба сильна беспощадных врагов.
Ждет меня гибель от низкой измены,
Смерть лишь избавит меня от оков.

С детства я бился с врагом неустанно.
Я не жалею, что много страдал.
Пусть я погибну в застенке бесславно,
Жить будет братства святой идеал!

В основе своей документальна и неопубликованная, сохранившаяся до наших дней поэма Петра Заломова «Никита Сагайдаков». И хотя ее главным героем является суджанский уездный комиссар финансов Сагайдаков, бывший народный учитель и крестьянский сын, вторым героем поэмы, бесспорно, можно считать самого автора, Петра Заломова, уездного комиссара труда. Два комиссара ждут казни в денкинской тюрьме.

Вот как со слов Заломова описывает эти события его младшая сестра Варвара Андреевна:

«Кроме брата, в подвальном помещении было еще трое арестованных. Среди них — Никита Сагайдаков, местный учитель, тихий, скромный человек.

Сначала увели из подвала одного товарища, потом другого, Петр остался с Сагайдаковым вдвоем. Они тихо беседовали. Была ночь. Охранники запели: «Як умру, то поховайте мене на могили...»

Грустный и трогательный напев украинской песни навел на раздумье.

— Отходную нам поют! — сказал Сагайдаков и тихо добавил: — Как не хочется умирать!

Чтобы подбодрить товарища, брат стал рассказывать ему, как умирал его любимый народный герой Разин Степан.

На рассвете увели Сагайдакова. Брат крепко обнял его и остался ждать своей очереди.

Позже, когда городок заняла Красная Армия, он узнал подробности казни Никиты Сагайдакова. Этот тихий, скромный человек умер смертью героя. Его поставили на краю могилы, где лежали тела убитых ранее товарищей, и потребовали выдачи коммунистов. Он молчал. Его начали истязать, пока не превратили все тело в кровавую массу...

Когда население откопало казненных товарищей, Никиту Сагайдакова узнали только по ключьям вышитой рубашки. Хоронили расстрелянных с музыкой и знаменами¹.

Оба близких по теме произведения — стихотворение «Ночь перед расстрелом» и поэма «Никита Сагайдаков» — написаны по горячим следам событий. Первое в сентябре 1919 года в тюрьме, а второе — в апреле 1923 года.

Последние стихи этого цикла углубляют тему Октябрьской революции в литературном наследии Петра Заломова, в них осмысливается ее историческое значение. Из стихотворных строк мы узнаем о конкретных действующих лицах эпохи, которые нигде больше, даже в обширных мемуарах сормовича, не нашли своего отражения.

В этом также заключено немаловажное значение поэтических опытов Петра Заломова как ценнейшего источника для изучения биографии сормовского знаменосца, его политических взглядов в переломный период истории Родины.

На этом завершается в заломовских стихах тема революции и гражданской войны, но остается тема классовой борьбы. Только теперь она приобретает ярко выраженную интернациональную окраску, особенно в стихах о коммунарах и русских продолжателях их дела, которые, по мысли автора, отважными отрядами борцов вливаются в «мировую рать» Коммуны:

Спят давно под землю Парижа
бойцы —
Наши братья по духу, Коммуны отцы,
Но их мертвый язык и теперь говорит,
Их душа все живет и огнем в нас горит!

¹ Семья Заломовых, с. 141—142.

Чтить их память мы будем с любовью

всегда,

Не изменим мы ей никогда, никогда.

Как они, кровь до капли свою отдадим.

Иль умрем, иль Коммуны врагов

победим!

Наших братьев бесстрашных исполним

завет:

Будет править Землею рабочий Совет!..

Вот как комментирует эти строки старшая дочь революционера Галина Петровна Заломова:

«Стихи о парижских коммунарах были написаны отцом более полувека тому назад — 18 марта 1924 года. Об этом говорит пометка, сохранившаяся в конце пожелтевшей страницы. Но, видимо, строки эти складывались в памяти не в тот день, который был, как и теперь, Днем Парижской коммуны, а значительно раньше, еще в годы революционной борьбы с русским самодержавием. Отец очень любил коммунаров. Они были героями его молодости, вернее, всей его жизни...»¹.

Пожалуй, символично совпадение: Петр Заломов умер в День Парижской коммуны — 18 марта 1955 года в Москве.

Подобно тому как участник Парижской коммуны поэт-революционер Эжен Потье звал в песнях создавать рабочую республику, Петр Заломов утверждал в своих стихах, что непременно наступит то время, когда «будет править Землею рабочий Совет», а над миром будет реять «знамя труда».

Не исключено, что Петр Заломов познакомился с творчеством Эжена Потье не только в переводах на русский, тогда еще редких в России, но и с помощью изданий на французском языке. С ними его могла познакомить Жозефина Гашер. Кстати, в письмах из Сибири к сестре Варваре Петр сообщал, что он не только увлекается стихами, но и изучает иностранные языки.

Так или иначе, но бессмертные образы парижских коммунаров вдохновляли русского рабочего в жестокой битве с самодержавием. Петр Заломов настолько сжился с этими образами, что ставит их рядом с близкими ему товарищами по труду и борьбе. В одном из стихотворений Заломов сравнивает своего друга по нижегородскому подполью Александра Замошника со старым коммунаром, для которого, как и в пору молодости, революционный долг превыше всего:

¹ Из интервью автору статьи, 1983 год.

Все та же мысль меня тревожит:
Когда придет Коммуны день?
Никто, ничто нам не поможет
Подняться к ней ни на ступень.

Все-все должны мы сами справиться.
Мы рук не смеем опускать.
Нет-нет, не можем мы оставить
Коммуны мировую рать!

Наш долг: крестьян, рабочих сблизить,
По всей Земле дать бой врагам...
Чтоб хоть на миг тот день приблизить,
Я кровь и жизнь свою отдам!

Словам этим веришь как клятве. Веришь потому, что в неистребимости этого порыва весь характер самого автора, словно скованного из цельного куска железа, не сгибаемого ни перед какими трудностями и потерями. Впереди есть высокая цель — «и снова рвется в бой душа!»

В 1925 году Петр Заломов не упускает случая, чтобы еще раз поделиться с друзьями радостью победы и выразить духовное родство с героями своей молодости — коммунарами.

«Парижские коммунары,— пишет он,— продержались всего два месяца. Насколько же мы счастливее их, если дожили не только до диктатуры пролетариата, что являлось страстной мечтой нашей юности, но дожили и до социалистического строительства». В другом письме, говоря о социализме, Петр Заломов добавляет: «По моему мнению, мы строим его не в одной стране, а в мировом масштабе. Каждый наш шаг, каждое наше достижение становится достоянием трудящихся всего мира. В своей стране мы строим социализм экономически... В мировом масштабе мы строим социализм психологически, и это не менее реально. Недаром же нашу революцию защищают рабочие всего мира».

Многие страницы автобиографической поэстики «Петька из вдовьего дома» посвящены матери Анне Кирилловне. В стихах Петра Заломова мы тоже находим строки, посвященные матери. Но в отличие от автобиографической повести и мемуаров они рассказывают не о конкретных событиях из жизни Анны Кирилловны, а обобщают образ женщины-матери до сравнения с «чистым пламенным лучом нашей жизни», говорят о ее высоком предназначении «творить Человека»:

Берегите ее как прекрасный цветок,
Не мешайте творить Человека!
В ней прогресс, в ней Коммуны росток
Наших дней и грядущего века.

Эта мысль как бы предваряет собой все то, что говорил о своей матери Петр Заломов, потому что стихи были написаны в 1923 году — раньше, чем его повесть и воспоминания. Она перекликается с той мыслью, которую Горький вложил в образ Ниловны, подчеркивая ее самоотверженность и преданность делу революции, делу Коммуны. По мысли писателя, Ниловна представляла себе весь мировой процесс, как шествие детей «к правде, к новому солнцу, к новой жизни...»¹. Заломов, независимо от горьковского восприятия образа женщины-матери, также придает этому образу глубокий духовный и социальный смысл, видит в его непрестанном развитии важную составляющую часть общественного прогресса. Быть не просто матерью людей, а Матерью Человека!

Завершим рассказ о Петре Заломове и его стихах отрывком из послания революционера Надежде Константиновне Крупской, отправленном 25 января 1924 года — в дни, когда страна прощалась с Владимиром Ильичем Лениным, провожая его в последний путь.

«Мне так бы хотелось утешить Вас в Вашей утрате,— писал Петр Андреевич,— но это невозможно. С полным правом я могу сказать, что мы потеряли не меньше, и даже больше! Мы — рабочие... На протяжении десятков лет Ильич неуклонно шел к намеченной цели и был выразителем всех наших дум и стремлений. ...Ни в каком случае, нигде и никогда не следует изображать пролетарского вождя оторванным от рабочих и крестьян. Наша сила заключается именно в том, что наш вождь есть одно целое с нами...»

Многие рабочие поэты откликнулись тогда стихами на смерть Владимира Ильича. Некоторые стихи стали широко известны, как, например, полетаевские: «Портретов Ленина не видно...» А многие стихи, написанные кровью сердца, остаются до сих пор практически неизвестными. К ним можно отнести и заломовские:

Влачили жизнь мы долгими годами
Покорными и жалкими рабами.
Ильич поднес нам ковш воды живой:
Мы ожили и ринулись на бой.

¹ Архив А. М. Горького, т. V, М., 1955, с. 182.

Он умер. Но у нас не льются слезы.
Кровавые давно их высушили грозы.
Пускай печальный марш играют трубы;
Сомкнем ряды, сильнее стиснем зубы.

Его нам скульптор так изобразит:
Ильич серп с молотом в руке соединит.
Он наверху в одно слился с волной
Рабочих и крестьян, идущих в бой.

Кто говорит: он умер? Вместе с нами
Он вечно будет жить, расти с годами!..¹

Автобиографическая повесть, мемуары, письма и стихи Петра Заломова, как и все остальное, что им написано или сказано, не плод минутных раздумий. Это скорее вывод всей его жизни с богатым революционным опытом и неподдельным пролетарским чутьем. Это своего рода завещание сормовского знаменосца и коммунара грядущим поколениям.

Главное в этом завещании, думается, лучше всех выразила мать революционера, Анна Кирилловна, оставив нам пришедшие из глубины сердца слова: «Берегите Советскую власть! Крепко стойте за рабочее дело... То красное знамя, которое нес мой сын Петр Заломов, с древка не сорвано — оно гордо реет над нашей страной!»².

Александр НИКИТИН

¹ Впервые опубликовано в журнале «Коммунист», 1979, № 6, с. 41 (публикация А. Г. Никитина.— *Прим. ред.*).

² Семья Заломовых, с. 143.

Петька из вдовьего дома

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Литературная обработка А. Г. Никитина

ГЛАВА I

*повествует об отце Петьки и его родословной:
о приключениях фельдфебеля Золотова
и горестной жизни сапожника Заломова,
о бабушках — веселой Елизавете
и суровой Александрии*

Меднолитейный мастер Андрей Заломов как обычно собирался в ночную смену на завод Колчина *, расположенный у подножья крутой горы на берегу Волги. Завод небольшой, человек на семьсот, и работы всегда много. Андрей со своими подручными отливал там медные части для пароходов.

Накинув на плечи зипун, Андрей приоткрыл было дверь в сени, но задержался у порога, переступил с ноги на ногу, тронул рукой усы. Этой ночью его жена Анна ждет ребенка.

Но мастера беспокоит не здоровье жены. Он боится, что снова родится девочка. Их у него уже три *, а полуторагодовалый сын Сережа, его любимец, недавно умер от скарлатины.

— Смотри же, Анна! Непременно мальчонку! — наказывает с порога Андрей. — Мне работник нужен.

Жена смеется:

— Будет, Андрюша, мальчишка! Вот увидишь!..

Крупный и сильный Андрей неуклюже пригибает голову, выходит из дому, крепко прижимает плечом дверь снаружи — на дворе май, а холодно. Слышно,

Как стукнула калитка, как удаляются и стихают тяжелые шаги.

Бабушка зажигает керосиновую лампу, и три сестренки снова затевают на полу веселую возню. Отец никогда не ласкает своих дочерей, но нежно о них заботится. Когда в праздник ему подают пару жареных пирожков и кружку молока, обязательно спросит:

— А ребятки ели?

— Ели, Андрюша,— отвечает жена. Или: — Я их после накормлю.

Когда Андрей спрашивает об этом самих детей, то они, глотая слюнки, отвечают всегда одинаково:

— Мы уже ели, тятя. Мы не хотим.

Анна внушает детям, что отец единственный работник в семье, что он больной и ему надо лучше питаться.

И в самом деле, здоровье Андрея, несмотря на его могучую силу, подорвано: у него болит спина от подъема тяжестей, мучает суставной ревматизм, бывают сердечные приступы.

Часто по ночам он будит жену:

— Анна! Держи мне сердце, а то разорвется.

Анна, не зная, чем помочь мужу, крепко прижимает к его груди свои ладони. И Андрею кажется, что боль немного утихает.

С двенадцати лет запрягся Андрей в тяжелую работу. Теперь он мастер, зарабатывает «хорошо», но в семье постоянные нехватки, растут долги.

К тому же Андрей любит угощать, и этим пользуются приятели. Сам он очень страдает от водки, но во время запоев иногда пьет по целому месяцу. С завода его не выгоняют как умелого и честного человека. Механик Василий Иванович Калашников * дает ему даже опохмелиться и отсылает домой, когда он, пьяный, приходит в контору требовать расчета.

Мастеров в проходной завода не обыскивают, и предшественник Андрея за три года выстроил себе хороший двухэтажный дом. В приятельской беседе за кружкой пива он часто говорит:

— Дурак ты, Андрей! В твоих руках и медь, и олово, а ты нищий. Ведь металл во время плавки «угорает», а тебя в воротах не обыскивают. Разбогатеть можно. Понятно?..

— Я вором не буду! — грозно отвечает Андрей.

— Ну и работай на них, сволочей! — возмущается собеседник. — Все берут, кто может. А ты что за святой такой?

За двадцать семь лет работы Андрей принес домой с завода только два медных подсвечника, подаренных ему механиком за труды. Он отливал их для конторы и конторских служащих.

— Я пьяница, но воров не буду. И отец им не был! — всегда говорил Андрей.

Отец Андрея, Михаил Иванович, работал у сапожников Гаврюшовых по найму. Человек был добросовестный и простодушный. Многие считали его слабоумным за детскую доверчивость и косноязычие, над чем родные часто потешались.

До пяти лет Михаил рос нормальным ребенком. Косноязычным он стал после сильного испуга.

Произошло это на Кавказе, где его отец, бывший крепостной, служил фельдфебелем. В армию он вступил добровольно в Москве, сбежав из Костромской губернии после убийства барина. Фельдфебель участвовал во многих сражениях и стычках, имел немало медалей и крестов. Как-то темной ночью чеченцы ворвались в его дом; загремели выстрелы, началась резня. Иван был ранен, а сын Михаил, сильно перепуганный, стал с этих пор полуглухим и остался на всю жизнь как бы в полудетском состоянии. От гибели в ту ночь его спасла мать, выпрыгнувшая вместе с сыном в окно и спрятавшаяся на колокольне.

Вернувшись после службы в Россию, бывший николаевский фельдфебель был приписан в мещане под фамилией Золстова. Он поселился в слободе Кошелевке, в версте от Нижнего Новгорода. На скопленные полтораста рублей построил крохотный демишко * и занялся торговлей.

Долго бился он с Михаилом, пытаясь приучить его к торговым делам, но из этого толку не вышло. Мишка был слишком доверчив, его обкрадывали покупатели, старавшиеся приходиться в лавку, когда там не было старика. Дощатая лавочка стояла на отшибе, на углу усадьбы, и домашние не всегда могли помочь незадачливому торговцу.

Зато Михаил Иванович стал хорошим сапожником. И хозяева, у которых он работал, им дорожили. Он

шил обувь добросовестно и прочно. Нередко заказчики, не гнавшиеся за особым изяществом, просили хозяина Кирилла Степановича Гаврюшова:

— Вы уж, Степаныч, отдайте мои сапоги шить Михаилу. Я отблагодарю...

Благодарность обычно выражалась в осьмушке махорки.

Михаил Иванович с восхищением смотрел на свою работу и находил, что его сапоги сшиты чище московских. Показывал сделанную им обувь другим мастерам, хвастался, постукивая себя пальцем по лбу:

— Кака, браццы, колофка! Московски чище?

Призывали Михаила Ивановича в молодости и на военную службу, но тут же и освободили от нее как слабоумного. Тогда фамилию Золотов он из-за косноязычия произнес как Заломов. Так с тех пор и остался на всю жизнь с новой фамилией, под которой его записали *.

Настало время женить Михаила Ивановича, но ни одна девка не хотела выходить за «дурака». Да родители и сами отказывали свахам. Все же нашлась одна бедная многодетная вдова, которая угрозами и побоями заставила свою дочь Елизавету выйти замуж за Михаила Ивановича. Нельзя сказать, чтобы и он женился с охотой на этой молодой хорошенькой девушке. Ему не нравились и ее большие серые глаза, и тонкий нос с горбинкой, и продолговатое личико, и изящная фигура, и острый язычок. Впоследствии он жаловался Анне, своей невестке:

— Сафета Тревна (так он произносил имя жены — Елизавета Андреевна) — глаза чашки! Коро (коровьи)! У-у, ведьма!..

Первым ребенком от этого брака был Андрей. Грамоте его обучили квартировавшие в Кошелевке семинаристы. Этим образование мальчика и ограничилось.

Едва Андрею исполнилось девять лет, дед посадил внука за прилавок. Мальчик оказался способным, и старик стал брать его зимой в город торговать мороженой рыбой, овсом и сеном. Торговля шла прямо на льду, на Волге, верстах в четырех от слободы *, и маленький Андрюшка просыпался рано и ложился поздно. Так бы и прожил он всю жизнь торгашом, если бы с дедом Иваном не случилась беда. Однажды приятель-

ли напоили его пьяным и выманили займы на два дня триста рублей — весь его наличный капитал.

На другой день протрезвевший дед пошел к приятелям за деньгами, но те от долга отказались. Дед просил, грозил, жаловался в полицию — ничего не помогло. Торговать стало не на что, и Иван поступил на завод Колчина ночным сторожем. Своего любимца внука, двенадцатилетнего Андрюшку, он тоже определил на завод в меднотрубную мастерскую. Оттуда тот и перешел потом в меднолитейную.

Еще не успел Андрей стать настоящим работником, когда дед простудился и умер. После него осталась лишь одежда, на которую некоторое время можно было жить. Но и она была тут же продана, чтобы устроить поминки.

Все заботы о семье, пока не подрос Андрей, легли на Елизавету Андреевну. Она день и ночь трепала паклю, торговала на базаре, смотря по сезону, то ягодами и грибами, то дешевыми сортами мяса — сбоями.

Семья росла, помощь от Михаила Ивановича была небольшая: платили ему хозяева мало, а свое дело завести он не был способен. Постепенно Андрей освоился в меднолитейной, стал зарабатывать больше, но пристрастился к горькой, начал выпивать и не всегда приносил домой получку.

Двадцати одного года Андрей женился на девятнадцатилетней Анне *, дочери Кирилла Степановича Гаврюшова, того самого сапожника, у которого по найму работал его отец.

Домишко Заломовых был маленький, а в нем ютились родители, четыре брата и сестра. В доме было тесно, возникали ссоры, а по пьяному делу нередко случались и потасовки.

Женился третий брат-сапожник Иван. Этот своей простоватостью и бесхитростностью напоминал отца. Он женился по любви. И хотя предупреждали его заранее, что невеста порченная, верить не хотел. Поступил по-своему. Когда через пять месяцев родилась дочь, Иван стал посмешищем для язвительных братьев, из-за чего тоже возникали драки. После одной из

них Андрей решил отделиться: занял денег, сделал пристройку к дому и поселился в ней со своей женой.

Однако все братья продолжали жить одной большой семьей, хозяйкой которой по-прежнему оставалась Елизавета Андреевна. Ее любимцем был младший сын Александр, по профессии слесарь, неисправимый пьяница. Когда он пропивал с себя одежду, мать одевала его на заработанные дочерью Павлиной деньги, которые отбирала у девушки с угрозами и побоями.

Но особенно тяжело жилось в семье старику Михаилу Ивановичу. Жена и дети высмеивали его беспощадно. Елизавета Андреевна как-то в шутку рассказала взрослым сыновьям, как в молодости она клала на печи между собой и мужем березовое полено и; когда ночью Михаил Иванович пытался приласкаться к ней, говорила:

— Нельзя, Мишенька! Надо поленце сушить, а то печку утром нечем будет растоплять!

Сын Иван после женитьбы за неимением другого места стал спать со своей женой Марьей на печи. Иногда для смеха он клал на печь березовое полено, а утром кричал тугому на ухо старику:

— Тятенька! Тятенька! Жена Маша говорит, что надо поленце сушить...

Под общий смех он показывал отцу березовое полено, вслед за чем начиналась такая перестрелка остротами, что бедный старик убегал из дому или начинал ругаться.

— Крех смеяцца! Я старичка! Я отца! — говорил он с плачем хватавшимся от смеха за животы жене и детям. Михаил Иванович сердился пуще прежнего, отчего хохот становился еще сильнее.

По праздникам против старика устраивались заговоры. Он очень любил играть в карты, и его каждый раз обманывали, в чем принимали участие и приходившие гости.

Самой любимой игрой Михаила Ивановича была игра в короли — «в коро», как говорил он. Тут уже начинался настоящий спектакль. Старика отвлекали в сторону, а в это время меняли карты. Пользуясь его глухотой, в открытую сообщали, у кого какие козыри. Опасаясь обмана, отец требовал, чтобы сыновья играли молча. Заметив, что у Андрея шевелятся губы, он кричал:

— Антрюшка! Мошенику! Ты каваришь?

— Нет, тятенька. Я только покурить прошу,— отвечал сын.

Игра длилась часами с неослабным интересом для всех. Михаил Иванович увлекался как ребенок и сильно горячился, подозревая обман. При всякой удачной проделке начинался хохот, а старик сердился и недоверчиво осматривал всех.

Сначала Михаила Ивановича выводили «в мужики», и он говорил грустно:

— Я мужичка...

Потом старика выводили «в принцы», и лицо его прояснялось.

Но верхом торжества было, когда Михаил Иванович становился «королем». Он весь сиял, стучал себя пальцем в лоб и говорил:

— Кака, браццы, колофка? Я — коро! Всяко знай!

Игра обычно заканчивалась глубокой ночью. Старика несколько раз протаскивали по всей лестнице карточной иерархии вверх и вниз, опасаясь, однако, ставить его на низшую ступень. Только под самый конец игры всеми правдами и неправдами Михаила Ивановича делали «золотарем», и все зажимали носы, демонстративно отодвигаясь от него подальше. К еще большему огорчению старика кто-нибудь приносил лопатку и, тыча ею, кричал под всеобщий хохот:

— Вот, тятенька, лопатка. Иди почисти...

Старик плевался, с яростью бросал карты:

— Все мошеники! Крех смеяцца! Я старичка! Я отца!..

Засыпал он весь в слезах.

Был у Михаила Ивановича один торжественный день в году. Это день его именин. Проснувшись утром, он требовал:

— Сафета Тревна! Плисовы штани и поттиничек тenek!

Он умывался, причесывался, смазывал волосы маслом и шел в церковь, а оттуда — в кабак, где и пропиывал деньги.

Вечером в дом приходили гости, устраивалось угощение. Михаила Ивановича старались втянуть в танцы, но он упорно отказывался.

Тогда кто-нибудь начинал под гитару плясать русского — танец, который старик особенно любил. Тут уж он не выдерживал: притопывал, пристукивал каблуками и, наконец, пускался в самый отчаянный пляс.

Сияющий старик выдвигает ногами необычайные выкрутасы, а гитара играет все медленней, все тише и наконец вовсе умолкает. Гости, стараясь сдержать смех, фыркают, сморкаются, а Михаил Иванович продолжает свою бешеную пляску, ничего не замечая. Только иногда как бы невзначай бросает взгляд на пальцы Андрея, быстро перебирающего молчащие струны.

Но вот гости не выдерживают, раздается взрыв хохота, и старик разом останавливается, обо всем догадавшись.

— Антрюшка! Ты не краешь! — кричит он с отчаянием.

Но на лице сына нет и тени улыбки, он один из всех остается вполне серьезен и, стараясь теперь играть особенно громко, отвечает:

— Нет, я играю, тятенька. Это тебе не слышно потому, что ты сильно топаешь.

— А зачем они смеяцца? Я отца! Я старичка! — возмущается Михаил Иванович.

— Это они, тятенька, над Васькой! — говорит Андрей примирительно.

Старик смотрит на сына Василия, тот деланно громко храпит с широко открытым ртом. Михаил Иванович тоже смеется и снова начинает плясать, и снова повторяется та же шутка.

Постепенно женились и остальные братья. Пошли дети, теснота в доме еще больше увеличилась, а с нею участились ссоры и драки.

Жена Андрея ждала третьего ребенка. Роды начались днем, в престольный праздник, когда братья были пьяны. Василий довел до ярости брата Ивана и, спасаясь от него, вбежал в комнату рожавшей Анны. Следом за ними прибежал отец, чтобы разнять дерущихся, стал бить обоих оказавшимся под рукой деревянным засовом от двери. Анна испугалась, и хотя дочь Ольга родилась благополучно, у самой роженицы сделалась странная болезнь: она начала засыпать

днем, вдруг, иногда за обедом, за чаем. Засыпала сидя с ложкой во рту, с куском хлеба в зубах.

Несмотря на то что семья Андрея жила наособицу, в пристрое, он по-прежнему весь свой заработок продолжал отдавать Елизавете Андреевне, тогда как ни Василий, ни Александр, оба семейные и оба уволенные с работы за пьянство, ни копейки не вносили в общее хозяйство. Неприятности и ссоры происходили теперь и из-за этого. Андрея особенно возмущало отношение к нему матери, по-видимому не ценившей его заслуг перед семьей, неоднократно говорившей, что для нее все равны, все одинаковы.

Справлялись новые костюмы гуляющим братьям, а кормилец семьи Андрей ходил зимой без пальто, в одном ватном зипуне. Напившись, он укорял Елизавету Андреевну в несправедливости и даже бивал ее под горячую руку. Наутро, проспавшись, он всякий раз со словами «Маминька, прости!» кланялся ей в ноги, на что мать неизменно отвечала: «Чего уж там, Андрей! Бог простит! На-ко вот пятиалтынныйчек, опохмелись!»

Братья корили Андрея за то, что он получил от деда старый дом и усадьбу. Дед приписал любимого внука в крестьянское общество слободы Кошелевки и закрепил свое недвижимое имущество за ним. Но от ветхого домишка толку не было. И Андрею одному приходилось нести все повинности и платежи по налогам за дом и усадьбу. Несправедливые упреки младших братьев особенно возмущали старшего брата, и он частенько дрался с ними.

Однажды после особенно сильной драки с братом Василием Андрей ушел в город, подыскал там квартиру и теперь уже окончательно отделился от большой семьи.

Квартира в конце Набережной улицы*, совсем близко от оврагов, была маленьким флигельком из одной комнаты. Около двери стояла русская печь с подтопком; продолжением ее служила перегородка из тонких досок, делившая комнату на две половины.

Место между печью и окном — в одну квадратную сажень — занимал кухонный стол и деревянная лохань

с глиняным рукомои́ником, на стене висели посудные полки, сбоку в коридорчике — вешалка. В чистой комнате поставили кровать, пять табуретов, большой сундук с одеждой и маленький — с бельем.

Справили новоселье, и семья Андрея зажила на новом месте своей жизнью. Мир в семье поддерживался Анной. Она, несмотря на вспыльчивость, во всем уступала и подчинялась мужу, как в свое время ни разу не ослушалась своей суровой матери. Только однажды попыталась она дать мужу отпор, но тотчас же в этом и раскаялась.

Андрей был человеком суровым, но справедливым. Зато пьяный становился невыносимым. Он без конца жаловался тогда на тяжелую работу, говорил, что семья из него вытягивает все жилы, что жена барыня и ничего не делает.

Обиженная Анна, одна управляющаяся с хозяйством, обшивающая и обшивающая всю семью, как-то не выдержала, перекрестившись на икону, сказала с сердцем:

— Дай бог такого мужа твоей сестре! Пусть и она поживет барыней.

Андрей расви́репел. Одним ударом тяжелого кулака свалил жену на пол.

— А-а, ехидна! — кричал он. — Так ты хочешь, чтоб у моей сестры муж был пьяницей?

На другое утро он виновато поглядывал в сторону жены, говорил смущенно:

— Дура ты, Анна! Разве можно со мной, с пьяным, спорить?..

С тех пор Анна не перечила мужу ни пьяному, ни трезвому. Побоев она боялась ужасно. С детства ее никто не бил. Отец от большой доброты, а матери не было случая — девочка росла послушной и робкой и трепетала от одного строгого взгляда матери. На свое несчастье, она была похожа и внешностью и характером на отца, за которого мать была выдана насильно, а потому эта дочь ей была почти ненавистна. Все ласки матери доставались сыну и младшей дочери Татьяне — ее любимице.

Теперь Анна ждала пятого ребенка, который по наказу мужа должен быть мальчишкой. Около нее хло-

потала мать, Александрия Яковлевна Гаврюшова*, женщина уже старая, но красивая и не по годам стройная. Она была повивальной бабкой и приняла в свои руки родившегося внука, обмыла ребенка и удивилась даже:

— Что это ты, Анна, родила какого уroda? Голова большущая, глаза большущие, а шея тонкая и длинная. Как галчонок!

В обед вернулся с завода Андрей, спросил сразу же от порога:

— Что? Девка?

— Мальчонка! — ответили враз жена и теща.

— Обманываете? — не поверил он.

— Сам смотри! — Теща обиженно поджала губы и протянула ему ребенка.

— А, ведь и правда, мальчишка! — обрадовался Андрей. — Ну спасибо тебе, Анна! Вот ведь ты у меня какой молодец! — и он крепко поцеловал смеющуюся жену, потормошил запищавшего младенца.

— Работник будет! — сказал одобрительно.

ГЛАВА II

содержит описание первых лет жизни Петьки, его радостей и горестей, а также стремлений все знать и иметь обо всем собственное мнение

Мальчик родился третьего мая 1877 года*. Ему повезло с самого начала. Петька явился желанным ребенком в семье. А поскольку работы отцу на заводе пока хватало, то и сытный хлеб ему был обеспечен. К тому же у него было три няньки — три сестры, старшей из которых исполнилось уже семь с половиной лет.

Будто для благополучия Петьки Заломовы с низкого берега над гнилым затоном Волги перебрались к тому времени на высокую гору*, где всегда был здоровый, свежий воздух и откуда открывался прекрасный вид на раскинувшееся на десятки верст лесистое Заволжье.

Петька помнил себя лет с двух. К этому периоду, во всяком случае, относятся его первые воспоминания.

...Ослепительно сияющий теплый день. Видимо, был какой-то праздник, потому что отец дома. Он сидит у

окна, курит и читает газету. А Петька лежит на большом сундуке около печки, нежится в тепле и очень хочет, чтобы отец обратил на него внимание. Наконец он не выдерживает, осторожно вылезает из-под одеяла и в одной коротенькой рубашонке, без штанишек начинает прыгать на постели.

— Бесштаный Петька! Бесштаный!.. — дразнит его смеющийся отец и напевает забавную песенку:

Бесштаный рак
Покатился в овраг.
Там кошку дерут —
Петьке лапку дадут!

Петька останавливается, глядит на свои голые тонкие ноги, на раздутый живот и чего-то стыдится. Он закрывает глаза руками и снова прячется под одеяло.

Отец смеется громче прежнего.

Еще Петька помнит дом: маленький, в три окна, с односкатной пологой крышей. Окна низко от земли. И Петька, когда гуляет в синем кафтанчике по двору, заставленному огромными телегами, заглядывает то в одно окно, то в другое. Он машет руками и отгоняет белых кур от зеленой завалинки.

Помнит Петька и слова своей первой песенки, которую пел «басовитым» голосом перед гостями.

Отец жалобным речитативом начинал:

— Государь ты мой, Сидор Карпович! А сколько у тебя, мой батюшка, сыновей?

Петька важно отвечал:

— Семело, бабуска, семело, Пахомовна!

Отец продолжал петь:

— Государь ты мой, Сидор Карпович! А когда же ты, мой батюшка, будешь помирать?

Петька в ответ гудел:

— В селеду, бабуска, в селеду, Пахомовна, в селеду!..

Далее шли расспросы о похоронах, поминках, судьбе осиротевших детей. И Петька отвечал, что поминать будут «водоцкой», закусывать «селедоцкой», а сироты будут ходить «по милу с сумоцкой» и «с палоцкой». Эти ответы чрезвычайно веселили взрослых, они подолгу смеялись, а мальчик чувствовал себя каждый раз героем...

По вечерам Андрей Михайлович ходил на Жуковскую улицу* играть в шашки к шурину, сапожнику Якову Кирилловичу, и частенько брал с собой сына, который и выкидывал там свои шутки на потеху всем. Когда Петьку спрашивали, на ком он женится, мальчик отвечал:

— На Прокофе Захарыче!

Кузнец Прокофий Захарович был удивительно красив, но отличался добродушием и любил детей. Петька всегда яростно защищал кузнеца, когда на него в шутку нападали взрослые. Он казался мальчику не только самым хорошим, но и самым красивым человеком.

Петька уже был человеком почти сознательным, все замечал, за всем наблюдал, все вызывало в нем вопросы.

Анна Кирилловна опять была беременна. Со дня на день ждали родов. Петька слышал об этом разговоры и приставал к матери с расспросами, откуда берутся маленькие.

Она взяла руку сына, приложила ее к своему животу, спросила:

— Слышишь, как толкается? Там маленький ребеночек сидит и растет, а когда вырастет — родится.

— Как же он оттуда выберется? — недоумевал Петька.

— Живот разрежут, вынут ребеночка, а потом хорошенько зашьют, — объяснила мать.

Петька поверил, только сильно огорчило его, что живот надо резать. Было очень жалко мать, которой будет так больно.

У Петьки был перочинный ножик, и, строгая палочки, он частенько ранил себе пальцы. Если он не плакал при этом, то только потому, что знал — мальчишке стыдно хныкать. К тому же он боялся, что ножик после этого отнимут.

Когда Петька сильно ушибался и начинал реветь во весь голос, достаточно было назвать его «девчонкой», чтобы он, глотая слезы, тотчас же умолк. Дрался он частенько и знал, что только девчонки имеют право плакать, а для мальчишки это — срам.

Уличный обычай запрещал бить и обижать девчонок. Связываться с ними считалось величайшим позо-

ром. Всякий, нарушивший это правило, жестоко высмеивался, а иногда получал и зуботычину. Однако для Петьки зуботычина была не так страшна, как насмешки, от которых нельзя было защититься.

Да Петька и сам был далеко не безобидным. Отбиваясь от сестер, он пинался, кусался. Те при этом дразнили его злым волчонком и жаловались на него матери. Но ни розги, ни уговоры матери не могли отучить Петьку кусаться. Он защищался как мог, если чувствовал свою правоту.

Анна Кирилловна, которая так боялась всякой физической боли и которую в детстве ни разу не секли, поначалу считала, однако, наказание чуть ли не лучшим средством воспитания и порола детей нередко, причем делала это искусно. Сначала вытянет из березового веника пучок тонких гибких прутьев, потом спустит с провинившегося штаны и, постепенно распляясь, обычно бьет долго и больно. В конце экзекуции «преступник» должен был просить прощения.

— Ну, проси прощения! Говори, что больше никогда не будешь! — требовала Анна Кирилловна.

Петька обычно молчал, и его пороли второй и третий раз, чтобы вырвать наконец злобное: «Не буду».

Когда его отпускали, он убегал и прятался, как зверек, в какой-нибудь укромный уголок и там, весь дрожа, поглядывая на свои руки со вздувшимися кровавыми рубцами, — руками он прикрывался от ударов, — плакал от боли и обиды. Сердечко его буквально разрывалось от горя: «Небось сама бьет тарелки и горшки, а ее никто не порет! — думал тогда он. — А я отбил только ручку от чашки, и она уже рада всю шкуру спустить... Вот пойду на Волгу да утоплюсь!» Но утопиться ему ни разу не пришлось собраться, всегда в последнюю минуту становилось очень жалко себя, веселых игр с мальчишками, близкого обеда.

— Петюшка! — раздается голос матери. — Иди обедать!

На зов никто не откликается.

— Иди, Петюшка! Щи остынут! — зовет Анна Кирилловна, и голос ее звучит мягко и виновато.

Петька начинает понемногу смягчаться, ему давно уже хочется есть, но он упорно отмалчивается.



— Поди-ка, Саша, посмотри, заснул он там, что ли? — говорит обеспокоенная Анна Кирилловна.

Прибегает сестра:

— Петька, иди! Тятя на обед не придет, у него литье! А у нас сегодня щи с белыми грибами. Вкусные!..

Петька сердито сопит.

— Мам, он злится! — кричит девочка и убегает.

— Ну, и пусть его злится! — ворчит Анна Кирилловна.

Проходит минута, другая...

— Иди, что ли, Петюшка! — зовет мать снова. — Ишь, не откликается! Ну что же! Губа толще — брюхо тоньше! Возьму вот да уберу со стола, и оставайся голодным! — говорит Анна Кирилловна, но как-то неуверенно, и Петька снова слышит в ее голосе виноватые нотки.

«Вздула и жалеет», — думает он и почему-то вспоминает ласки матери.

Сердечко Петьки окончательно смягчается, но к столу он все-таки не идет. Ему стыдно.

Наконец мать не выдерживает, сама приходит к сыну, гладит его рукой по голове и говорит нежно, со слезами в глазах:

— Иди, милый, поешь!

Грудь Петьки разом заливают горячая волна, в горле что-то щемит, ему опять хочется плакать, и он смутно чувствует какую-то вину перед матерью.

ГЛАВА III

*рассказывает о Петьке,
который геройски отстаивает свои права
перед уличными мальчишками, и о необычных
уроках вежливости, преподанных взрослыми*

После обеда Петька идет гулять на двор. Восемилетний губошлеп Ванька Шкунов почтительно снимает перед ним картуз и низко кланяется.

— Петру Андреичу! Наше вам почтение! В баньке-с изволили быть? — спрашивает он язвительно. — С легким-с паром, ваше степенство-с!..

Мальчишки смеются, а Петька готов от стыда провалиться сквозь землю.

— Чем пороли? — деловито спрашивает девятилетний Колька Лодкин.

— Чего пристал? Сам знаешь, чем порют!.. — огрызается Петька.

— Да ты что злишься? Я тебя порол, что ли? — презрительно тянет Колька. — У нас дома розгами только девчонок да самых маленьких секут. Разве это порка? Меня отец дерет как сидорову козу. Ремень у него толстущий!..

Колька испытующе смотрит на Петьку. Но тот только сопит молча. Не зная, чем еще уколоть товарища, Лодкин изрекает:

— ...А ты визжишь как резаный поросенок!

— Как резаная крыса! — парирует Петька.

Все хохочут. Кольку дразнят крысой, и он давно к этому привык, даже отзывается на «крысу» как на свое имя. Но слово «резаная» кажется ему до крайности оскорбительным, и, желая хоть чем-нибудь насолить Петьке, он кричит:

— А ты... маленький! Тебя секут как девчонку!

— Вот я тебе дам девчонку! — наступают злой Петька, который, несмотря на свои неполные семь лет, выше и шире Кольки.

— Тронь, тронь! Да рубашку изорви! — кричит тот. — Мало тебя секли? Вот скажу твоей матери, так она тебя еще не так вспорет!

— Иди жалуйся, ябеда! — сразу же остывает Петька. Он хорошо знает, что ждет его дома за драку.

— А меня мать бьет по морде! — говорит Яшка. — Кы-ы-ык даст, так я с копытков долой!

Восьмилетний Яшка — сын садовника, и ему разрешают собирать в господском саду падалицу. Он выменивает червивые яблоки на окурки папирос, куски белого хлеба. Когда мать отпускает Петьку с кузнецами купаться на Волгу, тот ловит на плотках между бревнами сомят и приносит их Яшке, за что тоже получает полный карман яблок...

— Идемте, братцы, в скрадину играть! — предлагает Митька Сальников.

Все гурьбой бегут на соседний дровяной двор, где сложены в штабеля бревна и доски, стоят пахучие срубы домов. Прятаться здесь очень легко. Водить до-

стается Сальникову. Он считает себя большим, ему десять лет, и с маленькими играет редко. Малыши его не любят за то, что он часто их бьет.

Митька, конечно же, отводился очень быстро, теперь водить приходится Петьке. Он застучал Ваньку и пока идет в глубину двора искать Митьку, тот обегает кругом поленницы, подлетает к скрадине и стучит за всех.

Петьке приходится водить снова. И снова Митька выручает всех. Как ни старается Петька, но обогнать никого не может.

Петьку «запустили», он устал бегать и сердится. Наконец соображает, что надо делать: идет к самой ближней поленнице и из-за нее следит за другими.

Вот Ванька кого-то манит рукой. Петька выскакивает и видит за дальней поленницей голову Митьки, который тут же прячется.

Петька бежит к скрадине, стучит палкой и кричит: — Выходи, Митька, я тебя видел!

Митька не выходит.

— Выходи! Чего прячешься? Тебе водить! — снова кричит Петька и идет к поленнице, за которой увидел Митьку. Но тот опять бежит кругом поленниц к скрадине и успевает застучаться.

Подходит Петька, начинается спор:

— Тебе водить!

— Нет, тебе!

— Я тебя застучал, все видели.

— Нет, ты отводись, а в другой раз не суйся играть с большими.

— Велика фигура, да дура!

— Вот я тебе как дам... Играй по правилу! — кричит Митька и норовит ударить Петьку.

Но тот увертывается и что есть духу бежит к своему двору. Недалеко от дома его нагоняет Митька и пинком опрокидывает в грязь.

— Сало собачье! Сволочь! — кричит Петька и, схватив ком земли, бросает его прямо Митьке в лицо. Тот подбегает к калитке, но у Петьки в руках уже большой камень.

— Подойди, подойди! Тебе бы только маленьких бить. А нарвался на Ваську Пузыря, так коровой ревел.

- Ладно, попадешься! — грозит Митька.
- А ты играй по правилам!
- Ладно-ладно! Поймаю!
- А ну подойди!
- Брось камень, и подойду!
- И брошу... Не боюсь!
- А ну брось!
- Ну тронь! — хорохорится Петька и бросает ка-

мень...

В этот момент со двора доносится звонкий голос Оли:

— Пе-е-етька! Иди чай пить! Ма-а-ма зове-е-ет!

Петька с видом победителя медленно направляется к дому.

— Где это ты так перемазался? — встречает его Анна Кирилловна. — Поди умойся!

— Это я упал! — говорит Петька, идя к умывальнику. Про нападение Сальникова ни слова: «Скажи ей, так еще гулять не пустит».

Ночью Петька спит на полу, не раздеваясь, все в тех же штанишках и рубашке, в которых бегае́т днем. Постелью ему служит кусок старого войлока.

Рано утром он просыпается и видит, как отец, собравшись на работу, пьет чай на кухне из маленького самоварчика. Петьке тоже хочется пить. Он садится в постели и смотрит на отца.

— Петька! Иди чай пить! — зовет отец.

Петька мигом вскакивает и бежит на кухню. Самоварчик приходится наклонять, да и то наливается только одна чашка.

Петька явно разочарован.

— Еще хочешь? — спрашивает отец.

— Хочу! — с готовностью отвечает Петька.

— И отчего это, Анна, он так много пьет? — удивляется отец. — Нагрей-ка ему целый самовар. Интересно, сколько он сможет выпить?

Отец уходит на работу, а Петька, отдуваясь, пьет чай из вновь поспевшего самовара. Он уже давно расстегнул пояс у штанов, потерял счет выпитым чашкам, с него в три ручья льет пот, а он все пьет и пьет.

Анна Кирилловна начинает беспокоиться:

— Петька! Да ведь эдак у тебя брюхо лопнет.
— Ничего! — успокаивает мать Петька и просто-
душно добавляет: — Пуговицы у штанов я расстегнул,
чтобы не оторвались.

Наконец он напился, перевернул чашку вверх дном,
положил на блюдечко огрызок сахара.

— Пей еще! — неуверенно предлагает мать.

Но Петька решительно отказывается:

— Нет, теперь больше не могу! — и бежит снова
спать.

Когда Анна Кирилловна вымывает из самовара
оставшуюся воду, ее оказывается только одна чаш-
ка. Петька выпил целый самоварчик — двенадцать
чашек.

Обычно Петьке давали две маленькие чашечки
чая. Но он пил после этого воду из кадки. У него бы-
стро пересыхало во рту и в горле, особенно летом.
Мальчик не мог дышать через нос из-за насморка и
постоянно ходил с полураскрытым ртом.

Петьке без конца повторяли:

— Закрой рот! Ворона влетит!

И Петька закрывал рот с полной решимостью дер-
жать его закрытым, но тут же задышался и вынужден
был вновь его открывать.

— Дурная привычка! — говорили взрослые. — На-
до отучить его. Нос не высмаркивает!

Петьке было невыносимо стыдно, когда смотрели в
его раскрытый рот, и он так сморкался, что кружилась
голова, а сам чуть не падал в обморок. А взрослые, не
зная, как помочь, только смеялись. Некоторые даже
думали, что Петька в «дедушку» и рот открыт у него
от глупости.

Соседка Надежда Аполлоновна говорила матери:

— Вы уж, Анна Кирилловна, не обижайтесь! Сы-
нок-то у вас, наверное, дурачок! Всему верит. И рот
всегда раскрытый!

Говорила Надежда Аполлоновна медленно, страш-
но заикаясь, и при этом сильно трясла головой.

— Как хотите, Анна Кирилловна, а это вас бог на-
казывает за то, что в церковь не ходите.

Анна Кирилловна обиженно поджимала губы и го-
ворила кротким голосом:

— Посмотрим, как будет учиться. Он ведь еще мал. А вашего-то Ваню выгнали из школы, должно быть, за ум?

— Что вы? Разве можно моего сравнивать с вашим? — возмущалась соседка. — Мой зато все молитвы назубок знает!

Сестра Оля по осени пошла в школу. По вечерам она теперь учит уроки. Петьке нравится дразнить сестру.

— Как на тоненький ледок покатился пирожок, — читает Оля. Надо было прочитав «петушок», и она быстро поправляется.

— Как на тоненький ледок покатился пилзозок! — подхватывает Петька и много-много раз нараспев повторяет одно и то же. Ошибка сестры кажется ему забавной, и он то поет, то хохочет.

— Мама! Чего Петька дразнится! — жалуется Оля, и Петька на какое-то время оставляет сестру в покое.

Как только Оля научилась читать, она начала рассказывать Петьке прочитанные сказки, украшая их при этом и собственной фантазией. Брат очень любит сказки, но они наводят на него такой ужас, что он боится вечером выйти на двор. Ему теперь даже сны стали страшные сниться, и Петька дико кричит по ночам.

— Петюшка! Что с тобой? — спрашивает его тогда встревоженная мать.

— Я боюсь! — отвечает Петька, прижимаясь к матери всем телом.

— Читай богородицу! * — советует она.

Петька твердит непонятную молитву, но страх не проходит.

У деда Михаила стали сильно отекают ноги, и он пошел к доктору в городскую больницу. Вернувшись в Кошелевку, заявил жене, что «барин» запретил ему есть черный хлеб и велел перейти на молочную пищу:

— Надо молоцка, яицка, белый хлебца. Черный нельзя — сердцу жарко!

Андрей Михайлович, узнав о болезни отца, предложил взять его к себе, на что бабушка Елизавета только рукой махнула:

— Полно-ка, Андрей! У тебя и так семья большая! Пусть помирает. Кому он нужен?

Старик, однако, переселился к сыну на Набережную улицу. Понемногу он стал поправляться и даже принялся за работу — поначалу починил на всю семью обувь.

С переездом деда жизнь Петьки стала намного веселее. Дед делал для внука волчки, клеил ладейки, мастерил игрушки и даже сшил настоящие маленькие сапожки для Олиной куклы. Жили дружно. Только один раз мир был нарушен, и виновником того был Петька.

Во время обеда он, как обычно, сидел напротив отца, рядом с дедом. Редкий обед проходил, чтобы отец не подшутил над сыном. Только было Петька подцепил большую ложку горячих щей, как услышал:

— Петька! Смотри, сколько ворон на помойке! — говорит отец, с интересом поглядывая в окно.

Петька, забыв обо всем на свете, смотрит, как дерутся вороны и рвут друг у друга хлебные корки. А отец тем временем сыплет в ложку сына перец и кладет горчицу.

Вороны, вспугнутые собакой, разлетаются, а Петька, проглотив ложку остывших щей, начинает громко кашлять и чихать. Из глаз у него льются слезы. Все смеются над часто повторяющейся шуткой отца. Смеется и дед.

— Дурачка Петька! — говорит он.

— Ты сам дурак! — огрызается Петька и в тот же момент валится к деду на колени. В ушах стоит звон, в глазах потемнело. Это отец своей длинной рукой через стол треснул Петьку по уху.

Дед помогает подняться Петьке, но тот не может прийти в себя от неожиданности.

— Ешь щи, — сурово говорит Андрей Михайлович, — да помни, что отец мой не дурак!

Петька не плачет, молча глотает щи. Это первый удар, полученный им от отца. И он начинает понимать, что сделал что-то ужасное, если даже отец, который

его никогда не бил, решил ударить. «Заслужил! — думает Петька. — Нехорошо вышло!..»

Но Петька вовсе не сердится на отца, как не сердится и на отцовские шутки. Наоборот, он восхищается им за большой рост и силу, за то, что «много работает, кормит всех». Петька гордится отцом и считает его самым правильным человеком, только очень жалеет, когда тот хворает после сильной выпивки.

Андрей Михайлович часто, рассуждая о будущем любимого сына, задумчиво говорит жене:

— Не отдам Петьку на завод. Не хочу, чтобы он попал на такую же каторгу, как я. Буду учить!

ГЛАВА IV,

*в которой рассказывается об обеде
меднолитейного мастера, Петькиной «литейке» и
рыбалке на Волге*

На заводе литье, и отец не может прийти домой обедать. Анна Кирилловна снаряжает в дорогу Петьку. Мать дает сыну три глиняных горшочка, вставленные один в другой, завязывает их в платок. В верхнем горшочке щи, в среднем — гречневая каша, а в нижнем — сладкий суп с черносливом.

Когда мать наливает суп, Петька деловито советует:

— Наливай больше! Тятя любит!

— Смотри не пролей! — наказывает Анна Кирилловна. — А то оставишь отца без обеда.

— Не маленький! — с обидой отвечает Петька и бежит из дома.

Он спешит. Хотя до завода и недалеко, но скоро должен быть гудок на обед. Дорога идет под гору, по длиннейшему пологому съезду*.

Протяжный заводской гудок раздается, когда Петька уже подходит к заводу. Работники толпой выходят из ворот. Люди черной цепочкой растягиваются до половины съезда, прежде чем мальчугану удастся войти в ворота. Сначала он идет по хозяйственному двору; где сложены железо, чугун, уголь. Потом через узкую калитку, откуда с обыском выпускают рабочих, попадает на завод.

Петька входит в токарную и идет мимо станков, мимо громадного точила в медницкую, а из нее попадает в литейную — высокое здание без потолка. Большие окна здесь черные от копоти, в воздухе, густом от пыли, чад жаровень, на которых просушивают опочки*, и тошнотворный запах от масляных ламп. Литейная пуста, и только Андрей Михайлович с двумя подручными расставляет формы для литья. Лицо у него тоже все черное, лишь зубы да белки глаз сверкают.

Отец замечает Петьку, неторопливо подходит к нему, берет обед, садится на ящик из-под свечей, расставляет горшочки. Перед обедом он выпивает рюмку водки, морщится, крикает, потом подносит по чарке подручным.

Пока отец ест щи с черным хлебом и гречневую кашу, Петька равнодушен, но когда очередь доходит до сладкого супа, он не может оторвать глаз от отца. Андрей Михайлович лукаво усмехается в усы. Супу остается все меньше и меньше. Петька не выдерживает, шумно, безнадежно вздыхает и отходит в сторону.

— Доедай суп, Петька! — говорит вдруг Андрей Михайлович и протягивает ему горшочек.

Петька помнит наставления матери и потому сначала отказывается:

— Ешь сам, тятя! Ты любишь! Я мамке сказал, чтобы больше наливала!

Андрей Михайлович весело смеется:

— Доедай, дурачок! Я уже наелся! Расти скорей!..

Уговаривать Петьку не приходится, он с наслаждением ест суп и с удивлением думает: «Самую-то гуцу и не доел!»

Когда суп доеден, мальчик решительно заявляет:

— Водку я пить не буду. Она горькая. Я лучше сладкого супу.

Мужики хохочут.

— Когда стану работником! — поясняет Петька.

— А водка-то слаще супа! — шутит Андрей Михайлович.

— Ну да! Сказывай! Только маленькую чарку выпил, а сморщился, как от перца с горчицей. Небось, когда ел суп, не морщился.

Отец и подручные снова смеются.

— А теперь смотри, как медь плавится! — говорил Андрей Михайлович, поднимая железную заслонку.

Плавильная печь устроена в вырытой в земле яме. Петька боязливо подходит к ее краю и видит внизу сильный огонь, на котором греется большой красный горшок. В него отец бросает связки оловянных прутьев и мешает их железной кочергой. Когда бронза готова для разливки, подручные вытаскивают длинными клещами раскаленный тигель*, вставляют его в железное кольцо с четырьмя ручками и наклоняют. Огненный металл течет в литники опок*. Потом в тигель снова бросают куски красной меди и осторожно, словно он стеклянный, опускают в печь.

Отец показывает Петьке отлитые краны и форсунки. Все это так интересно, что Петька, будь его воля, век бы отсюда не уходил. Но отец подает ему уже увязанные в платок горшки, ласково подталкивает к дверям литейной. У калитки его обыскивает сторож. «Как вора!» — возмущается Петька, оказавшись на хозяйственном дворе. Навстречу ему теперь несутся две громадные сторожевые собаки. Петька сильно трусит, прячет горшочки за спину, но идет не останавливаясь. Собаки перестают лаять, обнюхивают Петьку, провожая его до самых ворот.

Поднимаясь по длинному съезду, Петька думает, как хорошо бросать в расплавленную медь оловянные прутья и мешать металл железной кочергой, отливать красивые штучки и есть каждый день сладкий суп.

Дальше Петька думает, как бы самому устроить дома литье. Главная трудность в том, что негде плавить. И Петька решает отложить литье до зимы, когда начнут топить голландскую печку. Но припасы для будущего литья начинает делать уже сейчас: за кузницей в куче шлака попадают и старые ржавые гвозди, и маленькие кусочки железа, и обломки свинцовой обивки от пролетов и экипажей. Петька и раньше играл такими обломками, не зная им цены.

К первым холодам у Петьки уже много «олова» — так он называет свинец. Можно приступить и к литью. Он выбрал три большие кости, просверлил в них ножницами дырки и поставил в железной ложке на раска-

ленные угли плавить свинец. Решил сделать налитки для игры в кон.

Жидкий металл Петька попытался было залить через дырку в кость, но он, свистя, плюясь, со страшной силой вылетел обратно, забрызгал мальчишке руку. От боли тот даже ложку выронил. На указательный палец прилип кусочек свинца величиной с желудь. Обжигая пальцы, Петька с кожей отодрал его, замотал тряпкой рану, но литье не бросил.

Теперь Петька держит кость, как в клещах, за концы длинных лучинок и металл льет осторожно, тонкой струей. Кость при этом уже не плюется, а только злобно фырчит. «Ишь, фырчит! Как кошка! — думает Петька. — И отчего это она начала плеваться? Должно быть, дырка мала?» Мальчик старыми ножницами увеличивает дырку у второй кости.

Постукав ею для порядка о пол, Петька неожиданно для себя извлек из нее целый кусок ссохшегося костного мозга. «Должно быть, от жиру и плюется», — понял он. Захватив вторую кость в деревянные клещи, Петька льет в нее свинец медленно, и кость уже только шипит. «Жир кипит!» — заключает Петька.

Третья кость залита также благополучно. Теперь Петька мастер по «налиткам».

«Ишь, до кости руку прожог и даже не пискнул... Я, брат, тоже работник буду!» — с гордостью думает о себе Петька.

На какое-то время литье становится любимой его игрой. Научившись делать налитки, он отливает потом в деревянном ящике с землей свинцовые молоточки. Модель Петька вырезал из куска дерева перочинным ножиком, а чтобы получить отверстие для ручки, втыкает в середину формы тонкую обугленную палочку.

— Все молоточки делает! Должно, слесарем будет! — посулила как-то бабушка Елизавета, пришедшая в гости.

Андрей Михайлович собирается на рыбалку. У него завтра свободное воскресенье, и он готовится с вечера: осматривает удочки, поручает Анне Кирилловне замесить прикормку, а Петьке накопать червей.

— А ты, Петька, хочешь со мной на Волгу? — спрашивает он сына.

— Хочу, тятя! — радостно отвечает Петька.

— Только смотри, рано вставать надо! В три часа разбуджу. Встанешь?

— Встану, тятя! — с готовностью обещает сынишка.

— Ну так марш скорей спать!

Разбуженный утром матерью, Петька мигом вскакивает на ноги, трет кулаками глаза, которые помимо его воли слипаются, и только после умывания окончательно приходит в себя. Анна Кирилловна уже приготовила самовар, и сын с отцом пьют чай, а потом забирают свои удочки и идут к Волге.

Там, за широкой рекой, далеко за лесами, появляется кровавое зарево, которое разгорается все сильнее и сильнее.

— Пожар! Леса горят, тятя! — беспокоится Петька, указывая на восток, где Волга, делая поворот к югу, исчезает из глаз.

— Эх ты, дурачок! Это заря, солнце всходит! — покровительственно улыбается Андрей Михайлович. — Надо торопиться, а то прозеваем клев, — и он прибавляет шаг, так что Петька теперь вынужден почти бежать за ним.

— Чай, заря бывает вечером, — продолжает сомневаться Петька. — А вон и дым!..

— Это не дым, а туман, — терпеливо поясняет отец. — Вставал бы, как я, рано по утрам, каждый бы день видел восход солнца!

Пришли к реке, устроились на плотках, закинули удочки. Петька теперь и сам понимает, что ошибся: краски светлеют, и из-за леса показался краешек малинового солнца, от которого мальчишка не может оторвать глаз.

— У тебя клюет, Петька! — вдруг раздается окрик отца. — Тяни скорей!

От неожиданности Петька даже растерялся. Он видит, как поплавок тянет против течения, как тот упорно исчезает под водой, но руки онемели, и, несмотря на сердитые понукания отца, он забыл, что надо дельать, когда клюет.

— Тяни, упустишь!

Петька наконец дергает удилище. Сначала ему кажется, что крючок задел за дно. Тоненькое можжевельное удилище гнется, потом леска сразу выскакивает из воды, — на конце ее лишь крючок с объединенным червяком.

— Сорвался! — говорит он с сожалением. — Должно быть, сом был? Большой!

— Я ж тебе кричал — тяни! Вот и прозевал. А был крупный окунь! — сердится Андрей Михайлович.

— Нет, это сом, тятя! — настаивает Петька.

Над водой туман. Тянет легкий ветерок, и Петька ежится от холода.

— Что, брат, озяб? — спрашивает отец. — Ну ничего! Вот солнце поднимется повыше, и сразу станет тепло.

Он не договаривает, широко раскрывает глаза и взволнованно шепчет:

— Клюет, клюет! Тяни!

Петька дергает. Он чувствует, что попалась рыба, но вытащить ее с первого рывка не может. Тянуть же сильнее боится — вдруг опять сорвется. Отец не выдерживает, сам тянет удилище, и, сверкнув на солнце красными плавничками, крупная серебристая плотвичка звучно шлепается на берег.

— Молодец, Петька! Поймал! — хвалит он сына.

Солнце взошло. Припекает. Но клев еще хороший, и Андрею Михайловичу везет. Петьке же никак не удается подсечь рыбу вовремя.

Однако постепенно клев слабеет. И мальчик теряет к рыбалке интерес. Он пригрелся на солнце, и ему хочется спать.

— Сматывай лесу! Пора домой! А то и к обедне опоздаем! — поднимается Андрей Михайлович.

Отец с сыном потихоньку взбираются на высокую гору. Петька мечтает о том «соме», который сорвался у него с крючка. Дома Андрей Михайлович рассказывает, как сын поймал плотвичку и чуть было не подсек большого окуня.

— Сом! — уверенно поправляет Петька.

Все, конечно, смеются.



— Ты, Анна, зажарь ему отдельно на сковородке его рыбу! — добродушно предлагает Андрей Михайлович.

Анна Кирилловна треплет вихор сына, ласково спрашивает:

— Да неужто, Петюшка, ты сам поймал такую?

— Сам, мама! Тятя ее только из воды вытащил! Я в другой раз сома поймаю! — твердо обещает Петька.

Отец уходит в церковь к обедне, а Петька ест жаренную с яйцом рыбу, сладко жмурится от одолевающего сна. Потом он спит, и ему снится прыгающий поплавок и большой, искусно им подсеченный сом.

ГЛАВА V,

*из которой узнаем
о таинственном хождении Петьки в Печеры,
рождественском сочельнике
и неожиданной смерти отца*

Зима. Отец по случаю рождества дома. Кончился долгий пост, и семья пирует. Петька с нетерпением дожидается обеда. Он знает, что будут мясные щи и жареный поросенок, начиненный гречневой кашей. Ему после бесконечных супов с сушеными грибами очень хочется мяса. «Жалко, — думает он, — что рождество бывает только раз в году!»

Насладившись обедом, Петька отправляется в село Печеры*. Ему наматывают на шею платок, в котором завязано три рубля — подарок для бабушки Елизаветы.

На улице мороз щиплет за нос и за уши.

Есть два пути в Печеры. Один длинный — кругом оврагов, по отлогому съезду от Креста — так называется часовня, построенная на верху горы. Другой путь короткий — через Бельскую гору, овраги и быстро текущий незамерзающий ручей. «Пойду Бельским», — решает Петька.

Гора крутая. Ступеньки, вырубленные в затвердевшем сугробе, занесены снегом и превратились в узкую укатанную тропу. Петька, не раздумывая, садится и быстро скатывается на дно глубокого оврага. Потом

смело переходит ручей через хлипкий мосток в две доски и заходит на колоду пить. На десять сажен один от другого стоят два сарая, в которых устроены колоды для полоскания белья. На эти колоды ходят с окраины города и из слободы Кошелевки. Вода здесь прозрачная и одинаково холодная как зимой, так и летом. Напившись, Петька не спеша идет узким кривым переулком, также не спеша поднимается в горку по узкой кривой улице к дому бабушки. Ему нравится быть самостоятельным, и потому он не торопится.

С улицы дом выглядит как большой сугроб. Низкая крыша почти вровень с дорогой, и только торчащая из снега труба подтверждает, что здесь человеческое жилье. Верхняя улица соединяется с нижней крутой горой. Вот в эту-то гору и вкопан бабушкин дом. Петька спускается по обледенелой лесенке, а потом через узкую щель проходит в сени.

Вид у бабушки, как и у всех домочадцев, праздничный: все в лучшем платье, прибраны и, может быть, именно от этого кажутся Петьке ужасно неинтересными. Для него настает самый неприятный момент — надо со всеми перецеловаться. Он торопливо проделывает эту церемонию, поспешно отдает бабушке деньги. Она же одаривает его пяточком, угощает студнем и чаем с пирогом. Петьке очень хочется поскорее удрать: односложно отвечает он на вопросы о здоровье отца, матери и сестер, нетерпеливо ерзает на лавке.

Напившись чая и отогревшись, Петька благодарит за угощение, с облегчением прощается и уходит. На морозе ему сразу веселее. «И почему они все такие скучные?» — удивляется Петька. Он вспоминает, что по будням, занятые своей обычной тяжелой работой, они все гораздо веселее.

Теперь нужно поздравить сестру бабушки и ее троих детей. Бабушка Наталья тоже базарная торговка сбойми, грибами, ягодами и чем придется. Дети у нее взрослые — дочь девица и двое женатых сыновей. Старший сын Николай живет в отдельном доме, а младший Иван и дочь Евгения — у матери.

Дети у бабушки Натальи от разных отцов. Бабка поднимала их одна и немало лиха хлебнула с ними, особенно с сыновьями, стыдившимися своей матери. Много горя пережили и дети из-за нее, много пролили они слез от обиды за мать и без конца дрались, защищая ее от худого слова. Поэтому, наверное, и росли они нервными, раздражительными, озлобленными и часто ссорились между собой.

Сестра корила старшего брата за пьянство и за то, что он не хочет помогать матери, а он зло высмеивал ее некрасивое лицо и пресерьезно читал ей из Апокалипсиса *:

«В лето 1885 от рождества Христова дочь девки, старая рябая девка Енька Болотова, зачнет от сатаны во чреве своем и будет носить три года и три месяца, и на погибель всему роду человеческому родит антихриста. Сие поведал мне ангел, и приложена печать 666, число звериное».

Евгению замуж никто не взял. И не столько из-за ее рябого лица, сколько из-за дурной молвы: у нее тоже были свои грешки. К тому же она была не в меру религиозна и приходила в страшное отчаяние от наемешек брата, готовая верить, что он действительно читает пророчество о ней.

Младший брат допивался до белой горячки и тогда бил всех, кто ни попадет под руку.

Но бывали времена, когда в семье царил мир. Вот в такое время и пришел к ним на этот раз Петька. Те же поцелуи, чай с молоком, пирог, семечки, расспросы. Но кроме этого еще игра в карты, которая длится часами. Женщины рассказывают о своих странствиях по святым местам, об угодниках и храмах.

Петьке опять нестерпимо скучно, и он уходит в тот момент, когда, по его мнению, все приличия уже соблюдены.

Придя домой, Петька привязывает к валенкам деревянные колодки вместо коньков и идет на улицу веселиться от души вместе со всей детворой. А вечером сестра Оля снова рассказывает страшные сказки, и Петька обмирает от ужаса, но готов слушать их часами.

Наступает крещенский сочельник. Отец приходит домой в первом часу дня — работа на заводе по случаю праздника закончена с обеда. Петьку посылают в церковь за «святой водой».

В церкви толкотня, давка. Молитвенного настроения, когда бывает так скученно, у людей нет и в помине. Все пришли по делу — «за святой водой».

Хотя этой воды большой чан, но всякий, опасаясь, что вдруг ему-то ее и не хватит, лезет вперед. Возгласы, крики, звон разбитой посуды. Священник «святит» воду, погружая в нее серебряный крест, потом брызжет на толпу кропилом, напоминающим кусок конского хвоста. Последнее Петьке особенно нравится: в маленькой церкви страшная духота, и так приятно, когда холодные капли воды попадают на разгоряченное лицо.

И вдруг Петьке приходит мысль, от которой он даже прыснул со смеху: «А что, если опустить крест в нужник? Будет ли он тоже святым?» Но тут же и испугался, опасно посмотрел в купол на громадного бога Саваофа *. «Еще обозлится, сволочь!» — думает Петька, стараясь спрятаться за толстую тетку. Но тотчас пугается своей непочтительности еще больше: «Обругал самого Саваофа. Теперь меня попы сто лет будут клясть, как Стеньку Разина!» *.

Дома он рассказывает о давке в церкви, о разбитых бутылках, но о своих мыслях благоразумно умалчивает. «Мать обязательно выпорет!» — знает он.

В ночь на крещение *, говорят, черти могут свободно приходиться в дом через двери, окна, форточки, печные вьюшки, поэтому над ними и ставят мелом кресты. Петька очень боится чертей и заботливо все осматривает, дорисовывает кресты там, где их, по его мнению, не хватает.

А сестры в это время гадают. Они льют растопленный воск в воду, следят за тем, что получается: если церковь — жди близкую свадьбу, если гроб — смерть. Рассказывают страшные истории о гаданиях. Петька слушает их, и сердце щемит у него от страха.

Сестры уходят на улицу спрашивать имена прохожих мужиков, а Петька торопится лечь и крепко прижимает к себе младшего братишку, вместе с которым спит. Он знает, что всякий человек до семи лет счи-

тается невинным младенцем и нечистая сила не имеет над ним власти. Правда, ему и самому еще нет семи лет, но он был непочтителен к богу и потому думает, что теперь нечистая сила имеет над ним власть.

На другой день Петька идет на крещенскую ярмарку и возвращается домой с маленькими новыми салазками. Часть пути отец, к восторгу сына, везет его на этих салазках. Дома Петька не может дожидаться обеда, так ему хочется обновить подарок. На праздничный обед мать подает мясную лапшу, потом молочную гречневую кашу и студень. На время Петька забывает даже про свою обнову.

Но после обеда он опрометью несется в Печеры к бабушке, чтобы покататься там с горы.

На узкой, с крутым подъемом улице, имеющей вид желоба, катаются все. Гора обледенела и сильно укатана. Санки несутся быстро, а поэтому между ними полагается расстояние сажен в десять, чтобы катающиеся не подшибали друг друга. Но по случаю праздника катаются и взрослые парни, которые для потехи гонятся за другими. У них специальные санки с железными подрезами, которые катятся намного быстрее обыкновенных.

Когда они нагоняют и бьют в задок передние санки, их седоки с визгом летят в сугробы, что по бокам укатанной улицы. Всякое крушение встречается дружным смехом собравшихся на горе. Подшибли и салазки Петьки. На половине горы его настигли большие санки с подрезами. Удар был такой силы, что мальчик даже перелетел через сугроб и упал затылком прямо на обледенелый тротуар.

Очнувшись, Петька увидел себя окруженным людьми, услышал возмущенные голоса:

— Подлецы! Нашли кого подшибать! Маленького! Так и убить можно!

Петька хотя и не согласен с тем, что он маленький, но подняться сам на ноги не может. А когда ему помогают встать, снова падает.

— Не троньте! Пусть отлежится! — говорит кто-то.

Наконец Петька поднимается, но тотчас же подступает сильный приступ рвоты. Мальчишка в каком-то полуобморочном состоянии: голова сильно кружится,

в глазах темные круги. Еле передвигая ноги, не оборачиваясь, он молча уходит домой.

Идет кругом оврагов, через отлогий съезд у часовни. Добравшись до дома, почти замертво падает в постель. К вечеру у него высокая температура, мать протирает его уксусом, ставит на шею горчичники, прикладывает ко лбу тряпку, смоченную холодной водой.

На все вопросы сын отвечает односложно. Анна Кирилловна плачет, кого-то ругает. Петька этого не понимает.

У него нет зла на лихачей и через несколько дней, когда он совсем уже оправился от удара.

После крещения Андрей Михайлович запил. Пил целых две недели, потом слег и уж больше не вставал до самой смерти. Умер он от паралича сердца *. Перед смертью позвал Петьку и, не глядя на сына, строго наказывал ему не пить водки, от которой погибал теперь сам.

На похоронах отца Петька не плакал. Зато у Анны Кирилловны лицо распухло от слез, и она без конца причитала:

— Миленький, Андрюшенька! Как я без тебя жить-то буду?

Петька жалел мать, но в ее горе чувствовал какую-то еле уловимую фальшь *, и невольно в нем выросло к ней неприязненное чувство. «Только себя жалеет! — думал Петька враждебно. — Наверное, тятю-то ей не жалко! А его черви будут грызть, в могиле будет темно и холодно, нальется вода...»

При мысли об этом Петьке становилось жутко. «И зачем это люди покойников мучают? — думал он. — Небось, сами-то оденутся потеплее! Им тепло и сухо, а покойник мерзни. Вот он и злится, вылезает из могилы и пьет кровь маленьких детей, чтобы согреться».

Но странное дело! Петька, так трепетавший при одном слове покойник, почему-то не боялся мертвого отца. «Кто-кто, а уж тятя-то не станет безобразничать! — думал Петька с привычной гордостью. — Он сильный, он все стерпит...» — и серьезно прикидывал,

как долго придется терпеть мертвому отцу, пока черви не съедят его большое тело.

Хозяин завода пожертвовал на похороны Андрея Михайловича полтораста рублей. Часть этих денег мать заплатила доктору за лечение, остальные истратили на поминки.

Народу собралось много. Пили, ели, разговаривали, смеялись даже.

Специально для похорон были куплены громадные горшки и нанята повариха. Петька никогда еще не видал столько всевозможных кушаний. Тут и лапша, и жареная телятина, и пироги, и кулебяки, и кисели, и кутья, и вино... вино, вино! «Черти, а не люди! — враждебно думал Петька. — А еще живые! Тут тятка умер, а они пьют и жрут, смеются...» Он с отвращением смотрел на гостей, и в его сердце шевелилась злоба.

Все разошлись, а семья осталась без гроша.

ГЛАВА VI

*рассказывает о сиротской жизни Петьки
и его героических попытках
улучшить свой характер*

Мать пошла в заводскую контору и слезно просила хозяина не оставлять сирот без хлеба. Хозяин смилостивился и за двадцатисемилетнюю работу Андрея Михайловича назначил многодетной вдове пособие — пять рублей в месяц. Хотя и маленькая это была помощь, но мать и за нее отвесила низкий поклон.

Горе сковало семью. В доме стало непривычно тихо — разговаривали и то вполголоса. Больше всех горевал старый дед. Плакал он почти беззвучно, и только его любимец Петька мог разобрать причитания.

— Антрюшка! Зачем помре? Мне надо помре... Я старичка!..

Теперь деду пришлось вернуться домой, к жене, и на старости лет снова заняться сапожным ремеслом, снова мучиться от своих болезней, которые усилились от непосильного труда и грубой пищи. Старик просил

молока, белого хлеба, но Елизавета Андреевна только отмахивалась от него:

— Отец у нас барин! Не может кушать черного хлеба!

Семья Заломовых уменьшилась на два человека, но осталось семь ртов*, а скоро у Анны Кирилловны должен был родиться еще один ребенок*. Из флигеля пришлось перейти на маленькую квартиру. Нужно было кормиться, одеваться, нужны были дрова, нужны были тетради, карандаши и перья для учившейся Оли.

Жизнь наступила тяжелая. Оле пришлось бросить школу. К счастью, старшие — Лиза и Саша — уже прошли все три класса церковноприходской школы и на очереди был пока один Петька.

Анна Кирилловна, едва оправившись от потери, занялась шитьем, стоившим очень дешево. Дочери тоже работали как могли — стирали по найму, носили воду, шили. Но что они могли заработать? Себе на хлеб... Нужда подступала все ближе.

Старшая дочь Лиза, которой уже было пятнадцать лет, поступила к полицейскому приставу белошвейкой. Но через полтора месяца сбежала от любовных приставаний хозяина. Его жена наняла было в кухарки рябую и кривую девку, но та забеременела от барина, и Анна Кирилловна за вознаграждение в три рубля отвезла «дворянское дитя» в Московский воспитательный дом. И долго после этого не решалась отпускать дочерей в люди. Говорила: «Уж лучше им голодать дома, чем быть опозоренными на стороне».

Младшим в семье жилось все-таки сытнее: хлеб Анна Кирилловна делила на равные доли. На обед все получали по одинаковому кусочку хлеба, ели из общей глиняной чашки жидкую кашицу. Семь ложек мелькают в воздухе, и кашица быстро-быстро убывает. Чашка уже пуста, и все знают, что больше ждать нечего, но вылезать из-за стола не хочется, и все продолжают молча сидеть. Мать, скорбно вздыхая, встает первая.

Петька торопливо крестится на икону, бежит на улицу. Он легко переносит недоедание. Когда ему особенно хочется есть, он потихоньку от матери собирает на помойках заплесневелые корки, моет их в кадке с

дождевой водой и съедает. Дома Петька соскребает со стенок горшка присохшую кашу, а бегая по оврагам, выскивает съедобные, по понятиям уличных мальчишек, растения: дикую редьку, щавель, лук. Любит Петька лакомиться и цветами пунцового клевера, который в изобилии растет по откосу набережной.

Правда, приятели Петьки лазают еще по садам за яблоками, но сам он всякий раз от набегов отказывается. Вот за это его и прозвали трусом. Вообще-то кличка очень задевает самолюбие Петьки, тем более, что он и сам считает себя таковым, потому что боится всякой «нечисти» и привидений. Но за яблоками он не лазит вовсе не потому, что боится.

Просто Петька давно уже решил, что никогда не будет вором. Ему кажется, что стоит украсть раз, чтобы на всю жизнь стать бесчестным человеком. Иногда, заглядывая через щель в ограде в сад, который примыкал ко двору, он деловито прикидывал: «До того двора сорок сажен. Перелезть забор — одна минута. Можно выследить, когда садовник уедет за кучера, старший сын Ванька — в ученье, младшему Яшке можно дать по зубам, а мать его толстая — не побежит.

Трус!.. И совсем-то не страшно! Лезь как в свой карман. Никто не увидит и не узнает... Нет, не полез!» — Петька отходит от забора.

Но однажды Петьку все-таки обозвали вором, и сделала это его мать.

Часть громадного двора была сдана под склад песка. Петька вместе с другими ребятами целыми днями копался в нем. Как-то он заметил, что через высокий забор владельца механической лесопилки Грибкова свешиваются ветви вишен.

— Ишь, сам лезет на чужой двор! — возмутился хапугой Петька. — Мало ему своего сада! Вот оборвать все ягоды! Раз ветки у нас — значит, и вишни наши!

Не долго думая, Петька и четверо его друзей забрались на забор. Сорвав штук по пять зеленых еще вишен, принялись играть ими вместо камешков.

— Ишь какой! Насажал около самого забора, чтобы задарма чужим двором пользоваться! — распаялся Петька. — По закону еще и ветки надо все пообрубать.

О законах Петька ничего не знает, но убежден, что богач Грибков влез на чужой двор со своими вишнями нечестно.

— Петька, иди, мама зовет! — неожиданно раздаётся крик Ольги.

Петька прерывает игру: «Верно, в лавку», — думает он. У него всегда бывают столкновения с сестрой из-за лавки. Когда мать посылает ее за хлебом, она ссылается на Петьку, и тот, недовольно ворча, отправляется в лавку Нищенкова.

Вообще-то Нищенков самый дальний лавочник, но мальчик знает, что только к нему можно идти без риска, так как он всегда отпускает хлеб с довесками. Мать разрешает «за ходьбу» съесть довесок, если таковой окажется.

— Ты что же это! Воровать вздумал? — встречает сына грозным окриком мать.

— Что воровать? — переспрашивает Петька в полном недоумении.

— Думаешь, я не видела, как ты лазил на грибковский забор.

— Я знаю, что видела, окна напротив! Но я ничего не воровал и ничего не ел! — уверенно отвечает Петька.

— А вишни?

— Они же зеленые. Разве их можно есть? Еще холера сделается!

— Да ты-то их рвал!

— Знамо, рвал! Вот они! — спокойно отвечает Петька, вытаскивая вишни из кармана.

— Как же ты говоришь, что не воровал? — все более и более горячится Анна Кирилловна.

— Не воровал! Я рвал с веток, которые на нашем дворе...

Штаны с Петьки все равно решительно спущены, и в воздухе свистят розги. «Не воруй! Не воруй!» — приговаривает Анна Кирилловна. Петька пронзительно визжит. Запыхавшаяся Анна Кирилловна заставляет Петьку просить прощения. У мальчишки сердце зашлось от жгучей боли, но он упрямо твердит, всхлиывая: «Я не воровал». И снова свистят розги, и снова отчаянно кричит Петька. А после порки, задыхаясь от обиды, продолжает настаивать на своем:

— Я не воровал, не воровал! Вишни на нашем дворе!

— Да и двор-то не твой! Бесстыдник ты эдакий! — говорит плача Анна Кирилловна. — Господи! Что же это такое! Хоть живая в могилу полезай. Отец никогда не воровал! А сын воровать учится!..

Мать горько рыдает.

— Ладно. Не буду... — бурчит Петька и убегает в темный чулан.

При упоминании об отце обида Петьки мигом прошла. Его охватывает мучительное беспокойство: «А что сказал бы отец? Неужто я вправду украл? Мать говорит, что двор не мой. Но хозяйка двора, тетя Саша, — сестра матери, значит, двор наш!..»

Вечером, когда стемнело, Петька идет к грибковскому забору и, перебросив через него пять зеленых вишен, злобно шепчет:

— Нат! Подавитесь своими вишнями!

Петьке очень хочется обломать все «незаконно» свешивающиеся через забор ветки, но теперь он не решаетесь это сделать. Его понятие о законности слезы матери сильно пошатнули. «А вдруг им и вправду все дозволяется!» — думает он с тревогой.

На мать Петька совсем не сердится. «Она баба и законов не понимает! — размышляет он. — Считает, что я украл! А я не вор и никогда им не буду! Как тятя...» При воспоминании об отце тоска подступает к сердцу мальчишки, и он воет без слез, как волчонок. Тоска об отце настигает Петьку обычно по вечерам. Тогда он убегает подальше от дома, не в силах сдержать крик, рвущийся из груди.

Бегая по городу, Петька иногда встречается с бабушкой Елизаветой, возвращающейся с базара.

— Сиротка бедный! — говорит, всхлипнув, старуха и сует Петьке монету. — На-ка вот тебе семишник*! Купи себе калачик! Чай, есть хочешь?

— Спасибо, бабушка! — благодарит ее Петька и с восторгом бежит в калашный ряд, где продаются кислые, выпеченные из темной муки калачи.

Быть обладателем такого богатства для Петьки невыразимое счастье. Он ест калач медленно, отламывая по маленькому кусочку, стараясь продлить наслаждение. «Как жалко, что у меня брюхо большое! —

думает Петька.— Разве его набьешь? Тут надо не один калач, а штук десять!»

Дома Петька о семишнике и съеденном калаче не рассказывает. Ему совестно, что не поделился с маленькими. Однако он пытается себя уговаривать: «Разве я украл его? Мне бабушка одному дала! Четвертинкой все равно бы никто не наелся» — так Петьке хочется думать, но в сердце, словно червяк, шевелится сомнение, и почему-то стыдно смотреть на младшего братишку — Саньку-маленького, и на Настю, и на совсем еще крошечную Варю. «Им ведь тоже хочется! — думает он.— В другой раз вот, ей-богу, все принесу домой!»

Иногда Петька ходит к дяде Якову смотреть, как он шьет сапоги. Дядя Яков, когда есть в том нужда, посылает племянника с запиской на Верхний базар* за товаром. До базара версты полторы, но это мальчика не смущает. Он уже не раз бывал там у знакомого торговца и хорошо знает дорогу.

На улице Петька то и дело останавливается у кондитерских. Сначала на Большой Печерской*, где в витринах и конфеты, и аршинная часовня из шоколада, и хлеб с изюмом, и белые московские калачи. На Малой Печерской* Петька снова замедляет шаг перед другой кондитерской, которая еще богаче.

О шоколаде Петька знает только понаслышке. Конфеты также мало его интересуют. Но белый хлеб и колбасы особенно соблазняют Петьку. Всего этого попробовать ему, конечно же, не придется, но он доволен уже и тем, что можно совершенно бесплатно на все это глядеть.

Принеся из кожанной лавки товар, Петька обычно получает от Якова Кирилловича пятак за ходьбу. И тут Петька почти всегда оказывается в большом затруднении: что купить? О французской булке мальчик не думает: она, по его мнению, слишком мала, а стоит дорого. Петька выбирает между фунтом кренделей и полуфунтом колбасы и отдает предпочтение последней.

Придя в лавку Павла Павловича Лаврова, Петька зорко следит за его руками. Лавочника зовут Сосулькой за его жадность. «Дрожит как сосулька», — сказал

однажды дед Петьки, и название прочно приклеилось к Павлу Павловичу, который всегда ловко обвешивал: то с маху бросит товар на чашу весов и тотчас снимает его, то старается довести вес пальцем правой руки, а то подтолкнет чашу с гирями кверху пальцами левой. К тому же весы всегда специально заставлены всевозможными банками.

Но Петька знает все уловки Лаврова и заходит сбоку.

Вот лавочник кладет на весы колбасу и удерживает поднимающуюся чашу пальцем.

— Не тя-нет, Пал Палыч! — строго одергивает лавочника Петька.

Пал Палыч морщится. Рыжая борода мелко-мелко дрожит. Все лицо его искажается болезненной гримасой, и большие светло-серые бегающие глаза наливаются тоской. Значит, Пал Палыч нервничает. А нервничает он всегда, когда ему не удастся обвесить. Лавочник бережно отрезает еще один вершок колбасы и бросает на весы.

— С походом! — говорит он уверенно, решительно снимая колбасу.

— Не тянет, Пал Палыч! — упорствует Петька.— Ты мне не пальцем, а колбасой доведь! Чай, я тебе деньги плачу. А то к Иван Максимичу пойду!

С шумным вздохом лавочник отрезает еще полвершка колбасы, и чаши весов наконец останавливаются в равновесии. Когда нужно, Сосулька работает артистически, не давая ни малейшего похода.

Петька расплачивается, забирает колбасу и уходит. «Ишь какой! Чуть было на полтора вершка не обвесил!» — возмущается Петька.

Колбаса тонкая, из худшего сорта мяса, а поэтому сильно сдобрена чесноком. У лавочника Ивана Максиминовича, который никогда не обвешивает, дешевая колбаса тоже из отбросов мяса, но из отбросов свежих, зато и стоит не десять, а двенадцать копеек фунт. Вот поэтому-то и не пошел к нему Петька. Он плохой гастроном и ценит не столько качество, сколько количество. К тому же мальчик убежден, что колбаса и по десять копеек изумительно вкусна.

Выйдя из лавки, Петька первым делом засовывает колбасу за пазуху и идет с таким видом, будто у

него ничего нет. Уж чем-чем, а колбасой он ни с кем не хочет делиться.

Петька неуверенно идет к своему дому, по пути соображая, где бы ему съесть колбасу. Одна сторона двора завалена песком и спрятаться негде, но другая сплошь заросла лопухом и крапивой. Петька опасливо оглядывается кругом и решительно лезет в самую гущу. Крапива жжет лицо, руки, голые ноги, но он не очень обращает на это внимание.

В высоких зарослях лопухов он устраивает себе логово, устилая землю листьями. Руки и ноги у Петьки горят от укусов злой травы, зато мальчик чувствует себя здесь в полной безопасности, как тигр в джунглях. Он вытаскивает из-за пазухи лакомство. Вид двух колбасных обрезков приводит его в восторг. Он их отвоевал, а поэтому особенно ценит.

Петька сначала долго нюхает колбасу, глотая слюнки, потом начинает ее медленно есть вместе с кожурой. «Ведь чуть не наелся,— думает Петька, доедая второй довесок,— а он было обвесил!» Но наестся не так-то легко. И только съев последний кусочек колбасы, он впадает в блаженное состояние полной сытости: «Здорово! Ишь пузо-то как раздулось! До завтра жрать не захочу!»

Однако уже через два часа Петька с аппетитом глотает дома жидкую кашу, как будто никогда никакой колбасы и не нюхал. Угрызения совести на этот раз Петьку не мучают. «Они маленькие. Им вредно!» — думает он про братишку и младших сестренку. И не им это придумано. Так и про Петьку говорила когда-то мать.

ГЛАВА VII

*свидетельствует о том,
как изменчива фортуна Петьки
и как больно приходится ему расплачиваться
за чужие грехи*

Старшая сестра матери Александра Кирилловна замужем за машинистом волжского парохода. Зимой она живет в Астрахани, а с началом навигации приезжает с семьей в Нижний Новгород. Здесь у нее

двухэтажный каменный дом и два деревянных флигеля, доставшихся по наследству от умершего первого мужа*. Тетя Саша занимает верх дома из трех комнат. Низ дома разделен на две квартиры. В первой — комната и кухня, а во второй — одна комната, которую Александра Кирилловна и отдала сестре Анне бесплотно*.

Хозяйка дома добра, но очень вспыльчива. Она помогает сестре чем может: то сапоги Петьке, своему крестнику, купит, то подарит обноски мужа, из которых Анна Кирилловна смастерит сыну приличную одежду. Тетю Сашу Петька любит едва ли не больше, чем мать. Она щедрая и частенько балует его. Возвращаясь с базара, то кусок пирога даст, то горсть ягод.

От первого мужа у Александры Кирилловны одна дочь*, остальные дети поумирали, а от второго у нее два сына и дочь мужа — падчерица.

Старший сын Витя, любимец матери, на полтора года моложе Петьки, и тот считает его маленьким. Баловень семьи Витька донимает всех своими капризами. Он ужасный сладкоежка. От сластей у него даже зубы черные. Когда он требует шоколада, то ревет до тех пор, пока не добьется своего. Случалось, что Александра Кирилловна по три раза на день порола его, но в конце концов посылала кого-нибудь в лавку за шоколадом, иногда даже ночью.

С приездом Витьки для Петьки наступают хорошие времена: тетя Саша обычно привозит из Астрахани много сушеной воблы и целую сотню дарит сестре Анне, привозит вкусных пряников, а когда Витька просит есть в присутствии Петьки, то и ему обычно достается кусок хлеба или сушка, а в праздник — большой пряник. Сожалеет Петька лишь о том, что родственники приезжают не каждое лето.

По праздникам Петька с Витькой ходят на «обедню» к Андрею Васильевичу Обродкову. Это маленький плотный человек с сильно выдающимися челюстями, громадным ртом и толстыми губами. Он некрасив, но всегда весел, всегда добродушен.

Большую часть жизни Обродков проводит в губернской типографии, где работает печатником. Кроме того, он страстный любитель певчих птиц, которых ло-

вит и которыми торгует. Дома он делает птичьи клетки и силки на продажу, а в ночь на воскресенье обычно отправляется на рыбалку, и не было случая, чтобы вернулся без улова.

В церковь Андрей Васильевич никогда не ходит, зато у него дома есть собственноручно построенная модель церкви в полтора аршина высотой, с полным набором колоколов. В праздник хозяин зажигает в своей маленькой церкви все паникадила, свечи перед иконами и звонит в миниатюрные колокола.

Петька с Витькой постоянные посетители этой «обедни». Сквозь стеклянные окна домашней чудодеркушки видны фарфоровые попы в ризах и молящиеся прихожане, искусно вырезанные с картинок. Некоторые из них молятся на коленях, есть кладущие земной поклон, большинство же стоят в чинном благоговении или осеняют себя крестом.

Обродковская церковь строилась и украшалась годами и была во всех отношениях «настоящей церковью», что особенно поражало детвору. Маленький безобидный человек вкладывал в свес необычное увлечение всю душу, и это было, пожалуй, одним из наслаждений его убогой жизни.

Сосед Грибков на месте старого деревянного дома начал строить большой каменный, в три этажа. Все выше и выше поднимаются стены нового дома. Уже и леса возведены. Петьке здесь все интересно. Он строгает во дворе дранки для ладейки и присматривается к работе каменщиков.

Прибежала Поля, сводная сестра Витьки, позвала Анну Кирилловну. Петька заметил волнение ее, но спокойствие его этим не было нарушено.

— Петька! Иди наверх! Мать зовет! — сказала Поля.

— Чего ей надо? — ворчит Петька, прерывая работу.

— Узнаешь вот!.. — многозначительно тянет девочонка.

Петька поднялся на крыльцо. На середине большой лестницы, ведущей во второй этаж, заметил мать с бельевой веревкой в руках. Уже одно это показалось



ему подозрительным, но, не зная за собой вины, он доверчиво пошел навстречу матери. Только поравнялся с ней, как она схватила его за рубашку, с силой замахнувшись, больно ударила по спине.

— Не воруй сахар! Не воруй!

Напрасно Петька кричал: «Я не трогал! Я не трогал!» Град ударов обрушился на него. Петька уже и кричать не может и только хрипит, а мать все бьет и бьет...

— Стой, тетка! Ты пошто так бьешь? Али не родной,— вмешался старик каменщик, поразившийся жестокости наказания.

Анна Кирилловна перевела дух, выпустила руку Петьки, пожаловалась.

— У сестры моей сахар ворует!

— Ну, тогда следует! — поддержал ее старик. — Потуда его и учить, покуда поперек лавки лежит. А будет лежать вдоль лавки, тогда уж взятки гладки!

— Проси прощения! — сурово требует Анна Кирилловна.

— Я не трогал!

— Проси прощения! Опять пороть буду!

— Убей! — Петька с ненавистью смотрит на мать.

Но она уже выбилась из сил, с отчаянием машет рукой:

— Убирайся с глаз долой!..

Петька, растерзанный, бежит на помойку. Как звереныш прячется в крапиву и плачет там долго-долго от горя. Он забыл уже обо всем хорошем на свете, ему вспоминаются только одни обиды.

Сердце Петьки окаменело, и в нем нет оправдания матери. Мальчик вспоминает, как другие матери часами ругаются друг с другом, разбирая ссоры детей, и он сам видел, как дело иногда доходило даже до драки. «Да что там матери! — думает Петька. — Тронь кто чужой у собаки щенка, и та горло перегрызет!»

Проходят часы, а того чувства, которое еще недавно владело Петькой и размягчало сердце, все нет и нет. Светлая, по-детски беззаветная любовь к матери, кажется, убита навсегда. «Почему она не такая, как у других? — думает Петька. — Вот даже дедушка-каменщик и тот спросил: «Али не родной?»

Петька чувствует себя совсем осиротевшим. «Не настоящая, чужая...— плачет он от тоски по настоящей матери.— Как бы я... любил... настоящую-то».

Поздно вечером, вернувшись домой, Петька не решается взглянуть в сторону матери. Ему кажется, что она сразу поймет, что происходит в его душе. Много дней он избегает ее взгляда. Иногда ему хочется любить мать по-прежнему, но в сердце нет прежнего чувства.

Случайно Петька все-таки узнал, за что ему так досталось. Оказывается, Витька потихоньку таскал сахар из шкатулки. Александра Кирилловна заметила это, выследила и поймала сына, но тот заканючил, что воровал сахар не для себя, а для Петьки, слезно клялся: «Меня он научил!»

Петька старше двоюродного брата, и потому все особенно возмущены им: учит воровать маленького. Так беззаботный Витька взвалил всю вину на другого и избавился от порки. Петьке же Анна Кирилловна не поверила, а может, только сделала вид, что не верит. «Ишь, чуть не убила! И сознаваться не хочет, что понапрасну!» — возмущался Петька.

Но прощать он все-таки не разучился, и его враждебное отношение к матери скоро прошло: «Хоть и не настоящая, а все-таки мать!»

На Витьку Петька тоже не сердился: «Знамо, ему порки не хотелось!»

А жизнь так хороша и так весела! Мальчишки бегают в овраги играть в войну, играют в лапту, в догонялки, в скрадину, в городки.

Часто налетают грозы с ливнями. И тогда шумно несутся вдоль улиц ручьи и маленькие реки. Петька с Витькой и другими мальчишками, закатав штаны выше колен, с наслаждением шлепают по лужам, пускают в ручьи выдолбленные из толстой коры юркие кораблики с мачтами из лучины и парусами из цветной бумаги.

Местами вода скапливается в маленькие озера, и ребята, бегая по ним, поднимают фонтаны брызг. А то мальчишки устраивают морской бой и уже нарочно

окатывают друг друга теплой как парное молоко водой.

Петька, забывая про голод, восторженно радуется то грозовой туче, то оглушительным раскатам грома, то ослепительному блеску солнца, неожиданно выплывающему из-за разорванных облаков, уносящихся с бешеной быстротой в бесконечную даль.

В сумерки Петька выходит на Набережную и долго смотрит на зарницы, полыхающие за лесами Заволжья, которые сливаются где-то далеко-далеко с горизонтом. Петька думает, что это архангел Михаил* охотится за чертом и пускает в него огненные стрелы. Но черт недаром такой хитрый, всегда успевает увернуться, и стрелы падают на землю. Если такая стрела попадает в песок, то, остывая, она превращается в камень, похожий на палец.

Петька нередко находит такие камни на Волге после спада вешних вод. Мальчишки называют их «чертовым пальцем», но соседка Надежда Аполлоновна утверждает, что это не чертов палец, а остывшая огненная стрела. Петька всей душой сочувствует архангелу Михаилу и думает про увертливого черта: «Ах, кабы подержать его за хвост!»

Однако всего интереснее вечерами, когда начинают играть взрослые.

Собираются кузнецы, сапожники, рабочие с завода, несколько татар-старьевщиков. Они играют с таким же азартом, что и дети, а мелюзга с наслаждением следит за ходом игры:

— Вот так очкалил!

— Ничего себе!..

— Здорово треснул! Инда мяч из видов скрылся!

— Петька! Иди самовар ставить! — кричит в это время Оля.

— Опять самовар! Никогда не дадут досмотреть! — ворчит Петька. — И зачем я выучился ставить этот проклятый самовар!

Мальчишка, еле передвигая ноги, неохотно бредет домой.

После чая Петька идет спать в темный чулан, где, кроме него, спят Оля и Санька-маленький. Перед сном Оля рассказывает про аленький цветочек*. Эту



сказку она только что прочитала. Санька скоро засыпает, но Петька — весь внимание. Уже несколько раз утомленная Оля начинала было дремать, но Петька снова и снова тормозит ее:

— Оля! А дальше! Что же дальше, Оля?

И снова Оля тихим голосом рассказывает удивительную историю, давая волю своей фантазии. Сказка становится еще интереснее, еще длиннее. И Петька слушает, затаив дыхание. Но вот сказка окончена. Оля засыпает.

Петька же еще долго ворочается. Ему очень хочется стать героем удивительной, им самим сочиненной сказки. А еще лучше совершать что-то необычайное, какой-нибудь подвиг.

ГЛАВА VIII,

*благодаря которой
становятся известными обстоятельства
знакомства Петьки со «шкилетом»,
Зоей Владимировной и отцом Владимиром*

В конце августа Анна Кирилловна повела Петьку в церковноприходскую школу*. Петька не раз проходил мимо нее по пути в лавку, к Нищенкову. Теперь он приближался к двухэтажному деревянному дому с некоторой опаской. Он наслушался о школе много страшных рассказов и, войдя во двор, первым делом поискал глазами ту березу, с которой учитель срезает розги.

Увидел ветлы, тополя и вязы, но березы не было. «Наврали!» — с облегчением подумал он и уже смелее стал подниматься по лестнице во второй этаж, в класс. Но когда очутился перед настезь раскрытой дверью, страх подступил с новой силой.

У окна в классе стоял высокий, худой старик. На лице и голове его, обтянутой сероватой высохшей кожей, не было никакой растительности. Тонкие губы были едва заметны. Большие светло-серые, почти белые глаза были глубоко запрятаны под бровями и производили впечатление пустых глазниц. «Шкилет прямо!» — неприятно подумал об учителе Петька.

— Вот Алексей Алексеич, сынка к вам привела,— говорит, кланяясь, Анна Кирилловна и подает учителью Петькину метрику.

— Как зовут? — неожиданно громким, звучным голосом спрашивает учитель.

У Петьки даже дух перехватило.

— Когда учитель спрашивает, надо отвечать! — наставляет Алексей Алексеевич. — Учиться хочешь?

— Хочу,— чуть слышно выдавил Петька.

— Ну ладно, коли хочешь. Я тебя приму. Только смотри, сиди у меня смирно, а то я тебя... — Учитель грозит тонким и длинным пальцем.

«Шкилет, людоед!» — опять со страхом думает Петька и прячется за спину матери.

— Послезавтра пусть приходит с азбукой и аспидной доской,— заканчивает разговор учитель.

— Страшный шкилет! — жалуется Петька матери по дороге из школы.

— Дурачок ты! Он просто старенький! Ему уже за семьдесят, наверное! Когда состаришься, и ты таким станешь. Если будешь сидеть тихо и не будешь шалить, он тебя не тронет! — успокаивает сына Анна Кирилловна.

В назначенный день Петька, захватив букварь и аспидную доску сестренки Оли, отправляется в школу вместе с Петькой Обродковым, сыном Андрея Васильевича.

Пришли рано утром: Тут же во дворе познакомились с другими новичками. Когда раздался звонок, гурьбой повалили в класс. В знакомой Петьке большой комнате стояло два ряда парт, на восемь человек каждая.

Вошел сторож — высокий русский мужик с курчавой бородой.

— Которые новички, садитесь в сей класс, второклассники — направо, третьеклассники — налево, — скомандовал он и ушел.

Потом пришли Алексей Алексеевич и высокая, красивая девушка с продолговатым личиком и тонкой талией.

— Вас будет учить Зоя Владимировна,— сказал Алексей Алексеевич и, перейдя к старшим ученикам, вапел:

— Преподобный господи...

Ученики подхватили хором:

— Преподобный...

После молитвы Алексей Алексеевич закрыл дверь, новички остались наедине с учительницей.

Урок начался с того, что Зоя Владимировна пересаживала учеников по-своему: самых маленьких — вперед, самых рослых — назад. Петьке с первой парты пришлось передвинуться на одну из средних. После этого новичкам были преподаны правила поведения в школе, и учительница приступила к занятиям. Она показала и назвала пять букв, а потом перешла к слогам из этих букв. Петьке занятия грамотой понравились, и он с увлечением тянул вместе с другими звуки и слоги.

Несколько дней, пока все ученики не запомнили, класс учил буквы. Потом перешли от букв и слогов к целым словам.

Учительница, несмотря на свою внешнюю деликатность, бесцеремонно лупила шалунов квадратной линейкой по головам, а всех не выучивших задание ставила на колени или оставляла без обеда. И все-таки Петька радовался, что не попал к страшному «шкилету».

Правда, некоторые сорванцы, особенно кто из второгодников, дразнили учительницу за тонкую талию и злость «осой». Но прозвище не привилось. Петька, рассуждая об этом со своим соседом Корякиным, говорил:

— На что ей толстой быть? Чай, она девушка! Как царевна из «Иван-царевича»!

Во время урока Петька с восхищением рассматривает красивую учительницу и думает: «Непременно на ней женюсь, когда вырасту!»

Поначалу Петька очень гордится званием ученика. Ему кажется, что теперь все должны относиться к нему иначе — более почтительно, что ли. И когда Оля заставляет его подметать дома пол, он сердится:

— Ну да! Чай, я школьник! Мети сама! Мне уроки еще учить надо!

— Ну так я тебе не стану сказок рассказывать! — грозит сестра.

— И не надо! Я скоро сам читать научусь. И про Бову-королевича и про Еруслана Лазарича — все сам прочитаю! — отмахивается Петька и с увлечением, во весь голос продолжает учить заданный урок. Петьке очень хочется поскорее научиться читать сказки.

— Ишь какой! Заважничал! — обижается Оля и передразнивает Петьку:

— Ба-ааа-ба, ва-ааа-за...

— Отстань, не мешай! Ведь меня Зоя Владимировна спрашивать будет.

Оля как попугай повторяет слова Петьки.

— Ольгушка — солена лягушка! — дразнится он.

Ольга вновь повторяет Петькины слова.

— Мама! Зачем Ольга дразнится? Учить не дает! — кричит что есть силы Петька.

— Ябеда... А еще мальчишка! — шепчет Оля. — Всем расскажу, что ты ябеда.

— Что у вас там такое? — говорит, просыпаясь, задремавшая над шитьем Анна Кирилловна. — Оленька, ты не мешай ему. Пусть себе учит!

Оля берет веник и подметает пол, а Петька продолжает выводить: «Ба-ааа-ба...»

Через три месяца весь класс уже читает по складам и переходит от азбуки к «Родному слову»*. Для Петьки это настоящее чудо, когда из простых букв получаются разные знакомые слова, и он не устает восхищаться этим.

Вот он читает про тетерева и лисицу*. На маленькой картинке изображена опушка леса. На одной из сосен сидит тетерев, а на земле около ствола юлит лисица. Петька видел живую лису в зверинце на ярмарке, а битых тетеревов — в мясной лавке и потому особенно ясно представляет всю картину. Петьке не в диковину; что птицы и звери разговаривают, он знает это по сказкам матери и сестры, да и сам не раз слышал, как петух разговаривает с курами по-куриному, кошка с котятами — по-кошачьи, а вороны — по-вороньи.

Петька убежден, что птицы и звери так же хорошо понимают друг друга, как и люди. Он читает очень медленно и волнуется. Поведение лисы кажется ему подозрительным. «Терентий! Терентий! Я в городе была», — говорит лиса. «Вишь, как врет! — думает Петька. — Разве лисы бывают в городе? Приди только — собаки сразу разорвут. Да и полицейский саблей голову отрубить может. А то из револьвера застрелит!»

Однако равнодушный ответ тетерева: «Бу-бу-бу, бу-бу-бу! Была так была!» — успокаивает Петьку. «Ишь какой! Не больно-то ей верит! Молодец!» — восхищается им Петька. Но читает про якобы добытый лисой указ о мире и с новой силой переживает за добродушного тетерева.

«Съест! Непременно съест, стерва!» — с ненавистью думает Петька. Ему кажется, что тетерев поверил лисе и вот-вот слетит к ней на землю. Поэтому когда появляется охотник, у Петьки вырывается вздох облегчения. Лиса убегает. Петька торжествует: «Ага! Испугалась! Сама указу не верит. Ясно дело, выдумка все...» Но радость его длится недолго: «А ведь охотник-то теперь самого тетерева застрелить может. Застрелит, а потом продаст в лавку к Курепину. И будет тетерев висеть там на крючке...»

Сказка кончилась, но Петьке не по себе. На сердце тревожно, и мальчик не может больше сидеть в комнате.

— Мам! Пойду дрова колоть.

— Только ногу не заруби! — кричит вслед Анна Кирилловна.

— Чай, не маленький! Не в первый раз! — обижается Петька, надевая на ходу рваное пальтишко, шапку и варежки.

На дворе высокие сугробы. Крутит метель, бьет Петьку в лицо. Вокруг ни души. Скучно. «Ишь, чертова свадьба! — с неудовольствием думает Петька. — А ведь я валенками снег зачерпну, надо расчистить». Он идет в сени за лопатой. Расчищает узкую тропу к сараю, в котором сложены дрова.

Отдохнув, Петька принимается за дело. Он колет «как большой»: кладет полено концом на плаху и, встав на другой конец левой ногой, с размаху вса-

живает топор. Если полено легкое, поднимает его на плечо и бьет обухом по плахе — полено раскалывается. Иногда попадает сучок, и Петька бьет пять, шесть, а то и десять раз, — пока полено не расколется. За работой он быстро забывает про лису и тетерева.

Закончив работу, Петька снова берется за лопату и прочищает дорожку к дому, потом таскает поленья в комнату, укладывает их в голландскую печь.

— Можно растоплять, Петюшка? — спрашивает Анна Кирилловна.

— Можно, — деловито отвечает Петька.

— Жар нагорит — самовар поставим... — как со взрослым советуется с ним мать.

Петька любит огонь, растапливать печку для него — удовольствие.

Сначала дрова не хотят разгораться, но Петька отщипывает и подбрасывает в огонь все новые и новые лучинки. И вот в печи уже бьется пламя. На концах сырых поленьев появляется белая пена, а когда она высыхает, дрова начинают трещать и стрелять угольками. Петька сидит перед печкой на маленькой скамеечке, грея озябшие руки, неотрывно смотрит в огонь. Смотрит — и неясные, смутные воспоминания овладевают им. Вспоминаются Олины сказки, прочитанные в школе былины...

В печке вырастают и рушатся огненные башни и замки. «Точно из червонного золота!» — думает Петька и вспоминает рассказ Оли о том, как храбрый Наль*, отыскивая свою прекрасную Дамаянти, идет через огненный пылающий лес.

«Я бы тоже прошел, кабы у меня была невеста», — убежден Петька и пробует дотянуться до огня, но быстро отдергивает руку от пламени.

На коже опалился тонкий нежный пушок. «Враки все про Наля!» — решает Петька.

Зима в разгаре. Петька уже бойко читает по складам, решает устные задачи, заучил несколько молитв. Однако законоучителя в школе еще нет. Но вот Зоя Владимировна объявила, что на последний урок при-

дет батюшка, который очень долго болел. Ни для кого не секрет, что болел он после страшного запоя.

Отец Владимир был высоким стариком с редкой бородкой и жиденькими прямыми желтоватыми волосиками на голове. Особенно поразили Петьку сизый блестящий нос и такого же цвета обрюзгшие щеки. «Утопленник! Хуже шкилета!» — подумал брезгливо Петька.

Батюшка прошамкал — во рту у него было всего три зуба, понюхал табак, — Петьке почему-то показалось, что батюшка непременно должен дурно пахнуть, как тот утопленник, которого он видел однажды в кладбищенской сторожке.

Но вот батюшка стал рассказывать про бога. И это оказалось настолько таинственным, что Петька забыл и про отталкивающую наружность попа и про воображаемый запах.

До сих пор мальчик думал, что бог — это красивый старик, который сидит на небе и очень похож на всякого живущего на земле человека. И лишь теперь Петька узнал, что бог невидим, что он дух, что он один, но в то же время в... трех лицах.

Петька внимательно слушает батюшку, старается все понять, — и ничего не понимает...

«А должно быть, я вправду дурак! — думает Петька. — Дух, а на образах нарисован? Как его нарисовать? Чай, духа не видно! Его только носом услышишь! Вон от козла дух, ежели ветер, так за три улицы слышно! А вот на Набережной от барынь дух хороший... Знамо, всякий дух пахнет! Не услышишь, ежели только насморк!» От этой мысли Петька, не удержавшись, даже прыснул.

Батюшка замечает Петьку, сердито шамкает:

— Ты это что же, негодяй этакий, ржешь как жеребец? Я тебе покажу, как безобразничать на законе божием. Пшел, болван, к доске! И стой на коленях до конца урока!

Петька не спеша вылезает из-за парты, не спеша идет к доске. Лицо у него горит от стыда.

Урок тянется без конца, батюшка рассказывает медленно, часто повторяя одно и то же. Коленки у

Петьки давно затекли и болят. Он то и дело садится на пятки, когда батюшка не смотрит.

Под конец урока Петька наказан уже не один: Корякин дернул за волосы Черемушкина, тот закричал. Батюшка, не разобравшись, в чем дело, поставил на колени обоих.

— Ты не дергай за волосы, а ты не ори! — рассудил он.

Урок кончен, и батюшка затянул «царю небесный», а за ним, немилосердно перевирая слова, загудел и весь класс.

Наконец-то Петьке можно встать и расправить затекшие ноги. Против батюшки у него нет особой злобы: «Знамо, ржать нельзя!» Но против бога в глубине души у Петьки вырастает неприязненное чувство. «Зачем он такой... невидимый? — с усилием доводит до конца свою мысль Петька. — Вездесущий, всемогущий, а прячется... Сел бы на высокую гору, чтоб со всей земли видно было и всякий знал, что это бог. А то три лица, и ни одного не видно! И везде находится, везде сидит...»

ГЛАВА IX

*В страстную неделю Петька узнает
о «веселых отцах» и размышляет
о несправедливости божьего всепрощения*

Началась страстная неделя*. Школу распустили на весенние каникулы, но ученики обязаны говеть*, и Петька ходит в церковь. Ему не нравится великопостная служба, потому что певчих нет, а попы причитают так однообразно и жалобно, что становится невыносимо скучно. К тому же очень трудно стоять неподвижно. От этого устаешь больше, чем от колки дров.

И так каждый день — сначала ранняя обедня, потом вечерняя служба. И Петьке кажется, что страстная неделя никогда не кончится.

Но наступает великий четверг. Вечером читают двенадцать евангелий*. Прихожане, приодетые, торжественные, стоят с зажженными свечами, и оттого в церкви необычно празднично.

Петька готов стоять хоть до самого утра. Но двенадцать евангелий — не шутка, и уже после трех колени мальчика сами собой подгибаются. Его не развлекает и горящая свеча, которую он держит в руке. Теперь она доставляет ему одно беспокойство. «Как бы кого не закапать воском, не подпалить! — думает Петька.— Хоть бы скорей кончилась эта проклятая служба!»

Удары большого колокола отбили число прочитанных евангелий. И Петька с тоской убеждается, что не дошли еще до половины. Утомление настолько сильно, что торжественное настроение бесследно исчезает, все более и более растут нетерпение и скука. Петька с завистью смотрит на Ваньку Рязанова *, который совсем не скучает. Ванька дергает за косы девушек, вкатывает им в волосы шарики из мягкого воска или капают воском горячей свечи на их платье. Он то и дело ныряет с места на место, не обращая внимания на шипение и толчки прихожан.

Федька Черемушкин нарочито усердно крестится и низко кланяется, прожигая при этом свечой одежду впереди стоящих. Когда черный цвет материи жертвы становится коричневым, он переходит на другое место, снова усердно молится и снова воровато подпаливает кому-нибудь спину. Петька, тяжело вздыхая, упорно стоит на месте, хотя ноги уже онемели от усталости. Но он привык к тому, «чтобы все было без обману», и потому не идет даже на церковный двор, где для развлечения можно немного подраться.

Попами Петька особенно недоволен: «Надо им сразу читать двенадцать евангелий? Тянут как кобылу за хвост. И чего они по сто раз повторяют: «Господи! Господи!» Ну сказали раз, и будет. Чай, бог-то не глупый! Он, может, спать лег али ужинает, а тут как под руку костят! Собака и та обозлится, ежели ее сто раз кликнуть!»

Петька представляет себе, как попы по всем церквям кричат: «Господи! Господи!», и ему становится жалко несчастного бога.

Служба кажется бесконечной.

Но вот колокол торжественно бьет двенадцать раз, служба подошла к концу, и толпа радостно зашеве-

лилась, Попы и дьячки еще что-то поют, но их уже никто не слушает,— все спешат поскорее выбраться на волю. Тяжелая повинность богу отбыта.

На улице шумно, весело.

Все стараются донести до дому зажженные в церкви свечи, которые озорные мальчишки тушат.

Ванька Рязанов хохочет от восторга:

— Я на одну свечку кы-ых дыкнул! Дык у барышни аж глаза вылезли от злости. Я, говорит, тебе, чертенок, все уши оборву! А я ей: «Ты не злился! Каяться приходила! Ругаться грех!» Зашипела и отвернулась. Крестится, а у самой от злости вся рожа перекосилась.

— А я четыре пальца прожег! — гордится Черемушкин.— На одном даже дырка сделалась...

— Поймают! Дадут тебе дырку! — с некоторой долей восхищения говорит Петька.

— Ничего не дадут! Я скажу: «Рази я нарошно! Прости, ради Христа!»

Трое приятелей дружно хохочут.

— А ведь грех! — подзадоривает Петька.

— Знамо, грех! — подтверждает Ванька.— Да ведь мы покаемся! Бог простит!

— Бог-то простит, а вот как отец узнает. Выпорет!

— Мой-то отец? Он никогда не порет! Только хотеть будет!

— А если нажалуются?

Ванька смеется:

— Жаловались! Отец как зачнет кричать: «Голову оторву, своими руками задушу! Зарежу!» А когда уйдут, схватится за брюхо и ржет. А ты говоришь, выпорет! Он у меня веселый! Когда на заводе Васька Пузырь напился и заснул, он стащил с него штаны и выкрасил ему задницу суриком. Дык весь завод чуть не помер со смеху.

— Суриком? Красной краской? — задыхаясь от смеха, переспрашивает Петька.

— Знамо, красной! А то какой же сурик бывает! А ты говоришь, выпорет. Он и матери не дает меня пороть. Что ни чудней сделаешь, то сильнее хохочет.

Скажет только: «Не балуй, дурак, а то мне за тебя отвечать придется»,— и еще пуще хохочет.

— Тебе везет!— говорит Петька со вздохом.— А меня чуть что и пороть...

Приятели расходятся в разные стороны. По дороге к дому Петька думает о «веселых отцах»: «Вон сосед, Андрей Васильевич, тоже веселый и тоже детей не порет. И отчего это отцы порют редко, а матери — то и дело? Дуры они, бабы! Злющие. Наша Ольга тоже такая! Мне уроки учить, а она — пол мети. Ясное дело, дура! А дразниться ловка! — с восхищением вспоминает Петька.— Такая злость берет, инда искусал бы зубами! Кабы я так умел! Про баб и в писании сказано: волос долог, а ум короток. А вот у Зои Владимировны тоже косы, а умная. Из всех только она и умная»,— заканчивает нить своих размышлений Петька, когда замечает, что свеча давно потухла и, значит, он опять не сумел донести ее горящей до дому.

Петьке надо снова идти в церковь на исповедь, и он таинственно говорит сестре Оле:

— Батюшка велел приходить к четырем часам.

— Ага! Попался!— сияет Оля.— Достанется тебе от батюшки! Я говорила, слушайся!..

— Чай, ты мне не мать!

— Зато сестра твоя! А ты злющий, как волчонок, ничего делать не хочешь...

— Что ты врешь! — не стерпел Петька.— А кто в лавку ходит, кто самовар ставит? Да я и дрова колол, и снег зимой чистил. Разве я не помогаю маме?

— Ладно-ладно! Вот батюшка наложит на тебя епитимью*.

— Каку таку петимью? Что ты врешь! Петрахиль, а не петимью!

— Вот узнаешь! Епитрахиль — это фартук, им батюшка покрывает голову, когда говорит «прощаю и разрешаю», а епитимью накладывают на великих грешников...

— Да разве я великий грешник? Дура ты такая! Я ведь еще маленький. Много ли у меня грехов-то?

— Вот-вот! И душой меня ругаешь, и не слушаешься. Разве это не грех? Ведь я старшая сестра!

— Старшая — Лиза, и я ее слушаюсь, а ты просто девчонка — козья печенка! — говорит Петька презрительно.

— Да ведь и я старшая! На четыре года старше тебя!

— Ты сама дразнишься! И за волосы меня дергаешь, — уже не на шутку сердится Петька.

— Про мои грехи батюшка тебя спрашивать не будет, а про свои должен все рассказать. А если соврешь на исповеди, то придется тебе в аду лизать горячую сковороду! За грехи же великие батюшка наложит на тебя епитимью, — заканчивает Оля сурово.

— А что такое петимья? — переспрашивает Петька неуверенным тоном.

Мальчишку сразу охватывает страх: он вспоминает крещенский сочельник, свои озорные мысли об освящении нужника святым крестом и о том, как во время давки в церкви он обругал самого Саваофа.

— Кто его знает? Простит али не простит? — с тоскою говорит Петька, глядя на сестру.

Оля делает вид, что не слышит вопроса. Она наслаждается страхом Петьки.

Петька не выдерживает и кричит:

— Что же ты молчишь, дура! Али не тебя спрашивают?

— Ага! Еще два новых греха: злишься и ругаешься! — торжествует Оля. — Теперь уж обязательно будет тебе епитимья!

— Да ты говори, что за петимья?

— И скажу! Сама видела! Как только батюшка узнает, что ты великий грешник, сядет на большое деревянное кресло и велит принести сторожу большущий голик с тонюсенькой, как волосок, ниточкой. Вот за эту ниточку ты и повезешь батюшку вокруг всей церкви, а если...

— Ну вот как же ты не дура! — перебивает ее Петька. — Разве можно большущего попа везти за ниточку? Чай, она оборвется! Для него нужна толстая-претолстая веревка.

— Сам ты дурак и разиня! Ты слушай, когда тебе говорят, а не перебивай! Ведь бог все может сделать,— он всемогущий!

— А раз он всемогущий, так пусть сам и возит своих попов за нитку! — злится Петька.

— Вот-вот! Нагрешил да еще распорядиться будешь! Так тебя и послушали!

— Да нитка-то оборвется! — с отчаянием кричит Петька. — Разве ты не понимаешь?

— Если бог простит, то не оборвется, хоть двух попов вези. А если оборвется — значит, бог не простил, и тогда батюшка будет пороть тебя голиком по голой заднице. А потом нитку свяжут и опять повезешь, и опять пороть будут, и так до тех пор, пока бог не простит. Как только простит, делается нитка крепкой, как канат, и тогда ее даже лошадь не перервет. Вот тогда ты и обвезешь батюшку вокруг церкви, а он снимет с тебя епитимью, накроет епитрахилью голову и скажет: «Прощаю и разрешаю».

— А какая она, эта петимья? Как петрахиль? В виде фартука?

— Епитимья — это слово, а не вещь, — важно поучает брата Оля. — Значит «испытание, порка».

— А ты не врешь? — заглядывая в глаза сестры, переспрашивает Петька.

— Зачем мне врать! Я сама видела, как маленький мальчик, еще меньше тебя, обвез попа вокруг церкви, а нитка осталась целой.

— А за что поп наложил на него петимью?

— А он тоже обругал сестренку, но потом...

Петька уже не слушает.

— Вот видишь! — торжествующе кричит он. — Значит, сестер ругать не грех! Ведь ты сама же говоришь, что нитка не оборвалась?..

— Да ты не дослушал, — торопится перебить его Ольга. — Он обругал нечаянно, а потом просил у сестры прощения и кланялся ей в ноги, когда пошел на исповедь.

— Ну теперь я вижу! Все это ты наврала. Просто меня дразнишь. Ты думаешь, я буду тебе кланяться в ноги? И не подумаю! Ишь премудрая!..

— Больно мне нужны твои поклоны! — важничает Оля.

— Ольга премудрая, Ольга премудрая! — дразнится Петька и, схватив картуз, выбегает во двор.

«Пойду спрошу Сашу. Чай Олька наврала все, как про березу в школе?» — думает Петька.

Сестра Саша живет в прислугах у бабушки Александрии, и Петька встречает ее у ворот с двумя ведрами воды.

— Ты чего? — остановилась она около переминающегося с ноги на ногу мальчишки.

— На исповедь вот иду. — Петька помолчал, потом спросил как бы между прочим: — А Ольга говорит, что надо попа на нитке возить. Правда?

— Ну понятно, правда! Только это за большие грехи.

— А ежели у меня большой грех найдется?

— Тогда придется возить и тебе, а поп будет пороть тебя голиком, если оборвешь нитку.

— А может, мне надеть двое штанов?

— Да ты не бойся! Какие у тебя грехи? Ведь ты еще маленький, — говорит Саша с еле сдерживаемой улыбкой. В свое время ей рассказывали эту же самую сказку, и теперь ее забавляет доверчивость брата.

Тревога Петьки усилилась: «Хоть бы не по голой! Смеяться будут», — думает он с тоской по дороге в церковь.

Встретив на Жуковской улице своих приятелей, Петька заводит разговор с Черемушкиным — он второгодник и один раз уже говел.

— А что, Федька, страшно на исповеди?

— А чего тут страшного? Чай, тебя поп, а не черт исповедовать будет!

— А как же грехи?

— Очень ты ему нужен с твоими грехами! Он на тебя и времени тратить не будет. Сколько ты дашь? Три копейки?

— Нет, мама велела дать пятак.

— Не видал он твоего пятака! Вот ежели бы ты ему рупь принес, так он бы про все твои грехи выспросил. Сам увидишь. Ежели кто богатый — держит долго, бедного отпускает скоро, а мальчишек в одну минуту. Тебя больше, как разов пять или шесть, и не спросит. А ты говори, грешен — и все тут. Потом

накрсет фартуком и скажет: «Прощаю и разрешаю». Вот придумал тоже — страшно!..

— А ты признаешься, что вчера дырки на пальто свечкой прожигал?

— Что я, дурак, что ли? Чтобы меня из школы выгнали?

— Да ведь грех останется?

— Ничего не останется! Раз поп скажет: «Прощаю и разрешаю», — значит, крышка.

— А ежели бог не простит?

— Так кто же к попам ходить станет, ежели бог не будет прощать. Это уж их дело. Они что хошь замолят. Ты только сразу после причастья не плюй, и ни одного греха на тебе не останется.

— Ежели поп неправильно простит, грех на нем будет, — вмешивается в разговор Ванька Рязанов. — Видал на картинке страшный суд? Впереди всех попы идут, потому что на них много грехов и своих и чужих. Некоторые грешники еще далеко, а попы уже около самого пекла...

Разговор обрывается, приятели входят в церковь. Напротив левого придела Петька видит стол и два больших деревянных кресла. На одном из них сидит дякон и записывает пришедших на исповедь. Петька знает, что надо записаться у дякона и уплатить две копейки за запись. Он встает в очередь перед клиросом*, в углу которого поставлена ширма. Из-за ширмы слышится приглушенное бормотание. Большинство исповедовавшихся выходит оттуда с красными лицами.

Петька сильно волнуется и искоса посматривает на большое деревянное кресло: «Зачем оно там стоит? Неужто Ольга правду сказала?»

Очередь доходит до Петьки. Войдя за ширму, он крестится, отдает свечу и пятак попу. Тот устало задает вопросы: «Не воровал ли? Не врал ли? Слушался ли старших? Молился ли богу?» Петька невпопад отвечает то «нет», то «грешен, батюшка». Вопросов много.

Накрыв голову Петьки епитрахилью, поп поспешно читает привычное: «Аз недостойный иерей, властью же его мне данную прощаю и разрешаю ты от всех грехов твоих».

Петька доволен. Выйдя из-за ширмы, он видит на подозрительном кресле здорового купца с золотой цепью на шее и кольцами на руках.

Теперь Петька начинает догадываться о назначении кресла: «Это чтоб садиться, ежели которые богатые,— думает он.— А я, дурак, поверил Ольке! Знамо, она всегда врет. Она сказку-то рассказывает и то врет!» Но некоторые сомнения все же остаются, и Петька хочет проверить их на купце. «Уж этот, знамо, великий грешник! — думает он убежденно.— Все купцы жулики! Дядя Яков тоже говорит, что жулики. Только пошли к ним маленького, сразу хлеб вчерашний всучат и еще обвесят! Вот только Иван Максимович... Так он не настоящий лавочник — сам печет и белый и черный, всю ночь работает, а остальные жулики!»

Петька ждет купца. Ему не верится, чтобы такого толстого и важного поп осмелился бить голиком. И все-таки очень хочется, чтобы все было так, как рассказывала Оля. Петька внимательно рассматривает купца и удивляется: «Ишь какое брюхо! И морда с самовар, и шея в складках...»

А купец тем временем размашисто положил на стол дьякону рублевую бумажку и, взяв толстую свечу, уверенно направился за ширму, не обращая внимания на недовольное ворчанье ждущих своей очереди для исповеди: «живодер толстопузый, окорок копченый...»

Петька старательно прислушивается к тому, что происходит за ширмой, но священника не слышно совсем, и только гудит, не переставая, низкий голос купца. Прошло, наверно, целых десять минут, а купец все не выходит. Ждущие исповеди перебрасываются недовольными возгласами...

Петьке кажется, что купец исповедуется больше часа. «Ага, накопил грехов!» — думает он злорадно.

Наконец купец выходит из-за ширмы. Он медленно спускается со ступенек придела. Лицо его багрово-красно, глаза припухли. «Ревел ведь!» — с изумлением догадывается Петька и чуть не взвизгивает от во-

сторга: «Выпорет! Обязательно выпорет!» Перед его глазами картина, нарисованная Олей.

Купец уже выходит из церкви, а поп все не появляется. К нему входят все новые и новые исповедующиеся. «Эх, купил, видно, купец попа! Дьякону за запись рубль дал, а попу, знамо, трешницу. За трешницу кто не простит!» — разочарованно думает Петька.

Петьке очень обидно, что купца отпустили непоротым, и он продолжает свои размышления: «Значит, все враки! Здорово наврала мне Ольга! А я, дурак, поверил. Только ведь Ольга так врать умеет! Премудрая!..»

А уставшие ждать исповеди прихожане, переминаясь с ноги на ногу, чуть слышно перебрасываются недовольными возгласами: «Богатеи проклятые. Им и в раю первое место попы вымолят!»

ГЛАВА X,

*в которой рассказывается
о принятии Петькой святых тайн
и его стремлении научиться владеть собой*

Страстная неделя подходит к концу. В субботу Петька с утра ничего не ест, одевается во все чистое и идет в церковь для причащения*. Служба тянется нестерпимо долго. В церкви страшная теснота, духота. И от этого у Петьки кружится голова. Он злится на попов и еле сдерживает себя, чтобы не заругаться или, что того хуже, не съесть прежде времени свою просфору*, которую он держит в руках. Петька любит всякое дело доводить до конца и сейчас непременно хочет свое покаяние закончить «правильным» причащением, чтобы после него быть совсем-совсем безгрешным.

Но вот толпа заколебалась, заволновалась, радостно подалась вперед. Теперь стремление всех — чаша со «святыми дарами», которую держит в руках здоровенный дьякон. Вина и мелко крошеного хлеба, из которого попы готовят причастие, припасено, конечно же, достаточно, но уставшая от долгой службы толпа напирает с непреодолимым упорством. Петька старается попасть в ее средний поток, который режет тол-

пу на две части, и кратчайшим путем добраться до чаши. Толкаясь, упираясь локтями, не обращая внимания на ругань, Петька благополучно добирается до цели. Поп сует ему в рот ложку, и мальчик торопливо глотает сладкое вино с кусочком просфоры.

«Ишь, вкусно!» — думает он с восхищением и отходит к столику с «теплотой». Положив на тарелку две копейки, Петька берет большую плоскую серебряную чарку и жадно пьет разведенное горячей водой вино. Но, сделав четыре глотка, чувствует, как кто-то грубо схватил его за руку.

— Да ты что! Все выдуть хочешь, что ли? Хлебнул раз, и довольно. Это тебе не вода! — слышит он злобный шепот и вмиг оказывается в стороне.

Выбравшись из толпы, Петька идет к выходу, упираясь на ходу просфору. «Теперь я как херувим! Ни одного греха нету!» — думает он с торжеством.

Дома Петьку все поздравляют с принятием святых тайн, а мать поит чаем с горячей лепешкой.

Семья готовится к празднику. Сосед Лапшов, куринный охотник и добрый человек, подарил Анне Кирилловне три с половиной десятка яиц. Бабушка Александрия дала немного денег и белой муки. Мать купила мяса для щей, четверть фунта изюма, молока, творога, масла, сахара. Петька помогает Оле выбирать изюм от стebelьков и всякого сора и зорко следит за сестрой, которая время от времени кладет в рот изюминку.

— Чего хватаешь! Чай, изюм в куличах надо! — возмущается Петька.

— Возьми и ты! — невозмутимо предлагает Оля.

— Ну да! Возьми! Чай, его и так мало! — ворчит брат. Но вот Оля берет сразу несколько изюмин. Этого уж Петька перенести не в силах. Он забывает даже про неписанный закон мальчишеской чести, запрещающий доносы:

— Мам! Что Ольга весь изюм съела!

— Я только одну! — оправдывается Оля.

— Ну возьми и ты одну, Петюшка! — говорит Анна Кирилловна, не отрываясь от работы. Она спешно дошивает «чужое».

— Ябеда! — мстительно шепчет Оля.

— А ты свинья! Чай, куличи-то для всех!

Петька выбирает самую крупную изюмину и, причмокивая, демонстративно ест ее, но это уже не доставляет ему никакого удовольствия. Теперь куличи наверняка не будут такими вкусными, если в них недостает съеденных Олей изюминок.

«Разве бы я взял, кабы не эта Олька!» — думает он со злостью.

— Вот жадина. Самую большую схватил. Разве моя такая была? — снова шепчет Оля.

— Рази-рази! Мне сама мама позволила! — огрызается Петька.

— Мои-то вдвое меньше были, — канючит девочка и быстро кладет в рот еще одну изюмину.

— Ну так и я брать буду! Пусть ничего для куличей не останется! — с отчаянием кричит Петька и, схватив без разбору горсть изюму, глотает его вместе с сором.

— Мам! Петька целую горсть изюму съел! — кричит Оля.

— Ну как вам, ребята, не стыдно? — с укором говорит Анна Кирилловна. — Ведь я для всех купила! Неужто хотите все вдвоем съесть?

От этих слов Петьке ужасно стыдно: «Никогда ни к одной изюмине больше не притронусь. Пусть одна Олька ест!»

В этот вечер Петька ложится спать рано, перед сном просит мать, чтобы разбудила его к заутрене*. Анна Кирилловна не спит всю ночь. Закончив чужое шитье, она принимается мастерить Петьке новые штаны и рубашку, а потом месит тесто и печет куличи.

По обыкновению, Петька засыпает как убитый и, когда мать будит его, поднимается с большим трудом. Умывшись и надев обновки, он отправляется в Троицкую церковь. В кармане у него две копейки на свечку.

Ночь темна и так тиха, что Петьке кажется, будто вся земля накрыта огромным колпаком из черного стекла. В тишине раздается мощный удар большого колокола. Миг — и стеклянный колпак разбит одним

ударом, несмолкаемые звуки зазвенели, как падающие осколки разбитого стекла.

Троицкой отвечает Егорий, Тихон, Покров и другие церкви. Петька любит музыку больших колоколов. Когда он слушает их, его охватывает какое-то восторженное и вместе с тем тревожное чувство. Все тело его крепнет, и отчего-то рождается уверенность, что одним броском он может перемахнуть и через высокие ворота, и через всю улицу. Маленьких колоколов Петька не признает: «Тлям, тлям!» — только портят все...

На площади перед церковью горят большие костры, вокруг них толпы народу. Это пожарные, квартиры которых в нескольких десятках сажен от церкви, жгут смоляные бочки. Петька не может оторвать глаз от яркого пламени.

Долго стоит он перед кострами, и ему кажется, что огонь живой, что он очень сердитый и потому с такой яростью пожирает дерево и смолу. Но постепенно костры догорают, площадь погружается во мрак, и Петьку охватывает грусть при виде последних отблесков умирающего огня. Теперь ночь стала темнее, чем прежде, и, шагая к церкви, мальчик думает: «Кто огонь? Где он живет? Почему не ест камни? Почему его так часто рисуют в церкви?»

В церковь Петька не может пробиться и, лишь с трудом протиснувшись на паперть*, покупает себе свечку из красного воска, зажигает ее и выходит на церковный двор. Он отговел по всем правилам и теперь считает излишним стоять часами в церкви. Во дворе не душно, можно посидеть и походить, а то и перекинуться словечком с кем-нибудь из ребят. Петька замечает, что взрослые тоже переговариваются.

Под высокой колокольной, выстроенной отдельно от церкви, поставлено множество куличей и сырных пасок. Какой-то мужик наступил тяжелым сапогом на одну из них и раздавил вместе с тарелкой. Поднимается крик, ругань. Один мальчишка толкнул другого, и тот смял пару высоких пышных куличей. Снова ругань, шиканье старух, звук затрешины и плач упавшего мальчишки.

Но вот раздаются возгласы:
— Несут, несут!..

Толпа перед папертью расступилась, из церкви повалил народ с зажженными свечами. Наконец выносят плащаницу *, и Петька видит тот самый стеклянный гроб, который раньше стоял в алтаре *.

Под возгласы: «Христос воскрес! Христос воскрес!» — шествие направляется вокруг церкви.

Петька в восторге. Пробираясь вместе с народом обратно в церковь, он сгорает от любопытства увидеть своими глазами воскресение Христа и чем дальше, тем больше недоумевает: «Что же это он? Воскрес, а не встает?» И тут вспоминает, что в гробу лежит лишь «деревяшка», к которой он прикладывался, и его разбирает злость на попа, который все испортил: «Как маленький играет с деревяшкой! Разве нельзя было живого мужика положить! А лучше бы спящую царевну? Самую красивую! Она бы непременно проснулась. Вот радость была бы!»

За пасху Петька отъедается. В первый же день он обходит всех родственников. К вечеру в его карманах набралось копеек тридцать. Анна Кирилловна, уже подарившая сыну три копейки, теперь добавила еще пятак. И Петька, празднично сытый, идет со своим богатством к мороженщику-кондитеру, торгующему вразнос.

Кондитер с детьми и женой живет у Саранчихи — в грязном полутемном подвале. Войдя к ним, Петька застаёт хозяев за работой. Жена вертит мороженое, а муж варит карамель на особо приспособленном тагане. Мальчик с наслаждением съедает на копейку «настоящего» сливочного мороженого, сделанного из жидкого молока, покупает на три копейки шесть леденцов с орехами.

Свою покупку он щедро несет домой и делит с маленькими, разложив леденцы на равные части. Делает он это не только из доброты. В глубине души Петька по-прежнему немного жадноват. Но совесть у него теперь такая чувствительная, что он не может в полной мере наслаждаться лакомством один.

Может быть, на него повлияли внушения матери, которая говорит, что стыдно жадничать. Может быть, еще что. Но, как бы то ни было, произошла странная

вещь: Петька понял, что один из честно разделенных леденцов доставляет ему большее наслаждение, чем все шесть, съеденных им самим.

Как всякий мальчишка, наслушавшийся сказок, Петька любит справедливость, любит силу и доблесть, мечтает о подвигах. Сказки-то, пожалуй, сильнее всего и действуют на мальчика. Петька очень старается научиться владеть собою и, хотя это трудно, уже одерживает первые маленькие победы.

ГЛАВА XI

*повествует о хитро задуманном Петькой
ночном приключении
и последовавшем за ним поединке с чертями*

После праздничного обеда Петька идет на Троицкую площадь смотреть, как играют пожарные. Они разложили в линию на уже подсохшей под солнцем земле на аршин одно от другого крашенные яйца и выбивают их с пятнадцати шагов катком из войлока, обшитого холстом. Петьке, как и другим мальчишкам, разрешается бегать за укатившимся катком и гнать его обратно к линии играющих.

Обычные мальчишеские игры в праздник как-то не налаживаются. Знакомые Петьке ребята собираются стайками и бьются подаренными им на пасху крашенными яйцами. Выигрывает обладатель яйца с крепкой скорлупой. Потом все лезут на колокольню, откуда слышится бесконечный трезвон, пугающий прилетевших в весенний город грачей. Кругом шум, крики, песни.

Только под вечер Петька вспоминает, что надо домой.

Мать и старшие сестры идут в гости к Гаврюшовым, и с малышами надо кому-то оставаться. Вообще очередь за Сашей, но ей не хочется сидеть дома. Она знает, что у дяди Якова весело, что там будут смешные разговоры, песни.

И Саша спрашивает Олю остаться вместо нее.

— Дашь мне большой лоскут из атласа, тогда останусь, — невозмутимо отвечает Оля.

— Да ведь ты его испортишь! Я тебе лучше дам маленькие лоскутки.

— Не хочу маленьких! — решительно отказывается Ольга.

— Мам, уговори ее остаться!

Анна Кирилловна только рукой махнула в сторону дочерей: «Решайте сами».

— Вот цыганка проклятая! — плачет Саша. — Все ей нужно! Да хоть бы не портила!

— Это уж не твое дело! Что захочу, то и сделаю. А кто из нас цыганка, не знаю! Я не хочу оставаться за тебя, а ты не хочешь оставаться сама за себя! — важничает сестра.

Благодаря своему хладнокровию она всегда одерживает верх над старшей сестрой. Недаром Петька называет ее Премудрой.

— На, возьми! — не выдерживает Саша и бросает Ольге лоскут.

Ей так жалко его, что теперь не радуют даже сборы в гости.

У Оли страсть к крохотным куколкам. Она делает их с увлечением, терпеливо вышивая глаза и губы, пришивая пальцы к рукам и ногам.

После ухода матери и сестер Оля выкраивает крохотные костюмчики для кукол и пересказывает Петьке только что прочитанный ею сказ про отставного солдата, который изгнал из старинного замка «нечистую силу» и женился на принцессе.

Петьку восхищает мужество солдата. К нему лезут чудовища, одно страшнее другого, а он попивает водочку, покуривает трубочку и на все угрозы отвечает: «Врешь! Не проглотишь!» Когда черти начинают хвастаться, солдат предлагает им для доказательства своих способностей сжаться в комок и залезть в кожаный кисет с табаком. Потом он завязывает его и колотит чертей на наковальне молотом так сильно, что те просят пощады и обещают построить за одну ночь мост от замка до дворца принцессы. Солдат выпускает чертей, и они, чихая и охая, возводят мост и навсегда покидают замок.

Петьку охватывает страх при виде изображенных на картинке чертей, и только дерзкое, веселое лицо солдата возвращает ему бодрость духа. «Ишь какой

молодец! — радостно думает он. — Всякие там принцы и королевичи струсили, а он один всех чертей распугал!» Петьке тоже очень хочется самому вступить в бой с чертями, с теми, которые, по словам взрослых, живут в старой бане во дворе.

Мать и сестры вернулись от Гаврюшовых поздно вечером.

Вот и огонь уже погасили, легли спать. И Петька ждет только, когда стихнут разговоры и все уснут. Но, несмотря на то, что он изо всех сил таращит глаза, они слипаются сами собой, и мальчик засыпает чуть ли не первым.

Три ночи Петька борется со сном, но все напрасно. Наконец он придумал: с вечера так напился воды, что даже пояс стареньких штанов стал тесным. Как и ожидал Петька, проснулся он среди ночи с режью в животе. Выбравшись из-под одеяла, стараясь никого не разбудить, бесшумно прокрался к двери. Петька знает, что дверь скрипит, поэтому, сняв крючок, открывает ее медленно, вершок за вершком. Проскользнув в сени, с такой же осторожностью открыл дверь во двор и долго-долго стоит здесь в нерешительности.

Ночь тревожная. Все небо окутано тучами, и лишь кое-где робко мигают звезды. Кусты черемухи гнутся от напора ветра, а старый высокий осокорь стонет как живой, размахивая громадными ветвями. Петьке страшно, ему нестерпимо хочется вернуться домой, но он все-таки должен дать бой чертям!

Притворив дверь, Петька решительно пошел навстречу сильному ветру, который вселяет в него бодрость. Он очень любит ветер и его необычную музыку, знает о подвигах ветра из сказок, и это пробуждает прежние героические мечты.

«Неужели я боюсь? — урезонивает себя Петька. — Хоть и боюсь, а все-таки пойду!.. А ведь черти-то щипаются... Ан нет, они же мягкие, костей нету. И копытца мягкие, и рожки мягкие, и когти мягкие. Бог их, чай, из духа сделал...»

Темной ночью старая баня кажется еще чернее.

«Чай, поди, полна чертями!» — думает Петька, а зубы сами собой так и выбивают дробь. Петька снял с шеи медный крест, положил его на порог. «А как задушат, сволочи?.. Не задушат!.. Ведь и пальцы у них,

должно быть, из духа — мягкие. А я на них сразу наброшусь!» — соображает он. За баней шумит развесистая береза, и мальчику кажется, что она тоже заодно с ним, против чертей.

Ноги у Петьки отяжелели, будто приросли к земле. «Это они пугают и невидимо за ноги держат... Значит, не хотят, чтобы я вошел... Боятся!» — мелькает спасительная мысль, и Петька разом врывается в баню.

Баня пуста.

«Спрятались! — подумал Петька. — Хотят сзади накинуться». Он начинает искать чертей; поминутно оглядываясь: «Вон в печи как будто бы толстый круглый черт». Петька быстро соображает: «Пинуть или не пинуть? Кабы я в сапогах был... А то еще куснет?» Но тут вспоминает, что черт из духа. «Значит, и зубы у него мягкие», — решает он и дает круглому черту здорового пинка в пузо.

Круглый черт издает чистый тихий звон. «Чугун ведь!» — едва сдерживаясь, чтобы не застонать от боли в ноге, запоздало понимает Петька.

Теперь он становится осторожнее. Напряженно вглядываясь в темноту, Петька видит наконец настоящего черта, который спрятался за большой кадкой, в углу между печью и стеной. Видна его длинная тонкая шея и маленькая головка с длиннейшим носом. «Вот я тебя за глотку!» — соображает Петька и, вытянув руку, решительно хватается черта. Но это всего лишь кочерга.

«Ишь какой! Глаза морочит! — думает совсем уже осмелевший Петька и с силой тычет кочергой во все подозрительные места. — Пискнешь, как в харю заеду!..»

Он пристально вглядывается в темноту полка. Черти несомненно там. Вон одна голова с длинным крючковатым носом, а вон и две другие с рогами. Удар кочергой — и что-то со стуком откатилось к стене. «А ведь это ковш! — удивляется Петька. — А то, должно быть, шайки...»

Для большей верности он все же стучит раз-другой и по шайкам. «А ведь и вправду чертей нету!» Но тут Петьке приходит догадка: «Чертей надо вызывать!» И страх охватывает Петьку с новой силой, но чертей он все же решается вызвать.

Петька затворяет дверь бани изнутри, запирает ее на крючок. «Пусть лучше лезут по одному через трубу, я их по башке лупить буду».

Занеся кочергу для удара, Петька встает у печки и кричит что есть силы:

— Черт, черт, выходи!..

К удивлению Петьки, вместо крика получился какой-то жалкий писк. А черти не показываются.

— Черт, черт, выходи!.. — Теперь голос звучит так громко, что Петька сам его пугается. Черти все не появляются. Страх совсем проходит. «Черти меня боятся! Черти меня боятся!» — ликует в душе Петька и храбро ставит кочергу в угол, открывает дверь.

Во дворе все так же темна ночь, все так же быстро несутся черные тучи, по-прежнему шумит и воет ветер в ветвях.

Но теперь Петька уже ничего не боится. Мир для него стал шире и понятнее, и он чувствует себя в нем хозяином. Черти оказались совсем не такими страшными.

— А еще черти!.. — презрительно бурчит Петька и снисходительно жалеет их: — Знамо, им страшно, ежели они мягкие! Во какие у меня кулаки!..

Уходить домой Петьке не хочется. «Хорошо не бояться! — думает он. — Никогда ничего не буду бояться!»

ГЛАВА XII,

*из которой узнаем о причинах первого
столкновения Петьки с полицией
и о его умении хранить тайну*

В жаркий летний полдень ватага мальчишек во главе с Ванькой Шкуновым бежит купаться на Волгу. Ванька — герой дня. Со двора Саранчихи он сделал подкоп под забор грибковского сада и по ночам лазил туда за яблоками. Подкоп, хотя и был замаскирован, все же заметили, и на мальчика устроили облаву. Ему дали забраться в сад, дали насобирать полную пазуху падалицы, а потом схватили и отвели в полицию. Там Ваньку так жестоко избили, что он две недели после этого не выходил из дому.

Раздевшись на песках, Ванька теперь с гордостью показывает лилово-синие широкие рубцы. На лицах ребят — выражение ужаса.

Ванька замечает произведенное впечатление и говорит хвастливо:

— Двадцать пять горячих дали! И сейчас сидеть не могу!

Все единодушно сочувствуют Ваньке:

— Селедки проклятые! Фараоны!.. *

Ругают и Грибкова, к которому лезят в сад почти все. Кто-то замечает, что яблоки божьи, потому что сами растут.

— Знамо, божьи.

— Да мы их и не рвем!

— Собираем, которые упали!

— Червивых ему жалко! — раздаются возмущенные голоса.

Только Петька молчит. Он смотрит на страшные рубцы и не понимает, как можно так бить человека. Ведь он не дерево. И почему в полиции бьют. Там судить должны. В острог сажать. А бить детей и отцу с матерью не положено.

От волнения голос Петьки срывается, когда он спрашивает Ваньку:

— Кровь... текла?..

— Знамо, текла! Кабы дом Грибкова был деревянный, поджег бы!

— А в сад не полезешь?

— Ночью не полезу. Не видать ничего. Опять подкараулят. Буду лазить через забор. Утром, на зорьке...

— Брось ты Грибкова. Лазь лучше в наш сад! — по-своему сочувствует Яшка.

— Тебя спрашивать буду! — отвечает презрительно Ванька.

— Что же, я ничего! — конфузится Яшка. — Только ведь опять поймает Грибков. А наш тятка ничего. Разве ему жалко? Сад-то господский. Покричит только...

Разговор обрывается. Все уже разделись и бегут барахтаться в реке, а потом катаются по песку и снов купаются, играют в чехарду...

Солнце припекает, постепенно окрашивает бронзой хрупкие тела. Долго возятся на песках мальчишки, но

купаться все же надоедает, и они бредут домой. Поднявшись на первую гору, расходятся. Одни идут по съезду, другие бегут в расположенный рядом Александровский сад.

Петька с Ванькой лезут на вторую гору по деревянной лестнице, которая ведет на Кизеветтерскую улицу*.

На половине лестницы Петька замечает двух полицейских, спускающихся навстречу ребятам.

— Эти, что ли, Ванька? — шепотом спрашивает Петька.

— Эти!

Петька вглядывается в лица полицейских и не замечает в них ничего особенного. Добродушные с виду дядьки. Один — рябой и рыжий, со вздернутым носом и веселыми серыми глазами, другой — черный, с круглым бабьим лицом. Громко пересмеиваются, проходят мимо...

Ванька грозит им вслед кулаком.

— Неужто эти самые?

— Эти!

— А ты не врешь? Ведь эти добрые!

— Добрые! Чуть живого выпустили! Попадись им — узнаешь, какие добрые!

— Ты куда?

— Пойду по Жуковской.

— Ну, а я по Набережной...

Приятели расходятся.

Петька, выждав, когда Ванька завернет за угол, бежит обратно к лестнице, опрометью спускается с верхней горы. Полицейские уже дошли до конца съезда, свернули в фабричную слободку, расположенную под нижней горой. «Купаться идут!» — соображает мальчишка и, отбежав немного вниз по съезду, пробует выломать из мостовой крайний камень. Но булыжник сидит так глубоко и крепко, что Петьке с ним не справиться. Он торопливо пробует один, другой и наконец находит сбитый с места камень.

Оглянувшись, Петька подкатывает камень к краю горы, сам прячется около перил. Полицейские подходят. Все ближе, ближе...

Петька толкает камень и смотрит, как тот катится вниз. В высокой траве его не видно и можно подумать,



что это бежит собака. Все быстрее и быстрее несется камень. Вот он вырвался из травы, ударился о пригорок и, подскочив аршина на два, врезался в дощатую стенку какого-то низенького, старенького сарайчика. Затрещали сломанные доски, раздался звон разбитого стекла, и камень, отскочив от стены, упал к ногам перепуганных полицейских.

Тогда Петька, схватив небольшой булыжник, кинул его в них что есть силы, перебежал дорогу, ветром понесся вверх по лестнице.

Сзади раздались пронзительные свистки...

Петька уже готов был перепрыгнуть последние ступеньки, когда услышал топот и говор. Мигом юркнул под лестницу, и сейчас же у него над головой загрели тяжелые сапоги. Солдаты из Кизевёттерских казарм * шли купаться.

Пропустив солдат, Петька выскочил за их спинами на тротуар Набережной улицы и, пробежав два десятка сажен, влетел на лесной двор. Там, пробираясь среди полениц, вышел к своему двору. Добравшись до рябины, которая росла за большим флигелем, перелез через забор.

Здесь Петька чувствует себя уже в полной безопасности, он наконец переводит дух, радостно думает: «Здорово я их голышом! Это за Ваньку. Жалко, большой не попал!..»

Петьке побегать бы на Набережную, чтобы еще раз взглянуть на обескураженных полицейских. Но это рискованно, тогда он набирает в'подол рубахи осколков кирпича и начинает упражняться в стрельбе. Мишенью служит очерченный мелом круг на стене большого сарая. Время от времени Петька попадает в цель и шумно ликует победу над противником: «Что! Словил!.. Будешь знать, как драться!»

Вечером того же дня, гуляя по Сенной площади, Петька видит у трактира Дробязина необычную сцену. Оборванный тщедушный человек, обливаясь слезами, ползает у ног плотного мещанина-домохозяина, умоляя его о пощаде. Он хватает его за колени, целует у него сапоги. Кругом толпа зевак, а рядом с мещанином — толстый полицейский с лицом, напоминающим морду бульдога, терпеливо ожидающий кон-

ца явно затянувшейся сцены. Маленький человечек — вор и пойман с поличным при краже курицы.

Сердце Петьки пронзает острая жалость. Он хорошо знает, что воров жалеть не за что, да и сам их не любит. Но все же какое-то неясное чувство подсказывает ему, что жалкий вор ближе ему, Петьке, чем сытый и важный домохозяин. «А если тот с голоду? — думает Петька. — Хозяин же подлец! И курицу отнял, и не прощает».

— Веди его в часть! — требует он от полицейского. — Чего с ним возиться! Пусть посидит в остроге! — Хозяин брезгливо отнимает ногу у припавшего к ней в отчаянии мужичка. — Ишь, рвань несчастная! Не лезь ко мне, а то в морду пну!

Полицейский пытается поднять вора, но тот с криком вырывается, вновь припадает к ногам мещанина. Хозяин безжалостно отпихивает его от себя.

Мальчик в первый раз видит сцену такого глубокого унижения, и неясная тоска от нее тяжело западает в душу. Петьку бьет лихорадка.

Получив еще несколько увесистых пинков, вор теряет всякую надежду на прощение, безвольно встает, покорно плетется за полицейским. Мальчишки гурьбой бегут вслед, но полицейский оборачивается, строго прикрикивает на них:

— Раз-зайдись! А то в полицию заберу!

Они отстают, шумно обсуждают происшедшее, подсмеиваются над вором.

Петька по примеру других тоже мог бы обругать его, но злых слов о мужичке нет. «Сапоги лижет... Как собака! Зачем он такой? — думает он с сожалением. — За сто куриц не встал бы на колени! Сволочи!» — в сознании Петьки богачи и полицейские впервые объединяются под этим названием.

Дома Петька рассказывает о воре, о камне же и о полицейских — ни слова. Вообще чем больше он обдумывает свой поступок, тем больший страх им овладевает. «Дурак я, дурак! А может, кто из Александровского сада смотрел? Спрятался за дерево — и все видел! А потом чуть-чуть на солдат не нарвался! Полицейские, чай, тоже в гору бегом бежали? Крикнули бы, держи, — вот и попался. Непременно придут! А я скажу: «Разве большой камень я смогу вытащить?»

Чай, они крепко сидят». Пожалуй, догадаются, спросят: «А ты пробовал?» — «Нет, — отвечаю, — я маленький, ничего не видел, ничего не знаю». И буду реветь. «Ага! Ревешь! — скажут. — Значит, ты!» Нет! Не буду реветь. Я скажу... на дворе играл. И Петька Обродков, и Ванька Шкунов, и Федька — Кислы Щи — все то же самое скажут. Прибежал Яшка, и мы все время были у Лапшовых, потом на Сенной. Небось не узнаешь! На-ка вот! Выкуси!»

Угрызений совести у Петьки нет, его мучит один страх. Когда он представляет, как завтра в части его будут пороть, у него ноги слабеют. К полиции у Петьки неприязнь. Он давно знает, что полицейские жулики и взяточники. Об этом все говорят, да и сам Петька видел, как полицейский однажды вытащил кошелек у пьяного и снял с него часы.

Но что особенно возмущает его, так это то, что полицейские дерутся. За свою жизнь Петька уже довольно насмотрелся, как они, прежде чем отвести пьяного в часть, изрядно его еще и помнут.

После вечернего чая Петька ложится спать в темном чулане, но долго еще ворочается, долго не может заснуть. Он слышит, как заснула Настенька, потом Санька-маленький, потом Оля. Как будто и блох нет — чулан вымыт, войлок выколочен палкой, но Петьке кажется, что все его кто-то кусает, кто-то по нем ползает.

Сморившись, он наконец засыпает тяжелым беспокойным сном. Вот он, прячась за кустами, подкарауливает полицейского возле оврага и бросает в него булыжник. Полицейский падает, а Петька бежит домой, нырнув в подворотню, пробирается в свой чулан.

Потом Петьке снится, как через окно к нему лезет рыжий полицейский с ножом в зубах.

Петьке хочется бежать, но он не может сдвинуться с места и отчаянно кричит. Просыпается и видит склонившихся над ним Олю, Саньку-маленького и Настеньку. Захлопали двери, пришла Анна Кирилловна, за ней старшая сестра Лиза.

— Петюшка! Что с тобой?

— Сон страшный видел, — отвечает неохотно Петька.

После утреннего чая Петька бежит на улицу. Ему не терпится поскорее узнать, что говорят о вчерашнем. Скоро около Петьки собирается шестеро ребят.

— Идемте, братцы, купаться! — предлагает Петька.

— Только пойдем по съезду мимо сарая! — подерживает его Ванька Шкунов. — Дыру посмотрим.

— Какую дыру? — лениво интересуется Петька.

— Рази не слыхал? Вчерась солдат пустил голышом в полицейского, а тот присел, камень и...

— Да ты что врешь! Рази голышом? — встревает в разговор Яшка. — Солдат кинул большущим камнем и не попал, а полицейских было двое.

— Сам врешь! Он кидал с горы. Рази большущий камень докинешь?

— А я слышал, что не солдат, а мужик один кинул. Его солдаты ловили, а мужик в Александровский сад убег.

— Нет, братцы! Кинул не солдат и не мужик, а кто-то совсем неизвестный. Прямо в ногу попал! Выше коленки. Полицейский хромает. А голыш с большущую картошку.

— Рази голышом стенку прошибешь?

— А пымали, который кинул?

— Некого и ловить-то было. Солдат человек двадцать шло, и они никого не заметили. Я с песков иду, слышу — бац! Оглядываюсь: один полицейский на земле валяется, другой его подымает. Из дому бабы выбежали. Ругаются. В сарае у них на полке банки стояли и побились. А полицейский говорит: «Я бы его, мерзавца, догнал — из левольверта застрелил. Да ду-мал, товарищ умирает — испугался».

— Солдаты рыжего полицейского под руки повели, а потом на извозчике. Камень и голыш полицейские в часть с собой повезли.

— Так им и надо, селедкам проклятым! Жаль, большой не попал! — говорит со злобой Ванька Шкунов.

— Дыра здоровенная! С голову будет!

— А на кого полицейские думают?

— Говорят, на фабричных. В воскресенье их здорово в части дули.

— Ишь!..

— Фабричные молодцы! Они еще их ночью пимают. Не поглядят и на левольверты.

— Знамо, не поглядят.

За разговорами компания доходит до места происшествия. Петька видит в стене сарайчика большую дыру и весь переполняется хвастливой гордостью. Он с трудом сдерживается, чтобы тут же не рассказать ребятам всех подробностей. Останавливают его только мысли о порке в полицейской части.

— Видно, здоровый был камень. Ежели бы попал, проломил бы голову,— говорит Петька деловито.

— Знамо, проломил бы!

— Да тут не то что башка, чугун и тот лопнул бы!

Приятели сворачивают в переулок, идут на пески. Они ругают на все лады полицию, восхищаются фабричными, не побоявшимися напасть на полицию днем.

Петька отмалчивается, хотя похвастаться ему ой как хочется!

ГЛАВА XIII

повествует о том, как Петька наконец поладил со «шкилетом» и глубоко задумался над тем, что бы он сделал, если бы стал вдруг богом

Первого сентября Петька снова отправляется в школу. Теперь он второклассник и гордится этим, занятий ждет с нетерпением.

Ребята уже собрались во дворе, от нечего делать устроили драку — стенка на стенку.

Но вот прошли батюшка с дьячком. На дворе показался сторож, зазвонил в колокольчик, и ребята гурьбой понеслись по лестнице в классы. Там уже стол накрыт белой скатертью, на нее поставлена суповая миска с водой. Перед иконой зажжена лампада, около миски — маленькие подсвечники с горящими восковыми свечами. Дьячок уже раздул кадило, и комната полна пахучего сизого дыма. Батюшка причитает и поет, святит в суповой миске воду, погружая в нее крест. Потом он опускает в «святую воду» кисточку из лошадиного хвоста и кропит икону, стены, всех присутствующих.

«И чего брызгается? Балует, как маленький!» — недоволен Петька. Несколько капель попало ему на лицо, и это неприятно: «Он бы еще свинячим хвостом зачал брызгать!» При мысли о том, как стал бы брызгать батюшка свиным хвостом, завитым в колечко и с кисточкой на конце, к Петьке снова вернулось веселое настроение.

После молебна Алексей Алексеевич объявил, какие учебники надо купить, а также кто с каким классом будет заниматься, и тогда Петька разочарованно узнал, что попал к «шкилету».

Как и все другие мальчишки, на следующий день он пришел в школу задолго до звонка. Смирно стоял себе в сторонке и ожидал начала занятий, когда Обродков, преследуемый Колькой Киселевым, принялся вдруг бегать вокруг него, спасаясь от Колькиных ударов. Не поймав Обродкова, обозленный Колька ударил по лицу вместо него Петьку, — и, конечно, сейчас же получил сдачу, упал было, но Петька вторым ударом помог ему устоять на ногах.

Колька на два года старше Петьки, но плакса и ябеда, пустился в рев, пошелся жаловаться учителю.

Через три минуты Петьку уже звали к «шкилету». Он встретил его у дверей школы крепким подзатыльником и угрозой послать записку матери. Произошло это так неожиданно, что Петька не успел даже слова сказать в свою защиту: «Совсем «шкилет» из ума выжил! Большой на маленького жалуется, а он сразу по башке бить!» «Шкилет» после этого показался ему еще более ненавистным.

Урок начался, как обычно, после молитвы. Алексей Алексеевич занимается сразу с двумя классами. Третий класс пишет диктант, а второму дана задача. Петька решает эту задачу у доски.

На ее решение дается полчаса. Но всякий, кто решит раньше, поднимает руку. И тогда учитель вызывает его к столу, просматривает тетрадку. Если решение верное, «шкилет» молча отпускает ученика, но если допущена ошибка, он издает звук, похожий не то на стон, не то на рычание и, приговаривая: «Соображай, бестоло-очь», больно дергает несчастного ученика за вихры, стучит костяшками кулака по лбу. Задачников

ни у кого нет, ответа «шкилет» не говорит, и все находятся в полном неведении.

Правда, многие списали решение с доски, но Петька спутался в вычислениях, и всем списавшим тоже досталось от учителя.

Просмотрев все тетради, Алексей Алексеевич повернулся наконец к доске, застонал, и Петька получил второй за это утро подзатыльник. Только потом «шкилет» указал ошибку. Тыча в доску тонким длинным пальцем, противно скрипел:

— Эх, бестоло-очь!..

Петька снова принимается за задачу и на этот раз доводит ее до конца. Он уже приготовился идти на место, но «шкилет» останавливает его и начинает гонять по таблице умножения. За всякий неправильный ответ Петька получает еще по одному подзатыльнику.

Петька и на учителя злится, и на себя досадует: «Дурак я!.. Четырежды семь двадцать восемь, а я сказал тридцать два. «Шкилет», видно, думает, что у меня голова-то чугунная. Что ж, ежели по башке наколотить, так я умнее, что ли, буду?»

Следующий урок — русское чтение. Алексей Алексеевич заставляет читать всех понемногу и при этом никого по головам не колотит. Доходит очередь до Петьки. Он читает монотонно, без всякого настроения, но и ошибок не допускает. «Шкилет» хвалит его, и Петька приходит в восторг: «Ишь, Зоя Владимировна никого не хвалила, а этот хвалит! погоди, я еще тебе все задачи решу!» Петька замечает, что «шкилет» бьет только за шалости и за неверно решенные задачи. На колени он тоже никого не ставит, а всех не выучивших урок оставляет без обеда всего на час.

Вернувшись домой, Петька первым делом хвастает:

— Алексей Алексеич меня похвалил. Говорит, молодец! Только он дерется здорово! Как зачал по башке колотить, — думал, весь ум выбьет!

Петька рассказывает обо всем без утайки. Анны Кирилловны дома нет, да он и перед ней теперь не скрывается. Она уже давно перестала его пороть.

Произошло это как-то незаметно для Петьки. Однажды, совершив поступок, за который непременно

полагалась порка, Петька с изумлением обнаружил, что наказания не последовало. То ли Анна Кирилловна решила, что Петька уже достаточно взрослый, то ли поводов стало меньше. Он научился осторожности и почти не бил посуды, не портил вещей, не терял денег. Кроме того, Петька теперь умел скрывать под маской простодушия свои проступки.

Возможно, Анна Кирилловна перестала пороть Петьку и потому, что у нее хватало забот с младшими. Бывало, что мать, особенно рассердившись на Петьку за упорное неподчинение, — а он любил противоречить, — стегала его широким ремнем по спине. Но Петька к подобным событиям относился уже благодушно: «Словами доказать не умеет, так разве ремнем докажет?» Чаще же всего дело ограничивалось угрозами:

— Вот возьму толстую веревку, как почну стегать!.. Две недели у меня садиться не будешь! — грозит Анна Кирилловна. — Я тебе покажу, как с матерью спорить!

Петька хорошо знает, что ругань — все равно что гром: вреда не принесет — и поступает по-своему. Тем не менее отношения с матерью улучшились, и Петька вновь любит ее, но уже не прежней беззаветной детской любовью. Во всяком случае, теперь Петька относится к ней с большим доверием.

Вот и сейчас Петька знает, что Оля разболтает все матери, но это уже не пугает. Он убежден, что сможет доказать свою правоту кому угодно. Петька также знает, что Оля будет смеяться над ним, но желание поделиться так велико, что он нисколько не смущен и этим.

Выслушав его рассказ, Оля сначала возмущается поведением Кольки, а потом, конечно же, принимается за Петьку.

— Простенькой задачки решить не мог!..

— Тебе хоть говори, хоть нет! Разве б я ее не решил? Чай, я таблицу умножения забыл!

— Значит, Алексей Алексеич для памяти, чтобы знал, тебя по голове-то колотил? — Ольга ехидно хихикает.

— Любо дураку, что селедка на боку, едет да по-свистывает. Ведь я таблицу-то умножения во как знал! Знамо, за лето забыл. А теперь снова все выучу! —

сердится Петька.— Я ему какую хочешь задачу решу. Разве я не понимаю?

Вечером Анна Кирилловна, к удивлению Петьки, рассердилась не на него, а на учителя.

— Старый дурак! Разве можно ребенка по голове бить?

— Что! Говорил я тебе, что по башке бить нельзя? — торжествует Петька, обращаясь к сестре.

— А ты, сынок, не огорчайся! И уроки учи хорошенько.

— Да разве я не учу? Сама знаешь, как здорово читаю! — хвастает Петька.— И совсем даже не озорничаю. Спроси Алексей Алексеича или Зою Владимировну. Что до Кольки, так разве это озорство? Тебе кто в лицо заедет — тоже не стерпишь.

Петька доволен, что мать встала на его сторону, и в этот день беспрекословно исполняет все ее просьбы. Таблицу умножения он выучивает назубок. Правда, на это потрачено много времени, но зато он свободно владеет цифрами и решает задачи теперь одним из первых.

Старый учитель часто говорит:

— Молодец, Заломов!

Петька так гордится этой похвалой, что слово «шкилет» как-то незаметно утратило свой оскорбительный характер. Когда же дело доходит до диктанта с буквой «ять», то Петька прямо-таки поражен, с какой удивительной простотой учитель разрешает вопрос:

— Ежели в буквы «о» и «е» не ударяет, то пишется «ять», — объясняет он и этим навсегда заканчивает изучение грамматики. С его слов ученики записывают лишь исключения.

Ребята без конца проверяют правило Алексея Алексеевича на различных словах в книгах и, к своему удивлению, убеждаются, что оно выдерживает испытание. «Вот так „шкилет“», — думает Петька с восхищением.

Со «шкилетом», или «со шкилой», как Петька стал называть Алексея Алексеевича, он с этих пор окончательно поладил.

В школе введен новый предмет — церковнославянский язык. Петьке этот мертвый язык кажется чем-то вроде занимательной игры.

— Авва — отец, абие — тотчас, акрида — саранча, — читает Петька и приходит в восторг. — Здорово! Попы нарочно придумали, чтоб никто не понимал. А я вот выучу и все знать буду! Кто их ведает, что они там в алтаре бормочут? Может, просто ругаются, а которые люди в церкви — кланяются. Попы хитрые! Может, это они все на смех?

Евангелие у Петьки на церковнославянском вместе с русским переводом. Читая его сначала по обязанности, он постепенно так увлекся книгой, что для него она стала одной удивительной сказкой.

И чем дальше, тем более религиозным становился Петька. Теперь он каждый праздник ходил ко всеобщей и к обедне, терпеливо выстаивал часы службы.

Церковь всегда битком набита. Многие ходят специально, чтобы послушать знаменитый хор миллионера Рукавишникова*, который так любил церковное пение, что собирал голоса по всей России. Взрослым певцам он платил хорошее жалованье, а детей брал на полное содержание и даже давал им образование. Из его хора вышло немало оперных певцов.

Хор огромный и занимает в церкви оба клироса. Во время службы он то разделяется на два хора, перекликающихся между собой, то поет как одно целое. Среди хористов есть чудесные тенора, баритоны, басы и несколько октав. Детские голоса подобраны удивительно, и Петьке кажется, что это поют ангелы. Он и раньше любил слушать хор Рукавишникова, особенно «Веделевское покаяние»*, но с некоторых пор слушает его особенно часто.

В церкви Петька стоит неподвижно, он не крестится, не кланяется. Молитв он тоже не читает, потому что все они кажутся ему скучными. Зато дома он увлеченно читает жития святых. Особенно любит он читать про великомучеников, отдавших жизнь за христианскую веру, за любовь и братскую жизнь.

Слушая пение хора, Петька мысленно разговаривает с богом. Но не с тем большим и страшным, который изображен на росписи купола, а с распятым на

кресте. «И зачем ты согласился, чтоб тебя казнили? Все равно толку нету! Лучше Саваофа сковали бы цепями, и — в ад! Он один злее всех чертей. Всемирный потоп устроил, маленьких детей и женщин не пожалел. Разве это бог? Самый что ни на есть разбойник! Сидит на престоле и мучает всех! Чай, и моего тятю на горячей сковороде жарит? И мороз он выдумал, и снег, и холод. Болезни посылает, войну, голод. Тыщи лет молятся ему люди, а он добрее не стал. Вон поп говорит, что все зло от сатаны. Да разве сатана всемогущий? Ведь бог его единым словом создал! Нет, это он, наверное, со злости еще одно слово сказать не хочет! Взял бы да и повелел: «Пусть везде будет рай!» Вот если бы я был богом, я бы ничего для людей не пожалел...»

ГЛАВА XIV,

*раскрывающая все секреты
рождественских похждений Петьки,
а заодно и историю появления «христовых» валенок*

Наступила длинная зима с глубокими снегами, метелями. В двадцатиградусные морозы на пожарной каланче вывешивали белый флаг. В такие дни занятия в школе отменялись, и для детворы наступал неожиданный праздник. Петьке же в это время из-за плохой одежонки частенько приходилось сидеть дома. В худые валенки набивался снег, ноги мерзли. А старая отцовская шапка была огромной, за что Петьке дали прозвище Дядя Сарай.

Еще задолго до рождества Анна Кирилловна говорила Петьке:

— Выучи, Петюшка, гимны. На рождество будешь бога славить, а я тебе на эти деньги новые валенки куплю. Христовы!

К празднику Анна Кирилловна сшила Петьке из разного тряпья новое пальто; старое же, из которого он вырос, было ушито и отдано Саньке-маленькому. Петька, Яшка, Ванька Рязанов, Федька и Петька Обродков заранее сговорились, чтобы ходить славить вместе.

Ночью Анна Кирилловна разбудила Петьку, и он отправился к заутрене.

Хор поет так хорошо, что полусонный Петька забывает про все на свете. Он мечтает о том, как бог вдруг станет добрым и скажет «слово». Петька представляет, как мгновенно растают тогда все снега и станет так тепло, что валенки вообще больше не понадобятся. Вся земля вновь превратится в райский сад. Всюду сахарные, леденцовые и шоколадные скалы, целые озера молока, горы хлеба и жареного мяса. Петька голоден, ему очень хочется ветчины, которая завтра будет у дяди Якова, и он шумно вздыхает: «И почему бог такой жадный!»

Петька со страстной мольбой смотрит на сурового бога и просит из самой что ни на есть глубины души: «Ну милый! Ну скажи! Что тебе стоит? Вот истинный крест! Никогда тебя ругать не буду!» Он очень ждет чуда. Но чуда нет. Снег, забившийся в валенки, растаял, и Петьку бьет озноб.

Служба закончена, Петька выходит на церковный двор. Там его уже поджидают товарищи. У Ваньки и Федьки — дисканты, у остальных — альты. По дороге спеваются. Петька время от времени отстает от ребят: то из одного, то из другого валенка вытряхивает снег.

— Пойдем, робя, на Большую Печерскую! — предлагает Ванька.

Оттого что всем все равно, куда идти, идут за Ванькой, ходят со двора во двор, из дома в дом. В первой квартире их приняли и дали на всех две копейки. Местами подавали по копейке, редко по три, но чаще отказывались даже впустить. Кто говорил, дети спят, кто — денег нет, кто — хозяева ушли. Иные ссылались на то, что у них уже перебивалось человек двадцать, а то и просто выгоняли.

В одной квартире баба встретила их руганью:

— К черту! К черту! Свои надоели, а тут чужие лезут, покою не дают! И что вас черти носят?

От такого приёма и без того неважное настроение Петьки совсем испортилось. Ванька же, наоборот, развеселился, нашарил на стене посудную полку и опрокинул с нее все горшки и плошки. Что-то потекло, что-

то упало на пол — и ребята стремглав бросились на улицу, шмыгнули в первые же ворота.

— Ванька! А ведь на тебе сметана! Дай очищу! — со смехом предложил Петька.

— Зачем же добру пропадать! — хохочет Ванька и слизывает сметану языком.

Все смеются.

— А теперь лезем во флигель!

— Да там, говорят, евреи!

— Чай, видишь свет! Значит, русские на рождество пекут.

— Ну так лезем.

Яшка стучит в сени. Хлопает дверь, и раздается вежливый мужской голос:

— Вы опять стучите? Я бы очень просил не стучать...

— Пустите Христа прославить! — хором кричат мальчишки.

— Я не верю в Христа. Уходите, пожалуйста!

— Я же говорил, евреи!

— А кто их знает?

Потом приятели три раза подряд попадают в татарские семьи.

— Кростос не нада, Магомет нада! — ответил из темных сеней женский голос.

— Тут татары! — сердито крикнули им во втором месте.

В третьем их встретил очень злой человек. Не успели ребята слова сказать, как он грубо прикрикнул на них:

— Опять просить пришла? Хады, хады! Морда бить буду!..

Когда ребят отовсюду стали выпроваживать, они сдались и решили разойтись по домам.

В кружке-кассе оказалось тридцать семь копеек. Разделили поровну, а две оставшиеся копейки решили разыграть. Назначили дистанцию, и по команде все бросились бежать. Первым прибежал коренастый и крепкий Яшка, вторым Петька, а последним самый высокий Федька.

Петька огорчен поражением. Не жалко двух копеек, страдает тщеславие: «Разве бы я не обогнал

Яшку? Ведь сколько раз обгонял! Только на два шага отстал. Знамо, у Яшки валенки ладные, а у меня ведь тятини — снегу в них полно».

На другой день Петька с утра идет славить по родным. Славить страшно не хочется. После вчерашнего он испытывает только одно унижение. Теперь это чувство еще сильнее, потому что Петька знает: родственники уже предупреждены матерью — сын славит, чтобы купить потом на подаренные деньги валенки.

«Зачем же они заставляют меня просить как нищего? Если хотят, чтобы у меня были валенки, лучше бы сложились по гривеннику и купили!» — думает Петька с обидой.

Хуже всего, что отказаться славить нельзя. Обидятся мать, родственники.

Прежде всего Петька направляется к дяде Якову. Насмешливый и строгий, дядя не жаден, но все же мальчику невыносимо стыдно; яркая краска залила лицо, горло сдавил какой-то ком, а прерывающийся голос чуть слышен, когда он начинает свое: «Христос рождается...»

Понемногу Петька оправляется и поет во весь голос, а дядя Яков подтягивает на низких бархатных нотах.

В карман Петьки разом попадает новенький пятиалтынный. Племянник поздравляет всех с праздником, съедает кусок ветчины, выпивает стакан чаю с малиновым вареньем, благодарит и уходит.

Особенно большие надежды возлагает Петька на бабушку Елизавету, мать отца, и всех его родных.

Бабушка сразу дает тридцать копеек.

— На тебе, сиротка мой бедный! — говорит она, всплакнув, когда Петька кончает славить.

Дядя Василий молча протягивает два гривенника.

Петька переходит в пристройку, к своему крестному отцу, дяде Саше, и получает еще один пятиалтынный.

Довольный Петька прощается и идет на нижнюю улицу к бабушке Наталье.

У сына ее, дяди Вани, гости — два слесаря. «Тоже дадут!» — деловито подсчитывает Петька. Он уже не

чувствует ни стыда, ни смущения. Поет громко и свободно. Бабушка Наталья дает гривенник, дядя Ваня — пятиалтынный, из гостей один — гривенник, другой — двадцать копеек.

Петька вернулся домой лишь к полудню, с гордостью высыпал деньги на стол перед матерью.

— Молодец, Петюшка! Сколько собрал? — спрашивает деловым тоном Анна Кирилловна.

Петька несколько раз пересчитывает деньги.

— Рупь тридцать пять! — отвечает он с торжеством. — Да еще семь вчера, значит, рупь сорок две.

— Ну, семь ты возьми себе на конфеты! — говорит Анна Кирилловна. — А к этим я добавлю пятиалтынный. Вот тебе и хватит на валенки. Скоро Иван из-за Волги матери дров привезет, ему и закажем. Я попрошу, чтобы сделал потеплее да попрочнее...

Через неделю Петька становится обладателем новых валенок. Они так толсты и так твердо укатаны, что сдавливают ноги до боли. Петька в отчаянии, однако дядя Ваня успокаивает его: катанки еще разносятся.

«Христовы» валенки действительно скоро разносились. Они так теплы, что теперь никакой мороз не страшен Петьке. «На тот год опять славить буду! — решает он. Чувство неловкости прошло. — Ведь, чай, я им родной! Разве сироту им не жалко? — думает Петька. — Вот вырасту, и ко мне будут ходить. Уж я для сирот не пожалею!»

ГЛАВА XV

*Петька получает боевое крещение в кулачном бою
и знакомится с загадочным кузнецом
по прозвищу Эко-Мако*

Дворянин Лапшов окончательно разорился. Для покрытия долгов ему пришлось заложить свой дом лесоторговцу, который арендовал у него половину усадьбы под лесной двор. Из хозяина Лапшов теперь превратился почти в квартиранта. Он взял место приказчика на тридцать пять рублей в месяц, а дети его — Колька, Сережка и Витька — оказались в общесте уличных мальчишек.

Улица встретила своих новых членов не очень благожелательно. Их поднимали на смех, а частенько и бивали. Но старший, двенадцатилетний Колька, проявил в драке такие способности, что скоро стал лучшим кулачным бойцом и завоевал не только всеобщее уважение, но и сделался уличным королем мальчишек. Отблески Колькиной славы распространились и на девятилетнего Сережку и на семилетнего Витьку.

Сережка заважничал, даже пытался было взять под свое покровительство Петьку, который, конечно же, в этом ничуть не нуждался. Братишка Кольки Лапшова стал поучать его на каждом шагу. Когда Петьку кто-нибудь называл дураком, Сережка непременно вступался: «Сам дурак! Скажи, Петя?»

Петька в ответ только усмехался.

Постепенно улица дала братьям Лапшовым новые имена вместо старого прозвища Барчонки. Старшего Кольку стали звать Лапшой, Сережку прозвали Самаржой, а Витька, у которого был прямой и тонкий нос, превратился почему-то в Кривоносого.

Колька был участником почти всех кулачных боев, какие только случались в округе. На его изуродованном оспой лице синяки были как-то мало заметны и быстро исчезали.

В один из воскресных дней он позвал с собой Петьку и других мальчишек смотреть, как будут драться взрослые.

Кулачный бой намечен между жителями Большой Печерской и Жуковской, а начинается на Кизеветтерской улице, пересекающей две первых. Пока дерутся десятилетние мальчишки, в драке нет никакого ожесточения, и она носит скорее характер игры. При этом соблюдаются все правила, то есть не бьют лежащего, не бьют в живот, под сердце.

Петька тоже дерется, нанося и получая в ответ безобидные удары. Но вот со стороны Большой Печерской прибежал Дикий Барин и изо всей силы ударил Петьку в левый глаз. Мальчик упал. Все возмущены: Дикому Барину, получившему свое прозвище за истрепанную грязную шляпу, уже пятнадцать лет. Петька выходит из боя с громадным синяком. А со стороны Жуковской улицы выступают на подмогу малышам подростки.

Роли меняются, малыши теперь превращаются в зрителей, и бой приобретает уже не совсем безобидный характер, хотя некоторые правила еще и соблюдаются. Но когда вступают взрослые, игра становится похожа на настоящую бойню. Подвыпившие мастера и фабричные дерутся с яростным ожесточением.

Вот Большая Печерская погнала Жуковскую. Один упавший от удара остался лежать на месте. Пьяный парикмахер вскочил ему на грудь, начал топтать ногами, пинать в лицо. За пострадавшего вступились возмущенные жуковцы, в ход пошли тяжелые кастеты, кожаные со стальными стержнями трости,— и Большая Печерская обращена в бегство.

Уличный бой разгорается, вовлекая все новых и новых бойцов.

Но вот раздается тревожный свист, из-за угла появляется полиция, и все разбегаются. На улице остаются лишь несколько пьяных да сильно избитых бойцов.

Жаркая уличная схватка позади. Мальчишки, окружив Петьку, идут домой. Всем кажется, что такого здоровенного синяка еще ни у кого не бывало. Над Петькой подшучивают, но он не обижается, понимая, что синяк, да еще во весь глаз,— вещь для бойца почетная. Колька Лапша смотрит с видом знатока и одобрительно хмыкает:

— Здорово он тебя саданул! Молодец, Петя!

Петька переполнен гордостью и отвечает хвастливо:

— Я в другой раз...— он чуть было не сказал: «...и не такой синяк получу!», но, вовремя сообразив, что это глупо, договаривает: —...сам ему засвечу!

Сережка Самаржа, желая, как обычно, защитить Петьку от насмешек, учит его:

— А мне с фонарем ходить светлее будет! Скажи им, Петя!

Однако пора ужинать, и Петька идет домой.

— Где это ты такой синяк заработал? Опять подрался? — строго спрашивает Анна Кирилловна.—

Али порки захотел? Ведь я говорила, чтоб не смел больше драться.

— Ну да! Дрался. Чай, я упал.

— А синяк у тебя откуда?

— На камень наткнулся!

— Да ты врешь! Опять дрался с кем-нибудь?

— К тебе кто жаловаться приходил? — уже с вызовом спрашивает мать чувствующий себя в полной безопасности Петька.

— Это он, мама, на чей-нибудь кулак наткнулся! — язвит Оля.

— Молчи, Ольгушка — соленая лягушка! — цыкает на нее Петька.

Анна Кирилловна расспросов не продолжает, делает вид, что верит сыну, и, положив ему на ушибленный глаз листовый свинец из-под чая, завязывает его платком.

Появилось новое развлечение — опять заработала кузница во дворе. Она долго пустовала, прежде чем нашелся арендатор. Нового кузнеца зовут Василием Ивановичем. Он хороший работник, но любит выпить, а поэтому в кузнице нередко работают только его сыновья. Старший, Михаил, — красивый и бравый мужчина, — уже опытный кузнец; вина он не пьет, и потому часто ссорится с отцом, пропивающим их общий заработок.

В одну из таких ссор, при которой присутствовал Петька, Василий Иванович ткнул концом раскаленной добела оси сыну в бедро. Запахло горелым мясом. Михаил, не сказав ни слова, вышел из кузницы и больше в ней уже не появлялся. После Петька узнал, что он поступил на завод Курбатова, и ему сразу же положили заработок в один рубль двадцать копеек в день.

Второй сын, Николай, — тоже работник изрядный и заменяет отца, когда тот отсыпается после сильной выпивки. Младшему, Лешке, минуло всего пятнадцать лет, и его обязанность пока раздувать меха, нарезать резьбу у болтов и гаек, а в отсутствие отца — бить молотом. Петька часами торчит в кузнице и несколько раз уже ковал себе из конских гвоздей ножички.

У Василия Ивановича всегда много работы, и не без основания. Он не только прекрасно подковывает лошадей, но и превосходно исправляет экипажи, пролетки, сани. Когда он трезв, работа в его руках так и кипит. Фигура его из тех, что не очень ладно скроены, зато крепко сшиты. Его большое лицо и нос луковичей изрыты оспой, плечи и широкая грудь — бочкообразны, ноги — толсты. Трезвый, он суров и мрачен, говорит мало. Но пьяный весел, добродушен и болтлив, так что может разговаривать даже сам с собой.

Василий Иванович, как бы ни был пьян, никогда не падает и не ругается, а потому полиция его не беспокоит. Пьяный, он бродит по улицам, разговаривает сам с собой, часто повторяя таинственное слово «эко-мако». При этом он размахивает громадными ручищами так, будто сражается с невидимым врагом.

Мальчишки зовут Василия Ивановича Эко-Мако, а любимое занятие их — преграждать ему дорогу. Завидев его, пьяного, они бросают игру, как бы интересна она ни была, и неожиданно вырастают перед кузнецом сплошной стеной, взявшись за руки, хором кричат:
— Эко-Мако! Эко-Мако!..

Василий Иванович останавливается, долго соображает что-то, потом строго поднимает указательный палец и кричит оглушительно:

— Эдонндор шиш! Марш с дороги! Я мастер! Я гуляю! — и грозно устремляется на мальчишек, с визгом рассыпающихся в стороны.

Разогнав неприятеля, Василий Иванович добродушно хохочет и вновь куда-то бредет, неустанно повторяя какие-то бессмысленные фразы. Мальчишки азартно преследуют его, время от времени развлекаясь тем, что снова вырастают перед ним живой стеной. Они любят Василия Ивановича и никогда не позволяют себе по отношению к нему никаких злых шуток.

Во всех играх с кузнецом Петька главный заводила. Ему хочется разгадать смысл волшебных слов «эко-мако» и «эдонндор шиш», потому что он очень верит: именно в них скрыт секрет мастерства кузнеца. Недаром же он все время бормочет их!

ГЛАВА XVI

Отличник Петька геройски преодолевает превратности учения в церковноприходской школе, но неожиданно для всех становится второгодником

По личной просьбе механика Калашникова теперь Анне Кирилловне стали выдавать из заводской конторы по пятнадцать рублей в месяц. Положение Заломовых улучшилось. Тем не менее жить все же очень трудно: на каждого в семье приходится по два неполных рубля, принимая во внимание, что на эти же деньги надо покупать еще и дрова, и обувь, и одежду. И хотя Анна Кирилловна делит хлеб всегда по справедливости, ссоры из-за большого или кажущегося большим куска случаются очень часто.

Когда по утрам хлеба вовсе нет, мать дает Петьке на завтрак две копейки, и тогда он оказывается в трудном положении. Что купить: хлеб или книжку? Если книжку, то какую? С одной стороны, он восхищается великомучениками, а с другой — достигаемые ими результаты кажутся ему ничтожными, если сравнить их с победами сказочных героев.

После долгих колебаний Петька все же покупает сказку.

При этом Петька ничего не теряет. В обмен на сказку ребята охотно дадут прочитать и жития святых. Вообще ребятишки очень нуждаются в книгах, но бесплатных библиотек нет, а из платной городской брать книги дорого.

Трижды, правда, учитель собирал деньги на школьную библиотеку. По двадцать копеек принесли все дети, даже самые бедные, но библиотека так и не появилась. Бесследно исчезли и собранные деньги, спросить же о них никто не решился: портить отношения со «шкилетом» было страшновато.

По приказанию учителя Петьке купили новую книжку для чтения, в которой были стихи и короткие рассказы из русской истории. Патриотизм Петьки с этих пор стал расти необыкновенно. В мальчишке проснулась неведомая ему до сих пор ненависть к другим, «нерусским» народам, любовь к защитникам отечества, особенно к царям. О, как негодовал Петька на поляков, как восхищался Сусаниным, спасшим царя

Михаила! Убийца царя Александра II Петька считал величайшими злодеями и радовался, что их повесили. Особенно восхищался Петька царем-плотником Петром Великим.

Слова «А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, жила бы только Россия!» приводили Петьку в восторг, и он мечтал о том времени, когда будет с винтовкой в руках защищать царя и отечество от всех врагов.

По царским дням * Петька ходил на военные парады. Маринский институт благородных девиц в таких случаях был всегда иллюминирован, и Петька от всей души наслаждался видом чающих керосиновых плашек, расставленных вдоль длиннейшей кирпичной ограды, с восторгом кричал вместе с другими «ура!».

Учиться Петьке и в третьем классе пришлось у Алексея Алексеевича, но он уже так привык к «шкиллету», что ему начало казаться, что все учителя должны быть именно такими.

Как и прежде, Петька решал задачи одним из первых, причем делал это с большим удовольствием. Дисциплина во время занятий была по-прежнему образцовой — учителя побаивались. Но к церкви Петька охладел. Хор Рукавишников после смерти миллионера распался. На клиросе теперь пели любители. На службах стало скучно, и народу ходило все меньше и меньше.

Еще с осени Петька сблизился со своим одноклассником Федькой — Кислы Ши. Он был сыном мелкого чиновника. Его с младшим братом Пашкой раньше водили, как барчат, в красивых бархатных костюмчиках и белых башмачках, но умер отец их, семья стала бедствовать, и как-то незаметно Федька с Пашкой превратились в равноправных членов улицы. За неумение драться и ругаться, за плаксивость и изнеженность их долго дразнили «кислыми щами». Но они были неглупые, добрые ребята и постепенно сумели завоевать себе расположение мальчишек, чему немало помогало и то, что Федька охотно делился с ними яблоками из своего сада.

Петька любил бывать во дворе у своего дружка и часами играл с ним «в кон» или «в пристенок». Проиграв,— а в игре «в пристенок» он был не силен,— Федька всякий раз пускался в рев и бежал домой за деньгами. Выкупив у Петьки за две копейки все свои козны, начинал снова играть. И снова проигрывал.

Дружба после этого, однако, не нарушалась. На другой день Федька по-прежнему искренно был рад, когда дружок приходил к нему во двор. Но приятели никак не могли столковаться. Федька хотел играть «в кон», а Петька — «в пристенок». Выход нашелся — решили играть понарошку: к концу игры каждый получал то, что у него было вначале. И, к своему удивлению, обнаружили, что игра понарошку оказалась не менее интересной.

Потом бродили по саду, заросшему бурьяном, и искали там не замеченные взрослыми упавшие яблоки. Урожай уже снят, но Петьке иногда удавалось отыскать одно, а то и два яблока. Рвал Петька и забытые остатки высохших бобов, которые казались ему очень вкусными. Федька к бобам был равнодушен, да и яблоки его не прельщали, и он частенько отдавал свою находку Петьке.

— У нас дома много,— говорил он при этом.

В ветреный день друзья запускали большой бумажный змей с трещоткою и посылали по нитке телеграммы — клочки бумаги с дыркой посередине. Ветер быстро гнал телеграммы вверх, к самым облакам.

В школе произошли перемены. Алексей Алексеевич стал заниматься со вторым классом, в первом же и в третьем занятия теперь вела Анна Серафимовна — дочь дьячка Троицкой церкви, молоденькая, кругленькая, беленькая девушка с миловидным личиком и кротким характером. Она не умела быть строгой и потому дисциплины на уроках установить не могла. Учительница совсем не сердилась, когда мальчишки шалили и проказничали, и готова была всему смеяться первой.

Наладить занятия ей так и не удалось. Ее не слушали, заданных ею уроков не учили. Тщетно пытался

помочь Анне Серафимовне Алексей Алексеевич. Как только он уходил, в классе вновь поднималась возня, начинались разговоры.

Вот Крошкин, ухитрившийся просидеть в школе до семнадцати лет, поднимает руку:

— Что тебе, Крошкин? — спрашивает учительница, стараясь быть строгой.

— Анна Серафимовна! Позвольте встать на колени! — кричит он. И, не дожидаясь позволения, идет по партам через головы мальчишек, встает перед учительницей на колени, молитвенно складывает руки. Вслед за Крошкиным бегут Барынькин, Зубов, потом и другие.

Через минуту учительница окружена плотным кольцом коленопреклоненных, ей нельзя даже встать со стула. Она смущается, краснеет, наконец не выдерживает и звонко хохочет. Поднимается невообразимый шум, на который приходит Алексей Алексеевич, и все разбегаются по своим местам. Промаявшись две недели, Анна Серафимовна перешла в школу для девочек, а на ее место был назначен молодой учитель, только что окончивший учительскую семинарию.

Новый учитель Иван Николаевич — среднего роста, рябой, с огненно-рыжими, торчащими, как у ежа, волосами, с маленькими глазками и большим ртом — показался ребятам едва ли не страшнее «шкилета».

На первом же уроке он пришел в страшную ярость от невежества учеников, кричал, ругался, стонал, хватался за голову, но, к удивлению Петьки, не тронул ни одного ученика даже пальцем.

К новому учителю ребята привыкли очень быстро. Пожалуй, только теперь они по-настоящему поняли, каким должен быть учитель. От него они узнали, какой интересный и большой мир их окружает, что существуют правила грамматики, научились выразительному чтению. Единственным ругательством Ивана Николаевича было слово «бестолочь». Учеников он не наказывал, а свой гнев выражал по преимуществу страшным гримасничанием. Но даже второгодники и третьегодники, считавшиеся безнадежными учениками, Ивана Николаевича уважали, не в пример новому учителю закона божьего.

Старый священник отец Владимир умер в конце учебного года. До могилы его провожали всей школой. Особенно батюшку никто не жалел, но никто не отзывался о нем и плохо.

После смерти отца Зоя Владимировна вышла замуж за студента духовной академии, который женился на ней как на наследнице церковного места *. Петька видел, как высокую и красивую Зою Владимировну венчали в Троицкой церкви с низеньким черненьким человечком, как потом этого человечка рукополагали в чин священника *. Зоя Владимировна с этих пор больше в школе не появлялась. Зато закон божий в школе стал преподавать новый священник отец Павел, муж Зои Владимировны.

На ребят он произвел неприятное впечатление. Отец Павел был холоден, сух, неприветлив, хотя много говорил о христианском милосердии и всепрощении. Он с самого начала стал прибегать к невиданным до той поры строгостям. Всякий невыучивший урок стоял у доски на коленях до окончания занятий по закону божьему, а потом оставался до пяти часов вечера без обеда.

Урок законоучителя всегда был последним и обычно продолжался часа два. За это время ноги у наказанных затекали, многие из них не выдерживали, плакали и умоляли священника о прощении, обещали выучить урок, но проповедник милосердия был неумолим. И каждый новый урок у доски стояли наказанными десятка полтора мальчишек.

Но, несмотря на такие строгости, класс по закону божьему учиться лучше не стал. Нового законоучителя возненавидели, и многие ребята не учили его уроков из упрямства.

Всего лишь раз Петька, увлекшийся повестью про житие Ивана Новгородского, который якобы запер крестным знаменем * черта в рукомойнике и съездил на нем к обедне в Иерусалим, плохо выучил урок. Но, простояв на коленях часа два и просидев до пяти часов без обеда, Петька с этих пор священную историю читал в первую очередь.

Вообще-то невыученный урок для Петьки — случайность. У него хорошая память, и поэтому он многое запоминает уже со слов учителя. Учиться ему нетруд-

но, и по закону божьему Петька получает одни пятерки, но он тоже страшно ненавидит священника.

По весне Петька должен был бы закончить школу, он уже сдал все экзамены, и ему назначен даже похвальный лист. Но Анна Кирилловна задумала учить сына в уездном училище, куда малолетнего Петьку могут принять только через год, и потому она упростила Алексея Алексеевича оставить его еще на один год в третьем классе.

Так неожиданно для всех отличник Петька стал второгодником церковноприходской школы.

ГЛАВА XVII.

*в которой чуть-чуть не погибший Петька
высказывает мысли о веселых представлениях
в балагане и трагических событиях в жизни*

Наступило открытие Нижегородской ярмарки *, и Петька с приехавшим из Астрахани Витькой, дождавшись воскресенья, впервые идут на ярмарку одни. Идти надо за пять-шесть верст, но Петька хорошо знает дорогу: спуститься на берег Волги и шагать до самой Оки, через которую устроен разводной плашкоутный мост *. А потом, перейдя мост, все прямо и прямо, до самой Самокатной площади *.

Тетя Саша, мать Витьки, дала каждому по пятнадцать копеек, и теперь мальчишки раздумывают, на что их потратить.

Сразу же за мостом они купили у армян за пять копеек фунт грецких орехов. А вот на Самокатной площади растерялись. Здесь и балаганы, и карусели, и зверинец, и паноптикум *.

Потолквшись, Петька с Витькой направились к балаганам, долго переходили здесь от одного к другому, не зная, что предпочесть. У каждого балагана устроен балкончик, с которого зазывалы заманивают публику. Они трубят в трубы, колотят в большие барабаны. Из некоторых балаганов слышна музыка. Шум стоит невообразимый.

— Заходи, заходи! Сейчас начинается! Пять копеек! Пять копеек! — кричат там и тут раскрашенные клоуны.

Петька с Витькой решили идти туда, куда входит больше всего народу. Почти тотчас же началось представление. На сцену выбежали два хорошеньких шотландских пони, повинаясь бичу дрессировщика, они то встают на дыбы, то бегают кругом сцены. На каждом из них широкое плоское седло. Прибежали две маленькие обезьянки, одетые в яркие красные костюмчики. Вскочив на спины пони, они принялись носиться вокруг сцены, прыгать в подставленные обручи, перескакивать с одного пони на другого...

Петька с Витькой в восторге.

Второй номер — акробатические упражнения на трапеции под самым куполом, на высоте пяти сажен. Потом молоденькая девушка танцует на канате, несколько акробатов составляют красивые скульптурные группы, два пуделя вертятся на задних лапах.

После зрелища приятели идут кататься на карусели. Здесь Петьке повезло — он выбил медное кольцо и целых три раза катаётся бесплатно. Тут же, около каруселей, мороженщики продают «настоящее» сливочное мороженое. Правда, мороженое припахивает дымом, и Витька, поддевая его маленькой деревянной ложечкой, недовольно ворчит на мороженщика:

— Варить не умеет! Испортил... Должно быть, молоко не на том тагане кипятил...

Петька удивляется опытности Витьки, который, несмотря на уверения мороженщика, сразу определяет, что мороженое не из сливок, а из молока.

А между тем день клонится к вечеру, деньги потрачены, и ребята, делаясь впечатлениями, отправляются домой, всю дорогу обсуждая трюки пони, пуделей и обезьянок.

Шагая низом, вдоль Волги, Петька с Витькой решают зайти по дороге в Александровский сад, расположенный частью по откосу горы, спускающейся к реке, частью под горой, на ровном месте. Сад настолько обширей, что детвора чувствует себя в нем как в лесу. Тут и развесистые клены с лапчатыми листьями, и осины, и вязы, а кое-где даже рябины.

Пробегаая по глухой дорожке, Петька с Витькой заметили среди деревьев сидящего прямо на земле мужчину. Перед ним на разостланной газете бутылка водки, колбаса, хлеб и... настоящий револьвер. Мужчина пьет водку и плачет, плачет и пьет водку. Мальчишек он не замечает, хотя они всего шагах в пяти от него.

— Ведь застрелиться хочет! — догадывается Петька.

Витька не верит:

— Тогда бы не стал закусывать!

Мужчина какое-то время сидит неподвижно, потом брезгливо берет револьвер, медленно заряжает его. Кончив с этим, снова выпил, громко всхлипывая, — так плачут женщины, Петька видел как-то, — заплакал.

— Бежим! Еще выстрелит! — шепчет Петька.

Мальчишки отбегают шагов на тридцать, опасливо оглядываются. Странный человек по-прежнему сидит неподвижно.

— Идем! Надо кому-нибудь сказать. Он, может, еще не застрелится, — торопится Петька.

Ребята бегут из сада, но в это время раздается гулкий выстрел, и мальчишки бросаются обратно.

Около самоубийцы уже толпа человек в десять. Послали за полицией. Зрители лениво обсуждают происшедшее:

— Официант с парохода, в рот выстрелил.

— Чего же это он?

— Да, говорят, расчет дали!

— Что, воровал?

— Да нет! Пил шибко!

— А видно, сильно струсил! Обмарался даже...

Баба приподнимает рогожу, которой кто-то уже прикрыл самоубийцу, и Петька видит окровавленное, изуродованное до неузнаваемости лицо. Он торопливо отворачивается, думает с отвращением: «Чай, дети маленькие есть! Сволочи! Нажрутса водки и стреляются, а дети потом с голоду подыхай! Ненавижу... пьяниц!..»

Подходит толстый полицейский. Тот самый — с лицом, напоминающим морду бульдога. Прикрикивает на прибывающую публику:

— Не наваливайся! Отступи! Раз-зойдись!

Замечает мальчишек:

— А вы что? Марш отсюда! В часть отправлю!

Петька с Витькой что есть силы бегут в сторону Казанского съезда.

Дома Петька рассказывает о происшествии. Взрослые слушают его с таким интересом, что огорчение проходит. Но когда Петька вспоминает наконец о маленьких пони, забавных обезьянках и пуделях, которых видел на ярмарке, слушателей у него почему-то не оказывается.

«И почему это взрослые,— думает Петька,— любят только рассказы о страшном, а веселые обезьянки их мало интересуют? Может, потому, что страшного больше в жизни! Вот бы все стало наоборот! На улице или в саду — только веселые сцены, а в балагане, если кому хочется,— страшные!»

В ясный солнечный день Петька с Витькой и Санькой-маленьким отправились за город. Они решили узнать, куда течет вода из городских водосточных труб. Путешественники взяли с собой по краюхе черного хлеба, немного соли и пошли.

Поход начали с Ковалихи *, где работали бани Колокольцева. В конце этой улицы из широкой трубы выливалась в овраг мыльная вода. За этой пенистой водой, которая под лучами солнца играла разноцветными бликами, и отправился Петька со своими товарищами по дну глубокого оврага. Прошли мимо кирпичных сараев и уходили все дальше и дальше от города. Вода в ручейке, к удивлению Петьки, становилась все чище и чище, а версты за три от города она была уже совсем прозрачной.

Шагая вдоль ручья, ребята дошли до самого села Высоково. Ручей здесь превратился в пруд, в котором ныряли и полоскались утки.

Отдохнув, мальчишки отправились в обратный путь, грызя на ходу черный хлеб и лакомясь земляничкой, которая попадалась то здесь, то там по склонам оврага, поросшего травой и кустарником. Надоедливо наквакивали дождь лягушки.

Витька предложил наловить их и принести домой пугать баб. Предложение показалось заманчивым. Но как донести лягушек до дому? Для смелого Витьки сомнений не было. Он живо насажал себе за пазуху десятка два лягушат. Петька, а тем более Санька на это не решились.

А поэтому Витька необыкновенно вырос в их глазах. «Вот ведь какие отчаянные, эти астраханцы! — завистливо думает Петька. — Из наших мальчишек никто лягушку за пазуху не посадит, а он, наверное, и живого ужа не испугается!»

— Ползают? — брезгливо спрашивает Петька немного погодя.

— Ползают! — невозмутимо отвечает Витька.

— Ишь! — не то удивляется, не то восхищается Петька.

Над тем, куда девать лягушек, Витька не задумывается. Он побросал их всех в сорокаведерные бочки, поставленные под водосточными трубами. Таких бочек четыре, они стоят на случай пожара, и вода в них обновляется сама собой во время дождей. Частенько воду из бочек берут хозяйки для стирки белья, хотя в жару она становится вонючей и ржавой.

С тех пор как здесь завелись лягушки, приятели часами торчат то у одной, то у другой бочки, бросая пленницам пойманных мух, кузнечиков, навозных червей и хлебные крошки. Во время сильного дождя лягушки разбежались, но некоторые остались, и скоро вода в бочках закишела головастиками, к невообразимому восторгу детворы и недоумению недовольных хозяек.

Теперь Петька с нетерпением ждал, когда же из головастиков выйдут настоящие лягушки. Но головастиков становилось все меньше и меньше. Вода все больше и больше протухала, наконец ее стало уже невозможно брать для стирки, и в один из сильных дождей кадки были опрокинуты и вымыты.

Вместе с илом выплеснули и сдохших побелевших лягушек. Но долго они еще служили поводом для невероятных предположений хозяек. Самое простое, что лягушки кем-то брошены в кадку, так и не пришло никому в голову. Петька помалкивал, посмеивался и думал: «Все бабы дуры! Им бы только что-нибудь

ГЛАВА XVIII

*Заломовы переселяются во вдовый дом,
где Петька делает себе сложную операцию,
проявляет завидное мужество и учит ему других*

Подрастали младшенькие, и жизнь Заломовых становилась все тяжелее.

На другом конце города в это время богатые купцы-старообрядцы построили вдовый дом на несколько сотен семей*. В него на жительство принимали многодетных, не имеющих средств вдов. Анна Кирилловна тоже подала прошение в благотворительный комитет вдовьего дома и после долгих хлопот получила ответ, что может переезжать.

Большой трехэтажный дом из красного кирпича стоял на самой окраине города, напротив девичьего монастыря*. Дальше были лишь поля, используемые под выгоны для скота. По этим полям, ближе к Оке, пролегал старинный тракт, который вел на юг — в Арзамас. Вдовый дом у тракта выделялся не только своими внушительными размерами, но и необычной формой, напоминающей огромную букву «П».

В девять часов вечера ворота дома-казармы накрепко запирались, и смотритель с надзирательницей обходили номера, проверяя, все ли дома. Правила были очень строгие, они ставили в безвыходное положение тех вдов, которые отправлялись в город на дневные работы. Им приходилось неминуемо запаздывать, сторож не впускал, виновную ожидали выговор и угроза смотрителя выселить из дома.

Удобным было лишь то, что здание имело водяное отопление, в общих кухнях были устроены духовые печи, а купцы нередко присылали подарки — белый хлеб самых низких сортов, калачи и булки. На пасху и рождество всем выдавали по пуду белой муки. Все это беднота очень ценила, и вдовы безропотно подчинялись строгому режиму.

Анну Кирилловну с семьей поселили в подвальном этаже. Его предполагали вначале использовать для мастерских, но устроители приюта, получив массу прошений, в последний момент понастроили в нем комнат. Теперь здесь жили беднейшие семейства.

страшное. А что до природы,—ничего понять не могут. Знамо дело, книжек про зверобоев да следопытов не читают!»

Витькина мать не всегда отпускала сына вместе с Петькой, особенно если мальчишки собирались на Волгу.

— Утонет еще,—рассуждала Александра Кирилловна,— пусть лучше во дворе играют.

Петьке же разрешения спрашивать не надо было, он мог уйти куда вздумается. На Волге его привлекали плоты, стоявшие рядом с курбатовскими ледорезами *. К этим плотам быстрое течение прибывало много всякого мусора.

Особенно же заманчиво было то, что течение приносило с Софроновской пристани *, где постоянно собиралось в эту пору много барж с арбузами и всякими привозными фруктами. И при выгрузке частенько падали в воду то арбуз, то дыня, то яблоко. За этим-то Петька и охотился с помощью длинной палки.

Правда, хороший арбуз попадал очень редко, а дыню Петьке удалось выловить всего один раз. Зато испорченные арбузы и яблоки выкидывают в воду довольно часто. Яблоч-мякушек Петька каждый день вылавливал по две-три штуки и считал это большой удачей.

Однако охота эта в один дождливый день для мальчишки чуть не окончилась весьма трагично. Он провозился на плоту почти до сумерек, но сколько ни бултыхал в мусоре палкой, ничего не попадалось. Вдруг Петька заметил почти хорошее яблоко, но, потянувшись к нему, поскользнулся и упал в воду. Сильное течение понесло его под бревно, и Петьке едва удалось ухватиться за край плота.

Вода в Волге была уже холодной, так что у Петьки зуб на зуб не попадал, когда он прибежал домой. Анна Кирилловна засуетилась, дала Петьке переодеться и принесла откуда-то рюмку водки, которую заставила сына выпить. Петька, преодолевая отвращение, выпил и задохнулся от огня, обжегшего рот и горло. В жизни Петьки это была первая и, он поклялся, последняя рюмка. Водку, от которой умер отец, Петька с этого дня возненавидел еще больше.

Новая квартира Петьке не понравилась. Окон было только два, да и те под самым потолком, к тому же они выходили на северо-восток, и оттого в комнате всегда царил полутьма. Анне Кирилловне и дочерям пришлось даже сделать мостки для шитья у одного из окон: поставили большой сундук, а на него — стулья. Каменные стены подвала были настолько толстыми, что подоконники спускались книзу четырьмя ступенями. Полы, залитые цементом, были всегда холодны. Топили сиротский дом плохо, и в морозы приходилось надевать пальто. Петька очень жалел прежнюю маленькую, но теплую и светлую комнатку. Большой и мрачный подвал производил на него гнетущее впечатление.

Мало того, теперь Петьке пришлось ходить в школу за пять верст, и он отправлялся из дому в половине восьмого утра. А вставать надо было еще раньше, чтобы успеть вскипятить самовар и выпить чаю. Так что в школу он приходил уже порядочно уставшим, а после занятий предстоял еще такой же долгий путь домой.

На обратном пути всегда страшно хотелось есть, и потому Петька приберегал на дорогу часть завтрака. Но еды оставалось мало. К тому же мальчишке приходилось делиться ею со своими двумя попутчиками. Они были еще голоднее Петьки, потому что получали на завтрак не хлеб, а по две копейки на калач. Неспособные отказать своим слабостям, мальчишки покупали леденцы, а чаще папиросы. И Петька делил сбереженный хлеб на три части.

Зимой Петька заболел сильнейшим воспалением легких. Сказалась жизнь в сыром подвале. Петька долго лежал в постели, и ему смазывали бока мушечным раствором, поили его какой-то горькой водой. Было больно дышать, но Петька не жаловался. Хорошо, что во вдовьем доме была своя больница, в которой ежедневно принимал врач, а фельдшерица жила в самом доме.

Как-то, когда Петька стал уже поправляться, Анна Кирилловна принесла ему несколько номеров журнала «Вокруг света»*, и он с наслаждением прочитал о приключениях путешественников, о растениях и жи-

вотных тропических стран. После этого сказки и жития святых стали ему менее интересны.

Петька было уже выздоровел, начал даже ходить в школу, но месяца через полтора снова заболел.

Проболел он всю зиму. Петька вытянулся за это время, стал долговязым и нескладным парнишкой, очень хмурым и бледным. Прежнего Петьку, сильного и крепкого, в нем нельзя было узнать. В конце зимы во вдовьем доме началась эпидемия ветряной оспы, и у Анны Кирилловны переболели ею все малыши. Заболел и Петька.

По настоянию врача Заломовых временно перевели из подвала на третий этаж, где были свободные номера. Петька наконец попал в теплую светлую комнату. Из окна ее далеко были видны заснеженные поля, сверкающее голубизной бесконечное небо.

Семья вздохнула свободней, больные стали поправляться, Анна Кирилловна, ссылаясь на слабое здоровье детей, попросила смотрителя оставить ее на третьем этаже и дальше. Да куда там! Взятки она не могла дать, и в новом жилье ей решительно отказали.

О нечестности смотрителя знали все жильцы. Он крал, что мог. Даже подавниями для бедняков не брезговал. Денежные же дары так те и вовсе исчезали. Многие благотворители знали, что смотритель нечист на руку, и потому предпочитали одаривать сирот лично. Для Петьки это было всегда тяжело из-за жгучего стыда и неловкости.

После светлой комнаты подвал вдовьего дома показался Петьке еще невыносимее. Спал он по-прежнему на полу, на старом войлоке и ватном одеяле, сложенном вдвое. Спал вместе с Санькой-маленьким, и по ночам мальчики плотно прижимались друг к другу, чтобы согреться. Спать ложились часов в девять вечера, но мать и старшие сестры еще долго шили при свете керосиновой лампы.

Однажды кто-то из сестер нечаянно уронил иголку на половик. Попав в складку, иголка, вставшая острием кверху, осталась незамеченной, и, собравшийся спать Петька наступил на нее голой пяткой — и чуть было не закричал от боли. Иголка ушла влево в ступню, конец же ее обломился. Тщетно Петь-

ка пытался захватить кончик иглы — она сидела очень плотно.

Анна Кирилловна, убежденная, что теперь иглока уйдет дальше и будет ходить по всему телу, пока попадет в сердце, не на шутку перепугалась. Испугался и Петька. Он тоже слышал немало таких рассказов. Говорили, что одна девушка случайно проглотила иглоку, и та несколько лет ходила по телу, причиняя адскую боль и наконец вышла у сердца через грудь. И много других, не менее страшных рассказов слышал Петька.

А тут вдруг с ним самим приключилась такая история. Сестры побежали по соседям, принесли откуда-то маленькие щипчики для сахара. Вывернув ногу, Петька старался захватить ими конец иглоки, но не мог даже нащупать его. Тогда он своим остро отточенным перочинным ножом решительно сделал надрез около иглы. Сестры и мать с ужасом смотрели на эту операцию. Только после долгих усилий Петьке удалось захватить иглу и вытащить ее. Обессиленный, он сразу лег в постель. Боль скоро прошла. И, засыпая, Петька чувствовал себя совершенно счастливым: «Я не то что какая-нибудь девчонка! Разрезал себе ногу, вытащил иглоку — и не пискнул...» Он готов был бы выдержать любые муки, чтобы мать и сестры опять удивлялись его мужеству.

Вдовый дом был очень велик, и в нем, по понятию детворы, было много страшных мест. Особенно таинственными считались чердак и камеры водяного отопления, закоулки под нижними площадками каменных лестниц. Петька побывал в самую полночь под лестницами, но ничего подозрительного там не нашел. Правда, на чердак ему проникнуть не удалось — чердачные двери были всегда заперты.

Среди детворы ходили слухи, что в камерах живет домовый. Подойдя вечером к двери гурьбой, мальчишки и девчонки хором спрашивали:

— К добру или к худу?

Многие уверяли, что сами слышали, как домовый тихо и протяжно стонал в ответ:

— К худу, к худу, к худу...

Лезть в камеры, конечно же, никто не отваживался. При свидетелях на это не решался и Петька, хотя



похвастать смелостью очень хотелось. Он опасался доноса смотрителю, опасался, что Анну Кирилловну выгонят из дома, потому что входить в камеры было строго запрещено.

Сам Петька давно перестал верить в леших и домовых. Он знал, что все это одни только выдумки. Петька пытался было и других убедить в том же, да ему никто не верил.

Вообще Петьке теперь было очень скучно. Все его прежние товарищи остались на другом конце города, а новых у него пока еще не было. Пробовал он ходить в зал первого этажа, где под наблюдением надзирательницы играли дети со всего дома, но ему и там было скучно.

Кругом ликовала весна, а неведомая прежде тоска все чаще нападала на Петьку. Единственным спасением от нее были книги. Петька никому не признавался, но, когда он оставался один, без книг, сердце начинало так щемить, что он, помимо воли, принимался беззвучно плакать.

Но слезы не облегчали этой смутной тоски.

Когда по праздникам взрослые собирались в гости, Петька требовал у матери книг, не соглашаясь иначе оставаться дома. Поэтому Анна Кирилловна приносила ему все, что могла достать у вдов. Чаще всего это были толстые тома сочинений Пушкина, Лермонтова, Тургенева или тоненькие книжечки стихов Кольцова, Никитина. Иногда попадался Жюль Верн или Майн Рид, а то и роман с любовными приключениями. Первые нравились Петьке гораздо больше, но он с жадностью читал и про любовь.

Когда стаял снег и немного подсохло, мальчишки высыпали во двор вдовьего дома, где был посажен молодой сад из тополей. Здесь в основном играли девчонки и маленькие дети. Петька предложил мальчишкам учиться «стрелять». Мишенью послужила каменная ограда с крестовидными отверстиями. Камни посыпались градом. Забава была интересной, но смотритель заметил ребят из окна своей квартиры и, конечно же, сразу побежал к ним.

Все бросились врассыпную, один только Петька бежать не захотел, остался на месте. На него одного и обрушился весь гнев смотрителя. Он невыносимо

противным, скрипучим голосом принялся делать Петьке внушения.

И Петька в который раз услышал, какая ему оказана милость и как просто он может ее потерять. Смотритель говорил долго, угрожал с увлечением. Петька слушал и испытывал непреодолимое отвращение. Себе он поклялся больше не устраивать игр во дворе. Едва смотритель оставил его в покое, Петька ушел со двора в поле. Уж там надзирателей быть не могло! Здесь ребята затеяли кулачный бой, и Петька ввязался было в драку. Но прежнего азарта уже не было.

Петьку манила к себе ширь молчаливых полей, и он уходил один как можно дальше, часами бродил по пустынным, еще не украшенным весенней зеленью перелескам, вспоминал пушкинские стихи:

Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года...

Ученье в школе наконец подошло к концу. После продолжительного молебна объявили результаты экзаменов. Знания большинства третьеклассников были признаны успешными. Петьке вручили похвальный лист.

Начались каникулы, но Петька два раза в неделю по-прежнему ходил за пять верст к родственнику-учителю дяде Михаилу, который готовил его к вступительным экзаменам в уездное училище. Но свободного времени оставалось все-таки много, и Петька с интересом исследовал окрестности вдовьего дома. В товарищи себе он взял младшего братишку и его приятеля Ваню Ключникова.

ГЛАВА XIX,

из которой узнаем еще об одном мужественном поступке Петьки, а также о том, почему он завидовал древним грекам

В первый же по-летнему теплый день Петька отправился на Оку, которая теперь была рядом, под гористым крутым берегом. На этом берегу стояли полотняные палатки девятого и десятого полков *, разделенные оврагами, а версты за три вверх по течению

Оки расположился лагерем одиннадцатый пехотный полк.

Спускаться с горы было легко. Зато подъем давался ой как трудно. Петька задышался, часто останавливался перевести дух, тогда как Санька с другою птицами взлетали на вершину. Чтобы не лезть лишней раз в гору, Петька иногда на целый день оставался на берегу. Ловил раков, удил рыбу, купался.

У каменистых берегов тут и там стояли плоты, баржи, гусяны и беляны *. Дно реки было тоже каменистое, и потому найти хорошее место для купания было не так легко. Петька выбирал к тому же мелкие места, потому что ни Санька, ни его дружок пока еще плавать не умели.

Сам Петька предпочитал бы плавать на глубине, где можно нырять и прыгать в воду, не опасаясь напороться на камень.

Недели через две, когда Петька убедился, что малыши уже уверенно держатся на воде, он повел их на плоты, на трехсаженную глубину. Истосковавшийся по большой воде Петька разделся и нырнул в воду первым. Ваня разделся, но от купания наотрез отказался. Санька же храбро плюхнулся в воду. Но вдруг чего-то испугался, и вместо того чтобы плыть, отчаянно закричал, бестолково захлопал руками по воде, отбиваясь так от плотов все дальше и дальше. И вскоре он был уже сажень за пять.

Напрасно Петька сердился, объяснял брату, что делать,— Санька ничего не слышал. Тогда Петька бросился ему на помощь. Увидев рядом с собой брата, Санька, забыв про осторожность, обхватил его руками за шею, ногами за грудь и совершенно сковал таким образом руки Петьки.

— Пусти! Ты не даешь мне плыть! Оба утонем! — взмолился Петька, из последних сил стараясь работать ногами. Но обезумевший от страха Санька только крепче цеплялся за брата. Петька выбивался из сил, стараясь выдернуть свои руки, но ему удалось освободить их лишь по локоть. Плыть можно было только стоя, и он направился к плотам. Голова его была под водой, лишь иногда он высовывался для вдоха, чтобы сейчас же погрузиться снова.

Расстояние до плотов уменьшалось, а Петька, как поплавок, то погружался, то вновь показывался над водой. Он изнемогал, задыхался, но все еще боролся. Все реже и реже появлялась голова Петьки над водой, все сильней и сильней становились муки от недостатка воздуха, а желудок все больше переполнялся поглощаемой водой.

Но вот Петька разом всплыл, как пробка, и вздохнул полной грудью. Его руки освободились, и непомерная тяжесть исчезла. До плота оставалось полтора аршина, и Санька, бросив Петьку, сам поплыл к более надежной опоре, схватившись за бревно, вылез из воды. Вслед за ним выкарабкался и Петька.

Отдышавшись, он набросился на Саньку:

— Чего же ты не плыл? Ты же умеешь!

— Я испугался...

— Чего же ты меня не пустил?

— Испугался...

— Трус, баба! Чуть не утопил! Чего бояться-то? Если бы плавать не умел, а то ведь плаваешь?

— Да испугался я!

— Заладил — испугался! Ты же мальчишка!

— Да я же тебе говорю, что испугался!

— Не буду брать с собой никуда, пугайся дома.

— Петь, я выучусь, — Санька чувствовал свою вину.

— Да чего тебе учиться, когда ты давно уже выучился!

Дома о приключениях на реке Петька не рассказывал. Об опасности, угрожавшей сыновьям, Анна Кирилловна узнала гораздо позже, по какому-то случаю.

Петька часто ходил на Оку и один. Он сплел рашень * для ловли раков и с самого утра устраивался на плотках. Приманкой для раков служили головки воблы, а грузом — привязанные мочалой камни. Отпустив рашень, Петька закидывал удочку. Но обычно клев был плохой. Мальчишки и солдаты, приходившие купаться на реку, распугивали всех рыб и раков.

Но бывали часы, когда на реке было совсем безлюдно. Вот тогда улов был отменный.

Как-то раз, когда Петька сидел на плотках один, пришла девушка. Не стесняясь мальчишки, начала раздеваться саженях в десяти от него, на соседнем плоту. Под лучами солнца белизна ее тела показалась Петьке ослепительной. Петька смотрел и не мог оторвать глаз.

А девушка не спешила. Подобрав пышные рыжеватые косы, повязала их на голове белым платочком, осторожно попробовала ногой воду. Она, очевидно, показалась холодной, и девушка в нерешительности пошла по краю плота.

Но вот она, слегка взвизгнув, скользнула в реку и поплыла, высоко поднимая голову, стараясь не замочить волос. Не отдавая отчета, забыв о дозволенном и недозволенном, Петька подошел к самому краю плота, чтобы лучше видеть ее. Девушка плыла от своего плота на спине, направляясь прямо к Петьке, не замечая его. Петька видел ее всю и замирал от восторга.

Доплыв до Петькиного плота, девушка перевернулась — и увидела мальчишку.

— А ну не смотри! Уходи отсюда! — сердито крикнула она.

Но Петька и с места не сдвинулся. Больше девушка ничего не сказала, она лишь перестала плавать на спине.

По-видимому, присутствие Петьки ее мало беспокоило, потому что она вновь подплыла почти к самым ногам Петьки и со смехом принялась шалить, обдавая его фонтанами брызг. А может быть, она решила таким образом прогнать Петьку. Но он и теперь даже не пошевельнулся. Тогда девушка вообще перестала обращать внимание на мальчика.

Ее волосы, несмотря на предосторожности, намокли, и девушка начала нырять. Она вылезла на плот, вытянула вперед руки и кинулась вниз головой в воду. Петьке показалось, что она не появляется слишком долго, и сердце его сжалось от тревоги. Когда же она, озорная, ловкая, вынырнула почти около Петькиного плота, он закричал ей с мольбой в голосе:

— Не ныряй! Под плот попадешь! Утонешь!

Девушка рассмеялась:

— Да ты говорить умеешь, оказывается? А я думала, немой. Тебе жалко будет, если я утону?

— Знамо, жалко!

— А бросился бы ты за мной в воду, если бы я стала тонуть?

— Знамо, бросился бы! У нас Санька чуть было не утонул, так я спас.

— А кто такой Санька?

— Братишка...

— А что это ты на меня так смотришь?

— Ты лучше всех! — с восторгом выпалил Петька. Девушка опять засмеялась.

— А тебе не стыдно смотреть на меня, голую?

— Не... Мамка говорит, у меня глаза бесстыжие. А тебе что, стыдно?

— Ты же еще мальчик. Для тебя нехорошо, что ты на меня смотришь.

— Нет, хорошо! — поспешил успокоить ее Петька.

Девушка, снова рассмеявшись, повернула к своему плоту. Сев на крайние бревна, сняла с головы платок, распустила косы, не спеша выжала из волос воду, потом так же не спеша оделась. Уже на берегу, проходя мимо всё еще не спускающего с нее глаз Петьки, остановилась, ухмыльнулась:

— Смотришь?

— Ага...

— Раздетая-то, чай, лучше? — Она горделиво подбоченилась.

— Лучше! — чистосердечно признался Петька и покраснел.

Девушка довольно хмыкнула.

— А ты приходи опять купаться! — еще более смутившись, предложил Петька.

— Зачем? — она лукаво взглянула на мальчишку.

— Ты — как Венера! — только и нашелся что ответить Петька.

— Это какая?

— Была такая... богиня красоты... у греков...

— Глупый ты! — улыбнулась девушка.

— Нет. Я не глупый. Я в школе похвальный лист получил, — похвастался Петька и вдруг предложил с готовностью: — Хочешь, я тебе всех раков отдам?

— Какой ты смешной! — рассмеялась девушка и, даже не кивнув на прощанье, ушла.

А Петька все смотрел и смотрел ей вслед, пока она не скрылась за поворотом. Он любил синь летнего неба, яркое солнце, простор и тишину полей, любил весенние закаты, сказочный свет луны и ночные звезды... Но теперь он решил, что красивая девушка прекраснее всего на свете.

С ее уходом на реке почему-то стало скучно, и Петька, собрав снасти, поплелся домой, завидуя древним грекам, у которых были такие красивые богини.

ГЛАВА XX,

*которая выясняет отношения Петьки к солдатам
и к выпоротому солдатами генералу*

Много времени Петька проводил около военных лагерей, наблюдая муштру солдат. Здесь он впервые увидел, как офицеры и в особенности унтер-офицеры «чистят зубы» солдатам.

Вот идут строевые учения по ротам в девятом полку. Долговязому офицеру чем-то не понравились три молодых солдата, и он то и дело тычет им кулаком в лицо. Наконец приказывает пузатому унтер-офицеру учить их отдельно. Тот уж и вовсе не церемонится — бьет несчастных почему зря.

Через полчаса двое солдат проделывают все ружейные приемы безукоризненно, и унтер-офицер приказывает им вернуться в строй.

Но от самого маленького тщедушного солдатика, как он ни старается, толку добиться не удается. И унтер свирепеет. После каждой неудачи солдатика он грубо ругает его, бьет с размаху тяжелым кулаком. При каждом ударе тот роняет винтовку, плашмя падает на землю. Не в силах сразу подняться, солдатик лежит некоторое время, потом, дрожа, как в лихорадке, медленно, неуклюже поднимается. Лицо его опухло от ударов и слез.

Петька смотрит и не может оторваться от этого страшного зрелища. Бессильная злоба клокочет в нем. Непонятно все: почему солдатик терпит издевательства, почему целая рота здоровенных мужиков не заступится за него?

И Петька решает про себя, что если он когда-нибудь станет солдатом, то поднимет на штык первого же офицера, который осмелится его ударить.

Как-то у Петьки были деревянные солдатики, прикрепленные к планкам. Передвигая планки, можно было легко заставить солдатиков «маршировать», «строиться в ряды». Теперь Петьке кажется, что и эти солдаты, марширующие сейчас по полю, тоже деревянные.

Петька много видел картинок, на которых генералы идут в атаку впереди солдат. О войне Петька думал, как о справедливой защите отечества от коварных врагов и их насилия. Но теперь он увидел, что подготовка к войне — тоже насилие. И впервые мальчишке пришла в голову мысль, что если солдат обучают войне насильно, то силой их можно послать и воевать.

Восхищение Петьки перед войной разом остыло. Петька убедился, что командиры — вовсе не отцы солдатам, как говорится в стихах и рассказах. С болью видел он, как солдаты трепещут перед всяким начальством. И Петька задумался: «Кто же устраивает войны? Ведь не эти же жалкие люди, что маршируют сейчас под команду крикливого офицера? Войну объявляют цари, значит, им она и нужна, чтобы земли чужие завоевывать!»

Петька вспомнил царицу Екатерину II с пышными локонами, с великолепной короной на голове. Раньше казалась она ему красивой; теперь же он с неприязнью подумал о ней: «Вишь вырядилась, а солдатиков лупят всякие унтера!» Вспомнил Петька, что и дядя Яков относится к царям неуважительно: Николая I называет «Николкой», а царствующего Александра III — «Сашкой», вспомнил, и очень это ему понравилось.

Особенно удивила Петьку маленькая потрепанная книжечка, которую однажды подарил ему седой солдат, с оглядкой вытащив ее из-за голенища сапога:

— На-ка вот, малец, дома почитай! А тут, на плацу, чего глазеть?..

Солдат прижал к себе Петьку и шершавой ладонью добродушно потрепал его вихор, как это делал когда-то отец.

Придя домой, Петька прочел книжку одним духом, не отрываясь. В ней рассказывалось о четырех днях войны*—самых страшных днях, которые раненый солдат Иванов провел в лесу около трупа убитого им врага, ожидая своей смерти.

Петька впервые читал книжку про войну, в которой ничего не говорилось о подвигах генералов, не описывались красочные картины сражений, а рассказывалось про солдатские страдания, боль и кровь. И он невольно задумался над переживаниями рядового Иванова, который, убив в атаке ранившего его неприятеля-турка, сначала считал, что поступил правильно. Но наутро солдат увидел, что перед ним лежит вовсе не турок, а египетский крестьянин, силой пригнанный турками на войну, одетый в их форму. Значит, думал Петька, солдат убил не врага, а ни в чем не повинного человека. Мать его теперь всю жизнь будет плакать и ждать родного сына, а солдат Иванов навсегда останется безногим калекой.

Больше всего Петьку поразила мысль о бессмысленности войны, когда люди, никогда раньше не видевшие друг друга, ни в чем не виновные друг перед другом, должны убивать. Кто виноват в этом? Цари, объявляющие войны, или сами солдаты, покорно идущие на войну? Эти вопросы, которые раньше Петьке казались такими ясными, теперь уже не выглядели столь простыми.

«Неужели все дураки? — размышлял он.— Неужели не могут заменить войну чем-нибудь другим? Ну канат бы перетягивали, как это делают солдаты во время игры. А может, устроили бы спор самых умных людей! Да мало ли чего могут придумать люди? Неужели обязательно пули, кровь, смерть?..»

Петьке очень хотелось поделиться одолевающими его мыслями с солдатом, который подарил ему книжку, но больше его он так и не встретил.

Частенько Петька с Санькой-маленьким и его дружкой ходили в Окулов овраг, за Печерское кладбище, что в верстах трех от города. Когда-то здесь был старый лес, но от тех пор остались лишь огромные полусгнившие пни, на которых росли во множестве опенки. Сюда ходили за земляникой, за орехами, грибами.

Но больше всего Петька любил Окулов овраг за его необыкновенную красоту. И часто-часто у мальчика было желание не возвращаться отсюда вовсе во вдовый дом. Выкопать бы землянку и поселиться в ней. О дождливой осени, суровой и снежной зиме, о волках, для которых, поговаривали, овраг служил приютом, не думалось. В книгах об отшельниках, удалившихся от мира, о которых Петька много читал, почему-то ничего не говорилось о снеге и холоде.

С Окуловым оврагом была связана история о жестоком генерале, которую Петька слышал десятки раз и которая тем не менее снова и снова приводила мальчика в восхищение.

...Старый генерал любил железную дисциплину и беспощадно порол солдат за каждую безделицу. Все перед ним трепетали, все его проклинали, но дать отпор не решались. И все-таки нашлось десятка полтора смельчаков, решивших отомстить за всех. Они подкараулили генерала в Окуловом овраге, куда тот частенько ездил по вечерам с какой-то дамой.

Разом стащили кучера с козел, из коляски выволокли перепуганных насмерть генерала и даму, заткнули им рты, связали руки и ноги. Потом живо выпрягли лошадей и пустили гулять в поле, а генерала раздели и, наломав осиновых розог, выпороли. Кончив дело, мстители бросились врассыпную. Генералу удалось как-то освободиться от пут. Запрягли снова лошадей, погнали во весь опор к казармам. Выстроили солдат — все на месте.

Генерал пытался было опознать солдат, но никого узнать он так и не смог. Напавшие были в масках. Начатое по делу следствие также ничего не дало. И высеченный солдатами генерал вскоре был куда-то переведен.

Историю о посрамлении жестокого генерала Петька слушал всегда с восторгом, жалея только о том, что

солдаты выпустили его живым, а не запероли на смерть. Пусть этого генерала давно нет на свете, ненавидел его мальчишка всей душой, и эту же ненависть он чувствовал в тоне рассказчиков.

ГЛАВА XXI

*Презирая свистящие над головой пули,
Петька добывает на лесном стрельбище свинец,
чтобы купить журнал «Вокруг света»*

Ходил Петька и на дальнейшее лесное стрельбище, где солдаты учились стрелять по черным силуэтам мишеней, напоминающим человеческие фигуры. И здесь он видел то же, что и на плацу в поле, — бессмысленную муштру, побои, ругань.

Обычно взвод залегал за бугорками земли. Перед ним, саженей за триста, у самых земляных валов поставлены мишени, выкопаны погреба, в которых прячутся сигнальщики. Каждый солдат стреляет в свою мишень по три раза, потом горнист играет отбой, сигнальщики забивают в пробитые мишени колышки, дают знать взмахами флажков, сколько пуль в мишени.

Зорко следит за сигналами фельдфебель и за неметкую стрельбу то одного, то другого солдата с силой бьет по щеке. После шести выстрелов взвод отходит в сторону, его место занимает другой. Но отдыха отстрелявшим солдатам нет, теперь они без патронов целятся в мишень и спускают курки. Унтер-офицер заставляет целиться долго и, если заметит, что штык у какого-нибудь солдата «кклюет», бьет растяпу кулаком наотмашь.

По команде «Взвод, целься!» все солдаты поднимают винтовки и целятся, ожидая вторую команду «Взвод, пли!». Но фельдфебель нарочно отделяет ее от первой длинной паузой. И горе тому солдату, у которого в это время штык дрогнет. Его непременно ждет зуботычина. После одного «выстрела» снова следует команда: «Взвод, целься!». И так без конца.

Но Петька как-то дождался все-таки окончания занятий и тут узнал, что пули, перелетевшие за валы,

можно собирать. Еще не успела рота скрыться из виду, а за валами уже появились какие-то бродяги, несколько солдат и мальчишек. Они медленно ходили по поляне, внимательно выискивали что-то. Петька пригляделся и понял: пули собирают.

Принялся за дело и Петька. У него набралось уже штук восемь пуль, когда какой-то солдат отнял их у мальчишки. Петьку это нимало не обидело, озадачило только. Однако позже, когда он узнал у какого-то паренька, что медник на Телячьей улице * берет свинцовые пули по восемь копеек за фунт, Петька сообразил, что занятие это не такое уж бездельное.

На обратном пути домой у Петьки созрел план: он соберет столько пуль, чтобы на деньги, вырученные за них, можно было купить годовой комплект журнала «Вокруг света», переплетенный в толстую книгу. Петька видел такую у книготорговца на Балчуге *, но спросить о цене не решался. Уж наверняка такая громадная книга стоит больших денег. Дома Петька поделился своей мечтой с матерью, и купить журнал, который стоит один рубль, она ему пообещала, если он наберет столько пуль. Теперь Петька с увлечением принялся за новое дело. Он узнал точное время стрельб и стал ходить за валы к определенному часу, сожалел только о том, что стреляют не каждый день.

Набрать побольше пуль можно было, если только в числе первых попасть за валы после окончания стрельб, а потом, чтобы не отняли, убежать с ними в лес. Однажды он сговорился с Ванькой Куряковым, мальчишкой из их дома, тоже сыном вдовы, и пробрался с ним до самой опушки Марьиной роши *, вдоль которой была расставлена редкая цепь солдат, чтобы не допускать людей под обстрел. Такая же цепь была выставлена за Кузнечихинским лесом. Между ним и валами на полверсты тянулось поле. Вот туда и хотел Петька попасть первым.

Стреляли в мишени сразу у трех валов. Петька наблюдал за солдатами. Примерно через час ожидания стрелявшие солдаты с первого вала построились и пошли в лагерь. Стрельба продолжалась за вторым и третьим валами. Петька уже давно устал ждать. А что, если незаметно подползти к первому валу, на-

брать пулю и убежать с ними в лес, чтобы солдаты не успели отнять? Он сказал об этом Ваньке.

— Да вить застрелют! — опасливо протянул Ванька.

— Ничего не застрелют! Мы будем собирать только за первым валом, а стреляют во второй и третий, — уверенно отвечал на это Петька.

Ванька все еще не решался. Тогда Петька один выбрался к линии обстрела, быстро пополз к валам. Ванька полз следом.

Заградительная цепь солдат скрылась за опушкой, прятаться теперь приходилось только от стрелков, что значительно упрощало дело. Но ползти пришлось не менее двухсот сажен, и прошло немало времени, прежде чем приятели добрались до первого вала. Тут уже можно было встать на ноги.

— А вдруг стрелять начнут! — беспокоится все-таки Ванька.

— Ничего! Мы тогда в ров, прижмемся к самому валу. Пули сквозь вал не проходят, а которые рикошетят, так те падают дальше. Ну, теперь молись и ползи! — командует Петька.

Но Ванька не слушается и, слегка пригнувшись, пробегает саженный пролет между валами.

— Черт! Говорил, ложись! Наверное, заметили! — сердится Петька. Но стрельба продолжается, и Петька, успокоившись, жадно набрасывается на рассыпанные вокруг пули.

Приятели все дальше отходят от валов к лесу. Опомнились, когда над головой вовсю свистели пули.

— Фу, черт! А ведь мы уже за вторым валом. Надо подаваться в сторону, — спохватывается Петька.

Вдруг стрельба резко оборвалась.

— Ну, Ванька, стрельба кончилась. Теперь по фунту наберем! — радуется Петька. Он так увлекся, что ничего не видит кругом.

Однако Ванька с воем бросается к лесу. Оглянувшись, Петька видит бегущего к ним во весь дух солдата. Он уже в десяти шагах. У Петьки будто крылья выросли.

— Стой! Стой! — кричит солдат, но Петька, не оглядываясь, несется за Ванькой.

Солдат в тяжелых сапогах, в амуниции. И потому, как ни старается, расстояние не уменьшается. Петька бежит молча, стиснув зубы, Ванька — ревет.

— Стой! Застреляют вас, шельмы! — кричит солдат, но Петька с Ванькой уже в лесу. Здесь Ванька перестает орать, босые ноги неслышно ступают на землю, и солдат, видимо, сбивается со следа.

Приятель наконец облегченно переводит дух. Петька исходил всю Марьину рощу, но в Кузнечихинский лес попал впервые.

— Надо забирать вправо, — решает он. — Налево солдат, а прямо — цепь.

— А кык застреляют! — снова хнычет Ванька.

— Дурак! Не «кык», а «как», — сердится Петька, потому что и сам не совсем уверен.

— Дык, я из деревни, не учился! — оправдывается Ванька.

— Не «дык», а «так», — опять обрывает его Петька. — Сколько лет-то тебе?

— Четырнадцать, — тянет приятель.

— А чего ж ты такой маленький! Четырнадцать лет, а меньше меня. Мне только двенадцать.

— Дык, у меня тятя и мама маненьки.

— Эх ты! Кыкалда-дыкалда. Не выучишь тебя! — презрительно говорит Петька.

Снова защелкали выстрелы, и лес застонал от звуков. Ванька бросился бежать влево.

— Куда ты, дурья голова? Ведь сказал, что надо вправо забирать!

— А как застреляют?

— Застреляют! — передразнивает Петька. — Чай, мы версты на две отошли! Да и пуля сквозь лес не пролетит: деревья мешают.

— А как же на той неделе старика и старуху убило, которые в овражке сено убирали?

— Потому и убило, что дураки. Тогда стрельба была не в валы, а вдоль поля. Им надо было лежать в овражке за обрывом, а они вылезли. И тебя убьет, если влево лезть будешь, как раз на опушку под выстрелы угадаешь. Я тебе говорю, надо идти вправо! Там будет овраг, а по оврагу мы дойдем до самой Кузнечи-

хи. Мне Пашка Троицкий рассказывал, он давно весь лес исходил.

— Давай считать пули! — предложил Ванька.

Мальчишки тут же устроились на земле, высыпали содержимое карманов. У Петьки оказалось тринадцать пуль, и он был в восторге:

— Еще бы три и фунт!

— А у меня восемь. Я горсть выкинул, по ноге сильно било, — говорит Ванька.

— Ну и дурень! Полз, полз, а потом выкинул. Меня тоже здорово карманом по ноге колотило, все равно ни одной не выкинул. Ты чего купишь?

— Знамо, папиросы. А ты?

— Мне надо целый рубль накопить, на книжку — мамка «Вокруг света» мне купит. Там описаны путешествия в дальние страны, картинок много. Большущая книга! Вершка полтора толщиной!

— Папиросы лучше!

— Неграмотный ты, вот и говоришь, что лучше. А я осенью в училище пойду.

— Меня тоже хотят к портному в ученье.

Так с разговорами приятели идут вдоль оврага, который, постепенно расширяясь, превратился в долину. Скоро лес кончился, и ребята вошли в деревню Кузнециху. Запахло жильем, свежим хлебом, и оттого ничего не перекусившим с утра мальчишкам есть захотелось еще больше.

— Есть хочется! — Ванька жадно оглядывается по сторонам.

— Мне тоже страсть как! — сочувственно отозвался Петька.

— Пойдем хлеба просить!

— Нет, не пойду, стыдно! — Петька решительно не переносит кланьченья.

— Ну так я один пойду. — Ванька поворачивает к избе, в окно которой выглядывает баба.

— Тетенька, подай Христа ради! Есть хочется, — просит он без всякого смущения.

Петька спешит уйти подальше, и Ванька догоняет его уже на краю деревни. В руках у него целая горбушка хлеба.

— Я сказал на двоих, она и дала горбушку.

Поделив добычу по-братски, приятели в один миг съели засохший, но оттого не менее вкусный хлеб.

Лес скрылся из виду, кругом только холмы и овраги. И час, и два идут Петька с Ванькой, а города все не видно, да и люди не попадаются. С холма на холм, из оврага в овраг, через поля и долинки Петька с Ванькой вышли к какой-то другой деревеньке. Петька сразу же узнал ее.

— Вот так здорово! — удивился он. — Да ведь мы к Высокову вышли. Кружили долго...

Ребята поворачивают к городу. С каждым шагом колокольня Троицкой церкви вырастает все выше и выше, и вот уже весь город открылся с далеко виднеющимся влево от него вдовьим домом.

— Вишь ведь нашли где построить! — возмущается Петька.

Дома он хвастает удачей — целых тринадцать пуль! Желанная цель все ближе и ближе.

К августу учения у солдат закончены и валы срыты для извлечения пуль в доход казны. Солдаты перекопали землю не особенно старательно, много пуль осталось в образовавшихся кучах земли.

Занятия с учителем-родственником у Петьки тоже закончены, и он теперь целыми днями может отыскивать пули. Но в его руках только заостренная палка, а ею многого не добьешься.

После долгих часов поиска он приносит домой пуль шесть-семь.

Каждый день Петька встречает на валах человек пять золоторотцев * с лопатами и до десятка мальчишек. Из осторожности мальчишки держатся стайкой и готовы в любую минуту пуститься наутек. Земля уже копана-перекопана, и пуль попадаетеся все меньше и меньше. Золоторотцы вскоре перестали ходить к валам, да и мальчишкам надоело это занятие.

Однажды Петька пришел на валы один и неожиданно попал на некопаное место. Через несколько часов у него уже были те полтора фунта пуль, которых не хватало для покупки долгожданной книги.

Петька со стрельбища сразу же отправился к меднику и получил за пули нужные двенадцать копеек.

Дома он вынул из своего маленького сундучка, где хранились учебники и тетради, кучу медяков, внимательно пересчитал их. Рубль был налицо. Петька торжествовал: у него теперь будет интересная и толстая книга, и он сможет потом меняться ею с товарищами.

Вечером Петька отдал деньги матери.

Однако Анна Кирилловна как-то незаметно истратила их на хозяйство, и желанная книга так и не была куплена.

ГЛАВА XXII

*рассказывает об учебе Петьки в уездном училище
и о его сомнениях
в правильности священной истории*

Пришла пора вступительных экзаменов в уездное училище. Путь к нему лежал через всю Большую Покровку *, главную улицу города, на которой были расположены лучшие магазины и всегда гуляло много горожан. Идти было весело, и длинная дорога казалась короче. Начинаясь почти от самого вдовьего дома, улица пересекала обширную Арестантскую площадь * и оканчивалась у еще более обширной — Благовещенской *, расположенной перед верхними воротами Нижегородского кремля.

После Большой Покровки надо было пройти половину Благовещенской площади и один квартал прилегающей к ней Тихоновской улицы * — до угла Малой Печерской, где и находилось уездное училище *. Оно было единственным на город и весь уезд, а потому на сто вакансий подали двести пятьдесят прошений. Все, кому было не по средствам учиться в гимназии или реальном училище или кто был выгнан из них, заканчивали здесь свое образование.

Петька попал в число принятых в училище счастливых. Свою удачу он приписал молодому учителю дяде Михаилу, который занимался с ним все лето, но только не «шкилету».

Как и в церковноприходской школе, занятия начались молебном, после которого ученики разошлись по классам. Нужные учебники Петька заранее купил у

одного из выгнанных за неуспеваемость учеников. Книжки были старые, потрепанные, зато стоили вполнину дешевле. А от платы за обучение Петьку освободили как сироту.

На другой день занятия начались с драки. Сын богатого торговца второгодник Баккер попытался было прогнать Петьку с занятого им места, но тот не уступил. Победил, конечно же, мальчишка из вдовьего дома. Барич на чем свет стоит ругал Петьку, но напасть снова не решился.

Соседом Петьки по парте оказался шестнадцатилетний юноша Чистопольский, потерпевший неудачу уже в нескольких учебных заведениях. С виду это был почти взрослый мужчина — толстый, с широченными плечами, мощной грудью.

Вообще-то Чистопольский был неглупый парень, но отличался необычайной ленью, которая и стала главной причиной всех его неудач. Науками он интересовался меньше всего, зато имел уже успех у женщин, чем очень гордился и о чем часто рассказывал. Однажды толпа женщин, гуляющих обычно около торговых бань на Черном пруду *, которых он постоянно задирает на прогулках, даже побила его.

Впереди Петьки сидел выгнанный из гимназии сын чиновника Макрицкий. Это был живой, вертлявый мальчик лет четырнадцати с плоским монгольским лицом. При взгляде на него прежде всего бросались в глаза зияющие дыры ноздрей короткого, чрезвычайно вздернутого носа и большой, всегда раскрытый рот с гнилыми желтыми зубами. И только потом взгляд отмечал лукавые карие глазки.

Макрицкий немедленно попытался сделать Петьку объектом своего остроумия, дав ему сразу два прозвища — «лягушка» и «лягутмен». Он то и дело обращался к Петьке, называя его по-своему. Но ни одно прозвище так и не привилось, потому что Петька не высказывал неудовольствия и в свою очередь окрестил Макрицкого «жабой», на которую тот походил несравненно больше.

Другие Петькины соседи были новички, скромные ребята. Все жили на разных концах города, а потому Петька ни с кем особенно не сблизился и держался особняком. К тому же он очень уставал и сил на бе-

готню и борьбу на переменах не было. Перенесенные болезни и жизнь в подвале вдовьего дома наложили на Петьку свой отпечаток: он стал молчаливым, замкнутым.

Первым учителем, с которым пришлось познакомиться здесь Петьке, был Иван Федорович Введенский, смотритель уездного училища. Петька попал в первый параллельный класс, в котором Иван Федорович преподавал русский язык и арифметику. Учитель понравился Петьке чрезвычайно.

Он никогда не высмеивал учеников, был ровен и спокоен, но нечестности, подлости не переносил, они возмущали его до глубины души, и тогда голос его гремел на все здание. К своему делу он относился с увлечением, был всегда подтянут и аккуратен, что также поднимало его в глазах Петьки и всего класса. К тому же он отличался большой начитанностью и многому мог научить.

Петька невольно сравнивал Введенского с учителем-родственником дядей Михаилом и находил между ними много общего. Правда, родственник был некрасив, а Иван Федорович со своей золотисто-белокурой бородкой и густыми вьющимися волосами был похож, по мнению мальчишек, на самого Зевса.

Учился Петька хорошо по всем предметам, кроме двух. Несмотря на желание, красиво писать и рисовать он так и не смог научиться и всегда имел по этим предметам твердую тройку.

Но больше всего мальчик любил арифметику и был в ней одним из первых. Впрочем, Петька этим не хвастался.

Втайне он завидовал многим из самых неспособных учеников с крепкими мускулами, широкой костью, высоким ростом.

Мальчик из вдовьего дома знал, что ему придется стать рабочим, и ненавидел свою тщедушную фигуру. Он мечтал стать сильным.

С географией у Петьки, как и у всего класса, дело с самого начала не пошло. Со второго же урока ребята взбунтовались против учителя географии Виктора Петровича.

Это был рыжеватый человек, больной туберкулезом, совершенно не умеющий владеть собой. В первый день он объяснил, что такое география, и задал урок. На второй урок учитель явился в класс с картой полушарий, повесил ее на доску и потребовал, чтобы ученики показывали по карте. Но так как Виктор Петрович не предупредил, что будет спрашивать по карте, то никто, кроме второгодников, ничего на карте, конечно же, показать не смог. В журнал и в дневники посыпались единицы. Напрасно ребята пытались объяснить, что они никогда раньше не видели карты и не знают, что это такое, учитель упрямо не хотел ничего слушать.

Класс возроптал, дружно зазвенели воткнутые в парты перья. Рассвирепевший учитель метался по классу в поисках зачинщиков. К треньканью перьев присоединился еще и невообразимый гул. Учитель хватался за голову, ругался, но кончилось тем, что убежал из класса.

Пришел Иван Федорович и распек класс за дурное поведение, но даже это, против обыкновения, не произвело впечатления.

Учитель географии, который стоял рядом с Иваном Федоровичем, казался Петьке еще более жалким и несчастным. Хотя Петька и не принимал участия в обструкции, но был всецело на стороне класса. Поступок Виктора Петровича казался ему верхом несправедливости.

«Сам кругом виноват да еще ябедничает!» — возмущенно думал он.

Без всякого сговора класс с тех пор не стал учить уроков Виктора Петровича. Он негодовал, бранился, угрожал, но ребята в ответ лишь хихикали. На один из уроков великовозрастный ученик принес губную гармонику и начал наигрывать на ней какую-то разухабистую песенку.

С учителем сделалась истерика: он бегал, кричал, а ученики громко хохотали. Дело кончилось тем, что географ, схватив журнал, вынужден был опять сбегать с урока.

И вновь гремел голос возмущенного Ивана Федоровича, но класс виновника не выдал. Единственным

виновником всего ребята считали учителя. Отношения с ним непоправимо обострились.

Виктору Петровичу наливали на стул чернил, и он, ничего не замечая, садился прямо на лужицу. Почувствовав мокрое, с ужасом вскакивал под всеобщий смех и убегал жаловаться.

На одном из уроков двое учеников на передней парте занялись болтовней. Виктор Петрович потребовал, чтобы один из них вышел из класса. Но ученик не подчинился, нагло рассмеялся в ответ. Потеряв самообладание, Виктор Петрович бросился на него с кулаками. Размахнувшись что есть силы, он хотел ударить мальчишку, но тот ловко уклонился, и кулак с грохотом обрушился на парту. Учитель ахнул, сморщился от боли, а класс застонал от смеха. Учитель в слепой ярости снова замахнулся, но озорник был настороже, и удар опять пришелся по парте. Виктор Петрович еще несколько раз пытался ударить наглеца, но только сильнее разбивал руку о парту, к невообразимому восторгу всего класса. Тогда учитель цепился в мальчишку, попытался было вытащить его из-за парты. Но тот так крепко ухватился за нее, что это удалось не без трудностей.

Мальчишка был маленький, но крепенький и упирался как мог. Когда же Виктор Петрович сумел все-таки вытолкнуть его за дверь, в классе царил такой беспорядок, ребята так оглушительно хохотали, что продолжать урок было невозможно, и учителю опять ничего не оставалось делать, как только спастись бегством.

Выгнанный же ученик моментально занял свое место, и, когда вошел Иван Федорович, все было в порядке.

История кончилась полным поражением учителя географии. Он поменялся уроками с Иваном Федоровичем. Но в другом классе его ждал окончательный провал. На одном из уроков учитель попытался выгнать из класса великовозрастного третьгодника. Тот позволил себя вытолкнуть почти без сопротивления, но, когда остался за дверью наедине с учителем, избил его, после чего Виктор Петрович заболел и больше в училище не появлялся. Географию стал преподавать Иван Федорович Введенский.

Виктор же Петрович вскоре поступил в женскую гимназию, где ученицы отзывались о нем, как об одном из лучших учителей.

Священник из церкви Варвары Великомученицы преподавал Ветхий завет*. Это был добродушный и умный человек с огромным красным носом. Но дисциплина на его уроках была образцовая. Серые глаза навывкате были близоруки, но в очках он видел прекрасно, ни одно движение ученика от него не ускользало. Все попытки отвечать по книжке не давали результата, — священник сейчас же замечал это и, добродушно улыбаясь, спрашивал:

— Что, брат? Удишь?..

Петька с увлечением читал историю Ветхого завета, но, хорошо зная географию, все чаще приходил к выводу, что это не более как сказка, в которой все выдуманно.

Из уроков Ивана Федоровича Петька уже знал и о солнечной системе, и о земной коре, и о возникновении миров. Особенно его поражало несоответствие дат божественного сотворения мира* и образования земного шара.

Потому относиться серьезно к священной истории Петька уже не мог, однако отказаться от бога тоже не решался.

Ведь вместе с ним должна была рухнуть и вера в бессмертие души, чем мальчик очень дорожил. Мысль исчезнуть бесследно казалась Петьке особенно нетерпимой, он хотел жить вечно.

Откровенно говоря, Петька предпочел бы бессмертие без бога, из-за которого у него с некоторых пор стало много неприятностей. Так, он было перестал ходить в церковь, но Анна Кирилловна повела с ним упорную борьбу.

— Зачем ты посылаешь меня в церковь? — возмутился Петька.

— Я перед богом отвечаю за твою душу.

— Я сам за себя отвечу!

— Ты еще не взрослый, за тебя с меня потребуют ответа.

- Да ведь через силу-то ходить в церковь грех!
- А зачем ты ходишь через силу?
- Так если мне там скучно!..

Такие разговоры происходили теперь каждый праздник.

Петька подчинялся, кипя злобой, шел в церковь. На мать он не сердился. Мысль о вечных муках грешников приводила ее в ужас. Небытия она не боялась, ее пугало только загробное бытие, страшил ад.

Ни с кем, кроме матери, Петька не делился своими мыслями о боге. Он знал, что за такие кощунственные слова педагогический совет немедленно выкинул бы его из училища. Часто, очень часто испытывал Петька страх от своей собственной дерзости, но думать иначе уже не мог, как не мог просить старого бога о прощении.

ГЛАВА XXIII

*Петька выходит победителем
из трудного испытания и задумывается над тем,
как важно быть по-настоящему честным*

На воскресной обедне Петька оказался рядом с высокой и необычайно толстой женщиной. Раскрыв от удивления рот, он не спускал глаз со своей соседки. Женщина заметила это и ткнула своим пухлым, мягким, как подушка, кулаком Петьку в бок:

— Чего глаза вылупил?

Петька хотя и отошел, но рассматривать толстуху не перестал; она беспокойно оглядывалась, чувствовалось по всему, что злилась, суетливо клала поклоны.

На другой день, идя в училище, Петька увидел ее на крылечке лавочника Павлина. Она кормила ребенка. Обнаженная грудь ее была так велика, что головка ребенка рядом с ней казалась крохотной. Около женщины сидел ее супруг. Несмотря на широкую кость, он от такого соседства казался еще более худым и незаметным.

Выдающимся у него был лишь тонкий длинный нос с мясистым рдеющим концом, при взгляде на ко-

торый сразу и не разберешь: натуральный нос или святочный, наклеенный. И лицо у Павлина тоже было красновато-синего оттенка. Глаза же маленькие, белесоватые, беспокойно бегающие, глубоко спрятавшиеся подо лбом. Волосы на голове были редкие, тоже белесоватые.

Словом, весь облик Павлина был бесцветный, тусклый. Но запомнился он Петьке почему-то на всю жизнь. Слишком много крайностей сошлось в его облике и в его судьбе.

По характеру Павлин был труслив, хитер и жаден до глупости, чем часто пользовались мальчишки, безбожно его обворовывающие. Если к Павлину приходил покупатель и спрашивал на копейку не совсем обычного товара, он мог искать его по всем полкам вплоть до самого потолка, но считал делом чести найти товар.

— Да у вас, быть может, вовсе этого нет, Павлин Митрич? Так я уж лучше уйду,— отступает нетерпеливый покупатель.

— Нет, что вы! Как можно! У меня все есть, да только я, должно быть, наверх положил. Вы не беспокойтесь. Я вам сию минуту достану! — Павлин тащит тяжелый громоздкий ящик, на него ставит табурет, лезет куда-то под потолок.

Но этим дело не кончается. Всегда как-то так случается, что сооружение оказывается воздвигнутым не на том месте, и его надо передвигать то вправо, то влево. Отыскав все-таки требуемый товар, Павлин с торжеством преподносит его покупателю.

— Ну вот видите! Этого вы, кроме моей, ни в одной лавке не найдете! Может быть, еще что-нибудь?

И совестливый покупатель берет еще «что-нибудь», чтобы вознаградить Павлина за долгие поиски. Но многие предпочитают покупать товар у лавочника Кости, у которого все свежее и доброкачественнее.

Павлину же жалко продавать лучший товар, и он его придерживает, стараясь спустить сначала залежалый. Поэтому в его лавке никогда не бывает мягкого хлеба, сушки и крендели у него тверды, как камень, груши загнившие, яйца протухшие.

По обе стороны дверей в лавке Павлина стояли лубочные короба с арбузами и яблоками. Вот их-то и крали мальчишки. Приходили к Павлину компанией в пятнадцать — двадцать человек.

Обычно пятеро самых озорных мальчуганов вваливались в лавку за покупками, другие оставались на улице. Чтобы заставить лавочника лезть на самую верхнюю полку, кто-нибудь спрашивал на копейку или две дешевого печенья. Как неходовой товар печенье хранилось где-то под потолком в большой стеклянной банке, и Павлину приходилось долго подмачиваться, чтобы добраться до него.

В тот момент, когда Павлин влезает на ящик, а потом с него на табурет, стоявшие на улице мальчишки незаметно открывают дверь и хватают из коробов яблоки и арбузы, а те, что ждут в лавке, суют в карман все, что удастся захватить с прилавка.

Расплатившись, «покупатели» догоняют далеко ушедших товарищей и на ходу вытаскивают из карманов кто соленый огурец, кто клюкву или семечки, а кто так и копченую воблу.

Посланный Анной Кирилловной в лавку, Петька раза два был свидетелем такого налета, а один раз даже видел, как взрослый парень, покупая коробку папирос, набил два кармана яблоками среди бела дня. Петька считал воровство позорным делом, но еще более позорным для него был донос, а потому он молчал, только отказывался есть краденое, когда его угощали.

И все-таки от маленьких воришек Павлин терпел не так уж много, если разобраться. У Павлина была его монументальная жена, которая часто сидела в лавке с ребенком на руках. Даже если она была в жилой части дома, то и тогда зорко посматривала время от времени в маленькое оконце, устроенное в перегородке. В таких случаях «покупатели» уходили, сконфуженные неудачей, в сердцах обзывая жену Павлина «бегемотом».

По-настоящему показал себя Павлин на пожаре, который случился в один из праздников, когда вдруг сгорели его дом и лавка. С самого утра он уехал в гости в Канавино со всей семьей, а когда вернулся, полусгнивший домишко был охвачен огнем и около него работали пожарные.

Павлин размазывал по лицу слезы с сажей, кричал, что разорен, что в лавке осталась шкатулка с деньгами. Какой-то парень, не то сердобольный, не то простоватый, накинул на себя мокрую дерюгу, бросился в пекло. Рискуя жизнью, он вынес шкатулку. Но, когда ее открыли, там оказалось всего лишь три рубля медяками.

Соседи рассказывали, что Павлин накануне перетаскал все товары и имущество во флигель, расположенный в глубине сада, а в лавку привез бочку керосина. Однако доказательств не было, и в полицию никто не заявил. А Павлин, получив крупную страховую премию, начал строить двухэтажный дом с большой лавкой в первом этаже.

После пожара все покупатели Павлина стали ходить в лавку Кости. Это был молодой красивый блондин с зоркими голубыми глазами. Вот у него-то и приноровились ребята «угощаться», хотя теперь это было особенно трудно. Больше всех везло Федьке Колодову. Он почти каждый день грыз ворованные семечки.

Петьке семечек тоже очень хотелось, но денег на них, конечно же, не было. Долго он боролся с собою, но наступил момент, когда и он, вопреки всему, решился на позорнейшее дело — решился украсть горсть семечек.

Но сделать это сразу Петька не отважился, а долго обдумывал и подготавливал кражу. Он знал, что всякий вор в конце концов попадает, поэтому решил украсть только один раз, и украсть так, чтобы никто никогда об этом не узнал.

Мальчишки, в том числе и Петька, входя в лавку, всегда снимали с головы шапку. Это делалось по внушению родителями уважением к старшим, отчасти уже по привычке. Вот на этом-то и решил сыграть Петька. Обычно он держал шапку в руке, а когда надо было завязать в платок хлеб, клал ее на прилавок. Теперь, придя в лавку, он положил ее на мешок с семечками, чтобы прихватить горсть их вместе с шапкой. Чтобы вышло половчее, Петька решил вначале потренироваться, приучить Костю к своей

новой манере класть шапку. И это оказалось не лишним.

В первый же раз, когда Петька завязал хлеб в узелок и взял шапку с мешка, Костя, пытливно глядя ему в глаза, потребовал:

— А ну-ка дай мне свою шапку!

— Зачем она вам?

— Я хочу посмотреть.

— Да чего ее смотреть! Шапка как шапка!

— Что боишься-то? Не съем я твою шапку! — настаивал Костя в полной уверенности, что поймал Петьку на месте преступления.

— Да нате, смотрите! Разве мне жаль! Только чего ее смотреть-то?

Костя взял поданную Петькой шапку за верхушку, потряс ее.

— Вы потише, а то разорвете! Ведь шапка-то старая! — деланно возмущается Петька.

Костя сконфуженно возвратил Петьке шапку и лишь после этого дал сдачу.

«Вишь, сволочь! Какой хитрый!» — удивлялся Петька, идя домой. С этих пор, приходя в лавку, Петька стал всегда класть шапку на мешок с семечками, но не боком, как в первый раз, а завязками кверху. Уходя, он брал шапку и, переложив ее из одной руки в другую, надевал на голову. Костя еще некоторое время подозрительно косился на Петькину шапку, но потом перестал обращать на нее внимание.

Дома Петька тоже не терял времени даром. Он клал шапку на плоску с горохом, затем, зажав ее в кулаке, старался приподнять шапку, захватив при этом как можно больше горошинок, уверенно надевал на голову. Тренировался он долго и добился-таки того, что стал вместе с шапкой захватывать порядочную горсть горошинок, и ни одна горошина при этом не падала на пол. Тот же самый опыт Петька проделывал и с пшеном, но здесь все оказалось сложнее: какая-то часть пшена при надевании шапки непременно падала на пол.

Тогда Петька применил более короткий и резкий отрыв шапки, теперь все некрепко захваченные зерна незаметно падали обратно в плоску, а на полу не оказывалось ни одного. Этот прием Петька решил ис-



пользовать и в лавке Кости. Продумал он и план отступления на случай неудачи.

Петька рассудил, что, если Костя заметит кражу, он моментально высыпет семечки обратно в мешок, швырнет крупный довесок хлеба на прилавок и, убежав на улицу, будет кричать, что лавочник его обвешивает. В том, что прохожие обвинят лавочника, он не сомневался.

Еще ничего не украл Петька, но уже смотрел на Костю, как на злейшего врага. Тот в самом деле был на руку нечист и часто обвешивал, но после нескольких крупных скандалов делал это очень ловко. Иногда покупатели проверяли правильность веса дорогих товаров, но всегда так оказывалось, что не хватало всего полвосьмушки, а это можно было приписать неточности весов.

По всем расчетам Петька считал себя неуязвимым, но ему долго не везло: все никак не удавалось остаться у прилавка одному. Как нарочно, кто-нибудь входил. Наконец Петька улучил момент и вместе с шапкой прихватил горсть семечек. Но сразу же и отпустил ее обратно на мешок, яростно поскреб себе живот.

— Ты это что? Сороконожек завел? — со смехом спросил Костя.

— Нет, брюхо болит! — буркнул¹ Петька, краснея, и направился к дверям, на ходу надевая пустую шапку.

Выйдя из лавки, он не пошел сразу домой: лицо его горело, Петька это чувствовал, и мать непременно обратила бы на это внимание, стала бы допытываться, что случилось. А случилось нечто очень важное: Петька понял, что вором быть не может ни при каких обстоятельствах, и поначалу его охватила страшная досада. Теперь ему казалось унижительным, что он не смог украсть даже горсти семечек.

«И зачем мой отец не был вором!» — с огорчением думал Петька. Воровство теперь ему представлялось чуть ли не подвигом.

«Эх, баба! — думал он презрительно о самом себе. — Небось Иван-царевич и жар-птицу украл, и саму царевну украл, а я не смог украсть горсти семечек! И отчего все это? Должно быть, мать во всем виновата. Десять лет твердила, что воровать стыдно. Вот

я и расхлебываю сейчас. Ребята и арбузы, и яблоки, и семечки едят, а я — слюнки глотаю».

В конце концов Петька чуть не запутался в своих чувствах: с одной стороны, ему было стыдно того, что он решился на кражу, а с другой — что не смог украть. При посещениях Константиновой лавки Петька по-прежнему клал свою шапку на мешок с семечками, но клал ее уже завязками вниз. Он не хотел, чтобы у Кости появился хотя бы маленький повод считать его вором.

Об отце Петька опять думал с гордостью, но своей честностью гордиться перестал. Мальчишка ясно сознавал теперь, что хотя и не украл, но его заслуги в этом нет: в последний момент сработала не свободная воля, а материнская выучка. Да и как забыть, что целых три недели он готовился к краже, жил мыслью о ней, делал опыты?

И что до того, что никто об этом не знает, если знает он сам? От своего суда никуда не уйти. Вот что понял Петька навсегда.

ГЛАВА XXIV

*Кроме занятия науками,
Петька познает уроки товарищества
и учится держать свое слово*

В училище Петька ходил с удовольствием. Здесь всегда было весело и интересно. За шалостями товарищей он следил не без восхищения, хотя сам не принимал в них участия. Великовозрастные юноши от скуки и избытка сил позволяли себе самые рискованные выходки. Правда, риск в основном заключался в том, что их могли исключить из училища, но именно этого некоторые из них и добивались.

Однажды во время большой перемены одному из учеников пришла мысль проделать гимнастические упражнения на высоте второго этажа. Открыв окно и уцепившись за нижнюю планку рамы, он принялся подтягиваться на руках. Когда же юноша утомился и влез в класс, его место тотчас занял второй, за вторым — третий. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы их не заметил со двора учитель.

Но предупреждение и так пришло поздно. Один из смельчаков чуть было не разбился насмерть. По постановлению педагогического совета его исключили из училища.

Большинство ребят ограничивались безобидными шалостями: пускали бумажные стрелы или стреляли горохом из бумажных трубочек.

Частенько в Петькин класс заходил девятнадцатилетний третьеклассник Прожетак — громадного роста, но стати вполне годившийся в грузчики. Он отличался тем, что постоянно отнимал и съедал у малышей завтраки, а в случае сопротивления пускал в ход тяжелые кулаки.

Довелось и Петьке познакомиться с ними.

В одну из перемен Прожетак подошел к нему, спросил без обиняков:

— Есть булька?

— Нет бульки! — передразнил Петька и дерзко взглянул на Прожетака.

Тот молча открыл люпитр парты, неторопливо вынул ранец Петьки, уверенно вытащил из него кусок хлеба. Не очень сильно размахнувшись, отвесил Петьке хорошего леща:

— В другой раз не ври! — и пошел из класса, жуя на ходу хлеб.

Острая обида резанула сердце Петьки, и он, молнией сорвавшись с места, настиг в дверях Прожетака, вцепился в него ногтями. Тот не ожидал отпора, на какое-то мгновение даже растерялся. А Петька, подпрыгнув, крепко ухватился за длинные волосы Прожетака. Класс даже ахнул от восхищения, раздались воинственные крики: добрая дюжина мальчишек пришла на помощь Петьке. Они колотили Прожетака как могли.

Парень не выдержал натиска и позорно бежал.

В старших классах было много переростков. К счастью для малышей, таким бесцеремонным был только один Прожетак. Но после этого случая и он в Петькином классе больше не появлялся.

Уроки чистописания, черчения и рисования любили большинство учеников, потому что по ним ничего не надо было заучивать. Даже Петьке, у которого не было способностей к рисованию и чистописанию, нра-

вились эти уроки. Вел их Василий Григорьевич — мужчина необычайно красивый, с бледным лицом, серыми холодными глазами. Говорили, что у него какая-то неизлечимая болезнь. Однако отличался он большим самообладанием. Никто ни разу не слышал, чтобы Василий Григорьевич когда-нибудь повысил голос. Наоборот, он всегда был вежлив, предупредителен. Ученики его не боялись, но дисциплина на уроках учителя была образцовая.

Петька проучился у Василия Григорьевича все три года и нередко мечтал о том, чтобы научиться владеть собой так же, как учитель.

Однако самой необычной личностью был все же Николай Петрович Гаврилов — преподаватель истории, географии и бухгалтерии.

Начался первый урок истории. Еще никто из учеников не успел совершить никакого проступка, а Николай Петрович уж заранее пригрозил всем возможными наказаниями, вплоть до порки. Его маленькие, спрятанные под кустистыми бровями, глубоко посаженные глазки смотрели свирепо. Большая голова была совершенно лысой, зато чуть не все лицо заросло густой черной бородой.

Учитель напоминал того самого сказочного людоеда, который хотел съесть «мальчика с пальчика». Для полного сходства недоставало только широкого ножа за поясом.

Отметки Николай Петрович ставил в зависимости от своего настроения, и ученики при одном взгляде на него знали, будут сегодня тройки и четверки или единицы и двойки.

По всему было видно, что дела своего он не любил: на уроки опаздывал, случалось, что учитель пропускал половину урока и больше. Но если ученик опаздывал хотя бы на полминуты, Николай Петрович жестоко с ним расправлялся. Особенно больно было, когда он хватал провинившегося своей крепкой рукой за щеку и, так держа его, резкими, быстрыми толчками то привлекал к себе, то отталкивал на длину руки. Обычно после этого у мальчишки оставался огромный синяк во всю щеку, так что всех наказанных историком в училище было легко узнать.

— Я вам покаж-жу! Я вам покаж-жу! — кричал разъяренный педагог, и голос его срывался в визге.

Был Николай Петрович и большим поклонником порки. Если он заставлял курящего ученика или узнавал об исправлениях в дневнике, подделке подписи родителей, кричал истошно:

— Вспороть! Вспороть! Вспороть!

И виновника действительно пороли в комнате сто-рожа. Если же родители не соглашались на порку, ученика исключали.

Изучали историю по Иловайскому*, но Николай Петрович требовал, чтобы ему отвечали не по учебнику, а по его рассказу. Ученики, обладающие острой памятью, получали пятерки, а заучившие урок по учебнику — тройки и двойки. Все плохо выучившие получали единицы. На них Николай Петрович не скупился. Правда, потом он спрашивал этого ученика и во второй раз и в третий и в большинстве случаев переправлял единицу на тройку.

Единственным спасением было то, что спрашивал он всегда по алфавиту, и ученики заранее высчитывали, когда и какой урок следует выучить. Для большей надежности выучивали два-три урока подряд, а потом снова забрасывали учебник, теперь уже до следующей четверти.

Больше одного раза за четверть Николай Петрович спросить не успевал.

На рождество, на масленицу и пасху Николай Петрович обычно задавал повторение пройденного и с началом занятий ставил сплошь всем, за исключением самых способных, единицы. Тут уж трудно было высчитать свой урок. Учитель гонял по всему курсу.

— Садитесь! Единица! — злорадно объявлял он в большинстве случаев.

Нагнав страху, Николай Петрович выбирал какого-нибудь непомерно рослого, но не очень способного ученика и, не скупясь на самые нелестные эпитеты и сравнения, начинал его высмеивать. Классу полагалось в это время смеяться, и все смеялись, хотя и не очень охотно, над тяжелыми остротами учителя: лишь бы только не спрашивал.

Гаврилова не любили, но отпора дать ему не решились. Для большинства уездное училище было высшей ступенью образования.

Один раз Николай Петрович застал в уборной куращего ученика и хотел по своему обыкновению схватить его за щеку, но получил такой удар кулаком по протянутой руке, что заохал и не решился повторить своей попытки. На экстренном заседании педагогического совета, созванном тотчас же, ученик, осмелившийся поднять руку на учителя, был немедленно исключен.

Понятно, что после такого происшествия протестовать против Николая Петровича ученикам и в голову не приходило, и они отводили душу в том, что всячески высмеивали «почтенного педагога» за глаза.

Петьке Николай Петрович не был опасен: на уроках мальчишка давно вел себя безупречно, домашние задания он выучивал аккуратно, но тем не менее к учителю испытывал сильнейшую неприязнь и частенько во время урока начинал вдруг мечтать о том, как было бы хорошо ударить с разбега в шарообразный его живот или пустить в массивное, заплывшее жиром лицо валенком.

Из вдовьего дома в училище ходило несколько человек, так что недостатка в попутчиках у Петьки не было. Иногда набиралась компания до десяти человек, и идти было весело. Правда, нередко веселье это неожиданно омрачалось, из-за чего Петька подолгу мучился угрызениями совести. Так, на одном из близких перекрестков ребята обычно нагоняли мальчугана в блестящих башмаках и белых чулках — ученика частного пансиона. С первого же раза Федька Колодов за что-то его невзлюбил и плюнул ему в спину. Его примеру последовали и другие. В ответ на это мальчуган обернулся, спросил как-то особенно серьезно:

— Чиво плюваешься?

Это-то «плюваешься», так всех рассмешившее, и определило участь бедняги, надолго ставшего с тех

пор мишенью для плевков. Малыши жалели мальчугана, но их защита только подзадоривала больших шалунов.

По дороге домой более обеспеченные ученики заходили иногда в кондитерскую Розанова, где покупали обломки и крошки от печенья и пирожного по пять копеек за полфунта. Купить фунт никто из мальчишек не был в состоянии, а нередко складывались и на полфунта. Иногда среди крошек попадало смятое пирожное, а то и два.

Как-то Петька получил немного крошек от Павла Коровина. Это был веселый и остроумный мальчик, но очень щедушный, хромой и вдобавок ко всему заика. Все любили его за ум и беззлобный характер, и никто его не обижал. Только один раз Николай Петрович поднял на него руку. Павел не успел попасть вовремя в класс после звонка, и свирепый учитель, догнав его в коридоре, схватил за шиворот, швырнул вперед. Коровин не удержался на ногах, упал, еле поднялся и весь в слезах вошел в класс.

Павел был единственным сыном вдовы и жил тоже во вдовьем доме. Мать его была хотя и ворчливая, но в общем добродушная женщина, и Петька частенько заходил в номер к Коровиным. Начитавшись рассказов про индейцев, приятели нередко учились метать лассо*, свитое из веревки, мечтали о путешествиях. Если одному из них удавалось достать интересную книгу, он давал непременно прочесть ее и товарищу.

Познакомившись с легкой руки Павлушки со вкусом пирожного, Петька поставил задачу купить полфунта крошек и начал копить для этого деньги. Как и прежде, Анна Кирилловна иногда давала ему на завтрак вместо хлеба две копейки. Но это случалось редко, а поэтому Петька очень долго не мог накопить нужные пять копеек. Наконец такой день настал, и на обратном пути из школы он купил полфунта давно желанных крошек. Однако ему не повезло. В кульке не оказалось ни одного пирожного, и большую часть крошек он раздал товарищам.

Теперь Петька решил накопить денег на целый фунт. Но, как нарочно, дома часто пекли хлеб. Почти три месяца Петька с завистью проходил мимо кондитерской. И только перед самым рождеством ему удалось осуществить свою мечту.

«Пир» Петька приурочил к покупке бумаги для тетрадей. Из соображений экономии ему с разрешения учителей приходилось вшивать в старые форменные обложки бумагу, что обходилось значительно дешевле покупки тетрадей. В этот день, предвкушая удовольствие, Петька с утра ничего не ел. Он даже отдал товарищам весь свой завтрак.

Занятия закончились в три часа, и Петька пошел, как обычно, со своей компанией. Поравнявшись с «Детским музеем»*, зашел купить бумаги. Все тем временем двинулись дальше, а Петька вошел в магазин и долго-долго стоял здесь, ожидая, чтобы на него обратил внимание продавец.

— А тебе, мальчик, чего надо?

— Мне на одну копейку шестой номер,— сказал Петька, подавая деньги.

Выйдя на улицу, Петька пошел совсем медленно, еле передвигая ноги. Товарищи давно уже скрылись из виду. А есть хотелось так, что Петька чувствовал тошноту и головокружение. Он с наслаждением съел бы сейчас кусок самого черствого черного хлеба, но мальчишка намеренно растягивал удовольствие, предвкушая всю прелесть сдобных крошек и всего того, что окажется в кулке.

На этот раз Петька был в восторге от своей покупки. Вместе с крошками ему достались две сдобные лепешки, ватрушка и смятое пирожное. Когда Петька выходил из кондитерского магазина, сердце у него билось как у пойманной птицы. Наслаждаясь лакомством, он забыл обо всем на свете. Очень скоро были съедены и лепешки, и ватрушка с пирожным. Крошек Петьке хватило почти до Арестантской площади. Последние горсти их показались ему особенно вкусными.

Петька так разнежился, что стал мечтать о том времени, когда делается работником и будет каждый месяц покупать по фунту сдобных крошек.

А между тем началась метель. На Арестантской площади сильнейшие порывы свирепого ветра норовили Петьку сбить с ног. Ветер дул с угла площади, со Звездинских прудов *, насквозь пронизывал ватное пальтишко, добирался до костей. Лицо хлестало и резало снегом, и теперь Петька думал лишь о том, как бы скорее дойти до дома.

В поле он попал в такую снежную круговерть, что невольно вспомнил о пушкинских бесах. Ему казалось, он улавливал их очертания в белом несущемся хаосе. Земля в минуту обросла вдруг лесом живых белых волос, космы которых закрыли весь мир. Рискаю потерять в сугробах валенки, Петька добрался наконец до вдовьего дома. Настроение, несмотря ни на что, было прекрасное, когда он вдруг неожиданно вспомнил про Павла. «Жадина я! — обругал себя Петька. — Хотя бы лепешку Павлу оставил!»

И все! Хорошего настроения как не бывало. Петька со всей неотвратимостью и остротой почувствовал, что обманул товарища, что утаил от него какие-то крошки и что теперь ему будет ужасно стыдно смотреть в глаза добродушного Павлушки.

На другой день утром, по дороге в училище, Петька, заикаясь и краснея, рассказал Коровину о вчерашнем. В ответ на это Павел лишь улыбнулся добродушно.

И когда Петька вновь с великим трудом накопил гривенник и все купленные им крошки отдал ребятам, то Павлушка заметил не без гордости:

— А ты, Петька, молодец! Умеешь слово держать!

ГЛАВА XXV

*Петька изучает нравы обитателей вдовьего дома
и делает неожиданные открытия*

Перед рождеством во вдовый дом стали подвозить на санях подаяние от богатых купцов-старообрядцев. Детишки, живущие в подвале, особенно не могли сдерживать восторга. Они, припевая, прыгали по заснеженному двору:

— Пода-яние везут! Пода-яние везут!..

Было отчего радоваться. Вместо обычных черного хлеба и картошки им предстоял роскошный обед с мясными щами.

Куда спокойнее восприняли весть о рождественском подавании на втором и третьем этажах, где жили более обеспеченные женщины: вдовы священников, учителей, чиновников. Некоторые из них получали пенсию до сорока рублей в месяц. Вообще обитатели подвала относились к жильцам этих этажей с неприязнью, радовались каждому скандалу наверху.

Особенно развлекла всех драка между интеллигентными дамами во время генеральной уборки коридоров. Ссора возникла из-за того, что каждая боялась сделать больше другой. Вдовы из подвала побросали свои дела и побежали смотреть, как дерутся «благородные дворянки». Страсти накалялись: поначалу тонкие остроты сменились площадным сквернословием, а потом в ход пошли даже щетки. К удивлению Петьки, неожиданно вспыхнувший спор был закончен рукопашной: благородные дамы вцепились друг другу в волосы.

Событие это долго еще обсуждалось во вдовьем доме, особенно в подвальных номерах, жители которых постоянно были заняты работой, и ссоры между ними случались редко. А драк и быть не могло, даже если бы и повод нашелся: вряд ли кто из подвальных решился бы на это.

С бедноты смотритель дома за всякий проступок взыскивал необыкновенно строго. Так, мать Ваньки Курякова была безжалостно выдворена из вдовьего дома, несмотря на большую семью, и все это из-за трех старух староверок, живущих по соседству с Куряковыми.

Старухи приехали во вдовый дом из какого-то заволжского лесного скита *, были очень богомольны, сварливы и злы. Староверки, на потеху ребятишкам, называли себя невинными девицами и христовыми невестами, хотя каждой из них было за семьдесят. Целыми днями они, неслышно шевеля губами, молились, перебирая четки в руках, без конца клали земные поклоны.

Детишки же Куряковой, особенно меньшая Ларка, отличались чрезмерной резвостью. Им нравилось драз-

нить старух, и часто под их окнами или около дверей поднимался страшный шум, а Ларка пела своим пронзительным голоском:

Не молены, не крешены,
Из лесной глуши ташены,
Чертovy невесты!

Песенки эти особенно возмущали старух. Они высказывали из номера, пытались даже поймать кого-нибудь из детей, но догнать, конечно же, никого не могли и тогда отчаянно ругались. Но как только они скрывались за дверьми номера, детвора принималась за старое. Курякова уж и порола ребятишек за проказы — ничего не помогало. Мать уходила на поденную работу, и целый долгий день дети были предоставлены самим себе.

Вдова Курякова была женщиной молодой, привлекательной, и служивший в доме истопник заметил ее. Все про это знали, но смотрителю не жаловались. Христовы невесты, однако, решили иначе. Однажды, сразу же после вечерней поверки, когда вход в номера не то что мужчинам, даже соседкам-вдовам был воспрещен, нетерпеливый истопник прошмыгнул к Куряковой. Старухи заметили его и немедленно привели надзирательницу. Та потребовала, чтобы ее впустили в номер. Курякова перепугалась, потушила огонь.

Тогда послали за смотрителем. Когда по его требованию вдова открыла дверь, под кроватью увидели сапоги истопника, который пытался там спрятаться. В тот же вечер истопник был уволен с работы, а семья Куряковых выгнана из вдовьего дома.

Жильцы жалели молодую вдову, старух же с тех пор возненавидели, возмущались и смотрителем, который был строг только с бедными вдовами, а благородным спускал все грехи. На втором этаже жила вдова Миловидова, обе дочери ее, не таясь, встречались с попечителем вдовьего дома, были веселы, нарядны и жили припеваючи.

Старухи староверки торжествовали напрасно. Радость их была недолгой. Теперь другие дети кричали под дверьми:

— Чертovy невесты! Ведьмы Христовы!

История с Куряковой долго еще занимала обитателей дома. Многие вдовы с этих пор стали очень осторожны и встречались с друзьями где-нибудь на стороне, часто под предлогом посещения всенощной службы в церкви. Одни вдовы в монастырскую церковь идут, а другие — мимо.

Да и сам монастырь пользовался дурной славой. Ходили слухи, что туда ездят кутить богатые купцы, а после кутежа делают крупные вклады. Кое-что о монастыре подростки узнавали от молоденьких послушниц, вступивших в него из вдовьего дома.

Однажды в полночь две послушницы попытались спустить со второго этажа по веревке свою подругу, спешившую на свидание. Веревка оказалась короткой, послушница настолько тяжелой, что поднять ее обратно не удалось. Все трое принялись страшно кричать и разбудили весь монастырь. Девуцу подняли, а утром все трое были наряжены в бумажные дурацкие колпаки с позорными надписями и проведены по монастырю на посмешище. Кроме того, им в наказание назначили множество поклонов и молитв.

Накануне рождества заутреню служили в домашней церкви. Это был громадный двухсветный зал. С восточной стороны его был устроен иконостас, перед которым и совершалась церковная служба. Этот зал открывали только в праздники, а все остальное время двери его были заперты.

Детишки, в распоряжение которых был отдан крохотный зал первого этажа, с завистью заглядывали через стеклянные двери в громадное, все залитое светом помещение, которое пропадало зря. Но на этот раз все входящие в зал неизменно обращали внимание на великолепную елку, которая своей вершиной доставала чуть ли не до окон третьего этажа. Администрация вдовьего дома решила устроить для детей новогоднюю елку, и ребяташки больше смотрели на нее, чем на иконы.

По окончании службы Петька улегся спать. Славить бога он в этом году не пошел, считая себя слишком взрослым для этого, к тому же и вера в бога сильно пошатнулась в нем за это время.

На другой день он отправился по гостям. На деньги, подаренные родственниками к празднику, Петька купил книжку с картинками под названием «Испанские студенты» * и остался ею недоволен. По сравнению с историями Жюль Верна она показалась ему слишком скучной. Не понравилась книжка и другим мальчишкам.

На рождество Саша достала «Ниву». По вечерам читали вслух напечатанный в ней роман Крестовского «Сергей Горбатов» *. Но чаще всего вечерами Петька оставался один. Старшие сестры с матерью уходили поболтать к дочерям соседки-портнихи. Младшие детишки убегали в зал первого этажа, где играли под присмотром надзирательницы, а Петька учил уроки и читал все, что ни попадало под руку.

Так случайно прочитал он и книжку о космосе и космографии. Имя автора мальчик так и не узнал, потому что заглавный лист был оторван. Зато сама книга открыла перед Петькой новый мир. Теперь он окончательно убедился, что священная история не более чем сказка. И все же какие-то смутные ощущения веры в бога у Петьки все еще оставались.

Приближался Новый год, и в большом зале вдовьего дома с помощью высоких раздвижных лестниц украшали елку. Главными распорядительницами здесь были сестры Миловидовы, поклонницы попечителя вдовьего дома. С ними работало еще несколько девушек, и толпившиеся у дверей детишки с завистью смотрели, как то одна, то другая отправляла себе в рот конфеты.

В новогодний вечер ребята вдовьего дома оделись в свои лучшие костюмы и столпились у входа в зал. Детвора из подвала, в том числе и Петька, явились в своей обычной, но чисто вымытой одежде.

Когда открылась дверь и ребят впустили в зал, те даже рты открыли от удивления. Большинство впервые увидели новогоднюю елку. Да и Петька, который не раз наблюдал рождественские елки через окна богатых домов, был поражен. Там были елочки, а в зале стояла настоящая ель! Она была прекрасна и сама по себе, но, залитая огнями свечей, сверкающая позолотой и серебром украшений, казалась сказочной.

Однако ни бегать, ни прыгать, ни петь детям не позволили. Празднеству с самого начала придали казарменно-монастырский характер. Всех построили попарно, и началась процедура получения подарков. Петьке достался ситец на рубаху, пакетик гостинцев и билет с номером тридцать семь. У елки с высоких лестниц барышни раздавали по этим билетам украшения. Под Петькиным номером оказалась маленькая бонбоньерка.

После того как все подарки с елки были розданы, на ней осталось еще много конфет в позолоченных бумажках, грецких орехов и крымских яблок, и, когда свечи догорели, елка по распоряжению попечителя была целиком отдана на волю ребят. Началась шумная свалка. Мигом были сорваны конфеты с нижних ветвей. Благодетели, стоявшие в сторонке, были довольны, глядя на свалку, весело посмеивались.

В штурме елки приняли участие даже взрослые. Особенно отличилась какая-то худая и непомерно длинная девица. Возвышаясь над ребятишками, как колокольня над деревенскими избами, она быстро обрывала конфеты с высоких ветвей и бросала их себе в фартук. Делала она это так спокойно и так ловко, что малыши с завистью посматривали на нее.

Петьке тоже хотелось бы нарвать золотых конфет, но к елке он пока не подходил. Мальчик ждал момента, когда она упадет, и зорко следил за еще не тронутой вершиной. Елка действительно уже трепетала и качалась из стороны в сторону.

И вот раздался дикий рев: разом опрокинувшись, елка упала на груды тел. Послышался плач и писк попавших под нее ребятишек. Петька же прыгнул на самую вершину. Работая обеими руками, он успел сорвать семь позолоченных конфет. Минута — и на елке не осталось ничего, кроме хвои.

Высокая девица тоже упала. Конфеты из ее фартука просыпались, и их с визгом растащили, а мальчишки, более смелые, выхватывали конфеты даже из самого фартука. Крепко удерживая его рукой, девица старалась выбраться из-под кучи копошившихся тел, но, когда ей удалось стать на ноги, фартук ее был почти пуст. На этом, однако, ее злоключения еще не кончились.

Мальчишки, окружив несчастную девушку плотным кольцом, выхватывали у нее последние конфеты, роняли их, падали сами, подбирали с полу упавшее. Размахивая кулаком и громко ругаясь, она наконец выбралась из окружения и журавлиными шагами убежала из зала.

Елку подняли, снова поставили на крестовину. Но чинный порядок был нарушен и празднество закончено. Дети с шумом расходились по своим номерам.

Когда Петька поравнялся с номером, в котором жила высокая девица, оттуда был слышен плач навзрыд. От всей добычи несчастной едва ли осталась десятая часть.

У себя в номере Петька выгрузил из-за пазухи золоченые конфеты. Они были сфабрикованы из сахара и муки, но показались мальчику необыкновенно вкусными.

Монастырские порядки вдовьего дома не допускали никакого, в том числе и святочного, веселья. Но мальчишки не признавали этих правил и ходили из номера в номер ряжеными.

Два брата, певчие Мишка и Павка Вовченко, набрали из мальчишек целый хор и разыгрывали церковную службу.

Мишка склеил себе из синей сахарной бумаги камилавку, сделал из маленького старого горшка кадило, из лучины — крест и надел на себя ризу из красного с разводами одеяла. Для большего сходства с попом он натянул материнскую юбку, подвязав ее под мышками. Павка нарядился в бумажную скуфью, грязный женский капот и подпоясался широким полотенцем, на плечо повесил красный кушак.

Икону Николая-чудотворца изображал Митька Каштаный, или «бештаный», как его чаще звали. У него была веселая круглая рожица со вздернутым носом и взъерошенная вихрастая голова. Митьке наклеили из желтой бумаги длинную бахрому, которая должна была изображать бороду. Волосы посыпали мукой, а нос обклеили красной бумажкой.

Мишка и Павка — поп и дьякон — навели себе усы и бороды сажей.

Мальчишки оравой вваливаются в какой-нибудь номер, и служба начинается. Против открытых «царских врат» — дверей — ставят «икону» и втыкают ей в сложенные на животе руки зажженную свечку. «Дьякон» берет «кадило», поджигает в нем бумагу и начинает кадить на «икону». Из карманов у него торчат бублики. Хор встает по обе стороны «царских врат». Один из мальчишек держит в руках кувшинчик с водой и мочальной кистью.

Службу начинает инициатор всей затеи весельчак и балагур «поп» Мишка.

— Благословенно царство овса и сена и ржаной соломы! Полонил поп крысу и двух петухов! — возглашает он.

Хор поет «аминь». «Дьякон» усиленно кадит на «икону», которая стоит неподвижно и только страшно вращает белками глаз.

«Поп» крестится, наклоняется к «иконе» и нараспев возглашает:

— Святитель, отче Николай, гони блох из нас!

Хор поет: «Слава овсу и сену и святому брюху!»

Так повторяется до десятка раз. Потом «поп» выходит на середину номера, крестится, вытаскивает из кармана табакерку, нюхает щепотку табаку и чихает. Хор поет «аминь».

Спрятав табакерку, «поп» достает очки и надевает их себе на нос. Мальчишки подносят ему евангелие. «Дьякон» тоже перестает кадить и извлекает из кармана бутылку.

«Икона» широко было разевает рот, но «дьякон» подносит ей к носу внушительный кукиш и пьет сам. «Икона» яростно гримасничает и плюется. «Дьякон» прячет бутылку за «иконой» и снова начинает ходить и кланяться.

— Братие, не носите худого платия! — начинает читать «поп».

— Вонмем! — диким голосом ревет «дьякон».

«Поп» Мишка продолжает:

— Во время оно сидел я дома, прилетели ко мне два духа — комар да муха.

— А старуха-щепетуха невзлюбила того духа! — поет хор на церковный мотив.

— Схватили меня за волосы и потащили на небеси,— продолжает «поп».

— Из-под дубова коренья пришло горе-разоренье, вот калина! — поет хор.

— Там церковь из калачей сложена, стоит открыта, блинами покрыта,— читает «поп».

— Громко колокол звонит, попадья с метлой бежит,— вторит хор.

— Дьякон в той церкви белугой ревет, а пономарь водку пьет,— читает «поп» дальше.

— А за нею, точно бочка, катится попова дочка! — продолжает хор.

— Я вошел в алтарь, а там поп блины болтал,— гудит Мишка на самых низких нотах.

— Попадья с метлой упала, в лужу головой попала! — подтягивает ему хор.

— Я ему сказал: бог помочь, а он мне говорит: убирайся, сво-ла-ачь! — заканчивает Мишка на самых высоких нотах.

На мотив «Слава тебе, господи!» хор поет: «У поповской дочки весь нос в табаке».

По окончании службы «поп» начинает искать бутылку. Не найдя ее, возглашает плаксивым голосом:

— Дьякон, дьякон! Куда бутылочку спрятал?

Продолжая кадить, «дьякон» ревет:

— За иконой, за Николой! Господу по-мо-лимся!..

Хор поет «Господи, помилуй!».

Наконец «поп» бутылку находит и пьет из нее. «Икона» широко разевает рот. «Поп» что-то льет из бутылки «иконе» в рот, та тоже пьет и крикает. Потом «поп» вынимает табакерку и подносит «иконе» понюшку табаку. «Икона» шумно нюхает, страшно гримасничает и громогласно чихает. Спрятав табакерку, «поп» надевает ей на нос очки, и та показывает ему язык.

Передав кадило «попу», «дьякон» встает перед «царскими вратами» и начинает молитву:

— Об извозчике Даниле и его сивой кобыле миром господу помолимся-а!

— Господи, помилуй! — подхватывает хор.

— О кривой Аксинье, чтоб повесилась на осине, миром господа просили.

Хор поет:

— Подай, господи!

— О старом капрале и толстопузом генерале миром господу помолимся-а!

— О свинье Матрене и ее сыне Мироне миром господу помолимся!

Хор поет:

— Господи, помилуй!

— О пьяном Макаре, который угорел на пожаре, миром господу помолимся-а!..

— О всех целовальниках, ворах и карманниках миром господу помолимся-а!

— Дай им всем, господи, по рылу! — надрывается хор.

Далее «дьякон» начинает изощрять свое остроумие над именами, прозвищами и особенностями присутствующих.

— Об Илье мордастом и Яшке соплястом миром господу помолимся.

— Господи, помилуй! — не отстает хор.

— О рыжей крысе и рябой Анфисе, о Ваньке-лихаче и Гришке-лохмаче миром господу помолимся-а!

— Господи, помилуй! — отзывается хор.

— О Машке Коркиной и Наташке Деркиной миром господу помолимся!

— Господи, помилуй! — тянет хор.

— Служба кончена, обедня испорчена! — в последний раз возглашает «дьякон», а хор начинает заливчатую песню:

— Во саду ли, в огороде...

«Поп» с крестом из лучинок в одной руке, с кадиллом — в другой приплясывает. «Дьякон», подобрав подол женского капота обеими руками, неуклюже взбрыкивает ногами. «Икона» срывается с места и тоже пускается в пляс.

Когда хор замолкает, «поп» Мишка кропит всех мочальной кистью, все целуют крест из лучинок, и ватага переходит в другой номер.

Следуя за веселой процессией, Петька побывал во всех подвальных номерах. Ряженных везде встречали радушно и всю их службу сопровождали громким смехом.

ГЛАВА XXVI

*рассказывает о рыцарском сердце Петьки,
который защищал одну девочку
и восхищался смелостью другой*

Играя у каменной стены вдовьего дома с мальчишками, Петька часто видел девочку лет четырнадцати, которая с маленькой сестренкой ходила в поле за цветами. В один из таких дней, когда девочка прошла мимо играющих и скрылась вдаль, отъявленный хулиган Федька Колодов, зло выругавшись, крикнул:

— Я догоню и отлуплю ее... Она разлюбит цветы!

Все бросили игру, недоверчиво посмотрели в сторону убегающего Федьки.

Петька тоже стоял и смотрел, не зная, что делать. И только когда Федька готов уже был скрыться из виду, Петька сорвался с места и бросился за ним вдогонку. Он решил защитить девочку от насилия. Правда, Федька был на целых четыре года старше, и у него уже пробивались усики, и он мог бы справиться с пятью такими защитниками, как Петька, но мальчишка был уверен, что при нем обижать девочку парень не решится.

Петька бежал за Федькой, соблюдая расстояние. Когда тот уставал и шел шагом, он тоже давал себе отдых, чтобы потом с новыми силами продолжать преследование хулигана.

По временам он видел и девочку, которая, заметив Федьку Колодова, тоже побежала вперед. Но ей бежать было очень трудно — мешала маленькая сестренка. Петька видел, как она тащила ее за руку. Ребенку было лет пять. И девочка то и дело брала сестренку на руки, но от этого только быстрее утомлялась. Бежать она почти уже не могла и теперь шла быстрым шагом, часто оглядываясь на своего преследователя, затравленно озираясь по сторонам, ища откуда-нибудь защиты. Порой она скрывалась в пересекающем поле овраге, но через некоторое время снова появлялась на другой его стороне. Федька уверенно, легко настигал ее. Расстояние настолько уменьшилось, что Петька слышал даже плач маленькой сестренки. Девочка в отчаянии сделала последнюю попытку: схватила на руки ребенка и быстро-

быстро побежала. Но силы были надломлены, и она на всем бегу рухнула на землю.

Теперь Федька приближался к ней шагом. Не то от страха, не то от бессилия девочка не кричала. Только ее маленькая сестренка отчаянно визжала.

Парень был уже почти рядом с девочкой. Когда между ними осталось не больше десяти шагов, Петька сзади пронзительно закричал:

— Не тронь!..

Федька быстро обернулся на окрик и, увидев Петьку, бросился за ним. Тот знал, что в открытом поле Федька его непременно нагонит, и потому сразу свернул в давно исхоженные им овраги.

Здесь он чувствовал себя как дома. Он совсем заводил Федьку: то забегал ему в тыл, то вновь появлялся впереди него. Федька искал мальчишку в глубине оврага, а тот в это время поджидал его наверху — в густой траве или в кустарнике. Овраги имели столько промоин и ущелий, что прятаться было очень легко. Кружась почти на одном месте, Петька мог оставаться не обнаруженным и так преследовать Федьку, стараясь не упустить его из виду.

Иногда с вершины какого-нибудь холма Петька видел, как удалялась девочка то бегом, то шагом к селу Высоково. Очевидно, овраги вызывали в ней ужас, и она все время держалась открытых мест. Рассвирепевший Федька возобновил свое преследование, он уже опять нагонял девочку.

Петька мог бы остановить его громким окриком, но погоня подсказала игру, и он воображал себя теперь индейцем-следопытом. Он не показывался на глаза Федьке, а бежал за ним оврагами. Расстояние между Колодовым и девочкой пока было значительным. Она отдохнула, да и село уже было близко, и у девочки, наверное, появилась надежда избавиться от преследования. И тем не менее Федька неумолимо ее нагонял.

Петька уже готов был снова окликнуть Федьку, когда преследование неожиданно прекратилось. Из-за пригорка показалась фигура не то священника, не то дьякона, и девочка с плачем кинулась к нему. Человек в рясе был настолько внушителен и так выразительно погрозил кулаком, что Федька счел за луч-

шее поскорее убраться в овраг, и девочка под надежной защитой повернула обратно к городу, а Петька, не заботясь более о Федьке, стал собирать по оврагам ягоды.

Несколько дней потом Петька терпеливо поджидал девочку,— у него было к ней важное дело. Он хотел ей сказать, чтобы она никогда не убегала по открытому полю. «Тебе надо было спрятаться в овраге, и Федька в тысячу лет не нашел бы тебя! Моли бога, что Федька читает только Польша де Кока *, а в индейцах ничего не понимает! А ты, чай, все детские сказки читаешь! Читай настоящие книги — про зверобоев и следопытов, про индейцев, а сестренку с собой не таскай!» — вот что хотел сказать ей Петька.

Он обдумывал свое наставление и с каждым днем все удлинял его, но девочка на улице не появлялась. Она, наверное, навсегда разлюбила полевые цветы.

Думал Петька и о Федьке, думал в общем-то без злости. Радовался тому, что тот оказался таким дураком. «Сказал бы мальчишкам, иду домой,— сожалел Петька,— а вместо этого обошел бы ограду, вышел на Напольную улицу *, а оттуда оврагами в обход, наперерез девчонке,— и пропала бы она тогда».

О себе Петька думал с гордостью. Из книжек про рыцарей он знал, что женщин всегда надо защищать. Нападение же Федьки казалось ему таким подлым, что он жалел о своем бессилии, жалел, что не смог там же, в поле, отдубасить его.

Но больше всего Петька жалел, что девчонка не может быть «дамой его сердца». Она была высокая, очень худая, с длинной тонкой шеей, большими карими глазами и темно-русыми подстриженными волосами. Петьке красивой она не казалась.

Особенно не нравился ему смуглый цвет лица и короткие волосы. По понятиям Петьки, «дама сердца» должна быть непременно беленькая, непременно с золотистыми длинными волосами и с голубыми глазами. Петька однажды уже видел такую девушку и очень горевал тогда, что нельзя вырасти за один день.

В конце лета в городе появились цыгане. Свои конусообразные шатры они поставили в поле за вдовьим домом. Шумные, разряженные в цветные тряпки, цыгане целыми днями бродили по городу: мужчины в поисках работы, женщины с гаданием. Приходили и во вдовий дом, где суеверные девицы, замирая от страха и любопытства, слушали зловещие предсказания цыганок о порче, измене и о том, как отвести их, и отдавали за эти непонятные и жуткие советы последние великим трудом добытые пяточки и гривенники.

Однажды толпа городских мальчишек человек в тридцать направилась к табору цыган посмотреть, как те живут. Петька тоже пошел со всеми. Но в шатрах оказалась одна детвора, а с ней девочка лет тринадцати.

Как только ватага ребят приблизилась к шатрам, четыре огромных пса с воем бросились им навстречу. Они рычали, хрипели от злости, скалили зубы, но палками и камнями мальчишки их прогнали и уже хотели было подойти поближе, когда вдруг из крайнего шатра выбежала эта девчонка с ружьем в руках. Ребята остановились, а она, всерьез нацелившись, кричала, чтобы не подходили. Она была худенькая, растрепанная, и оттого производила впечатление еще большей беззащитности, но испуганной не казалась. Наоборот, она ловко прицеливалась, науськивала собак и фантастически ругалась.

Мальчишки, после первых мгновений испуга быстро справившиеся с собой, громко хохотали, ругали девчонку скверными словами, а она с ружьем в руках бесновалась в проходе шатра. Петька наблюдал за всем этим и удивлялся. Девчонка казалась ему необычной, он видел такую в первый раз. Тоненькая, с разметавшимися черными волосами, одетая в яркое красное платье с чужого плеча, цыганочка на фоне островерхих шатров казалась сказочно смелым существом.

Даже теперь, когда мальчишки осмелели, они ни на шаг не смогли продвинуться вперед. Так и ушли.

Девочка победила.

Петька шел домой и думал о ней. Уже подходя к вдовьему дому, он встретил цыган, возвращавших-

ся из города. Некоторые женщины несли на руках грудных детей, один мужчина тащил два старых самовара, другой несколько медных кастрюль. Все цыгане были черны и грязны. Петька представил себе цыганский табор в дождь и слякоть, когда и дети и взрослые дрожат от холода, а может быть, и плачут от голода.

Петька мечтал стать великим охотником, как Кожаный Чулок*. Жизнь зверобоя и рыбака была ему понятна, но он знал, что цыгане охотой не занимаются, а только переезжают в своих кибитках с места на место. И это было непонятно: «Чем они живут, почему кочуют, отчего не хотят работать как все? Но зато они смелы, веселы и дружны...»

Недели две еще бродили цыгане по городу, а потом исчезли так же неожиданно, как и появились. И никто не мог сказать, откуда они пришли и куда ушли.

Но часто-часто вспоминал потом Петька цыган, а особенно девочку с ружьем, смело защищающую своих маленьких сородичей. «Уж такая-то,— думал он,— наверняка не испугалась бы Федьки Колодова!»

ГЛАВА XXVII

*После победы дворника Степана
над знаменитым бегуном
Петька решает пуще прежнего,
закалять свою волю*

Иногда Петька ходил к ипподрому* смотреть сквозь щели в заборе на состязания. Но особенно привлекал его фейерверк, которым обычно заканчивались бега. Однако попасть на него мальчишке было очень трудно: зажигали ракеты лишь с наступлением темноты, когда во вдовьем доме уже кончалась поверка, после которой ворота запирали и никого со двора уже не выпускали.

Но Петька нашел выход. Используя водосточную трубу, которая примыкала к ограде, он научился перелезать через высокую каменную стену. Забираться обратно было труднее. Сначала Петька карабкался по стене, хватаясь за крестовидные отверстия в огра-

де, потом, держась за жестяной козырек стены, подтягивался на руках и садился на конек. Дальше все было проще. О своем открытии Петька никому не рассказывал и пользовался им только в темноте.

На этот раз Петька, захватив краюху черного хлеба, с пяти часов отправился на бега. Они обещали быть интересными. Приехал знаменитый скороход Хамидуллин, и по всему городу были расклеены афиши с вызовом всем желающим состязаться с ним в выносливости и скорости бега. Дистанция была назначена в пятнадцать верст, а время для ее покрытия — час. Желающих состязаться набралось двенадцать человек — привлекал приз в двадцать пять рублей, назначенный самим Хамидуллиным тому, кто его победит.

Для обитателей вдовьего дома посмотреть на это состязание было особенно интересно: в нем участвовал один из его дворников, Степан, — сухощавый мужчина, среднего роста, с широкими плечами и грудью. Синяя косоворотка его была расстегнута, а закатанные почти до колен полосатые серые брюки обнажали некрасивые волосатые ноги. Обут был Степан в сильно потрепанные башмаки, подвязанные, ко всеобщему смеху, желтыми шелковыми лентами, пожертвованными тут же одной из вдов.

Хамидуллин, высокий и красиво сложенный, был затянут в плотно облегающий черный костюм. На ногах какие-то особенные туфли с мягкими резиновыми подошвами. Мальчишки толковали, что такие туфли чуть ли не сами несут бегуна. Остальные же участники состязания были в обычных штанах и рубашках, некоторые даже босиком.

На первых порах бегуны растянулись на полверсты. Впереди был сторож из церкви Трех Святителей, плотный мужик средних лет. Хамидуллин оказался в середине, а дворник Степан плелся в самом хвосте.

Скоро Хамидуллин начал заметно отставать и очутился чуть ли не перед носом Степана. Тот теперь бежал быстрее Хамидуллина, и мальчишки из вдовьего дома с восторгом ожидали момента, когда Степан перегонит знаменитого скорохода.

Расстояние между ними действительно сократилось до предела. Хамидуллин оглянулся и посторожился даже, пропуская Степана вперед.

Петька с другими мальчишками, прильнувшими к щелям забора, начали было кричать «ура». Но Степан, видимо, уже настолько ослабел, что, приблизившись к бегуну вплотную, никак не мог его обогнать. Хамидуллин бежал ровно, не увеличивая скорости. В его адрес и в адрес Степана сыпались шутки, замечания.

А на трибунах с интересом следили за церковным сторожем, которого яростно преследовали остальные, и он, не желая уступать первенства, поддавал как только мог. Когда он пробежал мимо забора, то было слышно его тяжелое дыхание и видно, как с побагровевшего лица струился пот. Зато на другом конце ипподрома публика неистово приветствовала его.

Мало-помалу соперники церковного сторожа сходили с круга, некоторые падали прямо на бегу. К концу шестой версты сторож остался один, где-то далеко позади него, почти за версту, трусили Хамидуллин и Степан. В том, что победителем будет церковный сторож, мало кто сомневался. Но с половины седьмой версты расстояние между ним и Хамидуллиным начало неумолимо сокращаться. Не ускоряя и не замедляя бега, ровно, как машина, бежал Хамидуллин. Петьке начало казаться, что длинные ноги бегуна выкованы из железа и что резиновые подошвы действительно сами отталкивают их от земли.

Публика наконец увидела и оценила железную выдержку Хамидуллина. Понял это и церковный сторож. Тщетно старался он наподдать, силы его слабели, и он бежал все тише и тише. Публика замерла. Затаив дыхание, все напряженно следили за Хамидуллиным.

Началась восьмая верста.

Хамидуллин по-прежнему был спокоен, бежал все так же легко и красиво. На церковного сторожа он не обращал внимания, только косился временами на перевязанные желтыми лентами башмаки все еще преследующего его Степана.

А тот и не думал отставать. Бежал точно привязанный, на том же расстоянии. Его кажущаяся слабость все более и более напоминала тонкий расчет. Мальчишки из вдовьего дома радовались: «Дядя Степа не сдастся!» Самым странным было то, что расстояние между бегунами все время оставалось неизменным, будто вымеренным кем-то.

Зато церковный сторож все больше терял выигранное расстояние, но сойти с беговой дорожки все еще не хотел. Он даже пытался наддать, но расстояние неуклонно сокращалось. На одиннадцатом круге он упал как подкошенный на землю. Его тотчас подхватили на руки, унесли. Как потом рассказывали, у сторожа хлынула горлом кровь, и его увезли в больницу.

Увлеченные азартом борьбы, все скоро забыли о церковном стороже и, не отрываясь, следили за Степаном и Хамидуллиным. Расстояние между ними оставалось все еще прежним. Так продолжалось до конца четырнадцатой версты. Уже начало казаться, что бегуны заранее сговорились, что Степан подкуплен, что дело кончится безусловной победой Хамидуллина, когда вдруг Степан прыгнул. Да, именно прыгнул. Он только что был позади и вдруг очутился впереди шагов на десять. Хамидуллин ринулся было за ним, несколько минут расстояние оставалось неизменным, но затем снова перешел на прежнюю скорость. Разрыв быстро увеличивался. Было страшно за Степана. Он бежал теперь в полную силу, и издали казалось, что Хамидуллин плетется за ним шагом.

Вот Степан обежал уже полкруга и приближается к Петьке. Худощавое лицо бледно, как обычно, на нем не заметно даже капелек пота. Только раздуваются тонкие ноздри и горят глаза. Да мелькают и мелькают башмаки с желтыми лентами.

Мальчишки, а за ними и взрослые грянули «ура!». Но Степан уже пробежал мимо. Он делал последнюю четверть круга. Трибуны неистовствовали. Степан выиграл состязание.

Добежав до конца, он сейчас же, почти не отдыхая, начал ходить по рядам публики с шапкой в руках.

— Русачок милый! Не подвел! Жертвую трешницу! — кричал подвыпивший 'купец и лез к Степану целоваться.

Степан брезгливо вытер щеку рукавом, направился по рядам дальше.

— Жертвую тебе, жеребцу, рупы! — съязвил полицейский пристав.

— Дарю, милейший, гривенник! — промямлил тщедушный чиновник...

Через некоторое время сияющий Степан вышел с ипподрома, сопровождаемый толпой. В руках у него была шапка, полная серебра и медяков. Ему выдали и приз — двадцать пять рублей. Да столько же накидала ему в шапку публика. На эти деньги Степан купил потом корову, которую все в шутку прозвали Ипподромом.

Петька долго размышлял позже над тем, почему дворник Степан победил опытного бегуна, и пришел к выводу: «У Хамидуллина были железные ноги, а у Степана — железная воля!» С этих пор Петька стал пуще прежнего закалять свою волю.

ГЛАВА XXVIII,

*из которой узнаем о первой любви Петьки
и его первом жестоком разочаровании*

В. фэврале неожиданно наступила оттепель, и Петька вместе с другими мальчишками целый день провозился в снегу. Сначала катали большие комья снега для снежных баб, потом прыгали с высокой башенки ограды в глубокие сугробы снега, увязая в нем по пояс.

Вошедший в азарт Петька предложил ребятам нырять в снег головой вниз, как в воду. Однако никто на это не решился из опасения сломать себе шею. Это лишь подзадорило Петьку, и, напрягая до предела свою волю, он бросился с башенки вниз головой. Несмотря на то что снег казался достаточно рыхлым, удар был очень изрядным.

После трех таких прыжков, сделанных уже без особого желания, а скорее из чувства сопротивления, Петька нырять перестал. За ворот ему набился снег, он быстро таял, стекал по груди и спине холодными быстрыми струйками, а ноги уже давно были мокрыми. Раздевшись и вытряхнув из-под рубахи снег, Петька еще повозился немного на улице, а когда совсем уж замерз, пошел домой.

К вечеру Петька почувствовал себя очень плохо: было очень больно глотать, ломило все тело, страшно знобило. Всю ночь пролежал он в жару, а на другой день утром Анна Кирилловна повела его к доктору на второй этаж. Врач посмотрел Петьку и велел оставить его во вдовьей больнице.

Мальчишку поместили в просторной палате в два окна. Лежал он совсем один, никого к нему не допускали, кроме сиделки, которая приносила и пищу. Боль в горле усиливалась, так что Петька совсем перестал есть. Да и пить ему было трудно. Пропал голос, и Петька мог только чуть слышно шептать. Дышать становилось все тяжелее и тяжелее. Так что Петька понял вдруг, что, наверное, именно так умирают. Однако страшно ему от этого не стало. Удивительное равнодушие было в нем ко всему. Не было даже желания видеть мать и близких.

По несколько раз в день заходила сиделка в белом халате, смазывала ему в горле чем-то жгучим, заставляла вдыхать пары скипидара.

Так продолжалось изо дня в день, и понемногу Петька стал поправляться. Зато росли теперь с каждым днем тоска и скука от безделья и одиночества. Болезнь отступала очень медленно, но все-таки отступала. Появился аппетит, и Анна Кирилловна прислала Петьке жидкую рисовую кашу на молоке. Петька ел ее с наслаждением, и силы заметно прибывали. Он уже мог немножко сидеть на кровати и смотреть в окно на кажущиеся бесконечными пустынные поля, отчего ощущение одиночества еще больше усиливалось. Приходила иногда фельдшерница; осмотрев горло, уходила тотчас. Петька опять оставался на долгий скучный день один.

Как-то солнечным днем в палату неожиданно впрорхнула девочка в коротеньком платьице. Петька раньше не видел ее во вдовьем доме, и она показалась ему прекраснее всех девочек на свете. У нее были толстые белокурые косы с золотистым оттенком и очень милое лицо, хотя черты его и нельзя было назвать правильными: носик слегка вздернут, на нем и на атласных щечках заметны маленькие оспинки, но рот — словно сочная, спелая вишенка, серые глаза с крапинками такие приветливые, а голосок такой нежный, — вся она была удивительной. Самое же главное, она пришла вместе с солнышком, такая неожиданная, первая после тяжелой болезни. Петька был очарован.

А девочка защебетала:

— Вам скучно одному? Вы любите читать?.. Я буду приносить вам книги... Мама запретила мне к вам ходить. Но вы не бойтесь! Я все-таки буду приходить. Я учусь в гимназии и беру из библиотеки много книг. Вы любите с картинками?

Смущенный Петька стоял около койки и не знал, что говорить. Он только чувствовал необычную радость, доходившую чуть не до восторга, и боялся, что девочка вот-вот уйдет и никогда больше не вернется. Впервые ему стало стыдно за свой внешний вид: вылинявшие залатанные штаны и рубаха, на ногах — неуклюжие валенки. А тут еще длинные тонкие руки висят как плети, и Петька не знает, куда их деть. И таким жалким, некрасивым показался он себе, что боялся даже пошевелиться.

Зато девочка была красива, изящна, грациозна.

— Вы лежали! Пожалуйста, ложитесь опять! Вы, наверное, устали? Вам вредно стоять! Я вам мешаю? Если вы не ляжете, я сейчас же уйду!..

Хотя голос девочки звучит нерешительно, Петька беспрекословно подчиняется ей и ложится на койку. От впечатлений и от слабости у него кружится голова. Девочка присела было на койку, но в этот момент вошла ее мать, фельдшерица.

— Зоя! Ах, боже мой, ты здесь! Ведь это же безумие! Пойди сейчас же переодень платье и вымой сулемой руки! Ведь я же тебе объяснила! Иди же ради бога, иди...

Девочка вскочила, звонко рассмеялась, вихрем вылетела из палаты.

А фельдшерица, смазав Петьке горло, еще долго ворчала на сиделку.

— Ты совсем, совсем не смотришь за ребенком! Ведь я же тебя просила! Объясняла — это опасно, смертельно опасно!

Слов сиделки, что-то пробурчавшей в ответ, Петька уже не слышал. Он понял одно: больше девочка никогда не придет к нему. И все-таки ждать ее он не переставал.

На другой день Петька ждал ее с самого утра, но она все не приходила. Вместо нее пришла фельдшерица, и Петька, напряженно всматриваясь в ее лицо, тщетно искал желанного сходства. Он все смотрел и никак не хотел верить, что прелестная девочка — дочь этой в общем-то доброй, но некрасивой женщины.

Петька всячески убеждал себя, что девочка теперь не может прийти, что ее не пустят, да она и сама побойтся заразиться. Но, несмотря ни на что, он упорно ждал Зочку. Его уже не интересовали поле, книги про индейцев и дальние страны, он хотел видеть Зочку. Нежность к ней затмевала все другие чувства. И как же Петька радовался, думая о ней, думая о том, что она есть на свете. Но сможет ли он ей понравиться?

И, закрывая глаза, Петька ясно видел, что будет впереди. Зочка вырастет, кончит гимназию, станет самой очаровательной девушкой и выйдет замуж за какого-нибудь красивого доктора или инженера, а может, и сама станет доктором. А у него, у Петьки, одна дорога — в рабочие. Может, он будет сильным, и тогда из него выйдет хороший слесарь. Он будет черным и грязным, как все мастеровые, и если когда-нибудь Зочка встретится с ним, то, конечно же, не узнает. Так в мечтах о девочке Петька и заснул.

Проснулся он от чувства сильного голода и потому решил, что наступило время обеда.

Вошла в палату сиделка, положила на стол книгу и сказала:

— Барышня тебе прислала. Она хотела сама принести, да Надежда Львовна ее не пустила. Очень уж заразная у тебя болезнь! Теперь ничего, поправишься, а раньше мы думали, что умрешь...

Сиделка привычно смазала Петьке горло и ушла, а он нетерпеливо раскрыл книгу и прочел название: «Маленькие женщины»*. Петька сразу же принялся за чтение, так что забыл и об обеде. Читал он долго. Даже когда в палате послышался звук приближающихся шагов, он не смог оторвать глаз от книги.

— Вы спите? Нет, не спите, читаете? Здравствуйте! Как вы себя чувствуете?— девочка подошла совсем близко.

Петька растерялся даже, почему-то зашептал:

— Благодарю вас, мне сейчас хорошо. А вы не забыли! Прислали книгу. За это большое спасибо!

— Вы не должны вставать, когда я вхожу. Сейчас же ложитесь! Слышите? А то я уйду.

Девочка приказывала строгим тоном, но как только Петька послушно лег в кровать, голосок ее вновь стал мягким и приветливым:

— Вам теперь уже не так скучно? Нравится книга? Мне она очень понравилась! Ваша мама говорила, что вы во втором классе уездного и очень любите читать. Значит, вы умный. Я тоже очень умная и много читаю. Я бы сейчас посмотрела ваш пульс и ваше горло, да мама не позволяет. Но мне надо же привыкать. Ведь я тоже буду доктором. Мама пугает меня микробами, но я не верю. Ведь она же не заражается! А если на табурете осталось немножко микробов, то я их сейчас сдую на пол. Вот теперь между нами расстояние как раз в шесть вершков. Правда?

Зюечка сияющими глазами смотрела на Петьку.

— А как вы думаете, может маленький микроб, которого даже глазами не видно, перепрыгнуть с вашей постели ко мне на коленки? Ну конечно, не может! Ведь он же не лягушка! Ах, как это смешно!..— девочка звонко рассмеялась. Она говорила так быстро, что Петька не успевал слова вставить и только кивал головой и улыбался.

— А вы не боятесь, что ваша мама будет недовольна?— все-таки задал он вопрос.

— Но мне же скучно одной! А потом я заперла дверь коридора, если кто и придет, то стучать будет. Меня оставляют одну и не позволяют уходить. А вы разве не хотите, чтобы я к вам приходила?

— Да вы же видите, как я рад!— у Петьки даже дух захватило.— Я только боялся, что вас могут наказать.

— Наказать меня?— девочка опять рассмеялась.— Разве меня можно наказывать? Скажите, стали бы вы меня наказывать, если бы были моим папой?

— Никогда!— уверенно ответил Петька.

— Ну вот видите! Меня все любят— и дома, и в гимназии. Сиделка— это моя няня. Меня никогда не наказывали и никогда не будут наказывать. Когда мама начинает ворчать, я ее целую, обнимаю за шею, и она уже смеется. А как, по-вашему, могу я заразиться или нет?

— Я думаю, что нет. Вы же живете в больнице и так, наверное, привыкли ко всем микробам, что они уже вам теперь не страшны.

— Вот и я так думаю...

В коридоре раздался стук. Девочка вскочила, зашептала торопливо:

— Слышите? Стучат... Мне надо уходить. Но вы не бойтесь! Я буду приходить к вам каждый день, буду приносить вам новые книги.

Петька был счастлив и несказанно радовался своей болезни. Боялся только, что слишком скоро может выздороветь. Петьке казалось теперь, что он никогда еще так не радовался жизни. И тогда, когда ел на заводе сладкий суп, оставленный ему отцом, и тогда, когда грыз в зарослях крапивы колбасу с чесноком. И даже тогда, когда любовался на плоту купающейся девушкой. Петька весь был переполнен нежностью к девочке, что бы он ни делал, он делал сейчас с мыслью о ней, даже в книге, которую читал, Зочка была героиней.

Она и в самом деле была похожа на книжных героинь,— умная, красивая. И говорила она совсем не тем языком, который Петька привык слышать. Он да-

же решил изгнать и из своей речи все те слова, которые никогда не произносят хорошо воспитанные девочки. Вообще о таких девочках он думал теперь с большой симпатией. Ему казалось, что они живут более значительной и интересной жизнью, чем он сам, Петька, его семья и товарищи.

Для мальчишки наступили счастливые, безмятежные времена. Каждый день он пил чай с молоком, ел рисовую кашу, а после обеда к нему приходила чудесная девочка, приносила новую книгу и щебетала, а он, Петька, любовался ею и радовался. Теперь он уже не волновался, не тревожился. Было ясно, что болезнь затяжная, что дело скоро до выздоровления не дойдет.

— Вы все читаете? Целый день читаете?—с этими словами девочка распахивает дверь.

— Целый день. Мне ведь больше нечего делать, а потом я люблю читать.

— А учиться в училище вам нравится?

— Ну конечно, нравится! Я ведь поступил в уездное училище по желанию.

— А какой предмет вам больше нравится? Мне история. А вам?

— Я арифметику люблю, а еще больше геометрию.

— У нас геометрия с пятого, и я ее пока не знаю, но арифметика — самый противный предмет!

— Я тоже люблю историю, но ее надо только учить хорошенько и запоминать, а это скучно. Вот задачи решать, в особенности трудные,—это да!

— Ненавижу их!— помрачнела Зочка.

— Вы ненавидите задачи? Но ведь это же самое интересное! Сколько приходится голову ломать, когда попадается трудная задача! А какое наслаждение, когда ее одолеешь!— горячо заговорил Петька.

Но Зочка все так же невесело объяснила:

— Задачи у меня не выходят. Вы подумаете, что я глупая? Все говорят, что я очень умная! Но я теряю терпение, когда они у меня не получаются. А у вас задачки всегда выходят?

— Бывает, что не сразу выходит, но я не отступаю. Чем труднее задача, тем она мне интереснее.

— По-моему, все задачи трудные. Я решаю их вместе с Ивановой, но иногда и у нее не выходит. Вы нам поможете, когда мы не сможем решить?

— Конечно!— обрадовался Петька.

— Хотите, я завтра приведу ее, и мы будем играть в пятнашки. Вам это не помешает?

— Нисколько. Буду рад!

— Ну и хорошо. А теперь пойду учить уроки, а то мама будет сердиться. Завтра принесу вам книгу «Всадник без головы». Не читали?

— Нет.

Девочка вновь оживилась.

— Страшно интересно! И это все правда! Вы, может быть, думаете, что сказка?

— Всадников без головы не бывает,— резонно ответил Петька.

— Вот-вот!—закричала девочка и захлопала в ладоши.— Я заранее знала, что вы не поверите. Я бы вам объяснила, в чем тут дело, но тогда вам будет неинтересно. Теперь я убегаю. Завтра непременно меня ждите. Я приду с подругой...

Петька остался один и стал думать о том, как трудно ему будет скрывать свою любовь, когда все кончится, а кончится обязательно. Ах, как хочется поговорить с кем-нибудь о Зюечке. Но ни одна живая душа не должна знать об этом.

Теперь Петька не стал ждать девочку с утра. Он знал, что она приходит только после гимназии, после обеда. Родственников к Петьке по-прежнему не допускали, но он нисколько не страдал от этого.

Пробовал Петька учить уроки, но это оказалось гораздо труднее, чем читать интересные книги, и он как-то незаметно для себя совсем забросил занятия.

С утра Петька успел и пообедать, и почитать, и поспать, а подружки все не приходили. Он решил уже, что они не придут вовсе, когда дверь вдруг открылась и обе девочки впорхнули в палату.

— Вы сегодня уже не лежите? Значит, вам лучше? Здравствуй! Вы сегодня должны решить задачу, которая у нас не вышла,— как всегда, затараторила прямо с порога Зюечка. Она подала Петьке ли-

сточек бумаги, на котором был написан арифметический пример. От волнения мальчишка ничего не мог в нем разобрать, так что даже сконфузился.

— Я решу его, только уйдите ненадолго.

Девочки фыркнули, с готовностью убежали. Петька приготовился решать труднейшую задачу, а посмотрел на листочек и увидел, что здесь нужны простейшие арифметические действия. Он думал даже, что подружки над ним подтрунивают. Сделав все что надо, Петька принялся за книгу и отложил ее лишь тогда, когда вернулись девочки.

Теперь Петька внимательно рассмотрел Нину Иванову и нашел, что она гораздо красивее Зочки. Она была тоньше и выше подруги, так что Петька почувствовал к ней несомненную симпатию, но ясно понял тогда же, что ему гораздо приятнее, когда Зочка приходит одна.

Девочки очень удивились, узнав, что пример уже решен, и, не взглянув на него, подняли шумную возню. Они гонялись друг за другом, визжали и смеялись так, что Петька совершенно перестал жалеть о приходе Ивановой и с восхищением любовался своим белокурым божком.

У Ивановой были темно-русые волосы, немного строгое лицо, и рядом с ней Зочка казалась еще милее и живее.

Просторы палаты ей были явно тесны. Она открыла дверь в коридор и соседнюю комнату. Убегая от подруги, Зочка так громко смеялась, так взвизгивала, что сиделка услышала ее из самой крайней, угловой комнаты, позакрывала все двери и прогнала подруг из палаты. Но через минуту девочки опять уже были здесь. Нянька выгнала их снова, и Петька слышал, как из коридора доносился нежный, умоляющий голосок Зочки.

— Ну нянечка! Ну милая! Позволь нам побегать в палате! Мы запрем коридор, и мама не узнает.

Нянька не устояла, сдалась, и девочки вновь принялись бегать по палате, к большому удовольствию Петьки. Теперь он готов был благодарить няньку за ее ворчание, так как Зочка уже не убегала в коридор и в комнату и все время была у него на глазах.

«Я посмотрю на нее на всю жизнь, а потом навсегда уйду на завод,— думал с тоской Петька.— А она считает, наверное, меня просто застенчивым дикарем. Должно быть, она сразу разгадала мои мысли».

С этого дня Зочка нередко приходила к Петьке со своей подругой, а чаще прибегала одна. Петька прочитал и «Всадника без головы», и «Приключения капитана Гаттераса»*, и другие не менее интересные, но совершенно не доступные ему раньше книги. Уже за одно это Петька был невыразимо благодарен девочке.

Проболел Петька больше двух месяцев. Но и это счастливое время прошло. Выйдя из больницы, Петька усиленно принялся за занятия, но дело подвигалось туго. После болезни стало труднее учиться, он быстро уставал, а главное, он страшно тосковал о Зочке*.

Когда он встречал ее теперь где-нибудь на улице, она почему-то делала вид, что совершенно с ним не знакома. Петька терзался, его разбирало отчаяние, но на Зочку он не обижался. Петька понимал, что изящной девочке стыдно дружить с мальчиком из подвала вдовьего дома.

ГЛАВА XXIX

*Петька покидает стены вдовьего дома
и узнает о многотрудной жизни
и трагической судьбе белошвейки Груни*

Петьке исполнилось четырнадцать лет, и по порядку, установленному во вдовьем доме, ему теперь нельзя было ночевать здесь. Администрация считала безнравственным пребывание юношей в доме, где живут вдовы и девицы. Анна Кирилловна приискала Петьке ночлег неподалеку, у старушки вдовы, торгующей старыми вещами. У хозяйки была двадцатилетняя дочь Груня — белошвейка, бравшая заказы на дом.

Постель для Петьки сделали на примостке, в темном коридорчике, соединяющем переднюю с кухней.

Приходя вечером на ночлег, Петька всегда застаивал Груню за работой, а когда утром он уходил, девушка уже опять сидела за шитьем. Петька заметил

с некоторых пор, что Груня стала очень скучной, глаза у нее нередко были красными, а по вечерам она совсем не выходила из дому.

Засыпал Петька не сразу и мог сколько угодно наблюдать за Груней и ее матерью: в дощатой перегородке как раз перед его глазами была порядочная дыра от выпавшего сучка. Хозяйка частенько не ночевала дома, и в такие вечера Груня подолгу плакала. Не оставляя работы, только голову наклонив ниже обычного, она тихонько всхлипывала и часто-часто утирала слезы. Петька засыпал и, когда, случилось, просыпался ночью, все также видел Груню, тусклый свет и бесконечное шитье.

Порой девушка напевала какую-то грустную песенку, иногда сильно кашляла, прижимая к губам платок, и Петька видел потом на нем зловещие красные пятна.

Сколько ни жил Петька в этом доме, ему ни разу еще не случалось дожидаться, когда Груня отправлялась спать. Напротив перегородки висели часы. Просыпаясь, Петька видел — стрелки показывали и двенадцать, и час ночи, а Груня все шила и шила, так что ему стало даже казаться, что девушка вовсе не спит.

Петька много думал, отчего плачет Груня, и решил, что это из-за высокого чернобрового солдата, который перестал к ним ходить.

В один из вечеров Петька застал в квартире шумную компанию: справляли именины не то Груни, не то ее матери — чьи, невозможно было разобрать, потому что поздравления уже кончились. Зайдя в свой темный уголок, Петька разделся, лег в постель. Но заснуть не смог.

Озорно играла гармонь, и девушки с парнями то танцевали, то пели. Часто слышались слова «пани» и «пан», из чего Петька заключил, что гости местные поляки. Да и танцевали они как-то особенно: с быстрыми жестами, с возгласами.

Петька наблюдал и слушал гостей с восхищением, так что ему самому захотелось танцевать. Внимание его привлекла одна девушка, молоденькая и темново-

лосая. Мужчины во время игр, Петька заметил, особенно охотно целовали ее руку, а то и кокетливо подставленные губы. Вся фигурка девушки была кругленькая, упругая. Черные глаза блестели, а волосы чуть растрепались, придавая ей еще большую прелесть.

Рядом с этой юной полячкой Груня, конечно, проигрывала. Она была непомерно высока и худа, с угловато торчащими плечами, с плоской грудью. Хороши были только тяжелые медно-красноватые косы и большие серые глаза. Лицо же было слишком длинно и болезненно бледно, а губы почти белые, с синеватым оттенком.

Груня после именин почти перестала плакать. Иногда Петька слышал ее смех. Бывало, что она вступала с ним в беседу, но настоящего разговора не получалось. Петька не знал, о чем с ней говорить. Однако всякий раз, когда он приходил или уходил, Груня окликала его, и Петька останавливался, вежливо отвечал на вопросы.

Так продолжалось несколько недель. Однажды вечером, когда мать Груни ушла куда-то из дому, девушка пришла к Петьке в одной рубашке, под села к нему на постель.

Через открытую дверь на Груню падал свет, рубашка с большим вырезом спустилась с плеча и обнажила грудь. Но это были не те упругие полушария, которые Петька видел у купающейся в Оке девушки. У Груни они были маленькие, обвислые. Петька видел когда-то такие груди у старухи нищенки, которая искала в своей рубахе вшей. Разница была лишь в том, что Грунины груди были белы, чисты и не морщинисты. Но у Петьки все равно не было желания смотреть на них.

— Вы еще не спите? — ласково спросила Груня.

— Нет, не сплю.

— Я вам не помешаю?

— Нет! Я рад! — солгал Петька, отодвигаясь.

Груня привалилась спиной к животу Петьки, притиснула его к стене. Рубашка ее вздернулась, обнажила ноги выше колен. Петька скользнул по ним взглядом. Колени были костистые, угловатые.

— Вы любите смешные анекдоты? — Груня держалась непринужденно, будто не замечая своей наготы.

— Люблю! — отвечал Петька без особого интереса.

— Тогда я расскажу вам. Я знаю очень интересные...

Анекдот был действительно смешной. И Петька хохотал до слез. Смеялась и Груня, но вдруг сильно раскашлялась, судорожно прижала платок к губам.

Смех Петьки разом оборвался, ему вдруг даже холодно стало.

— Уходите скорее! Вы простудитесь! — заторопил он девушку.

Не говоря ни слова, Груня встала, медленно вошла в комнату, взяла в руки лампу, постояла так немного и ушла в свою спальню.

Полоса света, пробивающаяся через щели дощатой перегородки, вскоре исчезла, но долго еще были слышны приглушенные всхлипывания.

Было мучительно жалко девушку, но думалось о ней с непонятной для Петьки какой-то брезгливостью.

На святках к хозяйке пришли ряженые, много танцевали, пили вино, пели песни. Петька сразу узнал красивую полячку, хотя она и была в маске. А потом, когда маски были сняты, Петька опять с наслаждением любовался ее свежим красивым личиком. Груня тоже принарядилась, подвила волосы, но Петьке показалось, что в своем обычном наряде она гораздо приятнее.

Случайно он услышал слова «жених» и «смотрины» и понял, что кто-то пришел смотреть Груню как невесту. Всех больше обращал на нее внимание маленький невзрачный человек с плешивой, будто объеденной молью головой. По просьбе гостей он запел оглушительным голосом «Как на реченьке Дунае перевоз Дуня держала». Вместо Дуни певец вставил, ко всеобщему удовольствию, имя Груни, и Петька догадался, что это, наверное, и есть жених. Певец орал пьяным голосом, но почему-то все ему шумно аплодировали.

Разошлись гости только в три часа ночи. Уходя утром к матери во вдовый дом, Петька встретился в коридорчике с Груней, и она показалась ему красивее, чем обычно. Девушка словно бы расцвела, даже лицо ее порозовело.

По вечерам Груня опять сидела за шитьем, а мать ее деловито рассуждала о приданом, и Петька радовался, что наконец-то девушка выйдет замуж.

Прошли святки, Груня все шила приданое, а жених между тем не появлялся.

Как-то вечером, еще подходя к домику, Петька услышал страшный шум, а когда вошел, первым делом увидел Груню, бьющуюся в истерике на полу. Мать же ее кричала на какую-то толстую бабу, требуя обратно пять рублей, та в ответ скверно ругалась, обвиняя и Грунину мать и саму Груню в обмане.

Кричали все, и Петьке было трудно разобраться, что же произошло. Только по выкрикам толстухи: «гуляющая девка», «воспитательный дом», «ребенок» — Петька понял наконец, что свадьба расстроилась.

С этого дня мать и дочь, обычно дружные, начали ссориться. Груня упрекала мать в жадности, в том, что она слишком мало заплатила свахе, потому-то она и выболтала все. Родители соперницы не пожалели двадцати пяти рублей, и дело сделалось, хотя невеста — бывшая канавинская проститутка. Мать же кричала, что Груня сама виновата во всем, что она потаскуха и вешается всем на шею.

Целую неделю продолжались эти яростные споры. Груня извелась вконец, под глазами у нее появились синяки. Дело кончилось тем, что мать с дочерью помирились и отводили душу, ругая общих врагов — сваху, подлых родителей соперницы, которые «перебили» жениха. Мать тогда плакала, обнимала и целовала дочь, причитая, какие они несчастные, как жестока к ним судьба.

Понемногу в домике воцарились прежнее спокойствие и скука. Как-то, когда старухи не было дома, Груня опять пришла к Петьке в одной рубашке, под села к нему на постель.

Выглядела Груня грустной и усталой, попыталась она рассказать несколько анекдотов, но сделала это так скучно, что веселья не получилось. Посидев еще немного молча, она нехотя встала, ушла к себе.

Почему-то теперь Петьке совсем не было ее жалко, он думал о ней с раздражением, даже зло: «Вот стерва! То рада была хоть за облезлую крысу выско- чить, то ко мне лезет!»

На другой день Петька рассказал все матери о Груне. И Анна Кирилловна пришла в ужас.

Вечером того же дня Петька отправился на ночевку к старшей сестре Лизе, которая вышла замуж за столяра *. Правда, сестра жила далеко от вдовьего дома, но Анна Кирилловна была готова на все, лишь бы избавить сына от опасного соседства. Лиза пере- говорила с мужем, и Петька стал спать в прихожей на высоком столярном верстаке. О несчастной Груне он быстро забыл.

Только ранней весной Петька случайно узнал, что Груня умерла от чахотки. И тогда все разом вспом- нилось: и то, как была одинока и несчастна девушка, и то, как много она работала, и то, как искала чьего-нибудь сочувствия и ласки, да так и не дожда- лась.

ГЛАВА XXX,

*объясняющая настроение Петьки,
оказавшегося на распутье*

Последний год в уездное училище Петька ходил вместе с Федькой Колодовым, который оставался в третьем классе, как и во всех предыдущих, на второй год. Таким образом, Федька начал свой шестой год занятий в училище. Познакомился Петька и со многи- ми новыми учениками. Некоторым из них было уже по восемнадцать, а то и по двадцать лет. Так эти превос- ходили ростом многих учителей.

Самым высоким был юноша по кличке Персид- ский Слон. Столь необычное прозвище он получил за то, что однажды предложил нескольким ученикам изобразить индийского слона. Ребята встали друг

другу на плечи и спины, так что фигура слона выросла до потолка. Все это сопровождалось невообразимым шумом, на который прибежал учитель истории Николай Петрович. Он-то и назвал организатора за теи Персидским Слоном.

Прозвище прочно приклеилось, тем более что ученик был тяжел и массивен. Поднимаясь из-за тесной парты, он долго раскачивался и постепенно распрямлялся, что всегда было очень смешно. Кажется, что уж вроде бы совсем встал, но, помедлив немного, парень поднимался еще выше, так что вырастал еще на добрых четыре вершка. Даже Николай Петрович обычно приходил от этого в веселое настроение и ставил ему, должно быть лишь за высокий рост, тройку.

По количеству учеников класс был тоже громадный: в нем соединили всех учеников из второго основного и второго параллельного классов, а кроме того, и всех оставленных на второй год. Третьегодники были редкостью: родители, потеряв терпение, предпочитали своих безнадежных шалопаев поскорее пристроить к делу. Ребята были разные. Были парни искушенные, уже немало вкусившие от жизни, знавшие толк в женщинах, пристрастившиеся к табаку, вину, по-мужски судившие о многом. Таких оказалось не более десяти, но именно они задавали тон, направляя мысли и чувства класса. Это они обычно приносили новые анекдоты про учителей, про попов, про разную всячину.

Было в классе и несколько блестящих учеников. Эти всегда все знали. Случайно или нет, но это были самые невзрачные, скромные и славные ребята,

Петька учился в общем-то хорошо, но с пятерками распостился навсегда. Он знал, что учиться дальше не придется, и занимался теперь не особенно усердно. Большую часть времени он уделял чтению книг, при этом читал с одинаковым увлечением все без разбора. Случайно попали ему в руки книги Чарльза Дарвина: сначала «Происхождение видов», потом «Происхождение человека». Прочитал их Петька с громадным интересом, и вера в бога, когда-то сильно пошатнувшаяся, как-то незаметно ушла совсем.

Тогда же Петька познакомился с двумя мальчиками из интеллигентных семей — Ивановым и Константиновым. Оба мальчика были очень воспитанны, разговаривали на правильном книжном языке и не употребляли уличных ругательств. Петька обменивался с ними книгами, а по дороге домой приятели вели длинные разговоры о прочитанном. Оба были способные, хотя и не совсем обычные мальчики. Иванов страдал недостатком речи и произносил свою фамилию «Ванёв», своеобразно искажая и все другие слова. Смуглым цветом лица, маленькими черными глазками и длинным носом он походил на восточного человека, но был удивительный добряк и весельчак.

Внешне Константинов был полной противоположностью Иванова. Его ярко-красным губам и необычайно нежному белому цвету кожи могли бы позавидовать многие барышни, но голубые глаза так сильно косили, что производили очень неприятное впечатление. Но это только поначалу. При более близком знакомстве он возбуждал не меньше симпатий, чем Иванов. Оба мальчика были умны, отзывчивы, и ребята их любили. У Константинова была сестра гимназистка. Она брала книги из гимназической библиотеки и часто давала их почитать брату, а тот делился ими с Петькой. Поэтому на обратном пути из училища Петька вместе с Павлом Коровиным охотно провожали Константинова на Звездинские пруды, где тот жил.

Случалось, Петька с Павлом заходили за Константиновым и по дороге в училище. Петька заметил даже, что Коровина что-то уж слишком тянет в эту квартиру. Но когда однажды увидел сестру Константинова, понял все. Она вышла с братом, чтобы идти к подруге, с которой училась в гимназии, и Петька чуть не бросился к ней навстречу. Издали он принял ее за Зочку, у него даже сердце затрепетало.

Сходство с Зочкой действительно было, но Константинова была уже почти барышня. Она очень походила на брата, и только глаза у нее были совершенно нормальные и очень красивые. Волосы были много светлее, чем у Зочки, без того удивительного оттенка, но послушные и красиво прибранные, а личико интеллигентнее, тоньше и изящней. Она была очень красивой, но Зочка Петьке нравилась все-таки больше.

Появились в классе и два новых учителя. Гурий Петрович, преподаватель геометрии, с пышными усами, затянутый в мундир, походил на военного и был красавцем. Говорили, что он отчаянный дамский угодник. Объяснял уроки Гурий Петрович мастерски, и Петька слушал его всегда с необыкновенным интересом. Но зато Гурий Петрович отличался и большой взыскательностью, требуя от учеников твердых и точных знаний. И для проверки их нередко нарочно сбивал учеников с толку.

Сколько раз бывало, что вроде бы верно доказывает ученик теорему. А учитель, даже не глядя на доску, бросает недовольно:

— Не так!

Обескураженный ученик неуверенно стирает написанное, начинает новое доказательство, теперь уже очевидно неверное.

Гурий Петрович молча смотрит на доску, останавливает коротко:

— Нет, не так!

Снова и снова берется ученик за доказательство, но теперь уже и другие видят, что это «не так».

Измучив порядком ученика, Гурий Петрович вежливо отпускает его на место:

— Садитесь! Двойка!

Он вызывает к доске других учеников, но, сбитые с толку, и они врут немилосердно, пока наконец кто-то из наиболее уверенных в своих знаниях решительно не возвращается к доказательству, которым и был начат урок.

— Да ведь не так же! — усмехается учитель.

— Так, Гурий Петрович! — сердито настаивает ученик и получает пятерку, которые математик ставит очень скупно.

Мнения о Гурии Петровице расходились. Все признавали, что он превосходный учитель, что на уроке у него никогда не бывает скучно, что он умеет ясно и просто объяснять. Но многие были недовольны им за манеру сбивать с толку. Другие же, в том числе и Петька, считали, что такой толк, с которого легко сбить, ничего не стоит и что геометрию надо знать не на авось, а так, как требует Гурий Петрович.

Русский язык преподавал Павел Иванович Шипучий, как звали его ученики,— безвольный старик с удивительно мягким и добрым характером, которым все бессовестно пользовались. У Павла Ивановича к старости развилась глухота, так что на уроках его можно было свободно разговаривать вполголоса, и он мог заметить это только по губам.

Появление в классе Павла Ивановича обычно сопровождалось возгласами:

— Щиволощ! Щкатина! Щабака! Я тебе покажу, как подщкащивать!

Во время диктанта кто-нибудь из учеников вслед за учителем читал текст по книжке: Павел Иванович любил басни Крылова и потому чаще всего выбирал их для диктовки.

Один раз Васильковский уронил книгу, а так как он сидел на первой парте, то Павел Иванович заметил это, отобрал басни и, наградив нарушителя несколькими подзатыльниками, продолжал диктант. Тогда вместо Васильковского стал подсказывать Березкин. Ученики свободно перекликались:

— Ять или е?

— Ять.

— Запятая тут или точка с запятой?

— Запятая...

Ученики прилежно склонились над тетрадами, и Павел Иванович уверен: идет самостоятельная работа.

Шум на уроках Павла Ивановича всегда стоял невообразимый, и не только потому, что ученики свободно переговаривались. Павел Иванович любил нравоучительные анекдоты и частенько в назидание ученикам их рассказывал и сам же первый смеялся над ними.

Так, желая внушить ученикам важность правильной расстановки запятых, Павел Иванович рассказал про одно древнегреческое завещание, в котором родственник ставил непременно условием для наследника соорудить «статую золотую пику держащую». Но поскольку запятую он не поставил, судьи так и не решили: должен наследник соорудить «статую, золотую пику держащую» или «статую золотую, пику держащую». На золотую статую наследник принужден был

бы истратить все наследство, и Павел Иванович очень веселился, рассказывая об этом ребятам.

Любил Павел Иванович и сочинения на вольную тему. Наиболее неудачные из них он, чтобы пристыдить автора, зачитывал всему классу. Хохот тогда стоял невероятный.

На тему «Домашняя обстановка» ученик Бурцевич написал: «Домашняя обстановка у нас была такая бедная, что такому важному господину, как я, в нее и показаться было стыдно». Далее шла подпись: «Бурцевич».

Прочитав это сочинение, Павел Иванович хохотал до слез, хохотали и ребята: не столько над Бурцевичем, сколько над смешным стариком, так ничему и не научившим их.

Прошла зима, за ней большая часть весны. Кончался учебный год, и Петька радовался этому. Но часто-часто его охватывала теперь и тревога: как быть дальше, что делать?

В мае начались выпускные испытания. Петька усиленно готовился к ним и выдержал их очень успешно. Экзамены принимал не один учитель, а целая комиссия. И если «свой» учитель ставил ему за ответ иногда и тройку, то другие члены комиссии оценивали бойкий ответ сообразительного паренька четверками и пятерками. Задачу же по геометрии Петька вообще решил первым и получил уверенную пятерку. На экзаменах он исправил несколько годовых троек в ведомости на четверки.

Всем окончившим уездное училище предложили поступить в Порецкую учительскую семинарию*, но Петька отказался. Надо было помогать матери, младшим сестрам и братишке, которым тоже пришла пора учиться.

Да Анна Кирилловна и сама не мечтала учить Петьку дальше. Для этого не было средств. Не хотела мать отдавать сына и на завод. Чтобы пристроить Петьку куда-нибудь на службу мальчишкой, она ходила по конторам и магазинам, но везде получала от-

каз. Всюду надо было иметь рекомендацию, и никакие просьбы, поклоны не могли ее заменить. Поняв это, Анна Кирилловна решила отдать Петьку слесарным учеником на механический завод, на котором работал отец. Решить-то решила, а сама потихоньку плакала.

Петьке одинаково не нравились ни заводская работа, ни конторская служба. Его неудержимо влекли к себе просторы полей и лесов. Он хотел бы стать, как его прадед, крестьянином или лесником, готов был смириться с самой скромной долей, лишь бы не идти за высокие заводские каменные стены, где в воротах стоят сторожа. Мысль попасть в клетку, чистую или грязную, была для него одинаково тяжела.

И потому Петька хотел продлить свои последние каникулы как можно дольше. Во вдовьем доме он уже совсем не жил, приходил лишь поесть. Захватив с собой краюху черного хлеба, Петька на весь день уходил в поле, в лес, на Волгу или Оку. Но часто и там подкарауливала его теперь тоска. Со страхом думал он о том дне, когда должен будет войти в заводские ворота, войти на всю жизнь, простясь со своими мечтами о подвиге.

ГЛАВА XXXI,

*или Эпизод, из которого можно понять,
какой путь в жизни выберет Петька*

Наступил последний день августа. Анна Кирилловна повела Петьку на курбатовский завод, который отец называл при жизни не иначе, как каторгой. Петька нехотя епускался по знакомому ему с детства Казанскому съезду, вспоминал дни, когда он по этой дороге носил отцу обед, катался на коньках и салазках. Петька шел медленно, то и дело отставая от матери. Она его не торопила — понимала: сын прощается с детством, прощается навсегда.

На заводе Петька с первого же дня стал работать в двойную смену. Работа начиналась в пять часов утра, а заканчивалась поздно вечером. Петьке надо было

вставать в четыре утра, чтобы успеть собраться и прийти на завод до гудка. Хорошо, что дом бабушки Александрии, куда перебрался жить Петька, был недалеко от завода.

Бабушка вставала рано, входила в чулан, где на своем старом войлоке, расстеленном прямо на полу, спал Петька, будила его не наклоняясь, слегка толкнув ногой. Если внук спал слишком крепко, будто невзначай роняла печную заслонку из жести. Сонный Петька мигом вскакивал от сильного грохота и противного звона, на ходу умывался и бежал на завод.

У порога бабушка окликала внука:

— Еду, Петюшка, не забудь!

Петька, все так же не говоря ни слова, брал приготовленный бабушкой с вечера узелок с хлебом, исчезал за воротами.

Шагая вниз по булыжнику Казанского съезда, время от времени закрывал глаза: кружилась голова, подкашивались ноги. Нестерпимо хотелось спать. Хлеб он съедал во время работы, чтобы в обед урвать пяток лишних минут для сна. И когда раздавался гудок на обеденный перерыв, Петька забивался куда-нибудь в уголок, ложился прямо на пол, покрытый толстым слоем грязи, и мгновенно засыпал.

Работа отнимала у Петьки все силы, притупляла мозг. Кроме обычных дней, за которые платили всего по двадцать копеек, приходилось работать еще три ночи в неделю и почти сплошь все праздники. Петька сдал, грудь его стала впалой, спина заметно согнулась. Раньше он мог без остановки взбежать на набережную по лестнице, теперь же задыхался уже на половине ее.

Жизнь стала ужасно бессмысленной и однообразной. Самым страшным казалось то, что некого было винить за это. Иногда Петька подумывал даже о самоубийстве, но тогда очень жалко было мать.

Однако со слесарем Степанычем*, к которому Петьку определили в подручные, работать было интересно. С виду суровый и мрачный, с насупленными густыми бровями, он был человеком простым и добродушным. К Петьке он относился со вниманием, повзрослому серьезно.

— Парень ты, я вижу, грамотный и смысленый. Далеко пойдешь! — сказал он как-то ему многозначительно.

Степаныч не верил в бога, на первых порах хотел было разуверить в этом Петьку и очень удивился, когда узнал, что его юный подручный давно перестал бывать в церкви. Однажды после какой-то особенно трудной смены Степаныч заговорил с Петькой о том, что все богачи, в том числе и их хозяин — пароходчик Курбатов, живут трудом рабочих, бедняков, бессовестно обманывают и грабят таких вот, как они, и что в России уже есть кружки из рабочих, которые хотят прогнать хозяев и царя, а заводы и всю власть отдать в руки народа.

Петька слушал и ничего не понимал.

А Степаныч, понизив голос, продолжал:

— За участие в тайном кружке полагается тюрьма или ссылка в Сибирь...

Он замолчал и испытующе посмотрел в глаза Петьки, стараясь понять, какое действие оказали на паренька эти слова. Но в глазах подростка было больше любопытства, чем страха. И тогда Степаныч, положив свою тяжелую, словно железную, руку на хилые Петькины плечи, произнес не спеша, как-то особенно значительно:

— Может быть, все мы погибнем, — он ударил на это «мы», — но помни: мы бьемся за величайшее дело всего трудового человечества!

Слова были такие новые, значительные и гордые, что у Петьки даже мороз по коже прошел.

А Степаныч, немного помедлив, спросил тихо:

— Хочешь вступить в наш кружок?

Петька растерялся от неожиданности и пришедшей от только что услышанных слов неуверенности в себе, промямлил, запинаясь:

— Я не могу решить... сразу... Мне надо... подумать...

Степаныч не ожидал такого ответа, спросил сердито:

— Сколько тебе лет?

— Пятнадцать.

Посмотрел выразительно, сказал с сердцем:

— Я в твои годы долго не думал! — пошел было прочь от Петьки, но обернулся, добавил строго, не поднимая глаз:

— Ты об этом никому, а то меня в острог посадят. Понял? Жаль старуху мать.

Степаныч ушел, а Петька принялся усердно пилить гайку.

«Ишь какой! — сердился Петька не столько на слесаря, сколько на себя.— Свою мать ему жалко, а меня и мою мать нет!»

А мысли упрямо возвращались к словам Степаныча. «Я тоже как лошадь работаю целыми днями,— размышлял Петька,— а хозяин ни одного болта не выточил, ни одной гайки не сделал. Это уж я точно знаю. И насчет того, что в одиночку ничего не добьешься, тоже правильно... Полицейские, когда кулачный бой на Жуковской улице был, поди сами за угол прятались!..»

Вроде бы ничего не изменилось в цехе. Все та же пыль, тот же гул от шелеста ремней, скрежета напильников, цоканья молотков. Но почему-то Петька почувствовал сейчас, будто завод стал меньше и теснее, а он, Петька, сильнее и свободнее.

Моя жизнь

ВОСПОМИНАНИЯ

НА КУРБАТОВСКОМ ЗАВОДЕ *

...Меня тянуло на Волгу, в поля и леса. Все это было отнято у меня каторжной работой на заводе. Самым нестерпимым было то, что мне некого было обвинять, некому было мстить. Я понимал, что без работы мне грозит голодная смерть, и потому в то время не обвинял еще хозяина, который, как считал я, дал мне работу — дал хлеб.

Иногда начинал думать о самоубийстве, но жаль было мать. Она была плохо приспособлена к жизни. Будучи хорошей повивальной бабкой, она у рожениц работала и за прачку и за прислугу, получая за это гроши, чтобы как-то существовать. Мать покупала на Балчуге (на базаре.— *А. Н.*) старье, мыла его, распарывала и из спорков шила на продажу дешевые детские пальто и платьица.

Однажды выдалось свободное воскресенье, и я, проспав до девяти часов утра, отправился в гости к своей старшей сестре Елизавете Андреевне Гариновой. Она жила напротив церкви Жен-мироносиц, и мне пришлось проходить через Лыковую дамбу мимо Балчуга. Я остановился отдохнуть и стал смотреть вниз, на кишевший людьми Балчуг.

И вдруг совсем близко, внизу, саженьях в пяти от лестницы, я увидел мать. Она стояла робкая, растерянная, жалкая и смотрела на группы торговков, окруживших татарина с громадным узлом старья. Торговки рвали из рук друг у друга вещи, торговались с татаринном, цинично ругались между собой, а две разодрались из-за драпового пальто. Они были похожи на рассвирипевших волчиц, и это еще больше подчеркивало беспомощность матери. Она так и не решилась подойти.

Острая боль рванула сердце, мне стало невыносимо жалко мать. Потом горячая волна нежности залила мое сознание. Я понял, сколько тревог, сколько бесконечных страданий пришлось перенести ей, робкой и запуганной, чтобы вырастить меня. И мысль о самоубийстве мне стала казаться эгоистичной, жестокой и преступной.

И все же я не мог примириться с той пожизненной рабской долей, какой являлась моя жизнь, какая была уготована мне и окружающим меня рабочим.

Только общение со слесарем Яковом Степановичем Пятибратовым помогло мне справиться с мрачными мыслями. Я понял, что жизнь может быть иной—интересной и радостной—и что мои мечты о подвигах могут воплотиться в действительность. Беспорядочные мысли вихрем стали проноситься в моей голове, и я поймал себя на том, что в моих мыслях слово *Я* само собой заменилось словом *МЫ*.

Я вспомнил о своем прадеде, николаевском солдате, бывшем крепостном из Костромской губернии. Он убил барина и бежал в Москву, где добровольно поступил в солдаты, чтобы скрыть свои следы. Его угнали на Кавказ, и там он двадцать пять лет сражался с чеченцами, которые не были его врагами, рубился с ними в ста тридцати пяти рукопашных схватках, был несколько раз ранен, за что его грудь была увешана четырьмя георгиевскими крестами и медалями.

«Мой прадед был глуп, мы будем рубить только эксплуататоров»,— закончил я свою мысль.

Вспомнил я отца. Натерпевшись бесконечных несправедливостей от своего врага, мастера Френзеля, отец однажды ночью накрыл его рогожным кулем и

сбросил с паромных мостков в Волгу. Это ничего хорошего не принесло ни отцу, ни другим рабочим. Френзеля вытащили, отцу удалось скрыться неузнанным, но мастер стал только еще злее.

«Теперь,— подумал я,— мы накроем рогожным кулем не френзелей, а самих «хозяев», воспитавших таких холопов, как Френзель, и они уже не вынырнут на поверхность».

Так передо мной открылась цель моей жизни. Я на все смотрел теперь новыми глазами, и все мысли у меня были новые. И я мысленно говорил себе: «Эти станки будут нашими, эти машины будут нашими, этот завод будет нашим». Моя злоба перестала быть беспредметной, я узнал, что могу ненавидеть по всей правде и совести, что могу организованно вести борьбу против настоящих, злейших врагов рабочего класса.

Но меня терзали мучительные думы: имею ли я право вступить в ряды бойцов за дело пролетариата, смогу ли я выдержать пытки, когда от меня потребуют выдачи товарищей. Меня одолевали сомнения, а услужливое воображение рисовало картины позора — выдачи товарищей под пытками. Мне хотелось идти к Пятибратову и сказать ему, что я вступаю в рабочую марксистскую организацию, но я боялся, что не имею на это права, я не был уверен в своих силах.

Я был молод и горяч и немедленно начал приучать себя к выносливости на боль: как бы нечаянно я разбивал себе при рубке молотком левую руку. Один раз я ударил молотком по ногтю большого пальца, ноготь почернел, из-под него выступила кровь. Но эти испытания казались мне недостаточными. Однажды в слесарной мы пришабривали со слесарем шток к большому поршню. Нагнувшись, я как бы нечаянно выпрямился преждевременно и теменем ударился о железо. Я упал на пол, но тут же заставил себя подняться. Испытание утвердило меня в мысли, что я могу вынести всякую пытку. После этого случая я, уже вполне уверенный в себе, пошел к Пятибратову и заявил, что вступаю в подпольную рабочую организацию, и попросил у него нелегальную литературу.

Первой книжкой, которую он принес мне, была «Эрфуртская программа» *, за ней последовали другие. Дома я вкладывал эти брошюры в обыкновенную книгу и читал, когда дядя работал в своей мастерской и я был в комнате один. Я делал вид, что читаю романы, принадлежавшие моей бабушке. У нее стоял аналой, на котором всегда лежало большое раскрытое евангелие. К бабушке часто приходили женщины (она была повивальной бабкой). И бабушка, когда видела через окно, что к ней идут, прятала роман и брала евангелие. Ее уважали, считали очень богобоязненной старухой.

— Что это вы, Александрия Яковлевна,— заводили с ней разговоры,— али внучка к себе взяли?

— Взяла! Трудно Анне-то. А ему только двадцать копеек в день платят. Вот я и не сплю всю ночь, бужу его, чтобы не опоздал на работу. Жалко мальчишку-то! Пять копеек вычтут, если проспит до завтрака.

Клиенты уходили, умиленные добротой богобоязненной Александрии Яковлевны. Они не знали, что я каждые две недели сдавал ей целиком все деньги, заработанные мной за дневную, ночную и праздничную работу.

Бабушка была скупа. За вечерним чаем она часто подсовывала мне вместо хлеба зачерствелые корки.

— На-ка, Петюшка, доешь! У тебя зубы-то острые. Плохие зубы-то у меня стали, а выкидывать жалко.

Дядя сердился, начиная двигать стакан. Наконец не выдерживал и резко отодвигал корки на другой конец стола, а мне отрезал нарочно большой кусок мягкого белого хлеба, раза в три больше той нормы, которую давала бабушка. Та поджимала губы и измеряла глазами хлеб, быстро исчезающий у меня во рту.

— Мне что! Мне разве жалко! Пускай ест на здоровье! Видно, придется выбрасывать корки-то! Нищие брать не хотят.

— Размочи и отдай курам! — сердито бросал дядя.

Дядя по воскресеньям не работал и ходил в бакалейную лавку играть на деньги в домино. Играли по

маленькой, но все же это, очевидно, придавало игре интерес, и взрослые люди, к моему удивлению, предавались этой игре часами. У бабушки был расчет на то, что дядя увлечется игрой и запоздает. Она налила мне щей и говорила:

— Поешь-ка, Петюшка, щей да ложись спать. Яша-то придет не скоро. Мяса-то на ужин не осталось.

Но дядя большей частью неожиданно появлялся, так как всегда носил с собою карманные часы, и на стол ставились щи уже с кусочками мяса и рисовая каша с изюмом и маслом. Мне в таких случаях очень хотелось смеяться, но я никогда даже не улыбался, чтобы не рассердить дядю, которого очень любил.

Однажды дядя заметил, как я прятал брошюру над входной дверью в комнату. Он сделал вид, что ничего не узнал, а потом взял брошюрку прочитал ее и после ужина начал расспрашивать, где я ее достал, понимаю ли я, что за чтение таких брошюр мне грозит тюрьма и ссылка.

Бабушка спала, и мы пробеседовали часа два. Я откровенно сказал ему, что не могу примириться с положением вьючного скота и решил отдать свою жизнь борьбе за лучшую жизнь рабочих — стать революционером.

— Ты не имеешь права заниматься этим! — возражал дядя. — Ты ведь должен поддерживать свою мать, заботиться о своих младших сестрах и брате.

— Разве постыдно быть революционером? Ты же сам восхищался и восхищаешься революционерами!

— Ты еще мальчик и сам не знаешь, чего хочешь. Погубишь ты свою жизнь!

— Какой я мальчик! Я работаю день и ночь, работаю больше лошади, а получаю гроши, никогда не высыпаюсь. Я проклиная эту жизнь, как проклинал ее мой отец. Но он только жаловался и пил, а мы будем драться! Мы еще покажем, какие мы мальчики!

Мы долго говорили с дядей, моя горячность тронула его. После всех попыток убедить меня он сказал:

— Своей матери ты ничего не говори. А книжки отдавай мне, — я сам буду прятать. А то сунул в щель над дверью, ее сразу и видно.

Наши беседы продолжались. Дядя читал литературу и после того, как я перешел жить к матери. Впоследствии он два раза предотвратил наш арест, когда мы собирались в квартире Анны Михайловны Весовщиковой с сестрами Невзоровыми. С увлечением читал он книги, которые я приносил. Он прочитал «Через сто лет» Беллами, «Спартак» Джованьоли и другие книги.

Часто заходила с базара мать. Бабушка встречала ее недовольным, неприязненным взглядом, но все же приглашала пить чай. Большой самовар целыми днями стоял на столе и шумел. Дядя любил горячий чай, и мать всегда попадала к чаю. Волей-неволей бабушке приходилось ее угощать. Мать клала на ларь тяжелый узел с тряпьем и садилась за стол пить чай, но очень быстро засыпала, иногда с кусочком хлеба во рту.

Бабушка сердито кричала:

— Что уж это ты, Анна, выспаться не можешь! Ляг, что ли, на кровать да выпись! А то сидя спит с куском во рту, людям на смех!

Мать обидчиво поджимала губы, но покорно вставала и шла к постели. Бабушка неумолимо ворчала:

— Подшила бы подол у юбки-то! Весь в шоблах! Да и в грязи! Срам смотреть!

Мать молча снимала башмаки, подвертывала подол грязной юбки и ложилась на мою кровать, которую мне поставили между буфетом и печкой. Мне каждый раз казалось, что она расплачется и никогда больше не придет. Но она любила свою мать, нежно любила своего младшего брата, в пользу которого, несмотря на свою нищету и кучу детей, отказалась от седьмой доли наследства, полагавшейся ей по закону после смерти деда. Она могла бы на всю жизнь обеспечить свою семью бесплатной квартирой, так как, кроме дома в две большие квартиры, было еще два флигеля, сдававшихся под квартиры. Но она не хотела огорчать мать, боялась обидеть брата.

Внешне она была очень похожа на своего отца, старого нелюбимого мужа бабушки, и та перенесла

всю свою нелюбовь к деду на нее. Бабушка была из Балахны. К восемнадцати годам она успела отказать тринадцати завидным женихам, которые настойчиво ее сватали. Она была весела, остроумна и красива. Мать бабушки, вдова, очень сердилась на разборчивость дочери, в особенности когда последняя отказала подрядчику по постройке барж, тринадцатому по счету.

— Ну, ведьма! Теперь я выдам тебя за первого, кто посватается. За косы в церковь притащу, а обвенчаю.

Четырнадцатым оказался мой дед, Кирилл Степанович Гаврюшов, сапожник из Нижнего Новгорода. Он был невысокий, грузный, ему было уже сорок два года, и бабушка оказала своей матери отчаянное сопротивление. Но та сдержала свое слово и силой повенчала дочь с некрасивым и старым сапожником. Бабушка быстро приручила влюбленного мужа, была с ним приветлива и ласкова, и он отпускал ее на вечеринки, где она, молодая, веселая, красивая, певунья и танцовка, всегда была желанной гостьей.

Любимый сын бабушки, Яков, был высок и строен, он не имел никакого сходства с моим дедом.

Мой дядя был очень хорошим певцом, гармонистом, самоучкой научился рисовать. Его портреты по памяти передавали сходство лучше фотографий, так как он умел видеть самое характерное в лице человека. В молодости у него была невеста, дочь машиниста с парохода. Дядя был романтически влюблен в нее. Перед самой свадьбой ее посватал капитан того же парохода, и машинист насильно выдал за него дочь. Через два года женщина умерла от туберкулеза — зачахла от тоски, как говорили люди. Дядя тосковал по ней всю жизнь и, несмотря на все просьбы и уговоры матери, так и остался холостым, хотя и пользовался успехом у женщин.

Мои взгляды на брак были «устаревшими», я в своей жизни знал только одну женщину, революционерку, ставшую моей женой. Идти по стопам дяди я не собирался, но меня в то время сильно интересовал вопрос, как дядя вообще завоевывает доверие человека. Мне как революционеру нужно было научиться этому искусству, потому что нельзя сделать револю-

ционером того человека, который тебе не доверяет. Мне бросилось в глаза, что дядя относится с уважением к женщине, окружает ее утонченным вниманием, с глубоким сочувствием и искренностью интересуется всеми мелочами ее жизни.

Вопрос о завоевании доверия человека интересовал меня в громадной степени. Я пришел к выводу, что революционер должен быть исчерпывающе честен, правдив и искренен прежде всего по отношению к самому себе. Он должен учить других только тому, что знает твердо сам, во что непоколебимо верит, что может доказать своими поступками, своей жизнью, своей смертью. Непоколебимая вера в победу — это уже большая часть победы.

Но вместе с тем я должен был учиться скрывать правду от врагов. Я хотел научиться врать не краснея, не потупляя своего взгляда. Скоро мне представился к этому случай. Не меньшую роль играло в этом и мое пристрастие к самопроверке и испытанию на боль.

Перед окончанием ночной работы я обычно приносил чайник кипятку, чтобы чай успел настояться и кипяток немного остыл. Около куба никого не было, и я однажды решил обварить себе кипятком руку. Чтобы не потерять способности работать, кисть руки надо было сохранить. Я выбрал место выше ладони правой руки. Сначала нацедил из крана кипятку в чайник, потом повернул правую руку ладонью вверх, отвернул обшлаг блузы, открыл кран и быстро перерезал льющуюся струю рукой. Рука оказалась ошпаренной на протяжении двух вершков. Ошпаренное место покрылось пузырями с лесной орех.

Товарищи сразу же заметили это и стали расспрашивать. Я рассказал им нелепейшую вещь: будто бы бак только что закипел, а когда я поставил чайник под кран, из-под крышки плеснула струя кипятку и обварила мне руку. Я говорил вполне серьезно, без малейшей улыбки, и мне беспрекословно поверили. Советовали наложить жидкий слой мыла, завязать тряпкой, смоченной в вареном масле. Я так и сделал. Руку долго драло, ожог слился в один сплошной пузырь. Этот пузырь увеличивался, потом лопнул. Было больно, но хотелось смеяться. Если бы все произошло

так, как я рассказывал, то я в первую очередь обварил бы себе кисть руки. Ошпаренное место, выше кисти, защищалось обшлагом рукава блузы.

Руку я обварил для тренировки на боль, но попутно убедился, что и я могу врать не хуже других. Я много думал над этим случаем. Моей большой неправде поверили только потому, что в ней была маленькая частичка правды — ожог руки. Если бы я сказал, что обварил руку умышленно, мне просто не поверили бы: такой поступок непонятен. Я пришел к выводу, что люди, не привыкшие доискиваться полноты истины, способны верить скорее понятной им лжи, чем непонятной истине. Я думал о предстоящей мне борьбе с сыщиками и жандармами и психологически все время готовился к этой борьбе.

Мне дали прибавку: я стал получать тридцать копеек в день. Как-то незаметно улучшились и мои отношения с бабушкой. То ли она ко мне привыкла, то ли была довольна, что я стал приносить больше денег, но только она стала приветливее, ласковее. Возможно, она ценила то, что я внимательно слушал ее рассказы, исполнял ее просьбы, приносил вскипевший самовар на стол, колол дрова и т. п. Наслушался я от нее и анекдотов, и притом самого небогобоязненного свойства. В них не было ни одного непечатного слова, но смысл их был предельно прозрачен. Она смеялась, смеялся и я. После я передавал эти анекдоты молодежи на заводе, они имели успех.

Но вот однажды я рассказал два из них одному молодому слесарю Сенчеву. Он был женат на дочери подрядчика, одевался очень модно, по праздникам носил котелок. Выделялся Сенчев и своим умственным развитием. Он равнодушно выслушал один анекдот. А когда прослушал другой, то измерил меня презрительным взглядом и, саркастически улыбаясь, спросил:

— Это тоже рассказала тебе твоя бабушка?.. — Не дожидаясь ответа, он отвернулся от меня. Я не знал, куда деваться от стыда. Вульгарные анекдоты, циничные ругательства были на заводе обыкновенной вещью, и я впервые встретил в рабочей среде человека, который отнесся с крайней степенью презрения и к моим анекдотам и — из-за них — ко мне.

Незадолго до этого случая мать узнала, что я ру-

гаюсь, как все. Она прочитала мне длиннейшую проповедь. Но я сам слышал от нее два бабушкиных анекдота, и ее слова не произвели на меня никакого впечатления. И вот я столкнулся с человеком, который не ругался, который окатил меня ледяным презрением за то, что я был таким же, как все.

Я понял, что, бессознательно подражая окружающей среде, я допускал явное противоречие с той целью, которую себе поставил: ведь мы должны бороться не только за права эксплуатируемых рабочих мужчин, но и за права женщин, за нового человека. Я круто изменил свой лексикон, очистил язык, и мне отныне уже не нужно было оглядываться, нет ли близко детей, нет ли близко женщин.

Пятибратов говорил, что если каждый сознательный рабочий делает за всю жизнь свою революционно-сознательными только двух рабочих, то и этого будет достаточно, для того чтобы рабочий класс пришел со временем к вооруженному восстанию, к революции, к диктатуре пролетариата. Мне казалось, что разговоры с Пятибратовым и несколько прочитанных книг и нелегальных брошюр сделали меня уже чуть ли не профессором марксизма. Достаточно мне было понять, что все богатства создаются из неоплаченного труда наемных рабочих, как весь мир в моих глазах перевернулся. Все стало ясно: надо сделать сознательными всех рабочих, всех трудящихся крестьян, завоевать диктатуру пролетариата и строить коммунизм. Надо вести беспощадную борьбу с врагами социализма. Все, кто противится пролетарской революции благодаря своей несознательности, должны быть воспитаны как сознательные борцы за диктатуру пролетариата. Жизнь на земле должна принадлежать, по справедливости, только тем, кто работает.

Все свои знания я сейчас же сообщал другим молодым рабочим, которые казались мне заслуживающими доверия. Пятибратов рекомендовал мне обратить внимание на молодого модельщика Александра Замошникова, с которым мы скоро стали неразлучными друзьями. Я давал молодежи читать литературу — сначала легальную, затем и запрещенную. Скоро я, однако, убедился, что сделать молодежь сознательной не так просто, как казалось с первого

взгляда. Легальную литературу читали охотно, но к нелегальной вначале относились очень опасливо.

У многих из молодежи уже были специфические мещанские интересы. Юноши шестнадцати-семнадцати лет уже ходили в публичные дома, пили водку, имели любовниц. Многим казалось верхом счастья сделаться масленщиком на пароходе, чтобы дослужиться до помощника машиниста, с последующим повышением в машинисты. Когда я овладел квалификацией слесаря, мастер предлагал и мне идти на пароход в масленщики. Я от этого отказался — там мне некого было бы пропагандировать, а пропаганда идей марксизма уже тогда стала главной целью моей жизни.

В начале лета 1893 года я произвел последнее испытание болью. Мастер поручил мне делать медные шлифованные планки для щитов пола в трюме. В планках должны быть дыры для шурупов, я сверлил их дрелью на доске, положенной на колени, причем сам я садился на ящик из-под свечей. Сверло высывалось вершка на полтора, и я пустил его без нажима в мякоть правой ноги выше колена, сбоку, чтобы не повредить кость, а потом пошел в лечебницу к заводскому фельдшеру.

Я сказал, что сверло нечаянно соскочило с планки и попало в ногу. Фельдшер поверил, запустил в ранку зонд и сказал, что ранка глубиной в полтора вершка. Потом он ее промыл, продезинфицировал и перевязал ногу. Ранка была пустячная, но болела долго, я почти все лето хромал и ходил по два раза в неделю на перевязку к фельдшеру. Работу я, конечно, ни на один день не бросал.

После этого я окончательно уверился в своих силах. Впоследствии эти опыты производили надо мной уже враги революции.

МАТЬ ВСТАЛА НА НАШУ СТОРОНУ

В конце лета 1893 года я переехал к матери в слободку Кошелёвку, куда она перебралась из вдовьего дома. Поселились мы в комнате семь аршин длинной и четыре с половиной шириной. Часть комнаты занимала печь. В «квартире» жило шесть человек, и в ней почти негде было повернуться.

Это была часть дома, пристроенная моим отцом. Минуя деда, прадед передал свой дом внуку, моему отцу, которого он любил, и приписал его к Кошелёвскому земельному обществу. Но отец не хотел стеснять братьев. Еще при его жизни наша семья ушла на квартиру, отцу надоели постоянные ссоры с братьями. Пристройку отца занял младший брат. Когда две сестры вышли замуж, а я поступил на завод, мать выгнали из вдовьего дома. Ей пришлось судиться с деверем, и только по постановлению суда тот освободил построенное моим отцом помещение.

О моем вступлении в революционную рабочую организацию мать не знала. Я старался оттянуть неизбежное объяснение с матерью: записался в народную библиотеку, где требовался только залог за выдаваемые книги, и стал читать нелегальную литературу, вкладывая брошюры в библиотечные книги.

Понемногу я втягивал в революционную деятельность рабочую молодежь. Рядом со мной на тисках работал котельщик Николай Кириллович Афанасьев, двадцати шести лет. В котельной ему выбило глаз, и его перевели в болторезы. Он был очень неразвит, хотя и знал грамоту. Я давал ему сначала легкие, а затем все более серьезные книги. Он охотно стал читать нелегальные брошюры, но на это потребовалось два года.

Гораздо быстрее пошло дело с другим товарищем — Леонидом Лебедевым. Он был способный юноша и, сделавшись членом нашего кружка, привлек в него своего брата Константина. Однако большинство молодежи, читавшей нелегальную литературу, не решалось вступать в организацию. Я и не добивался этого, — с меня пока было достаточно, что они сочувствуют нам. Я знал, что не все могут быть революционными марксистами, так как это требовало самоотверженности и героизма, требовало длительного воспитания.

В то же время я и сам глубже вовлекался в революционную борьбу. Я познакомился с членами организации Михаилом Громовым, Михаилом Замошниковым, узнал про «стариков», как революционная молодежь называла членов организации в возрасте под сорок лет. Правда, эти «старпки» были крайне

осторожны и больше варились в собственном соку. Надежды можно было возлагать главным образом на молодежь, не связанную семьей.

Моя дружба с Александром Замошниковым крепла. Скоро я понял, что он познакомился с идеями марксизма раньше меня, да и нелегальную литературу я получал уже через него.

Наступал май 1894 года. Замошников сообщил мне, что в ближайшее воскресенье будет проведено празднование Первого Мая на берегу Оки, в Слуде. С нетерпением ждал я воскресенья: мне очень хотелось увидеть товарищей, которые борются за дело пролетариата.

Утром в воскресенье, — в этот день мы оба были свободны от работы, — мы с Замошниковым отправились в назначенное место.

Шли мы по хорошо знакомым мне с детства местам, мимо острога, по Напольной улице, потом по большой дороге на Арзамас мимо солдатских лагерей трех полков. Мы наслаждались солнцем, воздухом, простором полей.

Саша Замошников сказал мне, что на маевке будет выступать интеллигент Александр Семенович Розанов*.

Маевка происходила на горе у берега Оки. Спустились мы вниз всего сажени на три, чтобы не было видно с дороги. На небольшой площадке, под высокими кустами, было водружено малиново-красное знамя с надписью: «Да здравствует международный праздник пролетариата Первое Мая!».

Здесь я познакомился первый раз в жизни с интеллигентом-марксистом Александром Розановым, а также с рядом рабочих — с типографскими наборщиками: Беляевским, Лукомским, Любимцевым, с позолотчиком Яхонтовым, со слесарем Александром Барцевичем, с котельщиком Григорием Козиным. Из типографщиков присутствовал еще очень красивый юноша с белым лицом и черной родинкой на щеке.

Всего собралось человек пятнадцать, женщин не было. Розанов рассказал об истории праздника Первое Мая. Его рассказ произвел на меня сильнейшее впечатление. Потом пили чай, закусывали белым хле-

бом с вареной колбасой. Появилась бутылка водки. Налили в рюмки и запели:

Выпьем мы за того,
Кто писал «Капитал»,
За героев его,
За его идеал!

Я был весь под впечатлением рассказа Александра Семеновича Розанова и никак не мог понять товарищей, пивших водку. Мне казалось это кощунством. Мне казалось, что они должны были забросить бутылку с водкой под гору. Но остальные относились к этому совершенно спокойно, и мне пришлось примириться с «обязательностью» этой традиции.

Большое впечатление произвело на меня число собравшихся: оно казалось мне очень большим и поразило разнообразием профессий. Слова Яши Пятибрата подтверждались: я своими глазами убедился, что мы не одиноки. Мне представлялось, что в этот же момент празднуют такие же группы рабочих разных профессий по всей России, и от этого становилось светло и радостно на душе.

В то же лето я сильно заболел. Это произошло на работе. Внезапно у меня начался озноб, который сменился высокой температурой, я не смог работать и, отпросившись у мастера, пошел домой. Обычно я доходил до дома в пятнадцать — двадцать минут, но теперь еле доплелся за час. Придя домой, я свалился и уже не мог подняться на ноги. Только через две недели вернулся я на завод, но, проработав неделю, вновь свалился; меня доставили домой на извозчике.

Очевидно, это был возвратный тиф. Врач сказал, что надежды на мое выздоровление нет. Около моей постели стояли мать, сестры и плакали. Я слышал приговор врача, но он никакого впечатления на меня не произвел. Я так ослабел, что жажда жизни исчезла, и мне хотелось только отдыха от мучивших меня сильных головных болей. И все же, пролежав в постели два месяца, я поднялся на ноги и пошел на завод.

Снова стал я читать нелегальные книги. К осени Саша Замошников предложил мне ходить на занятия к Нине Алексеевне Рукавишниковой, но добавил

при этом, что я должен иметь приличный костюм, так как рабочее платье будет привлекать внимание сыщиков. У меня, кроме рабочего платья, не было ничего,— ведь я получал только тридцать копеек в день, а наша семья состояла из шести человек. Саша обещал достать денег взаймы у интеллигентов и действительно принес мне двадцать пять рублей.

Волей-неволей я должен был обратиться к матери за содействием,— пришлось объяснить, для чего потребовался мне приличный костюм. Мое признание было встречено потоками слез и уговорами. Она говорила, что устала и думала отдохнуть, вырастив себе кормильца-сына, пугала меня тюрьмой, ссылкой в Сибирь.

— Пусть я буду повешен,— твердо заявил я,— но от борьбы за освобождение рабочего класса не откажусь, только она дает мне счастье, дает силы жить. Тебе же я буду помогать, пока жив.

Она покорилась, купила отрез и отдала шить костюм; вытащила из сундука пальто, купленное для нее матерью в приданое, и перешила его для меня. Появились у меня и ботинки с калошами и праздничная шапка. Свой долг я выплачивал постепенно.

У меня с матерью были бесконечные споры. Случалось, что в ночь под праздник мы лежали каждый в своей постели и спорили чуть не до рассвета о боге, о министрах, о власти. Шаг за шагом разбивал я детскую веру матери и подводил ее к сознанию, что бога выдумали люди, что все зло от эксплуатации человека человеком, что на земле есть рай для капиталистов и ад для тружеников — рабочих и крестьян.

Мать сдавалась не сразу, она мобилизовала против меня родственников: своего брата Якова Кирилловича, мужа моей тетки, учителя Михаила Ивановича Павлова, и зятя, мужа моей сестры, Григория Ивановича Гаринова.

Мать не знала, что Гаринова я сам начал агитировать уже с осени 1892 года. С осени 1897 года он вступил в наш рабочий подпольный марксистский кружок и стал ходить на беседы с сестрами Невзоровыми. Яков Кириллович Гаврюшов, тронутый слезами матери, попытался еще раз отговорить меня от

участия в революционной работе, но ему самому же стало стыдно, когда я указал, что сочувствие и разговоры о революции с самим собой не могут сделать этой революции.

Самым упрямым союзником матери оказался Михаил Иванович Павлов. Он продолжал уговаривать меня даже после того, как мать свезла тюк прокламаций в Иваново-Вознесенск во время происходившей там стачки, и не переставал отговаривать до самого ареста. Как учитель он очень много читал. Восхищался Чернышевским, декабристами, декламировал «Русских женщин» Некрасова. Учение Маркса и Энгельса он признавал правильным, но находил, что для революционной борьбы время еще не настало и что я обрекаю себя на бесполезную гибель. Он без конца повторял мне, что надо ждать, когда капитализм одряхлеет и падет сам, как падает перезревшее яблоко с яблони. «Надо ждать. Время свое возьмет», — были его любимые слова. Я скоро понял, что Михаил Иванович дальше разговоров в интимном кругу не пойдет.

Мать встала на нашу сторону только после длительной, упорной и непрерывной борьбы со мной и особенно с самой собой. Я говорил ей, что за счастье трудового человечества бились и бьются только самые лучшие люди, которые ради этой борьбы не жалеют своей жизни, и что я хочу быть в числе этих людей и смерть и муки мне не страшны. Мать, наконец, поняла меня, и у нее самой явилось желание помогать нам в борьбе, что она и делала впоследствии по мере своих сил. Начала она с того, что стала прятать мою нелегальную литературу, предупреждать о жандарме, который начал ходить к моей тетке, торговке старьем.

А затем настал момент, когда мать стала плакать уже не оттого, что я сделался революционером-марксистом, а оттого, что я разбил ее веру в бога, веру в небесное царство, о котором она мечтала.

Заведя праздничный костюм, я стал ходить с Сашей Замошниковым на занятия к Нине Алексеевне Рукавишниковой. Явившись туда, я сразу понял, на-

сколько невозможно было мое появление в этой обстановке в рабочем костюме. Небольшая комната Нины Алексеевны была жилищем культурного человека, а мое собственное жилье стало казаться мне теперь звериным логовом. Нина Алексеевна читала нам книги, излагающие учение Карла Маркса, и разъясняла прочитанное. Изредка приходили студент и семинарист, оставшиеся мне неизвестными.

Занятия давали очень много для изучения новой, до сих пор неизвестной мне категории людей — интеллигенции. Борьба рабочего класса была мне понятна, ибо я хорошо знал жизнь «наемных рабов». Мне сразу же бросилось в глаза отличие в обстановке жилищ, в одежде и внешнем виде интеллигентов от рабочих. Я знал, что интеллигенция подвергается той же опасности, что и рабочие-марксисты, и не мог осмыслить причин, толкавших ее на путь революционной борьбы. Я ошибочно думал, что современная интеллигенция от гибели капитализма не выиграет, а проиграет, построение социализма казалось делом гораздо более длительным, сложным и трудным, чем это оказалось в действительности, — я отводил на него не менее двух поколений.

Учитель Михаил Иванович Павлов был мне более понятен. Я думал, что он просто боится потерять от победы рабочего класса свое личное положение, а поэтому и советует мне ждать, когда капитализм, одряхлев, падет сам собой. Он получал тридцать рублей в месяц, имел большую бесплатную квартиру с отоплением и освещением, работу начинал в девять часов утра, а кончал ее в два часа дня. У него были летние каникулы, пасхальные каникулы, рождественские каникулы, масленица и множество праздников, свободных от труда. Летом он давал уроки, ему платили рубль за час, и жил он на даче на готовом содержании.

Скоро я узнал, что среди интеллигенции и раньше были люди, которые отрекались от личных интересов и во имя идей справедливости боролись за дело рабочих и трудящихся крестьян, но как-то плохо верил в это. Среди «стариков» на заводе был слесарь Мухин, имевший связи с народовольческой интеллигенцией. Он давал мне народовольческую литературу.

Когда я прочитал «Андрея Кожухова» и «Суд над царевубийцами», то понял, что среди интеллигенции действительно были люди, способные отдать жизнь за дело трудящихся.

Я стал считать самоотверженную отвагу народовольцев образцом для всех революционеров, хотя и понимал, что идут они по ложному пути. Я думал, что народовольцев уже не существует в природе, но Мухин убедил меня в том, что они есть. Скоро я и сам познакомился с настоящим живым народовольцем, с молодым парнем Александром Карповичем Петровым, который приехал из Казани и работал на нашем заводе. Он приучился к работе и зимой 1894 года уже работал слесарем на несложных работах.

Очевидно, кто-нибудь из «стариков» сказал ему, что я принадлежу к организации,— он часто стал подходить к моим тискам, чтобы перетянуть меня в кружок народовольцев. Вначале меня интересовал живой народоволец, но я тщетно пытался найти в нем качества Желябова, Халтурина, Кибальчича, причем почти полное отсутствие конспирации, благодушная болтливость, отсутствие квалификации при поступлении заставили меня одно время даже думать, что я имею дело с провокатором. При всех он болтал о преимуществах единоличного террора и попутно высмеивал социал-демократов.

Вскоре я понял, что имею дело не с провокаторскими приемами, а с детски-наивной доверчивостью к людям и что как революционер Петров очень слаб. Он искренне верил в силу единоличного террора как средства для освобождения рабочего класса и сам был готов проводить его на деле.

Было ясно, что Петров по своей начитанности стоит значительно выше окружающей его среды. Я старался доказать ему всю утопичность методов народовольцев, но наши споры ни к чему не вели: Петров оставался на своих позициях. Я это объяснял тем, что просто он умнее и начитаннее меня и для него не авторитетны мои суждения.

Выписал он из Казани молодых парней Осипова и Коновалова, которые также поступили на завод Курбатова. Михаила Громова, Александра Барцевича

и Михаила Замошникова к тому времени на заводе уже не было. В начале 1895 года на завод Доброва и Набголец ушел и Яша Пятибратов, главная наша сила. От наседавших народовольцев приходилось отбиваться главным образом мне и Саше Замошникову: Осипов и Коновалов в споры со мной не вступали, но ко мне все чаще начал приходить снизу молодой слесарь Михаил Самылин, вступивший в кружок народовольцев.

Споры с Самылиным продолжались по-прежнему у моих тисков. Изредка приходил и Петров, проявлявший в спорах большую горячность. После одного особенно горячего спора он пустил чурбаком в уходящего в модельную Александра Замошникова. Самылин был спокойнее, и дело кончилось тем, что он признал ошибкой свое увлечение идеями народовольцев и заявил о своем переходе на сторону социал-демократов. Я жалел, что того же самого не сделал и Петров. Он был сильнее и энергичнее Самылина. Его горячность и страстность мне нравились, но я считал, что он нуждается в большой и длительной обработке. Он так и остался народовольцем до самого своего ареста, авторитета же ни среди взрослых, ни среди подростков завоевать не сумел. На заводе он очутился в ложном положении. Попав в среду наших стойких марксистов-«стариков» и сочувствовавших им слесарей, он стал считать их сознательность плодом собственной агитации, и ему казалось, что он двигает горами. «Старики» посмеивались над ним, но оберегали, предостерегали от сыщиков. Никого, кроме Самылина, распропагандировать в народовольческом духе Петров не сумел.

Марксизм стал внедряться на заводе еще с осени 1891 года, когда образовался первый марксистский кружок. Члены этого кружка — Я. Пятибратов, М. Громов и Мухин — работали на заводе, когда я сделался марксистом. Мне известны были марксисты-«старики»: Федор Бритов, Василий Сорокин, Афанасий Кислов, Прохоров и Гладков. Агитация народовольцев не могла иметь успеха на заводе, и «старики» стали бы агитировать самого Петрова, если бы не относились к нему отрицательно за нарушение конспирации. Во время завтрака он открыто читал

вслух в слесарной мастерской нелегальную литературу, что ставило под удар всю заводскую социал-демократическую организацию.

В слесарной были ненадежные люди и даже предатели, как слесарь Федоров, который говорил мне, что работа дураков любит, что я от хозяина золотого кляпа не выслужу, но сам стал злейшей хозяйской собакой, когда неизвестными нам путями сделался помощником мастера механического цеха. Свою карьеру он начал с того, что выгнал с завода высококвалифицированного слесаря Познанского только за то, что тот принес себе чайник кипятку на завтрак до гудка и ел хлеб, хотя и не переставал работать.

Часто всей компанией мы отправлялись в театр. Работу кончали в семь часов вечера, а спектакль начинался в половине восьмого. Мы кое-как умывались, но сходить домой переодеться не могли: и без того надо было спешить, чтобы успеть пройти добрых полторы версты — подняться Георгиевским съездом до кремля и пересечь Благовещенскую площадь до начала Большой Покровки.

Для балкона и галерки, куда мы только и могли ходить, была отдельная касса почти в самом верху здания, и нас нередко обирал продавец билетов, студент технического училища. Билет с благотворительной маркой стоил двадцать две копейки, но кассир иногда заявлял, что билеты все проданы и имеются только «добавочные» — по тридцать две копейки. Жалко, да и начетисто было переплачивать десять копеек, но уходить ни с чем не хотелось, и мы скрепя сердце платили лишние деньги. После я узнал, что студент был народовольцем. Господин «революционер», наверно, и не подозревал, какого труда стоили нам «добавочные» гривенники, которые он с такой легкостью перекладывал в свой карман.

Один раз нас пришло восемь человек; был с нами и Петров. Билетов не было, были только так называемые «добавочные», а у нас денег было в обрез. Петров собрал деньги и, подойдя к кассе, потребовал вземь билетов. Кассир заявил, что обычные билеты проданы, но есть добавочные по тридцать две копейки. Петров согласился взять их, а получив билеты,

заплатил за них по двадцать две копейки (цену, указанную в афишах и на билетах). Кассир изобразил на лице «благородное возмущение», однако позвать администрацию театра не решился. И нас пропустили в зал. Мы поняли, что имели дело с мелким жуликом.

Я продолжал изучать рабочих, их быт, изучать молодежь и все яснее понимал, что борьба за повышение политического самосознания рабочих предстоит очень трудная и длительная. И мои мысли невольно тянулись к интеллигенции: по моему мнению, только она могла усилить и ускорить этот процесс.

Чем больше я познавал жизнь, тем отчетливее понимал, что мои знания крайне недостаточны. Теперь я уже не считал себя профессором марксизма, не думал, что московские университеты мне не нужны, а мечтал о знающем интеллигенте, который умел бы жить интересами нас — рабочих. Я слышал имена революционеров-интеллигентов*: Ванеева, Сильвина, Григорьева, Круковского, Скворцова, Кузнецова. Мимоходом мне пришлось столкнуться с Розановым. И хотя я был развитее многих своих товарищей, все же понимать язык интеллигенции мне было очень трудно,— для этого многому надо было еще учиться.

Наступила третья весна моей работы на заводе, а я все еще числился «мальчиком», хотя у меня уже начала расти борода и я выполнял работу квалифицированных слесарей. Администрация насмешливо называла меня «мальчик с бородой», но из «мальчиков» в слесари не переводила: она соблюдала экономию.

Однажды в субботу привезли на завод лопнувший двенадцатидюймовый пароходный вал. В ночь на воскресенье кузнец и трое молотобойцев сварили его.

В воскресенье для одного токаря, который точил вал, работала машина. После обточки вала я вырубил на нем шпонку в 500 миллиметров длиной, срубил через узкую щель подточенный конец с центром и получил за это сорок копеек. Токарь и кузнец получили по рублю двадцати копеек, три молотобойца вместе — полтора рубля. Стоимость дневной работы машины определялась в двадцать пять рублей. Таким

образом, ремонт вала обошелся заводу в двадцать девять рублей тридцать копеек, а завод взял за него сто восемьдесят рублей. Вместо меня надо было ставить хорошего слесаря с жалованьем в рубль двадцать копеек, но завод не отказался и от восьмидесяти копеек, которые он выгадал на мне. Этот случай был очень показателен, и я использовал его в своей агитации.

Вскоре произошло событие, надолго занявшее внимание рабочих. Саша Замошников получил целую кучу гектографированных прокламаций, зовущих к борьбе с эксплуатацией. Мы решили разбросать их по Казанскому съезду — по нему шли рабочие, жившие на окраинах Нижнего Новгорода, и по нижней главной дороге, где проходил поток рабочих, живших в Кошелёвке, в Печерах и в прифабричной слободке. Саша взял на себя съезд, я — дорогу. Прокламации решили разбросать перед рассветом. Была темная облачная ночь. Я разбрасывал прокламации по сторонам дороги.

Пройдя четверть пути и только что прикрепив лучиной одну из прокламаций к поленнице, я вдруг услышал разговор и увидел двух людей, идущих навстречу. Это были полицейские. Первым моим побуждением было броситься назад и сорвать прокламации с поленницы, но я быстро сообразил, что неожиданный поворот назад обратит их внимание на меня. Поэтому я быстрее пошел им навстречу и шагов за десять до встречи остановился у поленницы, якобы по нужде. Мой расчет оправдался. Полицейские сосредоточенно рассматривали меня и прошли мимо прокламации, не заметив ее. Я разложил остальные прокламации вдоль пути до самого завода и пошел домой, когда небо начало сереть. Заснуть я не мог и успокоился только утром, когда узнал, что прокламации попали по назначению. Саша Замошников тоже удачно выполнил поручение. Все читали прокламации.

Старик Лука Лебедев, отец нашего товарища Леонида, принес поднятую им прокламацию в слесарный цех и прочитал ее там вслух. Об этом стало известно заводскому начальству, и на несчастного старика обрушились все громы и молнии. Его подвергли пере-

крестному допросу. Лука Лебедев носил очки, его сизый нос имел форму сливы, и его интересы сводились к выпивке. Жандармы оказались умнее и оставили старика в покое. Но он долго сердился и ругал молодежь: «Политики прокляты! Вешать всех вас надо!»

Такого мнения был не один Лука. Но когда в 1897 году вышел закон об ограничении рабочего дня и на заводе Курбатова стали работать десять с половиной часов в день, то все вспомнили прокламации, на которых была изображена синяя ласточка, и радостно говорили: «Все это птички сделали!» Появление прокламаций произвело впечатление и вызвало длительные разговоры. Я несколько дней ходил полный радости за удачу с прокламациями, а за преодоление маленького затруднения с полицейскими стал чувствовать к себе даже некоторую долю уважения.

ЗОЕЧКА

Однажды, воспользовавшись свободным от работы воскресеньем, я отсыпался и встал в десять часов утра. Мать разбирала узел старья. Подвязанные тесемкой очки спустились у нее с переносицы, она смотрела поверх очков, на лице блуждала еле уловимая усмешка. Я понял, что она хочет сообщить что-то важное, и насторожился. Глядя на меня лукаво испытующим взглядом, она говорила:

— А я пришла из вдовьего дома, накупила старья у знакомых вдов. Была и у фельдшерицы Стеблевой. Чай, помнишь ее дочку Зоечку, которая носила тебе книги, когда ты лежал в больнице? Вот ее старые юбки, вот шесть пар чулок, вот кофточки. Красавица девушка выросла! Коса толщиной в руку, сама румяная и беленькая, как снегурочка. Чай я у них пила. Зоечка нарядная, в кисейном платье, прямо как ангел. Локотки точеные. Оперлась ими на стол, улыбается. А против сидит красивый студент в форме. Вдова мне рассказала, что одного ребенка уже в Москву, в воспитательный дом, свезли, чуть ее из гимназии не выгнали, да доктор свидетельство дал о болезни. Что-то незаметно, а вдовы говорят — опять бе-

ременна. И младшая родила от сына швейцара. И тоже в воспитательный дом отправила. Скрыть не удалось, из гимназии ее выгнали.

Слова матери причиняли мне боль. Очевидно, у нее были какие-то смутные догадки относительно моих чувств к Зоечке, и она хотела их проверить. Но ее пытливый взгляд ничего не заметил. Я равнодушно расспрашивал, равнодушно делал замечания. А ночью, лежа на полу под одним одеялом с братом, я напрягал волю, чтобы не встать и не поцеловать старые чулочки.

Помнил ли я Зоечку? Да, я ее помнил. До сих пор, правда, мне казалось, что вместе с прошлым моя — в двенадцать лет — любовь к девочке забыта. Теперь пришлось сознаться, что эта любовь росла и выросла вместе со мной. Прошлое не умирало и забыто не было. Мне хотелось увидеть ее еще раз, посмотреть, какой она стала, меня тянуло ко вдовьему дому.

Я решил использовать многотысячное массовое шествие — встречу иконы Оранской божьей матери. Это было на пасхальной неделе в нерабочий день. Я плотно позавтракал, взял с собой кусок хлеба и отправился на другой конец города. Погода стояла теплая, сухая, люди собирались группами со всех сторон города. Ходили встречать икону из-за любопытства и совершенно равнодушные к религии люди, даже настоящие атеисты. Для молодежи встреча иконы была интересной прогулкой со случайными и неслучайными встречами.

Я слонялся вдоль ограды вдовьего дома, ожидая выхода Зоечки, моей Зоечки, как упрямо называл я ее в своих мыслях, хотя к этому никогда не было и не могло быть никаких оснований. Скоро она вышла из ворот вместе с высокой няней-сиделкой. Мельком взглянув на них, я прошел мимо быстрым шагом, стремясь скорее дойти до толпы, которая ожидала иконы. Я узнал Зоечку; хотя из девочки она стала уже вполне развившейся женщиной. Белое платье делало ее очень красивой. Нянька несла на руке ее летнее пальто. Тугой жгут золотисто-белокурых волос стал толще, длиннее, серые глаза раскрылись, стали больше, ярче. Прежним остался чуть

вздернутый носик и чуть заметный след оспы. Она совсем не стала красавицей, как говорила мать, но мне было очень трудно отойти от нее.

Икона была уже близко. Женщины ложились в пыль на пути, чтобы икону пронесли над ними. Монахи и попы начали молебен. Зюечка пробралась к самой иконе, встала в пыль на колени и кланялась до земли. Я стоял позади в трех шагах. Она заметила меня. Мне больно было смотреть на ее унижение, хотя я понимал, что она хочет остаться незамеченной.

Молебен кончился. Белое платье запачкалось в пыли. Зюя взяла у няньки пальто, надела его. Перемена произошла разительная. Исчез сверкающий на солнце наряд, скрылись красивые формы тела, и передо мной была девушка, каких тысячи. Она шла с нянькой шагах в десяти от меня и не оборачивалась назад. Так дошли мы до ворот вдовьего дома. Нянька повернула налево, Зюечка направо. Я пошел за ней и нагнал ее у крыльца, чуть прибавив шаг. Следом за ней вошел я через двойную дверь. Она обернулась и, с ужасом взглянув в мои глаза, стрелой бросилась по лестнице, минуя второй этаж, куда ей надо было идти.

Я, смущенный и обескураженный, зашел к знакомым во второй этаж, а потом поднялся в четвертый этаж к школьному товарищу Коровину, посидел у него и отправился домой.

Мать тоже была во вдовьем доме и, вернувшись, спросила меня:

— Ты, Петя, заходил к Екатерине Ивановне?

— Заходил, а что?

— Она говорила, что к ней прибежала вся в слезах дочка фельдшерицы Зюечка и жаловалась, что за ней гнался какой-то пьяный мужик.

— Какое мне дело до пьяных мужиков! Ты же знаешь, что я никогда не пью.

Через неделю я сидел в новом театре в самом последнем ряду галерки. Слева от меня оказалось пустое место. И вот перед самым поднятием занавеса мимо меня прошла благоухающая, одетая в белое кисейное платье Зюечка Стеблева и села рядом со мной. Я отодвинулся насколько мог, чтобы не запач-

кать платья соседки своей рабочей блузой. Я ни разу не взглянул на нее, но сидел, наслаждаясь своим случайным счастьем. Во время антракта она ушла и больше не вернулась. Я увидел ее уже внизу, в партере. Зоя показывала рукой в мою сторону знакомому студенту-кассиру, любителю «добавочных» гривенников. Студент посмотрел на меня и, по-актерски сверкая глазами, стал взмахивать головой, как лошадь, которую бьют кнутовищем по морде.

С виду оба они были красивы. Но и кисейное платье, и Зочка, и ребенок, отправленный на «фабрику ангелов», и «добавочные» гривенники, и народволец-студент — все смешалось для меня в этот момент в одну грязную кучу.

И все же моя любовь не умерла. Она осталась, как, вероятно, всякая детская любовь, яркой солнечной страницей юности на всю жизнь. Но в тот момент я ясно понял, что в жены мне нужен не прекрасный трепещущий ангел, склоняющийся перед божеством, а единомышленник по борьбе и бестрепетный мужественный товарищ.

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ

Был конец апреля 1895 года. Мы ждали маевки, которую предполагалось провести в первое майское воскресенье.

Маевка эта состоялась на Моховых Горах, у опушки леса на берегу Волги. Народу собралось около шестидесяти человек, в большинстве — рабочие. Была и интеллигенция, но фамилий не называли, и я не мог никого запомнить, хотя меня особенно интересовала именно она. Говорили, что среди интеллигенции были и народвольты, но я не смог их отличить по выступлениям.

Мы вели себя, как в свободной стране: жгли костры, кипятили чай, говорили речи и без всякого стеснения пели революционные песни. Я теперь был уже опытен и ничему не удивлялся. Маевка вызвала большой подъем, мы почувствовали свою силу, и долго

после этого мне помнилось поднятое на этой маевке красное знамя.

С осени 1895 года с нашим социал-демократическим кружком, в который входили Николай Афанасьев, Леонид Лебедев, Григорий Козин, Александр Замошников и я, стал заниматься сын парикмахера, студент Марышев. У Николая Афанасьева была своя комната, имевшая отдельный ход из сеней. Мы иногда собирались в ней. Родители Афанасьева нас не беспокоили. Лишь однажды дверь соседней комнаты раскрылась в самый разгар занятий, и к нам ввалился котельщик, отец Афанасьева. Должно быть, резкая перемена в жизни сына возбудила в отце как-то смутные подозрения и опасения. Черный, кривой, как и сын, он, не поздоровавшись, недоверчиво и угрюмо обвел нас своим единственным глазом. Подойдя к Марышеву, он обратил свое внимание на тетрадь рукописного «Коммунистического манифеста».

— Что это у тебя за книга? Дай, я посмотрю!

— Это «Житие святого великомученика Георгия победоносца», — с готовностью ответил Марышев, подавая тетрадь безграмотному старику. Отец Афанасьева взял тетрадь вверх ногами, долго и молча разглядывал, а потом положил на стол и ушел. Больше он уже не заглядывал в комнату сына.

Видимо, по неопытности студент Марышев применил в своих занятиях с нами самый неудачный метод. Низко склонившись над тетрадью, лежавшей на столе, он монотонно читал ее, не обращая на нас никакого внимания. Мы работали все дни, работали три обязательные ночи в неделю и почти все праздники, и нам неудержимо хотелось спать. Я тарашил глаза, и мой мозг улавливал только отдельные фразы, вне их связи. Невольно впадали в дремоту и мои товарищи. Все мучительно боролись со сном, просыпались, слушали и вновь дремали.

Как-то выдалось свободное воскресенье, накануне которого у нас были занятия, и я попросил Марышева, чтобы он дал мне тетрадь почитать дома. Хорошо выспавшись, я целый день читал «Коммунистический манифест» и усвоил из него гораздо больше, чем за все предыдущие занятия с Марышевым.

Моя семья жила уже в новом доме. Старый дом, построенный прадедом, врос в землю, сгнил больше чем наполовину. Жить в нем стало невозможно, и вдова моего дяди, тетка Марья, покинула его, выехала на квартиру.

Хотя дом принадлежал моему отцу, но в нем все время жили его братья с семьями, и я во избежание всяких недоразумений предлагал продать его с торгов на дрова и разделить вырученные деньги между семьями братьев отца. Мать наотрез отказалась последовать моему совету, говоря, что дом принадлежал отцу и заднюю половину его, построенную самим отцом, ломать жалко. Я доказывал матери, что тетка Марья знакома с жандармом и следит за мной, а если мы возьмем себе остатки сгнившего дома, жандармы непременно вселят в нашу пристройку тетку Марью и мне придется бежать из дома. Мать ничего не слушала. Она купила сруб из тонких еловых вершин, заняла у родственников денег и, наняв плотников, устроила более вместительное жилище.

Все вышло так, как я говорил: жандарм написал тетке Марье прошения и к земскому начальнику и в волостной суд; суд признал за теткой Марьей право наследства на старый дом, а так как моя мать его сломала, то суд постановил вселить тетку в пристройку, построенную моим отцом. В нашем старом жилье поселилась тетка Марья с дочерью и двумя сыновьями.

Наше новое жилище было в три сажени длиной и в две сажени с аршином шириной. Оно было настолько просторно, что у нас можно было устраивать даже вечеринки с танцами. Места хватало всем, и я с братом спали теперь уж не на полу, а сестра получила возможность брать заказы на стежку и пошивку ватных одеял. Она шила целыми днями, чтобы заработать себе на приданое; и раньше двенадцати часов ночи не ложилась. Мать тоже допоздна шила и перешивала из всякого старья детские пальто и платьица.

К этому времени мать уже не отговаривала меня от революционной работы, не плакала, а сама прятала нелегальную литературу, сама получила от Ивана Павловича Ладыжникова тук прокламаций, запако-

ванных в рогожку, и отвезла его в Иваново-Вознесенск во время стачки.

Младший брат Александр поступил на завод Курбатова в модельный цех учеником. Одна из младших сестер ушла в ученицы к портнихе. Мы остались пятером и жили мирно и спокойно.

Но к тетке стал захаживать жандарм, давал ей деньги и поручал следить за мной. Тетка была глупа и взбалмошна. Она торговала старьем, покупаемым у татар, шить не умела и завидовала моей матери, которая, перешивая старье, зарабатывала больше, а кроме того, подрабатывала и как повивальная бабка. Тетка ссорилась со своей дочерью, сыновьями, зятем, со всеми соседями. Иногда она начинала кричать на всю улицу и грозить матери, что всех ее сыновей и дочерей «пошлет по Владимирке считать березки», то есть сошлет на каторгу.

Я не мог устраивать в своей квартире собраний, не мог даже просто пригласить к себе товарищей, все это сейчас же стало бы известно жандарму. Впрочем, угрозы тетки были для меня даже полезны: они заставляли быть осторожным и у себя дома — приучали к конспирации.

К Афанасьеву я мог бы дойти в пять минут, но я всегда шел от дома в противоположную сторону и делал крюк, приходил на занятия тоже с противоположной стороны. Жандарму так и не удалось накрыть нас.

Однажды, когда мы с Сашей Замошниковым шли с работы, — а ходили мы с ним всегда вместе, так как были очень дружны, — он сообщил мне, что студент Марышев больше к нам на занятия не придет и что вместо него с нами будет заниматься студент Александр Африканович Кузнецов, сын богатого купца.

Замошников жил близко от завода, и, оставшись один, я шел и думал о студенте Кузнецове. Меня поразило то, что он был сыном богатого купца, поразило и его необычайное отчество. Африку, громадный материк, я знал гораздо лучше святцев — я и не подозревал, что существует имя Африкан.

Марышев был сыном парикмахера, а парикмахеров я считал ремесленниками, и поэтому мне было

понятно, что сын парикмахера оказался на стороне рабочих. Но как сын богатого купца Африкана может быть против фабрикантов — было понять гораздо труднее. В моем мозгу вспыхивали слова революционной песни, которую мы любили петь:

На купцов, кулаков, на богатых,
Да на злого вампира царя!
Бей, руби их, злодеев проклятых,
Засветись, лучшей жизни заря!

Я понимал слова песни буквально, и всякий раз, как мы ее пели, меня охватывала злоба и я представлял себе, как мы рубим кулаков, купцов, помещиков, фабрикантов, как мы рубим царя. А тут сын богатого купца, да к тому же еще Африкана. Имя Африкан у меня бессознательно связывалось с каким-то особенно большим богатством, как имя Креза — лидийского царя. И я думал: «Если сын Африкана с нами, то он должен будет рубить Африкана-отца».

Всякое иное положение не укладывалось в моем мозгу, а поэтому личность студента Кузнецова казалась мне необычайной, почти противоестественной. Я с громадным нетерпением ждал встречи с ним.

Кузнецов действительно оказался интересным человеком. Я встретил в его лице того самого интеллигента, о котором мечтал: интеллигента, умеющего говорить понятным для рабочих языком. Такой непринужденной простоты, такой глубокой, казалось мне, искренности я еще у интеллигентов не встречал.

Уже при первой встрече с ним у нас появилось такое ощущение, что мы были знакомы долгие годы, — до того он показался нам близким и своим.

— Дело освобождения рабочих должно быть делом самих рабочих! — произнес студент Кузнецов, и эти слова остались основным стержнем всей его последующей работы с нами.

Я так сразу и понял, что он пришел не заниматься с нами, а именно работать, перелить в нас частицу своего собственного Я.

Мы все так же работали и праздники и ночи, все так же утомлялись, все так же мучительно хотели

спать, но всякий раз при беседах с ним нас охватывал нервный подъем, сонливость исчезала бесследно, и уже одно это казалось необычайным, противоестественным.

У меня не было зависти к Кузнецову, но страстно хотелось научиться вот так же свободно и сильно управлять всеми клетками мозга рабочих-революционеров. Я негодовал на свою тупость, на свою ограниченность, на свое невежество, из-за которых не сумел одержать победы в идейной борьбе с Александром Петровым. Беседы со студентом Кузнецовым глубоко взбороздили наши мозги, оставили яркий, незабываемый след в нашем сознании.

Зима близилась к концу, завод был завален работой. Но хозяевам невыгодно было расширять его, так как это требовало больших расходов; они предпочитали заставлять рабочих под страхом расчета работать праздники и ночи. По цехам то и дело бегали погонщики — помощник механика, мастера, помощники мастеров и т. д. Меня послали работать на отделку кривошипов для паровой машины, которую готовили для Всероссийской нижегородской выставки 1896 года.

Я работал невдалеке от дверей, которые то и дело раскрывались. Было холодно, но работа согревала, я работал в одной нижней рубашке с засученными рукавами. Слесарный мастер то и дело подбегал ко мне и кричал: «Давай скорей! Давай скорей!» Он был старовер, с длинной серой бородой сосульками, за концы которых всегда дергал, когда сердился. Я работал на самой дороге между станками, и ни разу мастер не прошел мимо меня молча. Моя спина, несмотря на холод, была вся в поту; а он все твердил: «Давай скорей!»

Я обозлился, положил слесарную пилу на кривошип, а сам сел на козлы.

Мастер издали заметил, что я не работаю, и налетел на меня, как коршун. Еще шагов за десять он дергал себя за бороду, кричал:

— Чего сидишь? Работай! Давай скорей!

Он был уже около меня. Я сидел и улыбался. Это его окончательно взбесило. Дергая себя за боро-

ду и тряся головой, он кричал, как будто бы я был от него за версту:

— Что смеешься?! Праганю! Ей-бѳгу, праганю! Побожился — праганю!

Я встал и сам обрушился на мастера:

— Ты напялил на себя кучу теплых одежек, бегаешь по цеху, и тебе холодно, а я в одной рубашке, и она вся мокрая! Я работаю за сорок копеек в день, и зимой, в холод, пот льет с моего лица! Как еще можно работать?!

Мастер не ожидал такой дерзости, растерялся и с невнятным ворчанием отошел прочь, дергая себя за бороду. Но с тех пор перестал на меня кричать. По природе он был человек вообще не злой, сам был слесарем, потом машинистом на пароходе. Старик даже не пожаловался на меня механику. Давая мне второй кривошип, он уже примирительно говорил: «Механик торопит! Машину надо закончить к выставке. Как кончишь кривошипы, я тебя опять переведу на легкую работу наверх; на медные краны. А теперь давай скорее».

Меня не нужно было подгонять. Я гордился, что наша машина попадет на выставку, и мне было лестно, что кривошип, вышедший из моих рук, блестит как серебро.

Приближался май 1896 года. Ввиду усиленной слежки маевка была отложена. Третьего мая по старому стилю был день моего рождения, — он совпадал с моими именинами. Я решил в этот день устроить у себя вечеринку, чтобы ввести в заблуждение сыщиков и жандарма, который так интересовался моей жизнью. Для большей убедительности я поступил своими принципами и купил для товарищей и девушек несколько бутылок вина и немного водки. Из парней были приглашены только свои: Михаил и Александр Замошниковы, Афанасьев, Леонид Лебедев.

Местные парни были сильно раздражены и говорили, что ни одна из девушек на мою вечеринку не пойдет. Они были взбешены, когда на эту вечеринку пришли самые красивые, самые гордые и неприступные девушки, не поддававшиеся местным соблазнительям. Особенно был недоволен модельщик Ларька, ко-



тому не хватало на руках пальцев, чтобы сосчитать девушек, обманутых им. Обманутые девушки делали аборт, рискуя жизнью, или выходили замуж за ничемных парней, за стариков. Сам Ларька женился впоследствии на канавинской проститутке с большим приданым.

Вечеринка началась очень оживленно. Танцы сменялись играми с поделуями. Парни и неприглашенные девушки смотрели в окна и злились. Подсматривание в окна было обычным явлением, но скоро границы были перейдены, стали раздаваться грубые выкрики, стук в окна. Я был возбужден, вышел и резко спросил: «Кто здесь стучит в окна? Может быть, кому срочно нужна повивальная бабка? Я скажу матери, и она сейчас выйдет».

Мои слова встретили молчанием, но хулиганство прекратилось. Хорошенькая соседка, девушка с красивыми серыми глазами, оскорбленно повернулась и ушла. Я не понял причины ее обиды. Мне только после сказали, что она беременна от Ларьки и выходит замуж за старика.

Прошло полчаса. Танцы были в полном разгаре, гармонист показывал свое искусство. Водки и вина было столько, что парни не опьянели, а только разгорячились. Все были оживленны и веселы, танцевали польку. Я не мог танцевать, так как задыхался от большого сердца, но с большим удовольствием смотрел на танцы других. Все уже забыли про хулиганов, как вдруг зазвенели разбитые стекла, мимо голов танцующей пары пролетел кирпич, ударился в стенку печи и раскололся надвое. Мы разом выскочили на улицу, но никого не увидели.

Кто-то крикнул:

— Это Ларька!

Веселье продолжалось до рассвета. Девушки разошлись по домам, а мы стали обсуждать хулиганский поступок. Товарищи непременно хотели отомстить. Я же говорил, что самое лучшее плюнуть на это дело. Товарищи горячились и не хотели меня слушать. В пятом часу утра мы пошли на завод, ни до чего не договорившись.

Волга широко разлилась, залила дорогу, подступила к домам прифабричной слободки. У берега каж-

дое воскресенье катались на лодках. Приходили разряженные девушки и парни, гремела музыка. Лодки поднимались вверх по течению, плыли вперегонки над затопленной дорогой, а потом, соединившись в большой караван, уже по течению спускались до Печёрского монастыря.

В тот день по случаю коронации царя завод не работал. Я с Лебедевым пошел к Афанасьеву договориться насчет катанья. Почти у самого дома Афанасьева стояли привязанные лодки. В одной из них стоял Ларька. Афанасьев вышел из дома с братьями Замошниковыми. Михаил Замошников увидел Ларьку, прыгнул в его лодку и крикнул тому в лицо:

— Ты бросил кирпич в окно Заломова, подлец!

Размахнувшись, он, на глазах собравшейся молодежи, дал Ларьке пощечину. Ларька побледнел, но не сказал ни слова и поплыл прочь от нас.

Под вечер я пошел к Александру Замошникову. Товарищи уже все были в лодке и сообщили мне, что Ларька поставил ведро водки рабочим завода Зобнина, и те выедут на трех лодках с баграми топить нас. Я предложил отменить катанье, но товарищи уперлись и заявили, что если я трушу, то могу не ездить.

— И вы поедете втроем против трех лодок?

— Поедем!

— А что же вы хотите этим доказать?

— Мы докажем, что не трусы.

— И вы думаете, что от этого будет польза для революции?

— Не хочешь, так не езд. Мы поедем одни.

— Ну ладно. Я поеду с вами. Но уж если драться, так драться.

Мы вернулись в дом Саши Замошникова, взяли там два топора и два больших отточенных костыля, которые могли заменить кинжалы, и поехали кататься. Катались на лодках до темноты, но наших «врагов» все не было.

Я спросил:

— Где же зобнинцы?

— Они за Большим Печёрским островом. Хотели заманить нас туда и там утопить.

— Значит, спрятались. Кто же кого боится? Мы их или они нас?

— Надо ехать к ним за остров.

— Ну, уж это будет полнейшим идиотизмом! Ведь мы же не собирались на них нападать? Подумайте-ка, бойцы за революцию, рабочие курбатовского завода, «славные герои» — Замошников Александр, Лебедев Леонид, Афанасьев Николай и Заломов Петр — решили сложить свои головы в бою с пьяными зобнинскими рабочими во имя разбитого о печку кирпича?! Слава о них будет сиять в веках! Мы уже доказали сами себе и всем катавшимся, что мы не трусы и не боимся нападения. Довольно глупостей! Едем к берегу и пойдете в город смотреть иллюминацию.

Казавшееся героическим стало выглядеть смешным и глупым. Товарищи отнесли «оружие» в дом, и мы пошли шататься по городу. После никто не вспоминал об этом случае.

Сыщик Кульбицкий, следивший за нами, сделался чрезвычайно нахален. В столкновениях с Александром Замошниковым он открыто при всех грозил: «И для льва найдется клетка!» Он лез всюду, где были мы.

Однажды в обед, перед свистком с перерыва, мы стояли на деревянной площадке перед заводом и смотрели вниз, где неслись волжские волны. Появился Кульбицкий и начал задирать нас. Обращаясь к Замошникову и Лебедеву, я в шутку сказал: «Будет с ним возиться, товарищи. Бросьте его в Волгу!» Мигом взметнули они его кверху и швырнули в воду, удержав за платье. Поднятый из-за перил и поставленный на ноги, сыщик был бледен, весь дрожал и сейчас же отошел от нас. После этого он стал менее назойлив, но в стенах завода продолжал упорно следить за нами.

ЗНАКОМСТВО С ЖАНДАРМАМИ

1896 год, год Всероссийской нижегородской выставки — памятный год для марксистских организаций Сормова и Нижнего Новгорода.

С небывалым подъемом прошло в сормовском За-
волжье празднование Первого Мая. Под красным зна-
менем собралось до сотни бойцов революционного
марксизма.

Здесь были заводские рабочие, наборщики типо-
графий, были интеллигенты-марксисты, каждое слово
которых мы ловили.

Речи, революционные песни.

Мы были опьянены своей силой, и цель наших
пламенных мечтаний — вооруженное восстание против
царизма — казалась нам близкой.

Эта маевка была нашим триумфом. Но среди нас,
очевидно, был провокатор, и мы жестоко за нее по-
платились. Жандармерия ждала на выставку царя и
с особым усердием искала опасных; нас держали на
мушке, все мы были выслежены. Наша организация
почти вся целиком очутилась в тюрьме.

Меня и немногих других оставшихся на воле му-
чила совесть, было чувство какой-то вины перед те-
ми, которые оказались за железной решеткой. Что
они будут думать о нас? А вдруг у них возникнут
сомнения, подозрения об измене? И от этой мысли
краска стыда заливала лицо, шею, уши. И мы кля-
лись! Клялись без слов, — мы видели эту клятву в
глазах друг друга, чувствовали ее в крепких рукопо-
жатиях: надо работать, надо заменить тех, которые
вырваны из наших рядов.

...В цех является жандарм, подходит к моим ти-
скам и властно бросает:

— К двенадцати часам явись к жандармскому
полковнику в Грузинский переулок.

Подробно расспрашиваю адрес, нарочно застав-
ляю жандарма несколько раз повторять одно и то
же. Иду домой. Дома прежде всего тщательно изучаю
свое лицо перед зеркалом. Я беру голландской сажи
с маслом и мажу себе лицо, сознательно сгущая кра-
ски, пачкаю сажей руки. Перемена разительная.
Сжимаю пальцами нос, пальцы, естественно, отпеча-
тались на ноздрях. Запихиваю глубоко в нос по ма-
ленькому кусочку грязной ваты, дыхание сильно за-
трудняется, полуоткрывается рот, и я уже не могу
держать его закрытым. Из зеркала на меня смотрит...

придурковатое лицо. Теперь я вполне доволен и в своем промасленном, заплатанном и грязном костюме иду на первое свидание с жандармским полковником Кузубовым.

Жандармы обыскивают меня и пропускают в кабинет полковника. Крупная, массивная фигура, большая голова, белое, полное, красивое лицо, большие черные пронизательные глаза. На столе лежит револьвер. «Ага! Значит, боишься». В голове мелькает мысль: «Это он бросил в тюрьму всех моих товарищей». Волна слепой ярости поднимается в глубине сознания.

Полковник холодно говорит:

— Подойди ближе! Садись сюда!

Я робко подхожу, нерешительно останавливаюсь около стула. И снова раздается холодный, спокойный голос:

— Садись на стул!

Я неуверенно сажусь на самый кончик стула.

— Пододвинься ближе! — Я чуть подвинулся. — Еще ближе! К самому столу! — Я подвигаюсь еще и упираюсь животом в доску стола.

Полковник молча смотрит мне в глаза.

— Ты знаешь Нину Алексеевну Рукавишникову?

Я шмыгаю носом и вытираю его указательным пальцем правой руки.

— Не знаю. Не слышал такой фамилии.

Полковник откидывается назад, вливается в меня взглядом.

— Вот она! — На стол ложатся карточки той, которая знакомила нас с учением Маркса и Энгельса. Я наклоняюсь и рассматриваю.

— Знаешь ее?

— Нет, не знаю, никогда не встречал.

Снова холениое лицо наклоняется ко мне, и большие черные глаза стремятся заглянуть в глубину моего сознания. Но я уже убедился, что моя маска непроницаема.

— Александра Замошникова знаешь?

— Знаю. Он работает в модельной, недалеко от моих тисков.

Полковник цедит:

— Ты ходил с ним по вечерам осенью 1894 года на Ковалихинскую улицу к Нине Алексеевне Рукавишниковой изучать преступное учение Маркса?

— Так я же вам сказал, что никакой Рукавишниковой не знаю! Ведь если бы я к ней ходил, то как же бы я мог ее не знать? А с Сашей Замошниковым я ездил по субботам за Волгу на ночь ловить рыбу,— у него есть лодка.

— Николая Афанасьева знаешь? — Снова мне предъясняется карточка.

— Знаю. Он болторез, на тисках рядом со мной работает.

— Студента Марышева, сына парикмахера, знаешь? Вот он!

Новые карточки падают на место убранных. Я совершенно равнодушен. Марышев для меня не существует, но я внимательно рассматриваю его карточки и, вытерев нос, вяло отвечаю:

— Не знаю.

— Нет, ты его знаешь!

— Откуда же я могу его знать? Я ведь не студент и не парикмахер, а рабочий.

— Ты ходил к Николаю Афанасьеву осенью 1895 года с Александром Замошниковым, а студент Марышев читал вам «Коммунистический манифест».

— Нет, я к Николаю Афанасьеву не ходил, а вот когда был именинник, то нанимал его к себе на вечеринку играть на гармонии, и это было не в 1895 году, а в 1896 году, 3 мая.

— Студента Кузнецова знаешь? Вот его карточки.

— Не знаю. Я же вам сказал, что я рабочий. Откуда я могу знать студентов? Студенты на заводе не работают.

— Ты был членом преступного кружка, в котором занимался студент Кузнецов.

— Я не член, а слесарь и работаю на заводе Курбатова. Что за преступные кружки бывают, не знаю и прошу вас, ваше благородие, меня отпустить, а то скоро гудок, я опоздаю на работу, и мастер будет меня ругать.

— Можешь идти,— неожиданно закончил вопрос полковник.

Я вышел из кабинета, но жандармы не хотели верить, что полковник отпустил меня, и разрешили идти лишь после того, как получили приказание от него самого.

Я слышал и раньше, что студенты Марышев и Кузнецов, не выдержав одиночного заключения, выдали всех рабочих, с которыми сами же занимались; теперь я убедился в этом сам. Шевельнулось гадливое чувство по отношению к Марышеву и Кузнецову. Кузнецова мы особенно ценили. В его кружке были Николай Афанасьев, Александр Замошников, Леонид Лебедев, Григорий Козин и я.

Кузнецов ярко и увлекательно излагал нам основы учения Карла Маркса, и мы не сомневались в его искренности. Сын богатого купца, он сам предупредил нас, что единственным революционным до конца классом является пролетариат, а либерально-буржуазная интеллигенция изменит, предаст нас.

— Вот к вам идут сейчас студенты, курсистки, инженеры, чиновники, всякие служащие, гимназисты, но я убежден, что большинство из них предадут вас, как только вы шагнете дальше того предела, который намечен ими как конечная цель. Они хотят завоевать власть с помощью пролетариата, а если пролетариат одержит победу — сделаются вашими злейшими врагами.

Эти прямые слова заставили с еще большей силой верить Александру Кузнецову. И вот все эти слова подтверждались на примере его самого, оказавшегося изменником! Разочарование в интеллигенции было тяжелым ударом для нас. Думалось: уж если он не выдержал, он изменил, то другие тем более изменят. Надо самим учиться, самим организовывать пролетарские массы.

Очень быстро и больно пришлось нам ощутить отсутствие интеллигенции. Когда я пришел на завод из жандармского управления, то все от меня отшатнулось, как от зачумленного. Даже некоторые члены нашей организации — рабочие лет сорока — сорока пяти, «старики», как мы их называли, были настолько терроризированы, что не решались заговорить со мной. Учиться? Но чему, как? Стал брать из народной библиотеки книги и в немногие свободные вечера

перечитал Диккенса, Золя, Виктора Гюго. Времена были трудные, не было никакой политической литературы, не осталось товарищей, в пятнадцати шагах от меня работал сыщик Кульбицкий. Особенно же не доставало тех маленьких книжечек, которые так жадно читала молодежь.

СНОВА В ОРГАНИЗАЦИИ

Молодежь понемногу начала по отношению ко мне «оттаивать». С некоторыми я иногда удил рыбу, давал читать легальные книги: «Спартак» Джованьоли, «Углекопы» Золя, «Кола ди Риэнци» Бульвера, «Через сто лет» Беллами, беседовал с молодежью. Но тут началась травля со стороны помощника механика, со стороны мастера, прямые угрозы увольнением. Сыщик доносил, что вокруг моих тисков собирается молодежь, помощник механика ругал меня лодырем, грозил выкинуть с завода.

Так тянулось до весны 1897 года. В один из вечеров, после окончания работы, у ворот завода меня встретил Василий Александрович Ванеев *, мой бывший школьный товарищ. О Ванееве я слышал как о революционном работнике и отнесся к нему с полным доверием. Через него я познакомился с Зинаидой Павловной Невзоровой, а та познакомила меня со своей сестрой Софьей Павловной Невзоровой-Шестерниной.

Сестры Невзоровы произвели на меня ошеломляющее впечатление. Молодые, красивые, жизнерадостные, яркие, смелые, умные и образованные, они были совершенно не похожи на тех женщин, с которыми мне до сих пор приходилось сталкиваться. Предательство Марышева и Кузнецова сделало меня недоверчивым к интеллигенции, но в этих девушках не было никакой фальши, никакой неискренности. И все же возникали сомнения. Чего им надо? Зачем они идут к нам? Я бы, пожалуй, скорее им поверил, если бы они были менее привлекательны, если бы они были некрасивы. Со стороны красивой девушки-работницы увлечение революционной борьбой было бы для меня

понятно, так как она несет ту же долю, что и рабочий. А интеллигенция?

Мы, молодежь, меж собой говорили: «Все мы погибнем в борьбе, но наши внуки завоюют конституцию и свободу». Нам казалось, что рабочий класс в России победит только тогда, когда вырастет и количественно и политически и будет иметь такую же мощную рабочую партию, как в передовых европейских странах. Что же касается эпохи диктатуры пролетариата в России, то мы даже и не мечтали дожить до нее. Ясна нам была и роль крестьянства. Мы понимали, что без помощи крестьянства рабочие победить не смогут, а поэтому имеющие связь с деревней вели пропаганду и среди крестьян.

Моя сестра, жена Козина, Анастасия Андреевна вела пропаганду среди крестьянской молодежи, и в ее доме, в селе Печёрах, собиралось человек по двадцать крестьянских парней. Григорий Иванович Гаринов по большим праздникам ездил в деревню Ленково Макарьевского уезда, где агитировал крестьян. Его старший брат, крестьянин Степан Иванович Гаринов, за агитацию среди крестьян был арестован и, просидев три месяца в тюрьме, в одиночном заключении, сошел с ума.

У нас; молодых рабочих, был уговор вести революционную пропаганду в армии, когда заберут в солдаты. Такую пропаганду среди солдат вел мой брат Александр Андреевич Заломов, пробывший в царской армии пять лет. За такую пропаганду попал в дисциплинарный батальон взятый в солдаты после отбытия административной высылки Михаил Николаевич Замошников.

Но отношение к интеллигенции было куда менее ясным. Студент Кузнецов все разворагал, все спутал в наших представлениях об интеллигенции, посеял тревогу. Мысль о неизбежности предательства либерально-буржуазной интеллигенции так глубоко вгрызлась в мозг, что соображение об исключениях как-то не укладывалось в голове. Только одна гарантия казалась теперь надежной — классовая ненависть. А сестры Невзоровы? Какая у них может быть ненависть к своему собственному классу? Тут даже у «стариков» руки опустились, а эти девушки заводят связи

с рабочими, смеются, как будто чай с конфетами пьют... И на что они надеются? Разве не знают, что их ждет тюрьма, ссылка, смерть? Как тех, почти легендарных, Софью Перовскую и Веру Фигнер?..

А может, их подослал тот толстый жандармский полковник Кузубов?..

Но нескольких встреч оказалось достаточным, чтобы все мои подозрения рассеялись, как туман при лучах яркого солнца. Все мое существо ликовало, смеялось, пело. Настоящие! Настоящие! Вот какие бывают люди! Вот какие бывают женщины! Я восхищался, и чувство враждебного недоверия сменилось восторженной благодарностью. Значит, они за пролетариат!

Я поверил этим необычным женщинам. И когда сестры Невзоровы предложили мне собрать уцелевших после провала, то я сделал это без всяких колебаний. Окончилось скучное существование. И нас совсем не смущала наша малочисленность. Прежде всего я порадовал появлением новой интеллигенции котельщика Курбатовского завода Григория Яковлевича Козина. Он тоже уцелел. Болезнь в раннем детстве изуродовала его лицо, вдавила переносицу и опустила веки; безобразили лицо и толстые синие губы. И только выщипанные кольцами золотые волосы были красивы. Он был одним из лучших агитаторов и действовал на рабочих, как дрожжи на тесто.

Куда попадал Козин, там начиналось брожение, а то и стачка возникала. Его собственные глаза плохо раскрывались, но он мастерски раскрывал глаза другим, пользуясь легальными книжками, а особенно сказкой Толстого об Иване-дурачке. В его изложении сказка становилась неумолимо разящим оружием, направленным против самодержавия, помещиков и капиталистов. Совершенно забывалась его непривлекательная внешность, когда с ядовитым презрением к человеку «чистому» он, захлебываясь от смеха, говорил: «а мы... работаем больше горбом!»

Козин привел котельщика Василия Ивановича Замошникова, двоюродного брата арестованных Александра и Михаила Замошниковых. Василий Иванович Замошников, весь заросший большой черной бо-

родой, был значительно старше нас, не отличался большой грамотностью, но, единственный из «стариков», он без всяких колебаний присоединился к нашему кружку.

Первое собрание назначено было в воскресенье на Моховых Горах, куда мы приехали на лодках с разных сторон. Сестры Невзоровы приехали с Василием Александровичем Ваневым. Как истинные нижегородцы, мы пили чай из большого закопченного чайника, привезенного Козиным. Кругом шумели сосны и ели, потрескивал костер, а за широкой Волгой чуть виден был приземистый Курбатовский завод. Он казался какой-то грязной норой, и не верилось, что именно там проходит большая часть нашей жизни, что там, прячась от солнца и свежего воздуха, мы проводим часто по шестнадцати часов в сутки.

Завязалась беседа, мы рассказали про завод, про настроения рабочих: рабочие перестали пугаться, появляется спрос на литературу, только литературы нет... Сестры Невзоровы поставили вопрос о развертывании революционной работы в Сормове. Василий Иванович Замошников сообщил, что токарь Михаил Михайлович Громов также уцелел от ареста и работает на маленьком заводике недалеко от села Бор. По предложению Невзоровых было решено перебраться в Сормово Громова. Зинаида Павловна поручила мне разыскать Громова и привести его на следующее собрание.

В следующее воскресенье я с раннего утра отправился на Бор, разыскал квартиру Громова, но самого его не застал, — он работал на заводе. Побеседовав с его женой, я попросил ее передать мужу, что я приду в понедельник вечером. Мое появление на другой день привлекло внимание соседок, которые при мне с двух сторон начали кричать:

— Кто это, Дуня, к вам все ходит?

— Это мой модный, — игриво ответила находчивая жена Громова.

На этот раз я Громова дождался, мы побеседовали за чаем о разных пустяках, а потом он пошел

меня провожать. Внимание соседок было, вероятно, неспроста. Дорогой я рассказал ему о цели своего прихода, он согласился вступить в кружок и перейти на работу в Сормово.

Другого ответа я и не ожидал. Сын чернорабочего, токарь Громов вступил в марксистскую организацию на заводе Курбатова еще в 1891 году. Это он в семнадцать лет во время ледохода героически переправился через Оку на ботнике. Ботник был раздавлен льдом; сам Громов очутился в ледяной воде; перепрыгивая с льдины на льдину, он еле-еле выбрался на берег на Стрелке и, измученный борьбой со стихией, бежал, напрягая все силы, к дому инженера Канавинского химического завода Круковского *, желая спасти его от жандармов, которые с прокурором и жандармским полковником требовали спасательную лодку, чтобы переехать через Оку. Громов опоздал. Он прибежал тогда, когда инженера уже уводили жандармы, и самому Громову пришлось спасаться от преследования, от пуль стрелявших жандармов. Он избежал ареста, только спрятавшись в одном из пустующих ярмарочных помещений. Это Громов хватал сыщиков на Большой Покровке ночью за горло, бил их на глазах полиции и скрывался! Это он среди бела дня спускал сыщиков с Откоса! От такого члена подпольной рабочей организации я не мог ожидать отказа.

Следующее собрание уже состоялось с участием Громова; он подтвердил свое согласие на переход в Сормовский завод.

Сестры Невзоровы объяснили нам, как надо строить организацию, чтобы она не сделалась легкой добычей жандармов, как это было в 1896 году. Ими была предложена такая конспиративная схема: организуется основное ядро — десяток самых стойких и проверенных товарищей. Каждый из этих товарищей, в свою очередь, создает свой самостоятельный десяток, воспитывает его членов в марксистском духе, закаляет их, делает способными создать новые десятки. О центральном десятке должны были знать только члены этого десятка. Тот же принцип необходимо было соблюдать и в следующих десятках.

Центральный кружок должен был знать о всех кружках и членах кружков периферии, но члены этих последних должны были знать только членов своего кружка, в который они входили, и членов того кружка, который они сами организовали. При такой системе жандармы не могли уничтожить всю организацию; в худшем случае провал ограничивался тем десятком, в который попал провокатор.

Эта система и была применена мною, когда я перешел на Сормовский завод с завода Доброва и Набгольц. Так же организовал в Сормове кружок Григорий Иванович Гаринов.

Зинаида Павловна обучила меня шифру и, когда требовалось, посылала мне по почте газету «Нижегородский листок», на котором шифром был нанесен требуемый текст. Связующим звеном был Ванеев, в квартире которого я несколько раз встречался с Софьей Павловной Невзоровой. Зинаида Павловна буквально «натаскивала» меня в конспирации. Наши часы были выверены до минуты. Я встречался с ней в условленных местах на улице, не останавливаясь, не здороваясь, не оглядываясь, и мы лишь обменивались несколькими словами о времени и месте собрания или встречи. Она приучила меня к педантической точности, от которой я и теперь никак не могу отучиться. Иногда я быстро, почти не останавливаясь, бросал в ящик парадной газету с шифром, звонил и уходил.

К дому Невзоровых был приставлен постоянный сыщик, ночной сторож, который стоял на другой стороне улицы. Как ни быстро совад я газету и дергал звонок, но один раз он или заметил это, или уловил звук колокольчика, и начал кричать, чтобы я дожидался, пока откроют двери. Я, конечно, ни на мгновение не задержался и, быстро завернув за угол, стал уходить в поле, а он все спешил за мной и орал: «Господин! Господин! Вы звонили! Куда же вы? Вы дожидайтесь, когда вам откроют!» Он воображал, что я обернусь и покажу ему свое лицо. Я шел быстро, крик стал стихать, а потом и совсем умолк. Очевидно, он подумал, что я умышленно хочу увести его от дома, и побоялся идти за мной в поле.

Встречался я по вечерам с Зинаидой Павловной еще в Телячьем переулке, в квартире двух марксисток-портних. Дело кончилось арестом этих портних, и однажды, когда я пришел в условленное время, меня пытались задержать трое сыщиков, от которых я ушел гимнастическим шагом, не показав своего лица. Они могли после сказать только, что приходил высокий, черный; этого высокого, черного разыскивали жандармы, тщетно пытались узнать его имя от арестованных портних, которые оказались куда более стойкими, чем высокообразованные студенты Марышев и Кузнецов.

Летом на Моховых Горах была проведена массовка, на которой интеллигенции собралось больше, чем нас, рабочих. Присутствовали Василий Алексеевич Десницкий, Мария Петровна Иваницкая, Ванеев и другие.

Осенью стали собираться на Набережной улице, в квартире Анны Михайловны Весовщиковой, моей двоюродной сестры. Громов бывал редко, но прибавился еще один рабочий, столяр Григорий Иванович Гаринов, муж моей старшей сестры, работавший в то время на заводе Доброва и Набоголец. Это тот самый Гаринов, которого в свое время «мобилизовала» моя мать, чтобы он меня отговорил от революционной работы. Он был на пятнадцать лет старше меня, и все же уговорил не он меня, а я его. Для нас Гаринов был большим приобретением. Этого упрямого человека убедить было очень трудно, но, раз убедившись, он стал настойчиво убеждать других в необходимости борьбы против царизма и капитализма. В столярном цехе, где большинство было из деревни, он создал целую группу.

Впоследствии я убедил Гаринова перейти в Сормово, где он вместе с Громовым много сделал для укрепления сормовской организации еще до моего перехода туда. Он тоже прошел школу сестер Невзоровых, которые, по существу, после провала 1896 года и создали первоначальный, основной костяк сормовской организации.

В соединении с настоящими революционными марксистами, какими были сестры Невзоровы, мы почувствовали себя большой силой. Я тогда еще не знал, что они были членами первого ленинского петербургского кружка, не знал о деятельности Ленина, но, сопоставляя их с другими интеллигентами, пришел к заключению, что они и есть те самые лучшие из интеллигенции, о которых говорил Маркс.

Таких интеллигентов мы крепко любили, восторгались ими, считали героями. Роль революционной марксистской интеллигенции в деле победы рабочего класса была громадна. Вот я уже подхожу к концу жизни, но и теперь письма от тех марксистов-интеллигентов, которые до конца остались верны делу пролетарской революции, делу Ленина, делу партии, являются для меня праздником. Общение с сестрами Невзоровыми и другими подобными им революционными марксистами делало нас более сильными, развивало нас, укрепляло, закаляло. Сестры Невзоровы оказали большое влияние не только на рабочих, но и на интеллигенцию, на сестер Иваницких, на Василия Алексеевича Десницкого (Строева) *, который работал с нами после их отъезда. «Мне сказали: дерзай, чадо! И я дерзнул», — рассказывал мне Василий Алексеевич.

На меня лично сестры Невзоровы оказали громадное влияние. Именно от них получил я окончательную революционную ленинскую закалку. С собраний, происходивших в квартире Анны Михайловны Весовицкой, на которых присутствовали сестры Невзоровы, я уходил с большим подъемом... Особенно сильное впечатление произвели на меня рассказы о массовой борьбе английских, бельгийских и германских рабочих, борьбе, переходившей во всеобщие стачки. Мне всегда казалось, что от всеобщей стачки до вооруженного восстания только один шаг, и я был убежден в неизбежности и близости этого восстания.

Собрания наши оканчивались обычно поздно ночью. Возвращаясь домой в одиночестве, я от восторга уже не мог сдерживать своих чувств, и если бы кто-нибудь мог наблюдать, то, наверно, принял бы меня за безумного. Я чувствовал в себе что-то огром-

ное, распиравшее грудь. Я почти физически видел необозримые колонны мирового пролетариата, идущего в свой последний бой, слышал их железный топот и испытывал необычайное, ни с чем несравнимое наслаждение. Я радовался, что не родился в богатой семье, что испытал всю тяжесть нищеты и эксплуатации, что с чистым сердцем могу бороться за величайшее дело и счастье всего трудового человечества и повести рабочих на революционное восстание.

Софья Павловна Невзорова однажды предложила мне оставить работу на заводе, подготовиться и поступить в среднее техническое училище при Нижегородском реальном училище. Она говорила, что со мной будут заниматься, мне будет дана материальная и испытывал необычайное, ни с чем не сравнимое наверху счастья, если бы это предложение пришло ко мне до знакомства с идеями Маркса, но теперь меня влекло уже другое, и я отказался. Софья Павловна никак не могла понять моего отказа: я объяснил, что не хочу отрываться от рабочего класса, что мастеров, инженеров и техников рабочие ненавидят, так как они являются орудием в руках эксплуататоров.

Как-то Зинаида Павловна Невзорова спросила меня: какую цель в жизни я ставлю перед собой? Я ответил, что хочу выковать двух таких же революционеров, как я сам. Она улыбнулась. Больше этого вопроса она уже не повторяла. Но когда мы с ней прощались перед ее отъездом к своему жениху Глебу Максимилиановичу Кржижановскому в Минусинск Енисейской губернии, то я хотел еще большего. Я мечтал о переходе в Сормово, о создании там крепкой революционно-марксистской рабочей организации, которую не смогли бы выловить и сломить никакие жандармы, которая могла бы повести рабочих на вооруженное восстание.

ЗАБАСТОВКА НА ПАРОХОДЕ

В начале 1898 года я был уволен с завода Курбатова. Тщетно пытался я поступить на какой-нибудь завод, меня нигде не принимали. Тогда я решил посту-

пить на ремонт одного из пароходов в Муромский затон.

Мне повезло, и я был принят слесарем на буксирный пароход купца Вагина. Пароход был старый, расхлябанная машина требовала капитального ремонта: расточки цилиндров, проточки поршней, шеек валов и других сработавшихся деталей. Заводы за ремонт брали дорого, а поэтому опытный и расчетливый хозяин предпочел набрать больше рабочих, руки которых должны были заменить все заводские станки.

Пароходное начальство состояло из хозяйского приказчика и машиниста парохода. Машинист поручил мне работу над коленчатыми валами, которые я должен был заново отшлифовать, а главное — выточить их сработанные шейки по калибру с точностью токарного станка. Сработанность доходила до шести миллиметров, и шейки представляли собой уже не правильные цилиндры, а сплюснутые; этот дефект я должен был устранить с помощью слесарного напильника.

Когда я закончил свою работу над валами, машинист произвел самую тщательную проверку диаметра шеек с помощью раздвижного калибра и вместо пятидесяти копеек, которые я получал на заводе, назначил мне самую высокую плату — рубль двадцать копеек в день.

Я переходил с одной работы на другую, работал то на тисках на палубе парохода, под брезентовым навесом, то в машинном отделении. Работа начиналась с пяти часов утра и с перерывами на завтрак и обед длилась до семи часов вечера. Все мы работали с напряжением всех сил.

В машинном отделении парохода стояла вода, покрытая коркой льда. Лед ломался под нашей тяжестью, и ноги у нас все время были мокрые. Утром сапоги замерзали, и ноги коченели. В жарко натопленной зимовке во время завтрака я топал ногами об пол целые полчаса, чтобы их согреть. После завтрака становилось теплее, и ноги уже не так мерзли.

В зимовке во время завтрака и обеда набиралось сорок пять человек рабочих. У входа, по обе стороны

двери, были устроены две крохотные каморки для машиниста и приказчика. Часть рабочих работала в кузнице и в медной мастерской, часть на тисках в зимовке, и большая часть слесарей на пароходе.

Две новые пружины для цилиндров были отлиты и выточены на заводе, но диаметр их оказался больше, чем следовало, и их после обточки на токарном станке пришлось опиливать слесарной пилой по скобке. На каждый цилиндр было поставлено по два человека. Со мной в паре работал такой же молодой и длинный парень, как и я.

Прежде всего пришлось с помощью крейцмесселя и зубила срубить тринадцатимиллиметровую заготовку, вслед за которой диаметр цилиндра расширился на двадцать шесть миллиметров. Всего уже диаметр цилиндра был в середине, расширяясь раструбами к концам. Пробовали мы пилить внутренние стенки цилиндра старыми напильниками — «карасиками», но они быстро «сели», как от наждачного точила. Пришлось ограничиться резками. Резок у нас была целая куча, но ртути для их закалки не было; при закалке мы цементировали их калийной солью, и все же они быстро тупились, и нам то и дело надо было бегать в кузницу для точки. Машинист и приказчик начали посматривать на нас косо, старые слесари нас ругали, что мы не работаем, а только бегаем.

Мы дюйм за дюймом забивали кувалдой пружину в цилиндр, слегка смазывая его разведенной в масле голландской сажой, и, налегая что было сил, с остервенением скоблили крепчайшую поверхность чугуна, но она поддавалась очень туго.

На втором цилиндре работали два пожилых слесаря. Они были значительно меньше нас ростом, им удобнее было работать в тесном цилиндре.

Оба мы сидели в цилиндре друг против друга. Нам очень мешали длинные ноги, и мы не знали, куда их девать, а надо было дать полную свободу рукам и найти место поставить свечку, без которой невозможно было бы работать.

По моему предложению мой товарищ клал свои ноги мне на плечи, мои ноги попадали на его бедра. Мы принимали самые разнообразные и причудливые

позы и были скорее похожи на двух клоунов в бочке с одним дном, чем на слесарей. Но мы спешили и упорно дюйм за дюймом двигали к концу цилиндра поршневую пружину, расчищая ей путь резками.

Мы прищабрили резками по поршневой пружине весь цилиндр на три дня раньше старых слесарей и перешли на другую работу. Но мы не радовались своей победе, а жалели, что они от нас отстали.

С наделки подшипников, где я работал, меня перевели на ремонт поршня и поставили в пару с другим слесарем. Поршни цилиндров и поршневые крышки так же сработались, как и другие детали машины. Между яблоками пришлось вырубать металл на тринадцать миллиметров глубиной. Предохранительных очков не было, а стружка соседа летела в лицо.

На третий день рубки, в субботу утром, стружка поранила мне радужную оболочку правого глаза и осталась в нем. Глаз начал слезиться, но мне не хотелось терять рубль двадцать копеек, и я продолжал работать, намереваясь идти в больницу в воскресенье утром. Проработал до обеда, а потом и до вечера. Глаз мой заплыл, и я решил ехать в город, так как к этому времени лодочники начали уже перевозить пассажиров между плывущими льдинами. В амбулаторию больницы я мог идти только в воскресенье утром, вечером приема больных там не производилось.

Я понимал, что ждать дольше нельзя и решил идти прямо к доктору Золотницкому*, который славился своей либеральностью и квартиру которого я знал. Он жил на Большой Покровке. Добрался я до него, когда уже стемнело.

На мой звонок открыла дверь домашняя работница. Войдя в переднюю, я попросил доложить доктору, что к нему пришел за помощью рабочий, которому попала в глаз металлическая стружка. Девушка прошла во внутренние комнаты, закрыв за собой двустворчатую дверь. Я слышал, как она тихо что-то говорила, но не мог разобрать слов. В ответ послышался недовольный женский голос:

— Я же тебе сказала, чтобы ты никого не впускала. Ведь ты же знаешь, что барину надо ехать в го-

сти. Поди скажи, что барина нет дома и он придет не раньше двенадцати часов ночи.

Девушка вышла ко мне и передала слова барыни, которые я уже слышал. Я сел на стоявший около стола табурет и спокойно ответил ей:

— Хорошо. Я буду ждать его здесь.

Девушка ушла. Я слышал отдельные голоса, слышал мужской голос, но слов разобрать не мог. Я сидел и терпеливо ждал.

Прошло более пяти минут, и девушка вновь ко мне вышла.

— Барин уехал в гости, а из гостей поедет в клуб и вернется поздно,— сказала она.

Я все так же спокойно ответил:

— Хорошо. Я буду ждать его здесь до утра, и если понадобится, буду ждать до следующего вечера, но уйти не могу. В моем глазу сидит чугунная стружка. Глаз весь заплыл, и я могу потерять зрение.

Девушка ушла и больше не показывалась. Я ждал не менее десяти минут. Разом открылись обе двери. Я увидел высокого красивого мужчину с бородой и услышал одно слово:

— Пожалуйста.

Я прошел за врачом через большую комнату с паркетным полом и вслед за ним вошел в большой, богато обставленный кабинет. Там я увидел нарядную даму и понял, что это супруга врача.

На столе стояла большая лампа «молния». Врач попросил принести вторую лампу. Дама ушла и принесла вторую лампу, такую же, как и первая. Меня попросили сесть. Врач стал готовить инструменты. Обращаясь ко мне, он сказал:

— Вам надо бы прийти завтра утром. При искусственном освещении трудно что-нибудь рассмотреть.

— Но в моем глазу сидит чугунная стружка! — сказал я. — Он и сейчас уже весь заплыл! Если бы я пришел к вам завтра, то вы сказали бы мне, что теперь уже слишком поздно, что я должен был прийти вчера, что мне нужно ложиться в больницу. А я должен каждый день работать, чтобы жить и кормить свою семью.

Осмотрев глаз, врач согласился, что медлить с операцией нельзя. Он пустил мне в глаз каких-то ка-

пель. Дама подошла сзади, взяла меня обеими руками за голову и крепко прижала ее затылком к своей груди. Врачу над моим глазом пришлось поработать немало. Он ковырял в нем какой-то прямой тонкой иглой, несколько раз переставлял лампы, смотрел в глаз через лупу и снова ковырял, говоря даме, что еще не все.

Я знал, что чугунная стружка самая каверзная, что она отламывается маленькими кусочками, и терпеливо сидел как каменный.

Врач извлек стружку и рекомендовал мне не снимать несколько дней повязки с глаза. Я заплатил три рубля, поблагодарил врача и пошел домой. В воскресенье я обегал много магазинов, намереваясь купить защитные очки, но нигде не нашел их. Купил в аптеке свинцовой примочки и целый день примачивал свой глаз, стараясь быстрее ликвидировать воспаление.

В понедельник я вновь переправился через Волгу на лодке и, сняв повязку с глаза, стал на работу. Я проработал благополучно два дня, а на третий день мне вновь попала стружка в радужную оболочку правого глаза. Я на этот раз не стал долго дожидаться и, заявив о случившемся хозяйскому приказчику, отправился на Жуковскую улицу в Мартыновскую больницу, где мне извлекли стружку.

После этого я решил не возвращаться на работу без предохранительных очков, обегал весь город, но смог разыскать их только на Нижнем Базаре у английской фирмы «Баллод». Когда я снова стал на работу, я наслаждался чувством безопасности. Моя борда была залеплена стружкой соседа, который не умел беречь товарища. Стружка изредка больно била в лицо, рассекая кожу, но я знал, что глаза мои надежно защищены. Такова была «техника безопасности» в старорежимной России.

Ночевали мы в зимовке, и мне каждую ночь приходилось сгибаться под прямым углом, около конца верстака на полу. Я подстилал под себя захваченный из дому мешок, а сверх полена клал под голову свой ватный пиджак. Согнутое положение в течение ночи меня сильно утомляло.

Но вот зимовку разобрали и увезли, и мы остались на пароходе. Теперь мы должны были ночевать на

холоде и пить холодную воду, так как негде было согреть чай. Когда мы жаловались на это, приказчик заявлял, что речная полиция запрещает разводить на судах огонь.

Однажды, когда наступил перерыв для завтрака, я предложил идти пить чай к перевозу в трактир. Дорогой я говорил рабочим об эксплуатации рабочего класса капиталистами и о той борьбе, которую ведут против капиталистов рабочие всех стран. Рассказывал о стачечной борьбе, которая происходит и у нас, в России. Напомнил, что купец Вагин, у которого мы работаем, самый злостный эксплуататор, что он за буксирование барж будет брать большие деньги, а нам платит гроши. Он загнал нас в темное помещение, как скот, не дает нам даже соломы для подстилки и заставляет спать вповалку на грязном, дырявом, холодном полу.

Я говорил, что мы работаем с пяти часов утра и до семи часов вечера, тогда как на заводах работают с семи часов утра и до семи вечера, а платят нам меньше, чем платят на заводах за постоянную работу. Я предложил объявить забастовку и выставить требования об уменьшении рабочего дня, прибавке жалования на двадцать процентов, о предоставлении теплого помещения для сна и кипятка для чая.

Несколько человек было подготовлено мною раньше, а поэтому предложение объявить забастовку было принято. В трактире мы просидели несколько часов, беседовали, пили чай, закусывали. Я говорил товарищам, что забастовка наша будет выиграна, так как рабочих рук теперь нет, хозяин платит нам меньше сорока рублей в день, а от простоя парохода он каждый день будет терять сотни рублей.

Придя на пароход, мы заявили приказчику свои требования.

Приказчик принял наши требования, как вполне обычные, и сказал, что при первой же возможности пароход будет уведен на Софроновскую пристань, и обещал передать наши требования хозяину.

Из-за плохой одежды я не решился оставаться на пароходе и заявил приказчику, что хотя нам поденную плату и увеличили, я все же работать не буду, пока пароход не переведут ближе к городу, так как

рисковать своим здоровьем из-за каких-нибудь десяти-пятнадцати дней работы не стану.

Я переправился через Волгу на лодке и пошел домой. Дня через три-четыре мне сказали, что пароход стоит повыше Красных казарм, и я пошел на работу. Войдя на пароход, я узнал, что стачка выиграна и хозяин прибавил всем по двадцать копеек в день, но что машинист на меня сильно зол за то, что я остановил на несколько дней работу.

Вскоре вышел на палубу машинист, потом вышел приказчик и сам хозяин, купец Вагин. Я заявил, что узнал о переводе парохода к городу и явился на работу. Товарищи оказались правы: машинист стал доказывать хозяину, что главным виновником стачки являюсь я, и настаивал на моем увольнении с работы как опасного агитатора.

Я был удивлен. Еще больше я был удивлен, когда приказчик, которого я считал хозяйской «собакой», начал меня горячо защищать как добросовестного, трезвого и очень хорошего работника.

Победа осталась на стороне машиниста: хозяин возвратил мне паспорт и выдал заработанные мной деньги.

После этого, обращаясь ко мне, он спросил:

— Как твоя фамилия?

Вопрос был ненужным, так как он только что держал в руках и рассматривал мой паспорт, а поэтому я не ответил. Тогда он обратился с тем же вопросом к приказчику и машинисту, и последний поспешно ответил:

— Его фамилия Заломов.

Хозяин вынул записную книжку и записал мою фамилию.

После этого я сам задал ему вопрос:

— Как твоя фамилия?

Он тоже не ответил. Обращаясь к рабочим, я спросил:

— Как фамилия хозяина?

Кто-то ответил: «Вагин». Я вынул карандаш, клочок бумаги и записал.

Маневр хозяина с записью моей фамилии я принял за простую демонстрацию, чтобы запугать рабо-

чих, хотя не была исключена возможность, что разозленный купец пожалуется на меня жандармам и полиции.

В ПЕРМИ

Купец Вагин недаром записывал мою фамилию; меня никуда не хотели брать на работу. Для меня было ясно, что жандармерия поставлена в известность об организованной мною стачке и запретила принимать на работу.

Тщетно пытался я куда-нибудь поступить. Я видел, как брали на работу других, но мне неизменно отвечали, что работы нет. Меня не покидала надежда, и я обращался к различным административным лицам одного и того же завода, но ничто не помогло, и я окончательно убедился, что отказы мне в работе не являются случайностью, что работы в Нижнем Новгороде мне не найти. Я решил уехать куда-нибудь подальше, где меня не знают.

Вскоре приехал из города Перми Иван Павлович Ладыжников *, который стал мне дороже родного брата. Как и за мной, за ним тоже следили. Нужна была строгая конспирация, чтобы наше знакомство не могло быть установлено сыщиками и жандармами.

Наша первая длительная беседа произошла на Мочальном острове. Ехали мы через Волгу на пароме, как незнакомые. За Волгой я пошел вперед, а Иван Павлович следовал за мной на значительном расстоянии.

Мы углубились в труднопроходимые заросли тальника, соединились вместе и выбрались на Мочальный остров, на котором крестьянские семьи ткали рогожные кули.

Обо мне Иван Павлович имел уже обстоятельные сведения, а я о нем узнал по его рассказам. Он был по профессии фельдшер и служил в Пермских железнодорожных мастерских, где было 800 рабочих. Этих рабочих он лечил, а лучших из них вовлекал в кружки и учил идеям марксизма.

Отъезд Ивана Павловича из Перми был вынужденным, так как ему угрожал скорый арест. Как опы-

ный старый революционный марксист, он объяснил мне, что у жандармских управлений нет полной согласованности в своих действиях, а поэтому, переезжая из одного места в другое, можно сравнительно долго вести революционную работу и не быть арестованным.

Иван Павлович советовал мне уехать в Пермь и дал рекомендацию к одному из пермских марксистов. У меня же был зять*, помощник машиниста на пароходе, ходившем по Волге и Каме в город Пермь, а в Перми у него жил товарищ детства, работавший в правлении железнодорожных мастерских. Зять говорил мне, что по рекомендации служащего меня безусловно примут, и я поехал с ним в город Пермь.

В дороге я наслаждался прекрасными волжскими видами, а потом и многоводной Камой с ее бескрайними лесами по берегам.

По приезде в Пермь мы пошли к знакомому зятю, который дал мне рекомендацию и разрешение прожить у него несколько дней до прискания квартиры. На другой день я пошел в мастерские, отдал мастеру рекомендательное письмо и был немедленно принят на работу.

Для определения моей квалификации мне была дана проба. Я получил обрубок круглого железа. Из него я должен был вырубить и выпилить кубик со сторонами в один дюйм. Для работы мне дали плоскую драчевую пилу (напильник) и полукруглую мелкую. Последняя была негодной, так как при закалке ее покорило и она имела слегка дугообразную форму. Дали мне также поломанное зубило и крейцмессель, которые я должен был сам отковать и заточить.

Такая проба считалась сложной, но для меня она никакой трудности не представляла, так как я работал не только хорошо, но и быстро. Вырубив кубик со стороной в один и три шестнадцатых дюйма, я опилил его драчевой пилой, а потом концом изогнутой мелкой.

Работа была выполнена быстро, точно и чисто. Инженер, принимавший пробу, одобрил ее. Но тут

подошел помощник мастера и сказал, что я не умею работать, так как пилил не во весь размах, а концом пилы. Инженер потребовал, чтобы я пилил в его присутствии, во весь размах, что я и сделал без малейшего завала. Тогда помощник мастера потребовал, чтобы я пилил изогнутой мелкой пилой. Я ответил, что это не слесарная пила, а лошадиная дуга и полезной для работы может быть только ее полукруглая сторона.

Инженер все же потребовал, чтобы я пилил мелкой пилой, и тогда у меня получился легкий «завал». Моя работа была признана недостаточно хорошей и поденная плата была определена мне в семьдесят копеек.

Через трое тисок от моих работал слесарь, получающий рубль восемьдесят копеек в день. Я просил пригласить его в качестве эксперта, уверяя, что у него получится такой же «завал», как и у меня, так как дугой ровную линию выпилить невозможно. Но моей просьбы не выполнили.

Инженер в слесарной работе был не совсем сведущим, а помощнику мастера я принципиально не дал взятки. Поэтому он несправедливо ко мне придрался при сдаче пробы и не поставил на хорошую работу, где я быстро мог доказать свою высокую квалификацию, а послал на ремонт парового отопления.

Одновременно со мной поступил токарь с Ижевского завода, который выточил винт в восемь ниток. Новичку должны были бы назначить поденную плату не менее рубля. Но он тоже взятки не дал, и ему назначили поденную плату в семьдесят копеек и послали работать на ремонт парового отопления.

Вообще в мастерских считались не с одной квалификацией, а также с выслугой лет и, особенно, с проверенной благонадежностью. Последнюю можно было приобрести подобострастным отношением к начальству, хождением в церковь и посещением молебнов, в царские дни. Но мы, как последовательные марксисты, идти на такое унижение не могли. Да я особенно и не тнался за большим заработком, тем более, что перепадали ночные и праздничные работы. Зарабатывал я в месяц от двадцати одного рубля до двадцати четырех рублей пятидесяти копеек. В месяц я выго-

нял от тридцати до тридцати пяти смен, так как с ремонтом отопления надо было спешить, чтобы закончить его к началу холодов.

Я быстро нашел себе квартиру у прачки, которая держала нахлебников, а сын работал слесарем в тех же железнодорожных мастерских. За двенадцать рублей в месяц мне давали обед из двух мясных блюд и стакан молока, а также чай, большой кусок белого хлеба. Черный хлеб все ели вволю. Часто на обед давали мясные пельмени, так как пермяки очень любили это питательное и вкусное блюдо.

На ужин я получал одно мясное блюдо, кашу с маслом и стакан молока, а также чай с белым хлебом. На завтрак давали стакан молока и чай с белым хлебом. Я был поражен таким обилием пищи и первое время не мог поесть всего предлагаемого, но потом привык и стал быстро поправляться. Дома я никогда так не питался. Кроме всего этого, мне топили раз в неделю баню, стирали и чинили мое белье. По праздникам на обед и ужин обязательно давали пельменей до полного насыщения и чай.

Спать, правда, приходилось на полу. Но пол мыли ежедневно. Да и дома я спал на полу, и это было мне привычно. Посещая базары, знакомясь с ценами, я скоро убедился, что жизнь в Перми значительно дешевле, чем в Нижнем Новгороде.

Имея письмо от Ивана Павловича Ладыжникова, я скоро познакомился с марксистской интеллигенцией, а через нее и с рабочими марксистами казенных железнодорожных мастерских. Рабочих марксистов было мало, но я сразу почувствовал себя в родной семье, стал изучать молодежь и вести наводящие беседы.

Атмосфера в мастерских была гнилая. Кроме этих мастерских, имелся еще один Любимовский чугунолитейный завод. В случае увольнения деваться было некуда, и рабочие всеми силами старались заслужить одобрение начальства; мирились с низкой заработной платой, беспрекословно выполняли все требования, готовы были работать день и ночь.

И все же создалось комическое положение. Инженер, помощник главного начальника мастерских знал

о существовании рабочих марксистов, но никаких мер против них не принимал. Будучи студентом-практикантом, он пропагандировал здесь рабочих и раздавал нелегальную литературу. Вернувшись сюда уже инженером в качестве помощника начальника мастерских, он круто изменил свое поведение и стал преследовать тех самых рабочих, из которых сам воспитывал идейных марксистов.

Дело кончилось тем, что токарь Евгений Константинович Кудрявцев, увидя подходившего инженера, вынул несколько нелегальных брошюр и стал читать их на его глазах. Инженер выхватил брошюры из рук рабочего и стал требовать, чтобы последний сказал, где он их взял.

— Это те самые брошюры, которые вы мне дали, когда работали здесь практикантом, — ответил Кудрявцев и получил брошюры обратно с просьбой не читать их в мастерских и никому не показывать.

Инженер не только не выдал ни одного рабочего жандармам, но даже не уволил из мастерских.

В мастерских был иконостас с большими образами и с большими подсвечниками, к которому благонмеренные рабочие собирались для молитвы до начала работ. Казалось, это было выгодно и для конспирации и ради благоволения начальства. Но было крайне унижительно, и у нас душа не налегала на такое идиотство.

Бригада по ремонту парового отопления состояла всего из трех человек. Во главе ее был поставлен пожилой человек, бывший кочегар Семеныч. Это был добродушный, веселый человек, который был всегда и всем доволен, любил веселую шутку, работал не быстро, но очень добросовестно.

Работа была несложная. Надо было разобрать всю систему клепаных, большого диаметра труб, сменить негодные, вырубить из миллиметрового листового железа кольца, обмотать их пенькой, промазать суриком с вареным маслом, вставить их между концами труб и стянуть соединения болтами. Необходимо было также сменить прокладки у батарей, пришабрить и притереть краны, служившие для стока воды, которая образовывалась из охлажденного пара.

Одним словом, работа была черная и грязная. Как-то странно было менять на нее пришабривание паропроводных кранов, цилиндрических поршней, заделку подшипников в пароводяные шатуны и так далее. Было обидно переходить на менее квалифицированный труд, но приходилось с этим мириться, тем более, что я не боялся утратить свою квалификацию и смотрел на пребывание в Перми как на временное, предшествующее моему поступлению на большой завод с тысячами рабочих...

Наша ремонтная бригада сдружилась, и я быстро узнал обычную и несложную жизнь своих товарищей по работе.

Семеныч поступил в котельное отделение мастерских еще молодым парнем — откатчиком. На его обязанности лежала подкатка угля для двух работающих котлов и откатка из-под них горячего шлака. Это была тяжелая работа. Тачка была огромной, иначе один человек не смог бы управиться подвозить для двух котлов уголь и отвозить шлак. Работа кочегара была тоже не из легких; он должен был держать давление пара на определенной высоте, для чего ему нужно было часто прочищать колосники, чтобы непрерывно поддерживать полное сгорание угля по всей площади колосников.

Чистку поддувала необходимо было производить с возможной быстротой, чтобы не остудить колосников и не ослабить горение, и в то же время нужно было усиленно шуровать второй котел, чтобы не сел пар. Кочегар от нестерпимого жара и предельно напряженных усилий становился мокрым, как вынутый из воды.

За эту адскую работу кочегар получал восемнадцать рублей в месяц. И все же положение кочегара казалось очень завидным для откатчика. Если кочегар усиленно потел во время чистки колосников, то откатчик потел непрерывно: как при подвозке угля, так и при вывозке шлака, за которым он должен был спускаться в яму поддувала под раскаленные колосники. Шлак предварительно заливался водой, отчего в яме получалось нечто вроде паровой бани, и откатчик вылезал оттуда не менее распаренный и красный, чем с банной полки.

Самое же опасное заключалось в резкой смене температуры, что влекло за собой острые заболевания и приводило к преждевременной смерти, а поэтому для вывозки шлака из котельного отделения во двор мастерских каждый раз необходимо было надевать верхнее платье. Всякий откатчик, который этого правила не выдерживал, быстро кончал свою жизнь в больнице.

Семеныч рассказывал, что по штатам на два работающих котла полагалось иметь двух кочегаров, и двух откатчиков, как это и было прежде, но потом одного откатчика сократили, а уже на наших глазах сократили и второго кочегара.

Дело свелось к тому, что сначала кочегары заставляли откатчика шуровать котел, а потом они стали шуровать котел по очереди, по два часа. И кочегар то шуровал котел, то откатывал шлак и подвозил уголь. То же самое проделывал и откатчик, но он оставался поденщиком и не имел права на двухмесячный отпуск в году с сохранением жалованья.

Надо сказать, что кочегар предпочитал вместо отпуска получать в продолжение его двойное жалованье и работал без отпусков, а нам, поденщикам, никаких отпусков не полагалось.

Большинство кочегаров простужалось, преждевременно умирало, и надо было удивляться, что наш Семеныч, дожив до сорока пяти лет, еще не утратил полностью трудоспособности, не утратил и своего оригинальнейшего юмора.

Молодой токарь * не рассказывал нам, за что его уволили с Ижевского завода, но о самом заводе любил говорить. По его рассказам выходило, что все начальники, во главе с самым старшим начальником — генералом, были там ворами.

Завод нужно было переоборудовать новыми автоматическими станками. Были посланы специалисты во Францию и в Германию, которые выяснили, что германские станки более массивны и прочны, чем французские, и в то же время не уступают им во всех других отношениях. Казалось бы, надо предпочесть немецкие станки. Но французский уполномоченный предложил крупную взятку, и начальство заключило договор с французской фирмой.

Станки были получены и установлены, но наши

рабочие привыкли иметь дело с прочными станками, и очень скоро поломались все нажимные винты, которые были изготовлены не из стали, а из ковкого чугуна. Вообще французские станки оказались более легкими, красивыми, но непрочными.

Вслед за нажимными винтами поломались и шестерни. Все французские станки стали. Французская фирма прислала специалиста монтера для ремонта своих новых станков, оказавшихся непригодными для наших рабочих...

В механическом цехе мастерских приводы трансмиссий располагались под самым потолком, на высоте десяти — двенадцати метров. В цехе была специальная должность смазчика приводов. Случилось так, что старого смазчика пришлось заменить новым. И вот в первый же день его работы с ним случилось несчастье. Пробираясь между ремнями на высоте десяти метров, он поскользнулся на промасленной узкой дощечке, заменявшей настил, и, растерявшись, ухватился рукой за шкив.

Мы услышали страшный крик, раздавшийся откуда-то из-под потолка, подняли головы и увидели человека, висящего в воздухе. Падая, он успел уцепиться левой рукой за край доски, правая была вывихнута в плече. Нашего товарища мы вынесли из цеха в бессознательном состоянии.

Я находился под впечатлением только что происшедшего, когда мастер предложил мне занять место смазчика. Пришлось согласиться, иначе я был бы немедленно уволен. Нужна была большая ловкость, чтобы, держа в одной руке масленку, в другой — ведро, а под мышкой — насос, пробираться по узкой дощечке между движущимися ремнями, перешагивать их. Причем механик требовал, чтобы я ремень подавал на шкив на ходу. Каждый день мне грозила участь товарища быть затянутым приводом, быть сброшенным стремительно двигающимися ремнями вниз, на цементный пол¹...

¹ Глаза остались незавершенной (см. комментарий). Работая в Перми до осени 1899 года, П. А. Заломов принял участие в создании Пермской группы освобождения труда и играл в ней видную роль. Подробно об этом в книге: Никитин А. Г. Уральская явка. Поиски, находки, встречи. Пермь, 1976 (Прим. ред.).

СОРМОВО

Осенью 1900 года я был уволен с нижегородского завода мельничных машин Доброва и Набоголец, куда вскоре после возвращения из Перми мне удалось поступить. Если бы даже меня не уволили за неподчинение механику, то пришлось бы все равно уходить самому: за мной следили. Ко мне был приставлен сыщик, умный и очень хитрый: он всегда находил предлог быть там, где был я. Это так мешало работать, что расчет я принял с удовольствием.

Я опасался только, что жандармское отделение не даст мне поступить на Сормовский завод, куда я давно хотел перейти, но все обошлось благополучно. Я был принят слесарем в механический цех, в бригаду паровозных дышл. Жандармское отделение не воспрепятствовало моему поступлению на завод, но дней через десять в бригаде появился новый «слесарь» — жандарм с рыжей бородой. Со мной в паре работал слесарь Покровский, ставший вскоре членом одного из наших подпольных кружков. Жандарм работал рядом с ним. Работать он, очевидно, подучился ранее. Но все знали, что это бывший жандарм и к тому же не очень умный.

Он воображал, что его прошлое неизвестно, и не только не сбрил, а даже и не подстриг свою кричащую бороду. В мое отсутствие он под разными предлогами обшаривал карманы моего пальто, рылся в моем инструментальном шкафчике, — обо всем этом мне сейчас же передавали. Когда во время работы ко мне кто-нибудь подходил и я, не переставая работать, разговаривал, жандарм становился в самую неудобную для работы позу и, не смущаясь, тянулся к нам своим ухом. Над его глупостью мы хохотали до слез.

Работа была на заводе сдельной, расценки систематически снижались. Работали и по ночам и в праздники, напрягали силы до пределов человеческой возможности. Зимой, в сильные морозы придя в цех до гудка, выкладывали свои инструменты и, сидя на верстаках, разговаривали. В цехе было холодно, все зябли в своих пальтишках или коротких полушубках, но после гудка быстро согревались от работы.

Я обычно начинал работать в пиджаке, потом оставался в жилете, а дальше, когда воздух нагревался от воздушного топления, снимал и жилет и блузу, засучивал рукава и, работая, потел в нижней рубашке. Ни механик, ни мастер,— никто не обращал на нас никакого внимания, да им и не было никакой надобности нас подгонять. Достаточно было одному из пары лишний раз отлучиться в уборную, и он уже не мог догнать своего товарища; последний кончал свою половину раньше и стоял, ничего не делая, так как дышло нельзя было перевертывать, пока не закончена в работе вся сторона. Сдельщина была не индивидуальная, а бригадная, а поэтому случаи отставания были редки, так как вся бригада, заинтересованная в высокой выработке, набрасывалась на отстающего.

Минут за пять до окончания работ, вечером, мы начинали прибирать инструменты, мыли руки и минуты две-три стояли или сидели на верстаках, отдыхая в ожидании гудка, обычно подшучивая друг над другом. Этими моментами я иногда пользовался для передачи нелегальной литературы или прокламаций Покровскому.

Я сижу на верстаке рядом с жандармом, напротив стоит Покровский, во внутреннем кармане его растегнутого пиджака видна газета «Нижегородский листок». На чьи-то слова Покровский поворачивает голову, а я быстро выхватываю у него газету и прячу за спину. Все смеются, жандарм хохочет. Подозрения Покровского падают на жандарма, и он требует с него газету. Смех усиливается. Выждав время, я возвращаю Покровскому газету, вложив туда несколько нелегальных брошюр. Он понимает и, в свою очередь, начинает смеяться.

Прокламации я свертывал тугой трубкой, связывал и подвешивал на особый крючок под мышкой, в рукаве пальто. Одевался и раздевался на глазах жандарма. Когда я выходил, жандарм старательно осматривал карманы моего пальто, ощупывал полы, но заглянуть хоть раз в рукава у него не хватало ума.

Однажды надо было распространить листовки. Часть их, которую должен был разбросать Покров-

ский, я принес в обед, и они до вечера провисели в рукаве пальто. После уборки инструментов, перед самым гудком, я сел на верстак, по обыкновению забросив руки за спину. Справа от меня пытался сесть Покровский, но жандарм, со смехом вклинившись между нами, разъединил нас, и Покровский отодвинулся дальше. Начались веселые разговоры, шутки. Я вытянул из рукава сверток с прокламациями и за спиной жандарма передал его Покровскому.

Утром я пришел раньше, часть прокламаций разбросал по цеху, часть разложил по всем уборным над дверями, где рабочие разобрали их и принесли в цех. Несколько прокламаций попали в руки бригадира, и он отнес их в контору. Администрация решила, что «злонамеренные люди» перелезли через стену около уборных, которые были в полной тьме. После этого случая уборные были освещены электричеством. На меня и на Покровского не пало никаких подозрений,— мы были под «охраной» жандарма.

Так я и проработал бок о бок с жандармом до самого своего ареста во время первомайской демонстрации 1902 года, и, пожалуй, мой арест был для него неожиданностью.

На первых же порах работы в Сормове мне пришлось повести борьбу за реорганизацию партийной кассы, кассиром которой я стал. В сущности, это была касса взаимопомощи,— я же настаивал на превращении ее в чисто партийную кассу, средства которой тратились бы на приобретение «Искры» и другой нелегальной литературы, а также на помощь арестованным. Большинство товарищей быстро со мной согласилось. Взносы в партийную боевую кассу были установлены в размере однодневного заработка. Вносились они в каждую получку, то есть два раза в месяц. Собранные деньги для большей сохранности я сдавал Якову Кирилловичу Гаврюшову — он клал их в сберегательную кассу на свое имя.

Мне поручили также связь с нижегородской марксистской интеллигентской группой и доставку от членов этой группы нелегальной литературы и прокламаций в Сормово. Старые члены партии — М. М. Громов, М. И. Самылин, Г. И. Гаринов — су-

мели вовлечь в организацию новых рабочих. В центральный кружок постепенно вошли: Громов, Гариннов, Самылин, Дмитрий Павлов, Баранов Семен, Погнирьбко, Углев, Рыбников и я. Все вместе мы из конспиративных соображений собирались редко, но частенько сходились по пять-шесть человек, много беседовали о задачах российского пролетариата; о том, что должны делать.

Мы руководствовались планом законспирированного построения организации, полученным мной от сестер Невзоровых в 1897—1898 годах. Возникли споры, кого следует вовлекать в кружки. Некоторым казалось, что если рабочий резко выражает недовольство начальством, сочувственно отзываясь о революционной борьбе, то этого уже достаточно, чтобы ввести его в кружок. Я рассказывал о провокаторах, которые своей показной сверхреволюционностью стремятся завоевать доверие, указывал, что имеется тип людей, которые быстро загораются, но потом так же быстро потухают, что предателем может сделаться не только провокатор, а и честный, но увлекающийся и преувеличивающий свои силы рабочий, который, попавшись в руки полиции и жандармов, не выдерживает запугиваний, побоев и пыток и по слабости выдает товарищей. Далеко не все рабочие могут быть революционными марксистами, и нам надо гнаться не за количеством, а за качеством, говорил я.

Я считал самым важным помочь рабочему сделаться сознательным. У некоторых товарищей проскальзывало нетерпеливое стремление как можно скорее «пострадать» за дело пролетариата. Я доказывал, что дело заключается совсем не в том, чтобы скорее попасть в тюрьму и ссылку, а в том, чтобы как можно дольше продержаться, как можно больше воспитать сознательных рабочих-марксистов.

Нашей первой задачей было укрепить свою организацию и количественно и качественно, и в этом нам особенно помогала революционно-марксистская интеллигенция, с которой мы держали крепкую связь, под руководством которой работали. В качестве пропагандистов в самом Сормове работали студент Василий Алексеевич Десницкий и бывший фельдшер

Иван Павлович Ладыжников. Как весьма образованный марксист, агитатор и пропагандист, большим влиянием пользовался товарищ Десницкий. Но в смысле организации самой борьбы на первое место выделился имевший большой революционный стаж товарищ Ладыжников — очень хороший конспиратор и практический руководитель. Ни один важный вопрос в жизни сормовской партийной организации не решался без его личного участия и совета. В Нижнем на Ковалихе он имел конспиративную квартиру, я ездил к нему по вечерам почти каждую субботу, получал литературу, рассказывал о работе организации, получал практические советы.

Когда сормовская организация окрепла, Иван Павлович посоветовал вырвать Сормовское потребительское общество из рук заводской администрации, которая использовала общество, чтобы грабить рабочих. Я высказал свои сомнения: председателем правления заводской кооперации являлся директор завода Мещерский, помощником председателя — управляющий коммерческой частью Мацкевич; администрация завода вложила в кооперацию крупные денежные суммы, получает большие проценты и из своих рук общество легко не выпустит. Выделенные нами рабочие могут быть выкинуты с завода и арестованы, а если они и уцелеют, работать им будет страшно трудно, так как никакого опыта кооперативной торговли у них, естественно, нет.

Но Ладыжников предусмотрел средство преодоления всех этих затруднений. Он предложил запретить выдвинутым в кооперацию товарищам вести нелегальную работу, ввести в правление и в ревизионную комиссию нескольких наиболее надежных и близких к организации беспартийных рабочих, а для текущей торговой работы порекомендовал опытного кооператора Захарова.

— Даже если борьба кончится неудачей, — объяснил мне И. П. Ладыжников, — ее надо начать и довести до конца, так как и самая неудача может быть использована для политического воспитания рабочих.

Предложение Ивана Павловича я передал на обсуждение центрального кружка, который согласился

с ним и выделил для кооперативной работы Г. И. Гаринова, М. М. Громова и М. Рыбникова, запретив им вести нелегальную работу.

Пайщиков кооперации было немногим более 2500 человек, но в борьбе была заинтересована вся тринадцатитысячная масса рабочих. Все рабочие были покупателями кооперации и одинаково с пайщиками страдали от произвола и злоупотреблений заводской администрации, которая продавала скверные товары по высокой цене, а прибыль распределяла только на паевой рубль, ничего не давая на рубль заборный. Мы разясняли, что при переходе кооперации в руки рабочих цены на товары будут значительно снижены, а качество товаров повышено и что из дивидендов больший процент будет выдаваться на заборный рубль и меньший на паевой рубль. Рабочая масса пошла за нами. Перевыборы дали перевес рабочему списку. Администрация отменила выборы, но рабочие вторично, с еще большим единодушием отдали голоса нашему списку. Кооперация перешла в руки рабочего правления. Старое правление, чтобы скрыть следы своих преступлений, устроило пожар и сожгло все документы.

Рабочее правление продержалось довольно долго и успело показать все преимущества деятельности доверенных людей самих рабочих. В добавление к старой деревянной лавке было построено двухэтажное каменное здание. Правление построило свою мельницу, свою пекарню, колбасную и копильную, открыло мясную торговлю и т. д. Скот стали закупать в Сибири и пасты его на арендованных лугах, ткани закупали непосредственно на фабриках и т. д. При распределении дивиденда на паевой рубль выдавали по 5 процентов, а на заборный по 12 процентов. Цены благодаря оптовым закупкам были сильно снижены; качество товаров повышено. Кровососы-лавочники принуждены были закрыть свою торговлю, а высокое качество товаров и сниженные цены привлекли покупателей из Канавина и даже из Нижнего Новгорода.

Успех борьбы за руководство в кооперации усилил симпатии к партийной организации, руководившей этой борьбой.

Наша организация выросла и количественно и качественно. Было пора подумать о расширении нашей деятельности. Во второй половине лета 1901 года в лесочке на Канаве собралось человек сорок пять передовых рабочих-партийцев. Василий Алексеевич Десницкий сделал доклад, обосновывающий необходимость перехода от пропаганды в кружках к массовой работе путем систематического, а не от случая к случаю, выпуска прокламаций. Доклад был заслушан с напряженным вниманием, но многие приняли его в штыки. Я ждал, что человек пятнадцать встанут стеной за новый метод работы, но они-то и выступили с наиболее обоснованными возражениями — против. Товарищи говорили, что совершать такой переход слишком рано: нас мало, усилится слежка, и все мы будем арестованы, а это надолго запугает рабочие массы. Напрасно тов. Десницкий брал себе несколько раз слово, напрасно дважды выступал я — наши убеждения оказались бесплодными. Собрание было закрыто.

Я пошел провожать Десницкого, который был очень удручен. Я уверял его в том, что товарищи согласятся с нами, надо только поговорить по одному с членами центрального кружка. Идя домой, я обдумывал случившееся и пришел к выводу, что многие товарищи не перешли еще последнюю черту, за которой все личное поглощается величием конечной цели. Дело революционного воспитания для них только начинается. Что касается членов центрального кружка, то я в них не сомневался, для них предложение Десницкого оказалось просто слишком неожиданным. Так оно и вышло. Прошло не более двух недель, и вопрос об агитации был положительно решен соромовской организацией.

Была усилена конспирация. Собирались мы под видом вечеринок в разных местах и под видом кружка струнных инструментов у А. Сорокина. Мы играли, а в антрактах беседовали о партийной работе. Перед домом нередко собиралась публика послушать музыку. На первых порах наши собрания привлекали внимание властей, но мы так упорно и много играли, что на нас перестали обращать внимание. В конце

концов квартира Сорокина превратилась в штаб организации. Часто по пять-шесть человек собирались мы и у братьев Барановых.

В конце лета 1901 года в лесу за Сормовом было созвано собрание наиболее надежных партийцев, на котором избрали Нижегородский комитет РСДРП. От нижегородской социал-демократической группы в комитет вошли: И. П. Ладыжников, А. В. Яровицкий *, А. И. Пискунов, Е. И. Пискунова, О. И. Чачина *. От сормовской организации вошли Д. А. Павлов * и я.

Связывающим звеном между сормовичами и комитетом по-прежнему был И. П. Ладыжников, у которого я часто бывал. Иван Павлович всегда был ровен, спокоен, добродушен, приветлив, внимателен. Эта его уравновешенность и отсутствие громких фраз особенно мне нравились. Он никогда не говорил об опасности, хотя всегда хранил большое количество литературы, а на чердаке долго держал в корзинах целую типографию. Однажды он показал мне новый комод и предложил осмотреть его, — у комода было двойное дно; Иван Павлович, улыбаясь, сказал:

— Там наша литература, но жандармы при обыске ничего не обнаружили.

Впоследствии в этом комоде была забыта нелегальная литература, которую нашли уже после Октябрьской революции.

ДЕМОНСТРАЦИЯ

Еще осенью 1901 года Иван Павлович Ладыжников поставил предо мной вопрос о массовой политической рабочей демонстрации. В одну из моих ночевок у него под воскресенье он говорил, что все мы, передовые рабочие и интеллигенты, выслежены и в недалеком будущем будем арестованы. Мы должны завершить свою работу крупным делом — открытой политической демонстрацией против самодержавия, приурочив свое выступление в Сормове к 1 мая

1902 года. На красном знамени, под которое мы обязаны привлечь как можно больше рабочих, должен быть лозунг «Долой самодержавие!». По мнению Ладыжникова демонстрация будет содействовать закалке партийной организации, встряхнет и революционизирует рабочую массу, придаст более широкий размах рабочему движению.

Ведущая группа сормовской организации, в которую я входил, со всей страстью начала работу по подготовке политической демонстрации. Нижегородский комитет РСДРП снабжал нас прокламациями и нелегальной литературой.

Идея открытого демонстративного выступления против самодержавия становилась все более популярной,— мы готовили к массовому выступлению рабочих.

Надо было решать вопрос о знамени. Я знал, что есть статья закона, которая за публичный призыв к ниспровержению существующего порядка карает смертной казнью через повешение, а лозунг «Долой самодержавие!», написанный на знамени, поднятом над большой толпой, конечно, является таким призывом. Значит, знаменосец будет повешен...

Кто понесет знамя?

Надо было организовать демонстрацию так, чтобы произвести впечатление на рабочие массы. Малейшая трусость, малейшая нерешительность знаменосца могли все испортить. Кроме того, надо было во что бы то ни стало сохранить организацию и товарищей, которые будут захвачены, а для этого, по моему мнению, знаменосец должен будет на суде отмежеваться от организации и взять всю ответственность только на себя.

На одном из собраний сормовского центрального кружка мы постановили созвать собрание наиболее надежных и сознательных членов кружков. Мы собрались в конце февраля в деревне Починках, в доме братьев Урыковых, вечером; было нас 61 человек, не считая патрулей. Из интеллигентов присутствовали член Нижегородского комитета Алексей Васильевич Яровицкий, Софья Сергеевна Карасева, пропагандистка-учительница Жозефина Эдуардовна Гашер.

С предложением о демонстрации все согласились. Лозунги — «Да здравствует 8-часовой рабочий день!», «Долой самодержавие!» — были приняты без прений. Мы постановили, чтобы товарищи, неизвестные полиции и сыщикам, в демонстрации не участвовали и остались на смену тем, которые будут арестованы. Самую демонстрацию назначили на 1 мая, а если будет дождливая погода, то на первое воскресенье после 1 мая. Демонстрация должна быть мирной, и члены партии явятся на нее без оружия.

Каждый член партии обязывался привлечь на Большую Сормовскую улицу, где должна была происходить демонстрация, возможно больше рабочих. Под конец собрания я заявил, что знамя с лозунгом «Долой самодержавие!» понесу я, что это мое право, как самого старого социал-демократа из сормовской организации. Возражений не последовало.

После общего собрания работа по подготовке демонстрации развернулась с новой силой. Все усиливающийся выпуск прокламаций так встревожил жандармерию и полицию, что в Сормове появился отряд конных стражников, которые день и ночь разъезжали по Сормову и между Сормовом и Канавином, обыскивая пешеходов и едущих на извозчиках, в надежде захватить прокламации.

По заказу Нижегородского комитета РСДРП в Сормове были сделаны два мимеографа с валиками. Эти мимеографы надо было доставить в Нижний Новгород. Доставку я взял на себя. Запасшись большой салфеткой и овчинным полушубком, я связал мимеографы веревкой, небрежно завернул их в полушубок и так же небрежно завязал в салфетку. Узел получился большой, громоздкий и неуклюжий, мех торчал во все стороны. Моих товарищей пугал вид узла; они находили, что узел надо сделать возможно меньше, стянуть его как можно сильнее и скрыть от глаз мех. Мне советовали не входить на станцию, предлагали взять билет и обязательно проводить меня.

— Билет возьму сам, — ответил я, — никаких провожатых мне не нужно, это может только навлечь подозрения и сорвать дело.

Все же за мной увязались на станцию Стефан Погнирыбко, Михаил Самылин, Митя Павлов и Леня Баранов. У кассы по обе стороны барьерчика стояли два жандарма. Я прошел мимо одного, ткнул его узлом, извинился и взял билет. Потом ткнул узлом другого, опять извинился, вышел на перрон и сел в вагон. Оказалось, что товарищи тоже сели в поезд, и когда я вышел из вагона на Канавинское шоссе, они нагнали меня. Вместе дошли мы до квартиры моей сестры, Александры Андреевны Павловой. Я взмок от тяжелого узла, и сестра дала мне сухую рубашку. Мы попили чаю и пошли в нижегородский театр на галерку. После товарищи пошли в Сормово, а я переночевал у сестры. Рано утром, завернув мимеографы в газетную бумагу, я отнес их к Ивану Павловичу Ладыжникову и успел вовремя вернуться на работу в Сормовский завод.

После этого случая я ни разу не напоминал товарищам о мимеографах, но ясно видел, что мой урок не пропал даром. Вскоре мне рассказали, как товарищи шли ночью в двадцати сажнях за конным отрядом стражников и разбрасывали прокламации. Среди сормовской партийной организации было немало товарищей, превосходящих меня умом, способностями, энергией, быть может, и врожденной храбростью, но мое преимущество заключалось в том, что я перешел последнюю черту в пятнадцать с половиной лет и имел за своими плечами уже десять лет революционной работы.

Нижегородский комитет специально обсуждал вопрос о Сормовской первомайской демонстрации. Заседание было созвано в апреле 1902 года в Канавине, в Бабушкинской больнице, в квартире фельдшерицы Александры Мартемьяновны Кекишевой (она была только что кооптирована в члены Нижегородского комитета РСДРП). И. П. Ладыжников, кажется, был в отъезде. Кроме меня, прибыло только два члена Нижегородского комитета — А. В. Яровицкий и А. И. Пискунов, участвовала в заседании и Жозефина Эдуардовна Гашер. Не было, к сожалению,

Ольги Ивановны Чачиной — нашей пламенной революционерки.

Предложение о первомайской демонстрации комитет одобрил. Споры начались с вопроса о том, кто понесет знамя. Кто-то сказал, что знамя должны нести интеллигенты. А. И. Пискунов настаивал, чтобы знаменосцами были рабочие. Я поддержал Александра Ивановича, и его предложение приняли.

Перешли к лозунгам на знаменах. Предлагали: «Да здравствует 1 Мая!», «Да здравствует российская социал-демократическая рабочая партия!» и «Да здравствует 8-часовой рабочий день!». Я вместо «Да здравствует 1 Мая!» предложил лозунг «Долой самодержавие!». Против моего предложения выступил Пискунов. Он всячески доказывал, что такого лозунга на знамени писать не следует, так как он слишком опасен. Мы долго спорили, я не сдавался. Тогда он предложил вместо «Долой самодержавие!» лозунг «Да здравствует политическая свобода!». Я упорно стоял на своем, говорил, что второй лозунг не содержит призыва к ниспровержению самодержавия. Александр Иванович убеждал меня и доказывал, что второй лозунг вполне заменяет первый, но он менее опасен. В конце концов решили объединить оба лозунга и написать на знамени: «Долой самодержавие! Да здравствует политическая свобода!»

Перешли к вопросу об участии в демонстрации интеллигенции. Раздались голоса за участие интеллигенции, причем особенно настаивала на этом Жозефина Эдуардовна Гашер. Она говорила: «Мы учили рабочих, мы призывали их к борьбе против капиталистов, против самодержавия и должны на деле доказать свою готовность идти с ними рука об руку». Мнение Жозефины Эдуардовны было горячо поддержано А. М. Кекишевой и вслед за ней А. В. Яровицким.

До демонстрации было еще два собрания в Канавине, на которых обсуждался ход подготовки к демонстрации; мы обменивались мнениями о настроениях рабочих, о характере необходимых прокламаций. Третье собрание по поводу демонстрации мы провели на двух лодках во время ледохода.

Слежка все усиливалась, трудно стало провозить прокламации. Пришлось прибегнуть к помощи моей матери. У нее уже имелся некоторый опыт. Во время иваново-вознесенской стачки она возила запакованный в рогожу тюк прокламаций в Иваново-Вознесенск. Перед этой поездкой она расспрашивала, что с ней сделают, если обнаружат прокламации,— боялась пыток. Я объяснил ей, что пытать не будут, так как она старуха, а только подержат в тюрьме и сошлют в Сибирь; самое большее, что с ней могут сделать,— это повесить.

— Смерти я не боюсь, только бы не пытали,— ответила мать и согласилась ехать.

На вокзале она заметила, как в один из вагонов входил жандарм, вошла в этот вагон, сунула тюк под лавку и села рядом с жандармом. Дорогой она занимала его разговорами. Когда она вернулась, я крепко пожал ей руку, поблагодарил и сказал, что люблю и уважаю ее. Она была поражена моей необычайной лаской, засияла от счастья, прижав руку к сердцу.

Перед демонстрацией она привезла в Сормово прокламации в ведрах, прикрыв их сверху кислой капустой. Она опять нашла жандарма и села рядом с ним. На этот раз уже жандарм ее расспрашивал, и она рассказывала, что живет в Печёрах, выдала дочку за рабочего и везет ей кислую капусту в подарок, что ее капуста особенная и что в Сормове она весной дорога.

Мать же привезла от Ивана Павловича Ладыжникова и знамена. Митя Павлов и Сеня Баранов спрятали их в ельнике за Сормовом в песок.

Было еще одно собрание в лесу, в пасхальную заутреню, утвердившее добавление к лозунгу «Долой самодержавие!», а последнее собрание — ночью 29 апреля, тоже в лесу, с целью поднять настроение, и это было достигнуто. Когда расходились, лес гремел от революционных песен.

Первого Мая 1902 года мы, партийцы, на работу не пошли, хотя с самого утра шел дождь и демонст-

рация, согласно постановлению общего собрания, должна была быть перенесена на воскресенье.

Собрались у Александра Сорокина человек десять с гуслями, гитарами, мандолинами; играли, беседовали. Время тянулось томительно долго, дождь то перемежался, то снова лил. С обеда погода стала улучшаться. Командировали на главную улицу двух человек на разведку. Часам к шести вечера товарищи вернулись и сообщили, что на главной улице громадная толпа. Мы решили провести демонстрацию немедленно. Моя квартира была близко, я отнес гитару домой и сказал своей сестре Елизавете, чтобы она все прибрала, что я иду на демонстрацию и возможно буду арестован.

Еще с утра носились слухи, что привезли два орудия, а в запасных мастерских спрятаны две роты солдат. На Большой Сормовской улице народу было тысяч до пяти. Быстро стали собираться партийцы. Вначале пришло несколько человек пьяных. Я был страшно возмущен, ругался, говорил, что такое отношение к демонстраций позорит организацию, что нам нужна не пьяная храбрость, а сознательное мужество революционеров.

Собралась группа человек в двести. С пением революционных песен, с криками «Долой царя, долой самодержавие!» мы три раза прошли запертую рабочими часть улицы. Раздались предложения пронести знамена. Некоторые из рабочих, которые пришли выпивши и, возможно, были спровоцированы, потребовали, чтобы демонстрация шла громить завод. Я и Миша Самылин удерживали их от этого.

— Наша задача вовсе не в том, чтобы разрушать машины,— убеждали мы,— а в том, чтобы путем политической демонстрации революционизировать рабочие массы.

Группа человек в пятьдесят все же направилась к заводской конторе. Остальные пошли в обратном направлении.

Пришла весть, что к заводу идут солдаты. Леня и Сеня Барановы, Митя Павлов и я чуть не бегом

отправились за знаменами и, спрятав их под пиджаками, быстро возвратились. Дорогой я условился с товарищами, что для сохранения сил организации в момент сближения с солдатами знамена надо будет свернуть и слиться с рабочей массой.

Прибытие солдат делало нашу демонстрацию значительнее, так как привлекло к ней больше внимания и давало возможность сильнее воздействовать на сознание рабочих. Я решил со знаменем в руках один пойти на солдат, чтобы они подняли меня на штыки на глазах всей рабочей массы, считая, что это произведет гораздо большее впечатление, чем мое повешение где-то в застенке.

Когда мы пришли к ожидавшим товарищам, я первым долгом познакомил их с планом демонстрации: мы обязаны сохранить для революционной работы возможно большее количество товарищей, а потому организовано отступим и сольемся с толпой, когда солдаты будут близко; сигналом к отступлению послужит склонение знамен. Все приняли этот план.

Знамена были прикреплены к древкам, и мы двинулись вперед. Чтобы рабочие могли читать надписи, знамена все время поддерживали в развернутом виде. Мое знамя с лозунгом «Долой самодержавие!» поддерживал сначала Петр Дружкин, потом еще какой-то товарищ, а потом, до самого конца, Митя Павлов. Рядом со мной шел Михаил Самылин. Мы шли по направлению к Дарьинской проходной. Пели «Варшавянку», перед самым столкновением с солдатами — «Вы жертвою пали». Сплошная толпа заполнила обе стороны широкой улицы, образуя живой коридор. Наше пение по-прежнему сопровождалось криками «Долой царя!», «Долой самодержавие!».

Когда мы подходили к ручью, который, разлившись от дождя, пересекал улицу, раздался барабанный бой, и из переулка вышла рота солдат в полном боевом снаряжении. Расстояние между нами и солдатами быстро уменьшалось. Мы были безоружны против вооруженных до зубов солдат, но ни один не



дрогнул, не покинул рядов. Мы шли и пели. Было отчетливо слышно, как офицер скомандовал:

— Ружья на руку! Бегом марш!

Мы были у ручья, когда солдаты со штыками наперевес ринулись на нас. Мгновение — и два малых знамени сорваны с древков и спрятаны под пиджаками. Демонстранты, как было условлено, слились с толпой и скрылись в ней. Осталась небольшая кучка. Митя Павлов потянул мое знамя к земле. Но я с силой вырвал знамя, высоко поднял его кверху. Затем, прыгнув через разлившийся ручей, пошел на штыки.

Это был высший момент счастья в моей жизни, и только Октябрьская революция затмила его. Мне казалось, что солдаты движутся слишком медленно, — я прибавил шагу. И вот уже бледные, испуганные лица солдат... «Боятся бомбы», — мелькнула в мозгу торжествующая мысль... Сейчас... Мне казалось, что солдаты не смогут остановиться и будут бежать с моим трупом на штыках. Рота стала без команды. Щетина штыков поднялась кверху. Я сам наткнулся на передних солдат.

Знамя вырвал офицер. Мои руки схватили, в грудь, в спину, в плечи посыпались удары прикладов, чьи-то руки шарили по карманам. Я не чувствовал боли, но крикнул солдатам:

— За что вы меня бьете?! Разве я разбойник или вор?!

И разом прекратились удары, опустились приклады. Разжались руки. Но своих рук я уже не мог поднять, они повисли как плети. Меня окружили и повели. Рота шла сзади. Я шагал, считая своих конвоиров. Их было двенадцать. И опять в мозгу гордая, торжествующая мысль: «Боятся! Одного! Безоружного... Что же будет, когда мы все будем сознательными?..»

Толпа быстро редела. Среди солдат я был один, и меня охватила радость. Значит, никто не арестован...

Мы поравнялись с целой сворой полицейских, которые били по лицу человека с черной бородой. Ли-

цо его было в крови. Избитого передали солдатам. Было уже почти темно, когда захватили еще какого-то маленького человечка, но я его не рассмотрел.

ЗА РЕШЕТКОЙ

Меня привели в участок пристава при заводе. Мое появление было встречено торжествующими криками:
— Ага! Попался!

Какой-то толстый краснолицый человек, с большой рыжей бородой, орал:

— Красного зверя поймали! Ведите к.его превосходительству!

Меня ввели в комнату, и я увидел перед собой губернатора Унтербергера и еще каких-то людей. Губернатор спросил:

— Где ты взял знамя?

— Я отказываюсь давать показания.

— Ну, вот видите! Я говорил! — сказал губернатор и вышел из комнаты. Солдаты исчезли, кругом стояли полицейские, жандармы и какие-то люди в штатском платье. Чей-то голос кричал:

— Сукины дети! Свободы захотели! Я вам покажу свободу!..

Я повернул голову на крик. В этот момент меня ударили в затылок, под ложечку, в живот, по темени. Люди, комната — все зашаталось, поплыло. Я рухнул на пол. Меня били, но это уже не усиливало боли. Я был оглушен, мне казалось, что мой череп расколот. Душила острая тошнота и сильная боль под ложечкой. Но все это заглушала резкая колющая боль, в сердце, захватывающая дыхание. Я потерял сознание.

Очнулся я от воды, которую мне лили на голову. Сделал попытку подняться, но не смог пошевелиться. Все мое нутро выворачивалось, меня тошнило. Снова начали бить. Кто-то крикнул: «Не бейте по лицу!». Бить перестали. Я сделал снова попытку подняться, но опять не смог, хотя меня уже никто не держал. Тщательно напрягал я свою волю, чтобы

взять себя в руки, но каждый мускул моего тела трепетал.

— Ага! Закис...— жандарм отвратительно выругался.

Раздался смех, и он был больней удара.

— Сознавайся, кто дал тебе красное знамя?

— Вы не смеете меня бить! Я буду жаловаться губернатору!

От злости и ненависти мой голос был тверд. Но сердце болело невыносимо, я с трудом произносил слова, не мог удержать трепета тела. И от сознания этого ещё более усиливалась моя злоба, желание как-то отомстить за свое невыносимое унижение.

Посыпались возгласы:

— А ты думал, с тобой целоваться будут?! Тебя убить мало! Против царя пошел! Вешать всех вас надо. Губернатор об тебя, сукина сына, не захотел рук марать, а то бы он тебе пожаловался! Он сам говорил, что всех вас перепороть надо. Говори, где взял знамя?

— Я отказываюсь давать показания...— Моя фраза была прервана ударом в зубы. Потекла кровь. На меня навалилось что-то тяжелое,— меня снова били. Я задыхался от боли в сердце, мне казалось, что оно разрывается и я умираю...

Очнулся я в маленькой комнате на нарах. Из-за решетки в двери падал свет лампы. Хотелось кашлять. Я кашлянул, сплюнул — во рту ощущался все тот же солоноватый вкус. Попытался подняться и не смог. Мне казалось, что все мои кости переломаны. Боль от побоев становилась все сильнее и сильнее, палила меня огнем. Но я страдал еще больше, чем от боли, от жгучего стыда за себя, за то, что я не смог сдержать дрожи и слез, вызванных побоями. Мне хотелось кричать. Лились слезы, но это были слезы, которые не облегчают. Я хоронил, я оплакивал свою воображаемую силу.

Моим любимым героем был Степан Тимофеевич Разин, и я мечтал развить в себе, хотя частично, ту железную волю, какая была у него. Ни один мускул лица не дрогнул у Разина от самых жестоких пыток, не дрогнул и тогда, когда у него отрубили ногу и руку. А у меня лились слезы и трепетали все му-

скулы тела от простых побоев полицейских. Правда, я не издал ни одного стога, но жандармы видели мою слабость и бросили по моему адресу унижительный эпитет.

И как идиотски глупа была моя апелляция к губернатору!.. Я хотел жаловаться охотнику на псов, которых он же на меня натравил. Мои уши горели от жгучего стыда за свою глупость. А дальше еще хуже... Я представлял себе, как хохотали бы мои товарищи, если бы могли видеть эту сцену: знаменосец, противник царизма и капитализма падает в обморок, как слабая истеричная женщина. Я боялся, что об этом все узнают и что это произведет на товарищей плохое впечатление. Я негодовал даже, что полицейские и жандармы не убили меня.

Быть убитым вовсе не позорно, но побои без всякой возможности сопротивления были для меня нестерпимо унижительны. И я решил ничего не рассказывать товарищам. Впоследствии, когда я встретился с Михаилом Самылиным, то сказал ему, что от солдат получил несколько слабых ударов прикладами, а у пристава был допрошен губернатором и спал в клоповнике так крепко, что не чувствовал, как меня кусали клопы.

Взошло солнце, стало совсем светло. Постепенно боль стала слабеть. Мое тело начало оживать. Мои руки и ноги болели, но двигались свободно. Ощупал ребра — все они оказались целыми. Поднял рубашку — на теле виднелись самые обыкновенные кровоподтеки, какие бывают от ушибов. Я повеселел. Мое настроение поднималось: арестовали на улице мало людей, из меня ничего не вытянули и никогда не вытянут, — в этом я не сомневался.

Я подошел к двери — за решеткой стоял часовой с винтовкой, подошел к окну — под окном также. Стало совсем весело. Я видел, что меня стерегут, как клад, и хотя мое тело все еще болело, я лег на нары и крепко заснул. Сон успокоил мои нервы. Когда я проснулся, что-то давило на сердце, но колющих болей уже не было. Из-за двери слышались шаги. Знакомый голос кричал: «Сукины дети! Свободы захотели! Я вам покажу свободу!» Слышны были зву-

ки ударов. Я понял, что идет допрос, сопровождаемый «отеческим внушением».

Часов в десять утра ко мне допустили сестру, Елизавету Андреевну Гаринову. Оплошавший часовой разрешил ей войти для передачи пищи. Она вошла и сейчас же ушла, но успела шепнуть, что Баранов, Павлов, Погнирышко, Громов не арестованы. Сообщение сестры доставило мне большую радость. Особенно я был доволен тем, что не арестован Митя Павлов. Я сделал вывод, что полной картины демонстрации у полиции нет и, следовательно, число жертв будет не так велико. Сестра пришла еще раз и принесла мне обед, но во второй раз ее ко мне уже не допустили, обед был передан часовым. Пробовал я заговаривать с часовым у окна, но он боязливо шепнул, что приказано не разговаривать. Водили каких-то людей, по виду рабочих, для допроса, но я уже ничего не мог услышать — завалился спать.

Ночью меня разбудили и приказали выходить. Вновь окружили меня двенадцать солдат под командой офицера и повели. Привели на пароход. Мне приказано было сесть на палубе, солдаты расселись вокруг меня, офицер спустился в каюту. Я выждал несколько минут и тихо заговорил:

— Вот вы меня арестовали, избили прикладами и теперь везете в тюрьму, как дикого зверя в клетку. Мне даже не дали проститься с родной сестрой. Я рабочий из крестьян, мой младший брат, как и вы, служит в солдатах. Он, может быть, тоже кого-нибудь арестовывает, тоже кого-нибудь избивает прикладом, тоже кого-нибудь ведет в тюрьму. Но я знаю, однако, что избивает он и ведет в тюрьму не помещика, не фабриканта, не богатого купца, а крестьянина, рабочего. Вы тоже не дворяне, не помещики, а рабочие и крестьяне. Я и вы — братья.

Меня прервал шепот нескольких солдат:

— Тише! Офицер идет.

Офицер вышел на палубу, постоял, посмотрел вокруг и вновь спустился в трюм. Очевидно, ничего подозрительного он не обнаружил и больше не возвращался. Так же тихо стал я продолжать; меня слу-

шали с захватывающим интересом, с напряженным вниманием.

— Вам говорят, что вы должны защищать веру и царя. Вас был целый батальон. Ваши сумки были полны боевыми патронами. Почему вас не повели против помещиков, против фабрикантов, капиталистов, которые выжимают из рабочих и крестьян все соки, обрекают их на нищету, а сами живут в роскоши? Почему вас не повели против попов, против монахов, которые велют нам молиться, трудиться и поститься, а сами ничего не делают и лопаются от жира? Кем переполнены царские тюрьмы? Рабочими и крестьянами. Кого шлют в Сибирь на каторгу, в вечную ссылку? Рабочих и крестьян. Вы не найдете там помещиков, фабрикантов, князей, богачей, попов. Царские суды, царская полиция созданы не против помещиков и капиталистов, а против рабочих и крестьян.

Долго я беседовал с солдатами, объясняя им механику капиталистического общества. Только подъезжая к Нижнему Новгороду, я умолк, солдаты тоже молчали. Но я знал, что они сочувствуют нам, — я не забыл и не забуду до самой смерти их предупреждающего шепота. Их было двенадцать, и ни один из них не выдал меня, иначе я был бы привлечен за призыв солдат к свержению царя.

Беспечный офицер вылез на палубу, пароход подошел к пристани. Снова меня взяли в кольцо. Другой, большой отряд вел следом за мной арестованных товарищей, но я не мог определить даже их количество. Нас посадили в вагоны трамвая, меня отдельно. С обеих сторон скакали стражники и конная полиция. Стало уже светать, когда меня вводили в ворота нижегородской тюрьмы, где и водворили во втором этаже, в одиночку башни.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ТЮРЬМА

Оставшись один в камере башни, я запел песню. Стало уже совсем светло. Через некоторое время раздался грохот первых железных дверей, потом вторых, и в камеру вошел крохотный надзиратель.

— Здесь петь нельзя.
— А почему нельзя?
— Здесь тюрьма, а не трактир.
— А мне какое дело!
— Начальник посадит в карцер.
— Ну и пусть сажает! Я и в карцере могу петь,—
рот не заткнете.

Надзиратель ушел. Часа через два вновь загремели железные двери, и в камеру вошел человек с большой черной бородой, в сопровождении двух надзирателей.

— Встать! Шапку снять!

Я остался сидеть в своем кепи.

— Сними шапку и встань!

— Снимите сами, тогда и я сниму.

— Я начальник тюрьмы.

— А мне какое дело, что вы начальник тюрьмы? Я прощения не подавал, чтобы меня сажали в тюрьму!

— Ты арестант и должен подчиняться тюремным правилам.

— Я не вор и не убийца, а честный рабочий, и не виноват, что вы не хотите заниматься честным трудом, а стали начальником воров и разбойников.

— Я посажу тебя в карцер за дерзость и неподчинение.

— Разве вы исполняете и роль палача?

Начальник повернулся и ушел вместе с надзирателями. Я ходил по камере и торжествовал. Но моя радость оказалась преждевременной. Снова загрохотали двери, снова в камеру вошел начальник, а с ним три надзирателя. Начал разговор не начальник, а самый здоровый надзиратель:

— Сними шапку!

— Не сниму.

— Сними!

— Не сниму.

Ударом под ложечку я был свален на пол, меня истоптали ногами и ушли. Все произошло так быстро, что было бы похоже на сон, если бы не оставшаяся боль. Я долго лежал на полу, потом, еле поднявшись, лег на голые нары.

Мне рассказывали, что политических не бьют и обращаются с ними вежливее, чем с уголовными. Оказалось не так. Я лежал и обдумывал ситуацию. Для меня было несомненно одно, что я сделал глупость и что тюрьма действительно не трактир. Но мне противно было вставать и снимать шапку перед всякой сволочью.

Я ждал, что меня отведут в карцер — это было бы даже интересно, но этого не случилось. Мне принесли набитый соломой тюфяк, такую же подушку и серое шерстяное одеяло. Мое тело болело, и я с удовольствием лег на постель. В обед принесли в деревянной чашке щей из кислой капусты и большой кусок черного хлеба, но к пище я не притронулся, — мучила боль в животе, а есть не хотелось.

Дня через два я получил от матери подушку, табурет и небольшой квадратный столик. Начальник тюрьмы оказался не таким уж извергом, как мне казалось, — он даже разрешил моей матери приносить мне ежедневно обед. Оправившись от побоев, я снова стал петь песни, не обращая внимания на протесты надзирателя, который в конце концов перестал мне надоедать.

Моя камера, до того как меня в неё посадили, служила складом. В ней было темно и сыро, маленькое полукруглое оконце с толстыми железными прутьями расположено высоко вверху. Я быстро изучил несложную тюремную жизнь. Утром поверка. Приходил начальник с двумя надзирателями и всегда заставлял меня на ногах, грохот первой двери предупреждал меня. Кепи я уже не надевал, мои волосы были очень густы, и мне не было холодно. Мать прислала мне жестяной чайник с посудой, и я утром и вечером пил чай. Два фунта черного хлеба надзиратель приносил утром. Тюремный обед разносили в двенадцать часов, но я от него отказался. Приносили подавания — яйца, булки. Сообщили мне, что в конторе имеются мои деньги и я могу их расходовать. Надзиратель покупал по моей просьбе самого дешевого сыру, старательно обкрадывая меня.

Самым лучшим временем был промежуток между вечерней и утренней поверкой, когда никто не надоедал, не лез в камеру. Я ставил к окну столик, на

него табурет, залезал на табурет, раскрывал окно и смотрел на вечернее небо, на звезды. Так, стоя, я пил чай на полной свободе, зная, что ко мне до утра никто не придет. Чайник привязывал носовым платком к пруту решетки. Перепробовал отверстия между прутьями и нашел одно более широкое,— через него я ставил на узкий подоконник стакан. Стоять долго было утомительно, и я задумал сделать подвесную скамейку. По утрам в уборной я понемногу выдергивал мочалу из швабры и прятал ее под тюфяк. Меня стали выпускать на получасовую прогулку. Гулял я один, под надзором часовых и надзирателя, но все же улучил момент и спрятал под пиджак найденную в трех саженях от дорожки палку. Заметил я и дощечку вершка в три шириной и четверти в три длиной, но она долго была недосыгаемой, так как лежала далеко от дорожки, под самой тюремной стеной. Из мочалы я свил толстую веревку с петлями на концах, а палку постепенно надгрыз зубами и переломил надвое. Длинная часть палки служила мне для сиденья у окна ночью, короткая — для прикрепления трапеции к решетке окна. Ночью я на палку стлал сложенное одеяло, но сидеть все же было неудобно.

Недели две я мечтал взять дощечку, но сделать это никак не удавалось; наконец после ряда ухищрений я поднял ее и спрятал под пиджак. Меня уже привели в камеру, как вдруг пришел второй надзиратель и сказал, чтобы меня вели к товарищу прокурора. Кто-то увидел из окна, как я брал дощечку, и донес. Привели меня к товарищу прокурора, обыскали и отобрали дощечку, затем обыскали камеру и отобрали веревку и палки. На следующий же день я принес с прогулки вторую палку и снова стал заготавливать мочалу для веревки. Сделал трапецию для стояния у окна днем, а после проверки стал подвешивать к решетке одеяло в виде гамака, с помощью двух коротких палочек и затяжных петель для одеяла. Теперь я мог смотреть на дневное и ночное небо сколько мне хотелось, а ночью часами сидел в гамаке, размышлял и пил чай. Боялся обыска, но второй раз меня так и не обыскивали.

Я попросил начальника тюрьмы разрешения получать книги с воли. Ответ гласил, что это запрещено прокурором, однако я могу брать книги религиозно-нравственного содержания из тюремной библиотеки. В библиотеке была сплошь монархическая дребедень. Я почитал немного и бросил.

Стал надоедать своим посещением товарищ прокурора. Я сразу заявил, что отказываюсь давать показания, и повторял это при каждом его посещении. Он был очень вежлив, обращался на «вы», но надоедал страшно: все приставал, чтобы я сознался в участии в подпольной организации, рассказал бы, кто дал мне знамя, кто руководил демонстрацией и так далее. Чтобы от него отвязаться, я заявил, что расскажу все, что знаю, но что это бесполезно, так как он мне все равно не поверит.

— Расскажите,— обрадовался товарищ прокурора, и я сообщил, что по улице гуляло много народу, кто-то дал мне красный флаг, я его взял и пошел гулять вместе с другими. На нас напали солдаты и флаг у меня отняли, а меня избили прикладами и арестовали. На флаге никакой надписи не было. Я говорил и улыбался, а он страшно злился, но сохранял вежливость. Когда я кончил, он начал говорить, что моему рассказу и ребенок не поверит и что я должен давать свои показания серьезно. Но все же записал мои слова, дал подписать и перестал ко мне ходить.

Я был очень рад, что избавился от одного надоедливого. Но вскоре меня посетил жандармский полковник Осипов. Я с самым серьезным видом рассказывал ему то же самое, он также записал, предложил мне подписать и ушел.

Через три месяца меня из одиночки башни перевели в одиночку в деревянном здании во втором дворе тюрьмы, который был окружен двойным частоколом из заостренных бревен. Но здесь нам разрешали гулять по двору группами почти целый день и нередко оставляли часть камер незакрытыми. Здесь я встретился с Мишей Самылиным и с учащейся молодежью, арестованной за демонстрацию 5 мая в Нижнем Новгороде, около Александровского сада. Мы гуляли по двору, а когда были в камерах, то

пели песни, и никто этого не запрещал. Познакомился я со студентами — Сысиным, Сергеем Моисеевым, Костей Дертевым, с рабочим кустарной мастерской столяром Михайловым и другими.

В сентябре нас опять перевели в главный корпус, во второй этаж. Миша Самылин попал к сормовским рабочим, а меня и Михайлова поместили в общую камеру со студентами Дертевым и Георгиевским, учеником технического училища Гусевым и гимназистом Даниловым. Мне стали носить очень хороший обед от А. М. Горького. В камере всю ночь горела электрическая лампочка.

На прогулку выпускали всей камерой. Мы начали агитировать часовых, но поддался только один молодой парень. Некоторые часовые гнали от окна и, вскидывая винтовку, грозили стрелять. Но когда стоял наш часовой, можно было влезть на окно и глядеть через стену в поле. Начальник к нам на поверку не ходил, а являлись два его помощника. По утрам мы лежали, на команду «встать» не обращали внимания, продолжали лежать; с нами ничего не могли поделать.

Один раз надзиратели учинили побои над несколькими сормовичами за то, что те не хотели заходить из коридора в камеру. Все заключенные начали стучать в двери, кричать: «Не смейте бить!» Наша камера тоже приняла в этом участие; разъяренные надзиратели грозили стрелять в нас из револьверов через глазок дверей.

Мы часто хором пели песни, никто нам не препятствовал. Рядом в камере уголовных составилась тоже хороший хор, только он часто пел похабные песни на церковные мотивы. Стали приносить книги с воли. Мне разрешили для чтения купить стеариновую свечку. Стеарином свечи я пользовался для варки яиц. Кастриолькой служила эмалированная кружка, очагом — кусок жести, углы которой я отогнул в виде ножек, а в выдавленном посередине углублении зажигал стеарин, который давал достаточно сильное пламя, чтобы вскипятить кружку воды или молока, сварить пару яиц. Зажигали стеарин с помощью фитиля, а потом он горел уже без фитиля.

Как-то ночью бежали трое уголовных. Они подпилили решетку в камере нижнего этажа, переоделись, вылезли во двор и с бочками ассенизаторов прошли через двое ворот мимо часовых, которые сами же открыли им ворота и дали возможность скрыться. После этого пошли строгости, и часовые уже стали сгонять нас с окон под угрозой стрелять.

ПЕРВАЯ ГОЛОДОВКА

Однажды ночью была сильная гроза, и я, любясь ею, долго стоял у окна в одном белье и сильно простудился. Под утро у меня поднялась температура, а утром наша камера получила приглашение участвовать в голодовке с целью добиться от прокуратуры разрешения свиданий с родственниками, на что по закону мы имели право, так как следствие по нашему делу было уже закончено. Наша камера приняла предложение, мы приготовились к длительной голодовке. Договорились, что заболевшие товарищи не должны были сопротивляться отправке в больницу и лечению, должны были в больнице есть.

Я предложил отказаться не только от пищи, но и от питья, на что товарищи не согласились.

Камера сормовичей также присоединилась к голодовке. Но я знал, что среди них есть недостаточно дисциплинированные товарищи, которые, не подчинившись постановлению сормовской организации, явились на демонстрацию Первого мая пьяными и пытались увлечь участников ее на погром завода. Поэтому я боялся срыва голодовки, а так как считал себя ответственным за сормовичей, то заявил товарищам по камере, что я не только есть, но и пить не буду. Меня отговаривали, но я, не упоминая о причинах, заявил, что своего решения не изменю. Мои опасения оказались не напрасными. После выяснилось, что организатором срыва голодовки был провокатор Богатырев. На второй же день пять сормовичей начали тайком есть, сговорившись с уголовными, которые прятали для них черный хлеб в печке уборной.

Вследствие простуды у меня заложило нос, я мог дышать только через рот, отчего жажда сделалась еще более мучительной. К вечеру первого же дня голодовки я уже совершенно лишился голоса, слизистая оболочка горла и рта пересохла и кровоточила. Вечером на поверку пришел старший надзиратель и, увидев мой рот, пошел к начальнику тюрьмы. Последний вызвал тюремного врача Доморацкого и вместе с ним явился в нашу камеру. И начальник тюрьмы и врач определили, что я выпил серной кислоты и обжег себе слизистую оболочку рта и горла.

Товарищи уверяли их, что я никакой серной кислоты не пил, а только отказался от питья, но они не верили, уговаривали меня пить. Врач говорил, что мое упорство угрожает мне смертью, так как в горле могут сделаться язвы и тогда жизнь спасти будет нельзя. Я отрицательно мотал головой. Врач, очевидно, был человеком добрым, да и начальник, несмотря на прошлую ссору, видимо, был взволнован, он не кричал, не грозил, а просил, и не как начальник, а просто как человек. Обычное средство самозащиты революционеров казалось ему чем-то необыкновенным, трагическим. Я не сдавался.

Ночь была для меня тяжелой, больной организм требовал воды, дыхание жгло слизистую оболочку горла и рта, но отступить я не мог. Утром мне стало легче, температура понизилась. Сормовцы узнали о моем состоянии. То один, то другой подзывал меня к «глазку» и уговаривал, чтобы я пил, но я отрицательно мотал головой. На лицах я видел болезненную гримасу сострадания и был рад, что пример увеличивает выдержку товарищей.

Кончился еще один длинный, бесконечный день. Стало значительно прохладней, но температура у меня снова поднялась. Наступила ночь. Я тихо лежал на нарах, бок о бок со спящими товарищами. В полубреду мой мозг болезненно работал. Тяжкая смерть от жажды, около воды, меня так же мало пугала, как и «праздничная», легкая смерть на солдатских штыках, как еще более легкая смерть на виселице. Я хотел победы.

В моем мозгу звучала «Песня о Соколе» — самая моя любимая песня из всех, какие я знал. Я хотел

упасть с высокого неба и разбиться, как смелый Сокол. Я понимал, я чувствовал счастье битвы и наслаждался этим. Мне казалось, что такие, как я, побеждают и ведут к победе других. Долгая, нудно-спокойная жизнь, без порывов, без борьбы за идеи коммунизма казалась мне ужасной, нестерпимой, — казалась не жизнью, а медленным тлением, смертью. И снова, как после бесед с сестрами Невзоровыми, я почти физически видел колонны мирового пролетариата, идущего в бой, почти явственно слышал железный топот идущих.

Так прошла ночь. День принес мне облегчение — температура падала. Я ослабел, но днем все же держался на ногах, лишь временами ложился и дремал. В силу контраста с ночью днем мне казалось, что всё почти хорошо. Третья ночь была полна кошмаров, но переносить ее было легче — я был измучен, и дремота часто переходила в сон. А на следующий день в камеру вошли два солдата и почти вынесли меня на руках из тюрьмы и на извозчике повезли в тюремную больницу арестантских рот.

Солдаты сидели по бокам и поддерживали меня. Хотелось рассказать им о нашей борьбе, но язык мне не повиновался. Меня внесли на руках во второй этаж больницы, и там врач дал выпить кружку теплого молока. Он запретил мне есть, предупредил, что еда может стать опасной для истощенного организма.

Врач ушел. Уголовные сказали мне, что меня вызывают к окну. Я увидел молодую девушку, гуляющую по тюремному двору. Присев на землю, она быстро замахала носовым платком. Я не был знаком с азбукой знаков и ничего не понял; на помощь мне пришел один уголовный, сделавшийся «переводчиком». Он знаками же сообщил о случившемся со мной, а когда меня спросили, чего мне прислать, я попросил чаю и сахару. В обед мне снова принесли кружку молока, но оно показалось мне отвратительным, я отдал его уголовным, что делал и позже во время пребывания в больнице.

Почти каждый день больным арестантам приносили подаяние, особенно часто крендели. Врач Доморацкий беспокоился за меня и особенно предупреждал

против кренделей. Успокаивая его, я сказал, что мне хочется только пить, а если захочется и есть, то я не ребенок, чтобы бессмысленно терять жизнь. Врач прописал мне четверть фунта черствого белого хлеба и молоко, которое я так и не стал пить — в нем был какой-то неприятный металлический привкус. Я наслаждался чаем с сахаром вприкуску и удовлетворялся кусочком белого хлеба.

Дней через семь — десять меня выпустили из больницы. В тюрьму конвоировал меня только один солдат. Шли мы с ним по Полевой улице. Я спросил его, откуда он. Солдат оказался крестьянином из села Подновья. Я сообщил ему, что сам родом из слободы Кошелёвки, которая отделяется от Подновья только селом Печёры, что младший брат мой служит в солдатах, а потом всю дорогу рассказывал, за что борются рабочие-социалисты. Беседа заинтересовала нас обоих. Он задавал мне вопросы, я разъяснял. Так незаметно дошли мы до тюрьмы.

Товарищи сообщили мне, что голодовка оказала свое действие и свидания разрешены. Через несколько дней вызвали на свидание и меня. Приятность этого свидания для меня усугублялась тем, что оно было взято с бою. Пришла мать с сестрами. В качестве двоюродной сестры пришла и Жозефина Эдуардовна Гашер. Она была одета в ватную кофту и большую шаль и своим круглым румяным лицом походила на деревенскую женщину. С одинаковым удовольствием расцеловался я со всеми подряд и в первый раз в жизни с женщиной не родственницей. Все были рады, что болезнь и голодовка прошли для меня благополучно.

СУД И ПРИГОВОР

Мы стали готовиться к суду. Свою роль на суде я считал значительной и был очень разочарован, когда узнал, что мое дело не выделено, что меня будут судить не за публичный призыв к ниспровержению существующего порядка, а за дерзостное порицание этого порядка — наравне с другими участника-

ми демонстрации. Это связывало мне руки и разрушало все мои планы.

Из Москвы приехали присяжные поверенные — Муравьев, Тесленко, Малянтович и Маклаков, приглашенные Алексеем Максимовичем Горьким. Часть из нас была вызвана в деревянное здание тюрьмы.

Адвокаты разъяснили нам, что председатель суда лишит нас слова, как только мы позволим себе резкие выражения против власти или суда. Я решил написать проект речи и прочесть ее защитникам. На другой день присяжный поверенный Маклаков вызвал меня и долго со мной беседовал. Он сказал мне, что точной статьи закона, которая карала бы за несение во время демонстрации знамени с лозунгом «Долой самодержавие!», не существует. Есть статья, карающая за публичный призыв к покушению на царя и к ниспровержению существующего порядка смертной казнью через повешение, но эта статья ко мне не подходит, поэтому ко мне применили 252-ю статью, тоже не подходящую к моему преступлению.

Маклаков говорил, что он на суде будет доказывать, что ко мне должна быть применена статья, единственным наказанием по которой является смертная казнь через повешение. А так как этого быть не может, то судьи должны будут признать неприменимость ко мне этой статьи и, возможно, оправдать.

Сидевший вместе с нами в тюрьме студент Розенберг написал для меня речь, но это был ученый трактат, совершенно непонятный для рабочей массы. Я написал собственный проект речи, который, как мне казалось, был более понятен массе.

Я недооценивал значение судебного процесса; мне казалось, что моя работа в прошлом важнее выступления на суде, к которому я привлечен всего только за дерзостное порицание существующего порядка. Совсем другое дело было бы, если бы меня судили за публичный призыв к ниспровержению существующего строя. Понятное дело, что на суде мы могли сказать какие угодно «страшные» слова, но тогда дело ограничилось бы одними возгласами и наших речей нельзя было бы использовать для широкой агитации.

Исключительное внимание со стороны знаменитых адвокатов меня нисколько не обманывало. Я крепко помнил «урок» студента Кузнецова, относил защитников и судей к одной социальной группе и знал, что защитники с легкостью могут превратиться в наших судей, в прокуроров. Я не забыл, что мы, рабочие, являемся для них средством для осуществления их собственных целей. Они хотели, чтобы мы, рабочие, «подсадили их на первый сук каштана», а мы хотели революции.

Проект моей речи был передан А. М. Горькому, и он ее одобрил. Одобренный проект моей речи послужил примером и образцом для речей других товарищей. Я настаивал на том, чтобы все товарищи, против которых нет веских улик, на суде защищались, так как бессмысленно было увеличивать количество жертв и ослаблять этим нашу организацию. Особенно трудно было уговорить Михаила Быкова...

Студенты и учащиеся, сидевшие в тюрьме, были очень милые люди, но они вышли не из рабочего класса, и революционность большинства из них я считал детской болезнью, так сказать, «студенческой корью». Самым юным был сын еврейского раввина Лубоцкий. Он принадлежал к самой угнетенной в царской России нации и уже в силу этого был нам, рабочим, более близок. Он был скромн и умен, его увлечение революцией имело глубокие корни, было серьезным, несмотря на юный возраст. Сережа Моисеев был сыном дворянина; его старший брат, кажется, был офицером, а сам он проявлял архиреволюционность и старался ею заразить и меня. Я относился к этому несколько юмористически и, поддразнивая, высказывал в ответ на его поучения архинереволюционные мнения.

Проектом моей речи Сережа Моисеев остался особенно недоволен. Этот проект казался ему неревolutionционным, примиренческим. Особенно напал он на меня за слова: «хотел обратить внимание правительства и общества на невыносимое положение рабочих». В нем было еще много детского. Самое его обращение к солдатам через решетку окна гауптвахты: «Солдаты! Нас заставляют работать по 12 часов

в сутки, а мы хотим работать по 8 часов» — казалось мне комическим.

Но в общем Сережа Моисеев был милый мальчик, живой и веселый, как котенок. Я его очень любил, хотя к нам, рабочим, он и относился несколько свысока. Из учащихсья сложившимися революционерами-марксистами казались мне студенты Сысин и Дертев. Но Лубоцкий* и даже Сережа Моисеев и другие доказали своей жизнью, что их увлечение делом мирового пролетариата не было временным, и у меня осталось ко всем горячее товарищеское чувство, как к живым, так и к ушедшим из жизни.

Незадолго до суда меня перевели в камеру к соромичам, и я своими глазами убедился, что большая часть активных товарищей в тюрьму не попала. От арестованных я скрыл все происшедшее со мной после ареста, чтобы не подорвать их бодрого настроения, да и стыдно было за проявленную мной слабость во время побоев.

Мы обсуждали свою тактику на предстоящем суде и пришли к выводу, что нам следует принять во внимание советы адвокатов и избегать резких выпадов против суда и правительства, чтобы иметь возможность произнести хотя короткую речь, которую можно было бы использовать на воле для агитации. Кроме того, я не хотел показывать лица нашей организации, ибо главной задачей считал сохранение ее сил...

Среди нас был кузнец Ляпин, который не участвовал в нашей организации, но тем не менее был арестован. Ему мы рекомендовали не выступать, так как были уверены, что его оправдают. Но судьи и его обвинили и послали в пожизненную ссылку, в то же время выпустив из своих рук ценных товарищей, которые и проявили себя впоследствии.

Я никогда не судился, никогда не видел суда и не имел представления о судьях. Поэтому заявление адвоката Маклакова, что судьи не хотят меня вешать и применили не ту статью, было для меня очень ценным. Я делал вывод, что у судей или имеется что-то похожее на зачатки человеческой совести, на тень сочувствия, или они трусы и боятся общественного мнения.

Самым простым и легким было для меня выступить открыто, прямо, резко-враждебно. Но мне казалось, что такое выступление ухудшит участь привлеченных к суду товарищей, а кроме того, я был уверен, что говорить мне не дадут и выведут из зала суда. Я считал необходимым показать в своей речи самую суть борьбы пролетариата с капитализмом, хотя бы и в самых мягких формах, чтобы с первых же слов мне не заткнули рта.

- Вызвал меня еще нижегородский адвокат, и, когда я ознакомил его с проектом речи, он остался доволен. Во время этой беседы мне бросилось в глаза, что адвокаты нашими голосами хотят сказать в суде то, о чем сами решаются говорить только в интимном кругу, за чайным столом.

Судили первыми нас, сормовичей, в конце октября — начале ноября. Ночью на трамвае отвезли в суд и поместили в очень хорошей комнате с железными кроватями. Утром принесли чай с белым хлебом, а на обед дали такие вкусные мясные щи, каких я во всю предшествующую жизнь не пробовал. Мы были под конвоем солдат.

Приходил помощник прокурора, который был очень мил и любезен и спрашивал нас, довольны ли мы пищей и помещением. Я ответил, что пища и комната очень хороши, но что для меня свобода дороже, и если придется пробыть в этой комнате долго, то я повешусь на шнурке вентилятора. Он явно ожидал благодарности и был так обескуражен моим ответом, что сейчас же ушел от нас.

На другой день нас вывели из комнаты, и сейчас же за дверью мы очутились на скамье подсудимых, обнесенной решеткой. Бросились в глаза дорожные, залитые золотом мундиры и чужие, враждебные, налитые кровью толстые лица и шеи судей. Я не имел представления о процедуре суда и думал, что могу сейчас же рассказать о причинах, побудивших меня выйти на демонстрацию со знаменем, призывающим к ниспровержению самодержавия. Суд, как я и ожидал, начал с меня.

Председатель суда Попов задавал мне вопросы, но я на эти вопросы отвечать не хотел, а сразу же начал произносить свою речь. Председатель прерывал меня, требуя, чтобы я отвечал только на вопросы, и этим сбивал меня. Я злился, начинал свою речь сначала; он же говорил, что это к делу не относится, надо лишь отвечать на вопросы и отвечать коротко. Я не знал, что мне дадут последнее слово, и настаивал на том, чтобы мне не мешали.

Я говорил суду: я хочу рассказать вам о причинах, заставивших меня пойти на демонстрацию, и прошу вас разрешить мне это. Вы как судьи заинтересованы в том, чтобы знать об этих причинах.

На помощь мне пришел защитник Маклаков и стал просить, чтобы суд разрешил мне рассказать всю правду. Председатель сдался, но и после этого два раза прерывал меня своими «это к делу не относится», но я все же произнес свою речь до конца.

Обычная процедура была сломана. Я овладел вниманием суда и всех присутствующих. Я сам волновался от своего рассказа. Сказалось перенапряжение последних недель. Мне даже стало жаль себя, жаль сотен тысяч таких же, как я, и из моих глаз неудержимо полились слезы. Временами мое горло сжималось, и я на момент умолкал, чтобы сейчас же с новой силой и страстью говорить о той правде, от которой судьи хотели отмахнуться. Худой и нервный защитник Маклаков плакал. Я видел, как нервничает председатель суда Попов. И когда я рассказал о безотрадной жизни стариков рабочих, о жизни своего деда, подвергавшегося глумлению со стороны своих же собственных детей, он уже не в силах был сдерживать себя, его нижняя губа начала прыгать.

Говорил я ровно час. Весь сияющий ласковой улыбкой, подошел вплотную ко мне член суда Милютин. Между нами была только решетка. Его голова была на уровне моей груди. Он так ласково на меня смотрел, что можно было думать, будто ему хочется со мной целоваться. Он стал меня спрашивать, я ему отвечал.

— Кричали ли вы «Долой самодержавие!»?

— Не кричал. Но я сделал гораздо больше. Я написал на своем знамени лозунг «Долой самодержавие!»

вне!» и нес так, чтобы все рабочие могли читать. И они действительно все читали его!

— Как вы относитесь к царю?

— Если русский царь не будет иметь никакой власти,— ответил я,— а вся власть будет принадлежать выборным от всего народа, то я и против русского царя ничего иметь не буду.

Член суда Милютин отошел от меня на свое место все такой же сияющий.

После меня был вызван Миша Самылин. Председатель суда Попов дал ему возможность произнести короткую речь беспрепятственно, так же как и Алексею Быкову и Наумову. Начался допрос свидетелей. Обвинение было построено на показаниях жандармов, полиции и сыщиков. Последние свои показания неизменно начинали словами: «Находясь с наблюдательной целью на углу...» и т. д.

После допроса свидетелей выступил товарищ прокурора Курлов с длинной речью. В той части речи, которая касалась меня, он заявил, что «не только рабочим, но и нам живется трудно, но с этим приходится мириться». Для меня это было самое неожиданное, но и самое интересное место речи Курлова. Было очень смешно, что при царизме живется трудно и товарищам прокуроров.

После Курлова выступил присяжный поверенный Маклаков. Он защищал Быкова и Самылина, доказывая суду, что их деяния законом не предусмотрены, а потом перешел к разбору обвинения, предъявленного мне. Он указал суду, что точной статьи закона, карающей за несение на демонстрации знамени с надписью «Долой самодержавие!», не существует и что самой подходящей является статья о публичном призыве к ниспровержению существующего порядка, единственным наказанием по которой является смертная казнь через повешение.

— Правильнее применить статью, по которой мой подзащитный подсудимый Заломов должен быть повешен. Однако,— сказал он,— и эта статья, являясь самой подходящей, все же не является точной,— и сослался на разъяснение сената по делу Боголюбова.

Защитник Муравьев сказал по поводу лично меня очень мало и главным образом упрекал товарища

прокурора Курлова в том, что он старался высмеять и подвергнуть сомнению искренность моей речи, в которой я заявил, что решил отдать свою жизнь за рабочий класс.

— Меня удивляет,— сказал, обращаясь к суду, Муравьев,— как у обвинителя не содрогнулось сердце от исповеди подсудимого Заломова. Не верить, что Заломов пошел на демонстрацию ради блага рабочих, равносильно отрицанию евангельского завета «за други положить свою жизнь».

Курлов покраснел.

Нам было предоставлено последнее слово. Для меня это было полной неожиданностью, и я, а вслед за мной и другие от последнего слова отказались. Суд удалился на совещание, после которого огласил приговор — пожизненная ссылка в Восточную Сибирь с лишением всех прав состояния. В список приговоренных попали члены сормовской организации РСДРП: П. Заломов, М. Самылин, А. Быков, П. Дружкин, Фролов и беспартийный кузнец Ляпин. Последний, услышав свое имя, издал нечленораздельный выкрик и бросился к решетке. Его сейчас же окружили защитники, начали успокаивать, и он дал увести себя в комнату подсудимых. Он страшно возмущался своим осуждением и жалел, что раньше не наговорил судьям что следует.

Я ожидал, что Миша Самылин скажет на суде длинную речь, а поэтому спросил его: «Что же ты, Миша, так мало сказал?» Он мне ответил: «Ты все сказал, и мне уже ничего говорить не осталось». Очень разнервничался Петр Дружкин. Михаил Быков плакал о том, что его не осудили вместе с нами, и сильно жалел, что подчинился нам и не выступил с речью против самодержавия, суда и судей. Я доказал ему, что интересы нашей борьбы требуют сохранения нашей организации, а не поголовной отправки ее членов на каторгу и ссылку. Он успокоился, и мы простились с ним навсегда. Его состояние было мне понятно, так как при массовых арестах 1896 года я сам пережил нечто подобное.

В целом все товарищи приняли приговор твердо, без всякого малодушия, а Ляпин только жалел, что не был членом партии до тюрьмы, что не выступил

на суде с речью. Он с ненавистью повторял: «Я бы им такое сказал! Такое сказал!» В сущности, приговор был смехотворный и в особенности по отношению ко мне. Даже по 252-й статье судьи могли дать шесть лет каторги, а дали пожизненную ссылку с лишением всех прав состояния.

После суда нас ночью отправили обратно в тюрьму.

Вскоре я получил с воли записку с просьбой возможно скорее написать и прислать свою речь, произнесенную на суде. Моя речь не совпадала во всех деталях с первоначальным проектом, так как, пользуясь слабостью судьи, я придавал ей более определенный тон, но она была длинна, воспроизводить ее всю было бы трудно, и, посоветовавшись с Мишей Самылиным, я написал только краткое содержание речи, вполне уверенный, что проект этой речи находится в руках товарищей и они используют и то и другое. Миша Самылин и Фролов сказали, прочтя написанное мною, что все самое главное и важное из сказанного мною на суде здесь имеется. Тогда я передал краткое содержание своей речи на волю.

После нас судили учащуюся молодежь. Более юные из них, Моисеев и Лубоцкий, на суд прийти отказались, солдаты принесли их из тюрьмы на руках.

После суда я подводил итоги сормовской демонстрации. Только пять членов партии и один беспартийный пошли в пожизненную ссылку в Сибирь. Остальные были на свободе. Жертва эта казалась мне ничтожной, и я торжествовал. Но все же торжество это было отравлено, червь глодал мой мозг. Я вспомнил, какое впечатление произвели на меня горькие, но мужественные слова декабриста Муравьева-Апостола, когда оборвалась веревка, на которой он был повешен: «Бедная Россия, и повесить-то не умеют»,— сказал он. Я вспоминал народовольцев, каздивших царя и заплативших за это своей жизнью, и жалел в ту минуту уже не о праздничной смерти на солдатских штыках, а о позорной смерти на виселице.

Мне в ту пору казалось, что один этот смертный приговор дал бы для пролетарской революции больше, чем моя прошедшая и последующая жизнь. Това-

рищи рабочие не забыли бы, не простили бы моей смерти, как я сам не мог забыть и простить смерти всех героически погибших в борьбе с угнетателями трудового народа. Я мечтал, как и каждый революционер-рабочий, сделать для революции максимальное, и вот единственный случай, думал я, прошел мимо меня, чтобы не повториться никогда. Стоит ли говорить, что эти суждения были ошибочны, но по-нял я это уже потом, в далекой и суровой ссылке.

С учащейся молодежью, которая была осуждена за нижегородскую демонстрацию 5 мая, встретились мы уже в поезде, увозившем нас в московскую Бутырскую пересыльную тюрьму. Ехали весело, с песнями, как победители.

В БУТЫРСКОЙ ТЮРЬМЕ *

Наше путешествие в Москву было прервано самым неожиданным образом. Поезд, раньше времени отойдя от нижегородского перрона, вдруг остановился посреди поля далеко от вокзала. Наш вагон отцепили, и паровоз ушел с другими вагонами обратно на станцию. Вначале мы были в недоумении, но потом узнали, что рабочие из Сормова и интеллигенция из города приходили провожать нас, а жандармы не хотели допустить демонстративных проводов. Для нас стало ясно, что власти испугались новой демонстрации, и это сознание было приятно.

Стены тюрьмы уже успели надоесть нам, и в поезде чувствовалась иллюзия свободы. Только тонкая стенка отделяла нас от простора полей. Но усиленный конвой напоминал, что мы остаемся узниками царизма.

Конвойные резко отличались от тюремных надзирателей. Их отношение было совсем иное, и мы не чувствовали в них врагов, хотя и знали, что при попытке к побегу они будут в нас стрелять. Они тоже не чувствовали к нам вражды, наверное, сами были из рабочих и крестьян, а поэтому наши взаимоотношения казались особенно противоестественными, нелепыми...

По приезде в Москву нас повезли в Бутырскую тюрьму кружным путем, и всех нижегородцев, за исключением женщин, поместили в общую камеру во втором этаже. При появлении в тюремном дворике мы были встречены песней. Заключенные товарищи пели «Отречемся от старого мира», и наши голоса влились в общий хор.

Такая встреча была неожиданной и давала основание предполагать, что в Бутырках более мягкий режим. В тюремной башне было относительно чисто и светло, хотя окна небольшие и забраны железными прутьями.

Железные койки с соломенными тюфяками располагались веером около стены, и только две из них нарушали этот порядок. Посреди башни стоял большой круглый стол, вокруг которого имелось достаточно табуретов.

На другой день нашу камеру открыли и мы получили возможность выходить во двор, где познакомились с товарищами, помещавшимися в первом и третьем этажах. Старожилы тюрьмы имели примусы, керосиновые кухни и готовили себе на них пищу, кипятили воду для чая. Это разрешили и нам.

При участии А. М. Горького для нас были собраны деньги. На них мы закупили романовские полушубки, валенки, теплые рукавицы, шапки, ватные пиджаки, фуфайки, чайники, кастрюльки, ложки, кепрошинки. Кроме того, каждого из нас снабдили библиотечкой, включавшей Энциклопедический словарь Гранат. Питались мы за счет средств, переданных для нас в контору тюрьмы.

В нашей камере помещались сормовцы — Самылин, Быков, Фролов, Дружкин, Ляпин и я. С нами были осужденные за нижегородскую демонстрацию Дертев, Сергей Моисеев, Лубоцкий и Михайлов, а всего в башне помещалось около полусотни человек.

В тюрьме было 150 политических. Один из товарищей, заключенный в одиночную камеру главного корпуса, объявил голодовку и разослал по всем башням записки с просьбой поддержать его. Он требовал свиданий и перевода в общую камеру. Вопрос о присоединении к его голодовке горячо обсуждался в

нашей башне. Настроение было боевое, и большинство высказалось за голодовку. Я был против и указывал, что голодовка может быть выиграна только в том случае, если все участники решатся стоять на своем до конца, но рассчитывать на это в пересыльной тюрьме невозможно, так как мы многих не знаем.

Мне возражали как раз те товарищи, на которых я всего менее полагался, и в конце концов пришлось подчиниться общему решению. Все 150 человек политических заключенных присоединились к голодовке, но кое-кто из них в тот же день вздумал поужинать. Со второго дня бросили голодовку и некоторые другие, а через два дня в нашей башне осталось голодающих меньше половины. Прошел еще день, и от голодовки отказался сам инициатор, а мы очутились в глупейшем положении. Рисковали стать посмешищем и друзей и врагов.

В это время нам была передана записка от больной Лидии Канцель, требовавшей возвращения подруги, которая помещалась с ней вместе и ухаживала за ней. Мы заявили об этом начальнику тюрьмы и стали продолжать голодовку.

Через три дня нас вызвал на свидание присяжный поверенный Малянтович, участник нашей защиты на судилище в Нижнем Новгороде. Наш вид произвел на него такое сильное впечатление, что он даже заплакал. Но мы сказали, что будем голодать до удовлетворения наших требований или до смерти.

Приходил к нам помощник прокурора. Он и уговаривал, и издевался над нами. Доказывал, что человек без пищи может жить сорок дней и что нам никто не поверит, будто мы голодаем, так как у нас варится и жарится пища. Я ему ответил, что мы не намереваемся его убеждать, но заявляем, что будем продолжать голодать, пока наши требования не будут удовлетворены.

Через восемь дней товарищ прокурора снова явился к нам и сообщил, что к Лидии Канцель ее подруга возвращена. Мы ему не поверили и послали записку Лидии Канцель и, только получив от нее ответ, объявили голодовку законченной.

Иногда мы пели протяжные, грустные песни. Были среди нас хорошие певцы, и я, как любитель пения, тоже участвовал в этом необычном хоре.

Я никого не ждал, но в середине января неожиданно получил передачу от Жозефины Эдуардовны Гашер, которая приехала ко мне на свидание в качестве невесты. Полученные яблоки и живой белый цветок я передал дежурному для распределения между всеми товарищами, как это было принято у нас. Я получил маленький кусочек яблока, но цветок отдал мне одному, чему я был очень доволен. Мне было 25 лет, и это был первый цветок, полученный мною от женщины. Я поставил его в кружку с водой, и он прожил у меня несколько дней.

Многие женщины посещали в тюрьме мужчин под видом невест. Я уже имел одно такое свидание с Анной Ивановной Доброхотовой, которая тоже назвалась моей невестой. Но эта встреча с Жозефиной Эдуардовной была особенно памятной. Мое сближение с ней произошло случайно. У меня была привычка говорить «люблю» про тех товарищей, которые мне нравились, которых я ценил. На свидании в нижегородской тюрьме со своей младшей сестрой Варей я тоже сказал, что «люблю» Жозефину Эдуардовну, в которую влюблен тогда не был, но меня трогало ее внимание, и она очень располагала к себе подлинно товарищеским отношением к рабочим. Извещение о том, что она придет ко мне на свидание, заставило биться мое сердце сильнее, и я очень хотел, чтобы это свидание состоялось.

Оно происходило в большой комнате; надзор за нами был слабый, и предоставлялась возможность говорить о чем угодно. В комнате уже находилось несколько таких пар, и они, очевидно для конспирации, время от времени целовались. Мы тоже поцеловались при встрече и сели с Жозефиной Эдуардовной рядом. Я был очень рад ее видеть и расспрашивал о сормовской организации. На коленях у меня лежала моя меховая шапка. Она взяла ее и, рассказывая о Сормове, гладила шапку, как что-то живое. Я понял, что эта застенчивая ласка относится ко мне, и сердце стало биться еще сильнее.

Жозефина Эдуардовна продолжала работать в Сормове пропагандисткой, но думала переехать в Харьков, так как за ней усиленно следили и предстоял близкий арест.

Три раза была она у меня на свидании, и ни одного слова не было нами сказано о взаимных симпатиях. Я расспрашивал, она рассказывала о настроениях рабочих. И я радовался, что наше выступление на демонстрации не прошло бесследно: оставшиеся на воле стали сильнее, революционная пропаганда в рабочих массах расширялась.

Несколько раз виделся я и с матерью. Сначала нас разделяли решетки, но потом мы сидели рядом в большой комнате и разговаривали свободно. Мать крепилась и нашла в себе мужество проститься со мной без слез.

Приближалось время отправки в ссылку. Помощник прокурора обещал отправить всех нижегородцев вместе. С нас были сняты фотографии, и мы получили разрешение заказать карточки для себя, чтобы обменяться ими друг с другом. Костя Дертев пожелал переплести немецко-русский словарь и передал прошение об этом начальнику тюрьмы. Вскоре его вызвали в контору. Начальник, старый полковник, встретил его словами:

- Я вашего прошения принять не могу.
- Почему?
- Оно без подписи.
- Но я его подписывал.
- Как ваша фамилия?
- Дертев.
- Твердого знака нет.
- Дело не в нем.
- Надо сделать полную подпись. Так принять не могу.

Костя так и вернулся со своим прошением, но твердого знака ставить не захотел. Мы много смеялись над этим старым чиновником-буквоедом.

Один раз он застал пятерых из нас в камере нижнего этажа башни и грозно закричал:



— Арестанты! Сейчас же расходиться по своим камерам!

Административно ссыльный учитель с большой проседью в бороде стал упрекать начальника в отсутствии человеколюбия. Учитель заявил ему, что он не арестант и его никто не судил.

— Я говорю не о вас, а об арестантах, лишенных всех прав,— сказал ему начальник.

И после нового грозного окрика начальника никто из нас не тронулся с места. Начальник ушел и вскоре вернулся с целой сворой надзирателей. Нас поволокли в подземный карцер, где заперли в отдельные камеры. Эти камеры оказались очень просторными, и в середине под сводчатым потолком я мог выпрямиться во весь рост. Но тьма была абсолютной. Под ногами шмыгнула крыса. Заросший грязью пол был, очевидно, каменный, но производил впечатление земляного. На нем не оказалось ни одного клочка соломы. Воздух был переполнен смрадом. Мы могли свободно переговариваться, и голоса были ясно слышны через зарешеченные отверстия дверей.

Мы знали, что дольше трех суток в карцере нас не продержат, и поэтому происшедшее приключение казалось нам комическим. Кроме того, здесь прислуживали скудно оплачиваемые надзиратели и за деньги наверняка могли бы устроить нам передачи через товарищей. Просидели мы в карцере недолго. Товарищи заявили резкий протест, начальник уступил, и мы снова были водворены на прежнее место в северную башню.

С нетерпением ожидали мы отправки в Восточную Сибирь и радовались, что долгое время будем ехать все вместе. Но помощник прокурора нас обманул: было объявлено, что отправлять будут по одному человеку. Мы были возмущены этим обманом. Сережа Моисеев предложил забаррикадировать койками кованную железом дверь, чтобы надзиратели и солдаты не могли к нам ворваться, а чтобы нас не могли перестрелять через глазок двери, предложил всем спрятаться в уборной.

Все согласились с предложением Моисеева. Против высказался я один. Мне затея казалась бессмысленной, детской и к тому же унижительной. Если бы

мы могли оказать вооруженное сопротивление, то я принял бы это с восторгом. Но никак не мог принудить себя к тому, чтобы пассивно прятаться от пуль в... уборной. Такое унижение казалось мне хуже смерти. Хотя я и должен был подчиниться товарищам, тем не менее заявил им, что прятаться не буду и останусь сидеть на своей койке, которая стояла как раз напротив двери. Меня уговаривали, даже возмущались моим решением, но я считал позорным прятаться и не уступил.

На другой день рано утром мы поставили между стеной и дверью распорку из массивных железных коек, и дверь стало невозможно открыть. Тюремным начальством был вызван отряд солдат с винтовками. Приехал губернатор. Сначала нас уговаривали открыть дверь надзиратели, потом, не жалея угроз, требовал этого начальник тюрьмы. Я заявил, что откроем дверь, если он даст слово отправить нас вместе, как это было обещано. Тогда начальник тюрьмы стал грозить расстрелом.

В глазок двери просунулись дула солдатских винтовок.

— Стреляйте! Мы не двинемся с места. Мы требуем отправки нижегородцев одной партией, и, пока начальник тюрьмы не даст нам в этом слова, дверь не будет открыта.

Моя досада на то, что товарищи втянули меня в детскую игру, прошла. Дело принимало нешуточный характер. Дула винтовок со снятыми штыками маячили у глазка двери, солдаты брали нас на прицел. Кроме меня, остались сидеть Костя Дертев и Лубоцкий, койки которых стояли рядом с моей.

Залпа не последовало. За дверью совещались. Затем дверь начали рубить пожарными топорами. Летела щепа. Глазок становился все шире и шире. Превратился в бесформенную большую дыру, сквозь которую могла уже просунуться голова человека. Башня гудела от ударов топором. Но вот удары прекратились, в отверстии, уже удобном для обстрела, снова появились стволы винтовок, вновь раздались гневные требования, чтобы мы открыли дверь, и угрозы стре-

лять. И почти одновременно я, Дертев и Лубоцкий ответили:

— Стреляйте! Дверь открыта не будет, пока не выполнят наши требования.

Дула винтовок спрятались, снова загрохотала дверь под ударами топоров, снова загудела башня. Все яростней становились удары, все обильнее летела щепа, дыра становилась все огромнее, глубже. Я видел, что начальство трусит и что дело ограничится всего только избием прикладами, но оно не решилось и на это и пошло на уступки. Неожиданно водворилась непривычная тишина. Под защитой высуновшихся винтовок с неимоверной быстротой просунулся в камеру один из надзирателей, выдернул среднюю койку, отбросил её от двери, и разом камера наполнилась надзирателями и солдатами. Загремел яростный голос взбешенного старого полковника:

— Взять их! Одеть в арестантское! Надеть кандалы!

Солдаты взяли меня, Быкова, Самылина и Дертева. Нас повели, и в моей памяти возникла картина, как вели нас по улице Сормова, а мы пели тогда: «Мы жертвою пали» и «Идем мы, гремя кандалами»...

Но губернатор оказался умнее полковника, и нас в кандалы не заковали, а только переодели в арестантское серое платье и в короткие, нестерпимо вонючие овчинные полушубки.

В общей массе уголовных нас повели к вокзалу не кратчайшим прямым путем, а окольными, совершенно пустынными улицами. Ни рабочих, ни других людей на нашем пути не оказалось.

В вагоне мы беседовали с уголовными и с конвойными. Отношения с ними сложились у нас хорошие, и они к нашим словам и революционным песням относились доброжелательно.

В Самару приехали ночью. Нашу партию оцепили сильным конвоем и погнали через открытое поле к тюрьме. Мы еще в вагоне переоделись в свое платье, и снежная пурга была для нас не так чувствительна.

Самарская тюрьма была построена по образцу заграничных тюрем. Для каждого заключенного пре-



доставлялась маленькая, но чистая и светлая камера. Окна были большие. Койки откидывались на день к стене и запирались, но нам было разрешено лежать на них хоть целый день. На прогулку нас выпускали всех вместе. Прожили мы в Самарской тюрьме дня три, и нас повезли в Челябинск, где продержали целую неделю. Челябинская тюрьма была старая, деревянная, со множеством крыс, которые были настолько нахальны, что не только ночами бегали по нарам и спящим людям, но даже днем вылезали из своих нор и спокойно разгуливали по полу.

На тюремном дворе, окруженном высоким частоколом, нам можно было беспрепятственно гулять часами. Жизнь тянулась однообразно, но мы не скучали. Часто мы слушали разные истории из тюремной жизни, а сами все чаще размышляли вслух о своем будущем сибирском житье-бытье.

СИБИРСКАЯ ССЫЛКА

Из Красноярска нас погнали пешком, но как только мы вышли из города, конвойные разрешили нам ехать на подводах.

У конвойных было мясо. Мы тоже купили в деревне теленка, сложились и стали питаться вместе с конвойными из одного котла. Беседовали они с нами совершенно свободно. К ссыльным в Сибири, видимо, давно привыкли и относились к ним совсем не так, как в центральной части России. Конвойные настолько нам доверяли, что Алексей Быков ходил с револьвером одного из них охотиться на глухарей. Птиц он не добыл, но сильно запоздал. Хорошо, что его подвез какой-то крестьянин. На этап Быков явился уже через несколько часов пути.

Снегу еще не было, но чем дальше мы продвигались к северу, тем сильнее чувствовалась зима. Костю Дертева оставили в большом селе Казачьем, где была колония политических, а в селе Маклакове я распорядился с Мишей Самылиным и Алексеем Быковым, которые следовали дальше. Я остался в Маклакове один.

Конвойные сдали меня волостному правлению, и волостной писарь, достав толстый том Свода законов Российской империи, заставил меня прочитать статьи, относящиеся к ссыльно-поселенцам. За самовольную отлучку грозило возмездие. За первый побег — 25 плетей и 6 лет каторги, за второй побег — 50 плетей и 12 лет каторги.

Мне указали хозяев, у которых раньше квартировал политический административно-ссыльный. Я пошел к ним и быстро договорился. За комнатку в три аршина длиной и два с половиной шириной я должен был платить два с половиной рубля в месяц. Комнатка эта отделялась от комнаты хозяев перегородкой, не доходившей до потолка, и соединялась коридорчиком с кухней.

В моем распоряжении оказался узкий дощатый примосток для спанья, стул и небольшой столик. Я был очень доволен, так как и не мечтал о таких удобствах. Мне предоставляли также право пользоваться баней, топившейся по-черному. Хозяйка согласилась стирать мне белье и готовить пищу: варить картошку и выпекать черный хлеб из покупаемой мной муки. Керосин я должен был иметь свой.

Семья состояла из пятидесятилетнего хозяина Гаврилы Антоновича, сорокалетней жены его Степаниды Ефимовны, двадцатилетней дочери Настюни, или «Тюни», как ее звали, племянницы-подростка Груни и девятилетней матери хозяина, которая жила отдельно в крохотной избушке.

На этапах до места ссылки и из Маклакова я писал письма Жозефине Эдуардовне. Было ясно, что мы любим друг друга. Я стал звать ее к себе, но она сначала не решалась, а потом написала, что приедет. Но вскоре пришло сообщение об ее аресте в Ростове-на-Дону. После этого я получал от нее письма, просмотренные жандармами, с широкими полосами, оставшимися после химического проявителя. Мы знали об этом, и потому наши письма никаких материалов жандармам дать не могли.

Выпустили Жозефину Эдуардовну во второй половине февраля, и она выбрала местом высылки село Маклаково Енисейской губернии. Написала мне, что ехать не на что, так как свои сбережения отдала

взаимы очень нуждающейся подруге, у которой заболела племянница, а подруга тоже была арестована и потеряла заработок. Теперь ей надо вновь заработать деньги на проезд ко мне. Потом оказалось, что ее мать прислала ей на дорогу 100 рублей.

В конце февраля я получил телеграмму, извещающую, что она выехала ко мне.

Я не обманывал свою невесту, когда писал ей, что люблю ее. Я любил ее как честного товарища, готового идти с рабочим классом нога в ногу в его борьбе за социализм. Я любил ее как женщину, которая сказала, что тоже любит меня, хочет быть моей женой и матерью моих детей, которая знала, что будет чувствовать себя несчастной без меня.

Меня охватывала большая, светлая радость от ожидания ее.

Природа стала казаться мне особенно прекрасной. Стоял яркий, солнечный, сверкающий белым снегом март. Благодаря оттепелям образовался такой прочный наст, что по нему можно было ехать на санях без дороги. На снежном фоне зеленые пихты и ели казались особенно нарядными, праздничными. И я мечтал, как буду показывать своей невесте бескрайнюю, девственную и прекрасную природу Сибири.

Я решил сделать лыжи. Взяв топор, ушел в тайгу и срубил там подходящей толщины ель с несколько искривленным стволом. С помощью рубанка и стамески выстрогал одну пару лыж, загнул острые концы и в таком виде оставил их сохнуть. Это были первые лыжи в моей жизни. Я скоро убедился, что с их помощью можно гораздо быстрее продвигаться не только по рыхлому снегу, но и по насту.

Время шло, день приезда моей невесты приближался. И вот 11 марта 1904 года она приехала ко мне.

Был ясный солнечный день. Сидя на полу, я доделывал лыжи для своей невесты. Спокойно и ровно билось мое сердце.

Неожиданно открылась дверь. В старой беличьей шубке, вся розовая от мороза Жозефина Эдуардовна вошла ко мне, проехав тысячи верст.

В сущности, она мало меня знала, и я был тронут ее доверием.



Мы поцеловались. Я снял с нее шубку. Она стала рассматривать сделанные лыжи и поразилась, узнав, что для них я срубил целое дерево. Я вскипятил на керосинке чай, и мы принялись завтракать. Я рассказывал ей о своей жизни в ссылке, она — о своей революционной работе после отъезда из Нижнего.

Жозефина Эдуардовна, знавшая три иностранных языка, стала учить меня немецкому. Она задавала мне уроки, которые я добросовестно учил, хотя и знал, что иноземный язык мне не понадобится, так как я не собирался бежать за границу. Я заучивал слова, писал в тетрадке разные упражнения.

Замкнутую жизнь политических ссыльных скрашивали книги. После приезда невесты мы стали брать их из Енисейской городской библиотеки. Почтарь привозил и менял книги за дополнительную плату. Байрон, Бальзак, Гете, Ибсен, Мольер, Шекспир и Шиллер сменяли друг друга. Обычно читала вслух моя невеста. Мне казалось, что она все еще боится моей суровости. Лишь после того, как дал ей прочитать свой дневник, ее недоверие ко мне пропало.

— Я счастлива! — говорила она мне. — Не бойся, я никогда не сделаю тебя своим рабом, никогда не оторву от революции. Я сама буду воспитывать наших детей. Если же ты сам откажешься от революции ради меня, то я перестану тебя уважать.

Поздно пришла к нам любовь, уже полжизни было прожито, но мы не жалели о том, что это счастье будет недолгим.

Наступило лето с теплыми ночами. Мы с Жозефиной Эдуардовной несколько раз ездили в лодке под парусом на небольшой остров, отделяемый от противоположного берега Енисея узким проливом. Ночевали в крохотной палатке из паруса. На ночь я спускал на стрелке два подпуска. На них попадались окуни, стерляди, налимы.

В одну из поездок нас застала на острове сильная буря с ливнем. Тесно прижавшись друг к другу под парусом, мы все же остались сухими и даже выпалились. К утру тучи умчались, но Енисей бушевал так, что плыть на лодке было опасно. Мы прождали пол-

дня, но буря не утихала. Тогда все же решили возвращаться домой.

В проливе было сравнительно тихо, но когда выехали на Енисей, то он, казалось, был в водяных валах и ямах. Жена хотела взять кормовое весло, но я усадил ее блйже к корме и посоветовал крепче держаться руками за борта. Сам я сел на вторые весла, чтобы как можно выше поднять нос лодки, который должен был принимать на себя удары волн.

Летели брызги, пенилась вода. Мы то взбирались на бугор, то ухали в яму. Я крепко держал в руках весла. Мы плыли наискось, вниз по течению, но буря гнала нас против течения, и мы продвигались очень медленно. Я был вполне уверен в себе. Как волгарь я не боялся воды.

На высоком берегу Енисея собралась группа крестьян, следивших за нашей переправой. Чтобы не быть залитыми или опрокинутыми, я ни разу не дал волне ударить в борт лодки. Привычка к длительной тяжелой работе сказалась — моя сила не иссякала, руки работали, как железные рычаги машины. Широкая река давала полный простор ветру, но когда мы перевалили через ее середину, то волны стали заметно слабее и ветер несколько умерил свою силу. Нас снесло гораздо выше Маклакова, и пришлось спускаться на веслах под самым берегом, где вода пенилась от непрерывно набегавших волн. Крестьяне радовались нашему возвращению, рассказывали о своих страхах за нас.

В жаркие дни мы ходили купаться в прозрачной чистой воде Енисея, но это возможно было только на открытых ветру местах, где меньше мошкары и комаров. Ходили в тайгу за красной и черной смородиной, собирали грибы. Один раз заблудились и зашли далеко от деревни. Заметил я это потому, что на нашем пути стали попадаться громадные полу-сгнившие стволы деревьев. Я определил, что мы уклонились на северо-запад, и пошел в обратном направлении. Время от времени я во всю силу легких покрикивал: «Гоп, гоп!»

— Ты что кричишь? — спросила жена.

— Отпугиваю медведя. Слыша крик, он уходит дальше.

Моя жена заволновалась.

— Да ты не бойся. Сейчас пищи много и медведь на человека не нападает,— успокаивал я ее.

Хотя и не скоро, но мы вышли на знакомую тропу, а по ней — на тракт в семи верстах от Маклакова.

Собирали мы и малину, но вблизи ее было мало. Однажды с берестяными туесами в руках отправились за малиной в дальнюю экскурсию. По дороге увидели заросли черемухи, где молодые деревья, толщиной около двух вершков, были согнуты в дуги. Я понял, что это медведь согнул их «с терпеньем и не вдруг», для того, чтобы обсосать ягоды. Надо сказать, что медведь обращался с ними более бережно, чем люди. Сибиряки ради ягод просто срубали целые деревья черемухи.

Наконец мы подошли к зарослям малины. Сильно разросшиеся кусты имели коническую форму, и все ягоды были обсосаны. Я раздвинул один куст, и внутри оказалось много зрелых нетронутых ягод. Мы быстро наполнили свои туеса и двинулись в обратный путь.

Один раз ездили с хозяевами за черникой. Вышли мы на край обширного непроходимого болота, окруженного тайгой, и увидели журавлей. Они чувствовали себя здесь в полной безопасности и важно расхаживали по болоту. Мы забыли про ягоды и долго любовались этими красивыми вольными птицами.

Иногда я ходил на охоту верст за пятнадцать от деревни и приносил рябчиков, глухарей или уток. Несколько раз попадались зайцы. А если не было ни мяса, ни рыбы, то мы с женой набирали на ближайшей опушке маслят и варили грибной суп с картошкой.

Мы получали регулярно каждый месяц по 15 рублей из России, лично от А. М. Горького. Немного денег привезла с собой жена. А осенью я получил сразу за несколько месяцев пособие от казны по 8 рублей в месяц.

Отношения с новыми хозяевами, к которым мы переехали после приезда Жозефины Эдуардовны, у нас были тоже хорошие. Они сами происходили из

ссылных Тобольской губернии и очень ценили нас как аккуратных квартирантов. Жена сблизилась с их дочкой и учила ее грамоте.

Быстро кончалось короткое сибирское лето. Крестьяне спешили убрать рожь и овес. Пользуясь последними погожими днями, мы с женой часто спустились в лодке до устья болотистой речки Шадрихи. На берегу жгли костер, пили чай и собирали черную смородину. Лист уже облетел от ветров и морозов, а кусты еще полны крупных сладких ягод.

Несколько раз ездили «лучить» рыбу, зажигая в темную ночь смолье на носу лодки. При таком освещении рыбу, лежавшую в прозрачной воде у берегов, было хорошо видно, и я колот ее острой. Но наше удовольствие несколько не омрачалось и тогда, когда мы возвращались без улова. Жители больших городов, мы наслаждались могучей и прекрасной природой Сибири с ее бескрайними лесами и громадной быстрой рекой.

Зима пришла неожиданно и рано. Часть овса занесло в полях снегом. Быстро установился санный путь, но долго еще, несмотря на морозы, не сдавался Енисей. Мы наблюдали осенний ледоход. Казалось, что скоро можно будет переправляться через реку по льду, но где-то образовался затор, лед поднимало водой и крошило в куски. Увеличивались закраины, и снова, громясь кучами, останавливался лед, чтобы снова быть сломанным и унесенным водой.

Мороз крепчал, река дымилась. Проснувшись однажды утром, мы увидели вместо реки ровную пелену, на которой местами возвышались занесенные снегом кучи льда. Начались снежные вьюги. Дом дрожал от порывов ветра. Без умолку шумела тайга.

Хозяева возили из тайги заготовленные с осени дрова. Я жарко топил русскую печь, но этого было недостаточно. Несколько раз днем и ночью приходилось еще топить большую железную печку, которая вмещала в себя дрова аршинной длины.

Жена ожидала ребенка, и нам нужно было «законным» образом оформить свой брак. Мне очень не хотелось венчаться, так как перед этим предстояла

исповедь, которую я считал унижительной для себя. Жена не затрагивала этого вопроса, но я заговорил сам, так как не хотел оставлять ее в Сибири с «незаконным» ребенком на руках.

В Маклакове церкви не было, но я воспользовался приездом священника и договорился с ним о дне венчания. День выдался ясный и сравнительно теплый. Хозяин запряг в саночки серого, и я, взяв в первый раз вожжи, поехал венчаться со своей женой в село Каменское, где была церковь. Не успели мы насладиться быстрой ездой, как пришлось подниматься на высокий берег. Моя жена разругалась от мороза и выглядела очень хорошенькой. Я нашел дом священника.

— Приехали венчаться?

— Да, приехали.

— А я венчать не могу.

— Почему? Ведь вы же согласились и сами назначили день и час.

— Не могу, как бы ни было. Вы политические. Вот если бы вы были уголовные, тогда повенчал бы. Вам надо ехать в Енисейск, там повенчают.

— Значит, если-бы мы были грабителями и убийцами, тогда повенчали бы?

— Тогда повенчал бы. Вы бы покаялись на исповеди — и бог простил бы...

— Значит, мы хуже грабителей и убийц и бог простить нас не имеет права. Я выполню все, что требуется, и заплачу вам.

— Начальство строгое, могут расстричь, а у меня куча детей. Куда я с ними денусь? — говорил священник.

— А бога вы не боитесь? Ведь у нас скоро будет ребенок, и он окажется незаконным только потому, что вы не хотите нас повенчать.

— Бог простит. Он все прощает, простит и вас.

Мне деньги нужны дозарезу, но начальство не разрешает. Поезжайте в Енисейск, там в одной церкви венчают политических.

Мы простились и поехали обратно. Жена была грустна. Я обозлился. Знал, что исправник венчаться мне разрешит и будет даже очень доволен, что я

свяжу себя семьей, но мне не хотелось ехать за тридцать пять верст.

— Струсил попик. А очень хотелось ему ухватить две десятки. Дьякон тоже, должно быть, мечтал о хорошей выпивке. Но ты не беспокойся,— сказал я жене.— Напишу исправнику, и он обеими руками подпишет разрешение. Когда я повенчаюсь, он спокойнее будет спать по ночам. Будет уверен, что я не убегу.

— А разве ты бежать не собираешься? — спросила жена.

— Собираюсь, но мне совсем не хочется получить шесть лет каторги. Оттуда убежать будет труднее. Когда у нас будет ребенок, то внимание ко мне будет значительно ослаблено. Кто может подумать, что я убегу от такой хорошенькой женки?

Жозефина Эдуардовна оживилась, еще больше разругалась.

Хозяева были удивлены нашим быстрым приездом и тоже ругнули попа, когда узнали, в чем дело.

Я написал исправнику прошение о разрешении приехать в Енисейск для венчания. Он не тянул с ответом и разрешил.

Мы не стали откладывать и в первый же ясный день поехали в Енисейск на тройке. Дорога была ровной, и мы быстро мчались среди зеленых пихт, сосен и елей. Только могучие лиственницы сбросили с себя красивую, как кружево, покрасневшую хвою. По бокам стояли две сплошные стены вечнозеленых хвойных деревьев, а между ними простиралась бесконечная сверкающая снежная пелена дороги.

Пронзительно засвистал наш возница Сашуха, подгоняя коней. Белой молнией мелькнул через дорогу испуганный заяц. Сашуха плюнул и выругался:

— Язви его! Ушкан проклятый, перебежал дорогу. Пути не будет.

— Лучше этого пути не может быть,— заметил я.

— Добра не будет.

— Добро уже есть, я везу свою невесту венчаться.

Зеленые стены раздвинулись, мы выехали на большую поляну. Направо тянулся безлесный берег Енисея, а вдалеке виднелся Енисейск.

— Но, милые! Поторапливайтесь! Скоро домой поедем,— подбадривал коней Сашуха.

— Разве ночевать не будем?

— Нет, покормим и обратно домой.

Выносливые сибирские лошадки пробежали рысью тридцать пять верст и должны были после кормежки рысью же вернуться домой.

В Енисейске мы остановились у ссыльного врача Чемоданова. Он работал в местной больнице.

Я отправился к исправнику, к которому обязан был явиться, произвел на него, очевидно, благоприятное впечатление, так как он принял меня довольно любезно, расспрашивал, из какой я губернии, и указал, в какой церкви я должен венчаться.

Жена, как лютеранка, не была подвергнута исповеди, но меня священник помучил довольно долго, заставляя лгать на каждом слове. От унижения и озлобления я чувствовал, как кровь отливает от лица. Наконец, священник накрыл меня эпитрахилью и «отпустил» все мои грехи. Я видел по его лицу, что он верил моему вранью и считал меня верующим. Об этой исповеди он, наверное, подробно сообщил потом исправнику.

Комедия венчания хотя и была для меня тоже унижительной, но после исповеди казалась пустяком.

У нас не было обручальных колец: жена одного ссыльного дала нам напрокат два золотых кольца.

Когда венчание закончилось, енисейская колония ссыльных революционеров решила отпраздновать нашу свадьбу. Ссылные были из разных концов России, но мы чувствовали себя как в родной семье. Много беседовали, рассказывали о партийной работе, о жизни в ссылке. Пели песни и романсы.

Моя жена, теперь уже «законная», села за пианино. Мягко поплыли в воздухе звуки прекрасной Лунной сонаты Бетховена. Я в первый раз слушал эту сонату; и она меня зачаровала, заворожила. Эту музыку я воспринял как награду за только что перенесенное унижение. Но вскоре я забыл обо всем, погруженный в чарующие звуки.

Я понимал, что жена играет для меня, говорит со мной о своих чувствах языком музыки. Я испытывал

громадное наслаждение. На глазах у меня появились слезы. Стыдясь их, я вышел в другую комнату и вернулся не раньше, чем взял себя в руки. По моей просьбе жена повторила сонату, и я слушал ее снова с неослабевающим интересом. Музыка Бетховена сделала мою свадьбу сказочно прекрасной, незабываемой на всю жизнь.

И вот мы снова на тройке, едем домой. Быстро стемнело, на небе высыпали звезды. Мы любовались их мерцающим светом. В моем мозгу звучала Лунная соната. Жена тесно прижалась ко мне. Она стала как-то еще доверчивее, нежнее.

Сани местами попадали в ухабы. Возница бодро и весело покрикивал: «С горки на горку, хозяин даст на водку. Но, милые!» Коня не нуждались в понукании. Они знали, что на месте остановки их ждет отдых и овес.

Ехать ночью было, пожалуй, еще интереснее. Мысль моя невольно стремилась к звездным мирам, стремилась постичь их неведомую жизнь. Смутно чудилось, что там тоже кто-то мчится на тройке, так же весело звенит колокольчик, скрипят полозья и разумные существа сидят в санках, тесно прижавшись друг к другу.

Приехали поздно. Я расплатился с возницей, и мы с женой снова были вдвоем в своей комнатке. Как будто все осталось по-старому, но я все же почувствовал какую-то большую перемену, происшедшую с нами после поездки в Енисейск.

Хозяева поздравляли нас с законным браком. Если раньше их отношения к нам были хорошими, то после нашей свадьбы стали еще лучше.

Теперь мы читали не только художественную литературу, но и объемистую книгу «Мать и дитя». Я предполагал, что мне придется самому быть акушером своего ребенка. И не ошибся.

Намереваясь усыпить и обмануть внимание местных властей, я перестал вести беседы с крестьянами. Нужно было создать впечатление, что женитьба резко изменила меня, втянула в узкий круг семейных интересов, и, как оказалось впоследствии, мои расчеты полностью оправдались.

Я понимал, что мое семейное счастье служит луч-

шей подготовкой к побегу, радовался, что и жена понимает меня, разделяет мои стремления и готова на жертвы без всяких жалоб, без всякого надрыва¹.

СВОБОДЕ НАВСТРЕЧУ

(Вместо эпилога)

Был ясный морозный декабрьский день. Светило сразу три солнца: одно настоящее — посередине, и два ложных — по бокам.

В этот день я не могла усидеть дома и пошла на Енисей, где у Петра Андреевича был заездок для ловли рыбы. Подниматься обратно мне было трудно, и я что есть силы держалась за толстые тяжелые бревна, лежавшие на косогоре. Это, очевидно, и ускорило событие. В тот же вечер у нас родилась дочь Галя*. Рождения ее мы ждали гораздо позже и хотя купили заранее книгу «Мать и дитя», но прочитать до конца не успели.

Акушерки, конечно, не было, и мужу пришлось самому принимать ребенка. При родах что-то оказалось не совсем благополучно, муж страшно волновался за меня и за ребенка. Он уговорил хозяев съездить в город и привезти акушерку. До ее приезда муж не находил себе места, выбегал встречать ее, затем опять возвращался ко мне и к ребенку.

Аполлинаруя Николаевна Кривошей, тоже ссыльная в Енисейске, приехала, быстро сделала все, что надо, и, несмотря на наши уговоры, не осталась переночевать, говоря, что ее ждут больные.

Муж смастерил для дочки люльку и подвесил ее около русской печи. Чтобы испытать прочность люльки и веревок, он даже сам сел на нее, и только тогда решил, что она достаточно крепкая.

¹ На этой главе рукопись воспоминаний П. А. Заломова обрывается. Смерть прервала его работу. Верный друг революционера, его жена Жозефина Эдуардовна, на основании рассказов П. А. Заломова, его писем и других документов, повествует о дальнейших событиях жизни Петра Андреевича.

Ниже печатаются отрывки из воспоминаний Ж. Э. Заломовой, касающиеся побега Петра Андреевича из ссылки и его участия в революции 1905 года.

О побеге мужа мы мало говорили, особенно после рождения Гали, но оба твердо знали, что побег будет. Мы получали из Енисейской библиотеки газеты и знали, как широко начало разворачиваться революционное движение, особенно после 9 января 1905 года.

Бежать летом на пароходе не представлялось возможным, так как там всегда были сыщики, следившие за пассажирами. Можно было бежать только зимой. И надо было спешить, пока не настала оттепель.

Наши хозяева, как и большинство сибирских крестьян, относились к политическим хорошо и сочувствовали им. Я учила грамоте их дочь, девушку лет двадцати двух. Муж политически просвещал девушку и сообщил ей, что собирается бежать; просил молчать и помочь мне скрыть его отсутствие в течение некоторого времени даже от ее родителей. Она согласилась.

Дом наших хозяев был двухэтажным, и мы жили наверху. За несколько дней до побега муж совсем перестал выходить, и я сказала, что он болен.

До этого он уговорил крестьянина, тоже пропагандированного им, у которого жил до моего приезда, отвезти его на своих лошадях до ближайшей деревни к кому-либо из хороших знакомых, кто тоже даст лошадей до следующей деревни. Так он надеялся добраться до самого Красноярска, всего более 300 верст.

Бороду и усы он сбрил и стал почти неузнаваем. Я перелицевала ему единственные мало-мальски личные брюки. На присланные для побега деньги купили ему шапку и длинный ватный пиджак, какие носили золотоискатели.

Все было готово, не было только паспорта, который должны были привезти из города.

А дорога все портилась, был уже март. Тогда муж решил бежать без паспорта. Простился со мной, с дочкой и ушел к соседу.

Я осталась одна. Каков будет его путь? Что ждет его? Когда и как я что-либо узнаю о нем? Но эти тревожные мысли заглушались сознанием того, что так надо, что начался огромный революционный подъем и нельзя быть в стороне от него.

Вдруг через час после ухода мужа я услышала стук в дверь. Я отворила. Муж вернулся. Сосед струсил, не повез. Но на следующий день муж все же уговорил его, и он согласился отвезти до ближайшего села.

Отсутствие мужа было обнаружено не скоро*, недели через три. Ко мне приезжал становой пристав, расспрашивал. Я отвечала, что сама ничего не знаю. Пристав отнесся ко мне, как к несчастной, обманутой женщине, оставшейся с ребенком на руках.

Оставаться одной в Маклакове было очень тоскливо, и я начала думать о возвращении из Сибири.

В апреле 1905 года я переехала в Енисейск, где была большая группа ссыльных. Сначала поселилась по приглашению Аполлинарии Николаевны у нее, а потом сняла комнату. Мне нашли урок французского языка у енисейского аптекаря. В это время я получила от А. М. Горького 300 рублей, очевидно, на побег мужа.*

В Енисейске же я получила от мужа два письма по чужим адресам. Значит, доехал, жив, но где он находится, оставалось неизвестным. Мне писать ему было некуда.

Летом я стала собираться к отъезду. Надо было получить паспорт. Пошла я к исправнику, но он еще был зол на побег Петра Андреевича и сказал, что никакого паспорта я не получу.

Кто-то из ссыльных посоветовал мне съездить в Маклаково и получить там паспорт у волостного писаря, так как это было волостное село. Писарь Павловский (из ссыльных поляков) очень хорошо относился к мужу, сочувствовал политическим, и я без всяких затруднений получила у него паспорт.

В середине июля я села с Галей на пароход, и мы поплыли в Красноярск. Каюта второго класса была в трюме, и там было очень душно. Над головой находилась площадка, куда складывали дрова для топки машины. На пристанях лежали приготовленные дрова. Грузчики вязанками сбрасывали их у машины над нашими головами.

В Красноярске железная дорога оказалась очень загруженной, так как еще продолжалась русско-япон-

ская война. С большим трудом мне удалось сесть на какой-то случайный поезд и доехать до Челябинска. Но пересесть в поезд, идущий на Самару, оказалось совершенно невозможным.

Тогда я поехала в Пермь, чтобы оттуда пароходом добраться до Нижнего Новгорода. Дорога через Урал была чрезвычайно красива, но трудно было любоваться, не о красотах природы мне думалось тогда.

После долгого, более чем двухнедельного пути я приехала в Нижний Новгород к сестре мужа, Елизавете Андреевне. Семья Заломовых встретила меня очень ласково. Петр был любимый сын и брат. Все его родственники были очень довольны, что и у него есть теперь своя семья.

Не помню, как он узнал, что я уже нахожусь в Нижнем Новгороде, но через несколько дней после приезда я получила от него телеграмму, по одному слову которой поняла, что она от него. Он звал меня приехать в Кострому к Софье Александровне Плетневой. Я немедленно выехала, и через сутки ночью на пристани меня встретил муж.

Оказалось, что у него в это время произошел временный перерыв в работе, он решил поехать в Кострому и вызвать меня.

Петр Андреевич подробно рассказывал мне о своем побеге из Сибири.

Перед Красноярском он немного изменил свою одежду — надел другую шапку, сменил валенки. В Красноярске купил в киоске открытки с портретами Стесселя, Куропаткина и несколько неприличных открыток. Купил газету «Новое время» и в поезде знакомил пассажиров и с газетой и с открытками. Патриот да и только.

Муж имел явку в Самаре. Оттуда он проехал в Киев к З. П. и Г. М. Кржижановским, которые снабдили его хорошим паспортом на имя Антона Федоровича Волоховича, 30 лет, имевшего жену Юлию Ануфриевну, 37 лет. Впоследствии этот паспорт пригодился и для меня, хотя вид мой мало подходил к паспортному возрасту. Из Киева он отправился в Петербург в распоряжение партийной организации, где ему была поручена работа партийного организатора в Невском районе города.

Муж снял комнату и купил керосинку, на которой, возвращаясь домой, варил себе еду. Была весна, и ходить в теплой одежде, которая имелась у него, было и неудобно и неконспиративно. Он купил себе какое-то подержанное, но чрезвычайно добротное пальто, а так как оно было горохового, приметного цвета, то окрасил его в черный.

Наступило лето 1905 года. Революционное движение все разгоралось, большевики ставили вопрос о подготовке вооруженного восстания. Этот же вопрос муж поставил и перед группой партийцев одного петербургского завода. Он говорил, что одними стачками победы добиться нельзя, а нужно выходить на улицу, готовиться к восстанию...

Я осталась пока в Костроме, где нашла частные уроки.

В двадцатых числах сентября муж вызвал меня из Костромы в Перловку под Москвой на дачу Алексея Александровича Разоренова, члена большевистской организации.

На этой даче сам Разоренов, мой муж и другие «гости» учились стрельбе из револьверов. А. А. Разоренов был в то время студентом Высшего технического училища. Хотя он был сыном фабриканта, но всецело стоял на стороне революции и оказывал большую помощь партийной организации. Здесь же, на даче, застал нас и манифест 17 октября. Никто, конечно, царским обещаниям не поверил. Муж в это время находился в распоряжении ЦК и периодически ездил в Москву. Однажды в октябре за ним приехали товарищи, и они, вооруженные, вместе отправились в Москву.

Позже он мне рассказывал, что они пришли на большой митинг в Московском университете. Затем явилась полиция с требованием очистить помещение. Но времена были уже иные. Участники митинга стали строить баррикады у здания университета. К ним вышел ректор университета Мануйлов и стал жаловаться, что они, мол, стучат и беспокоят его больную жену. Петр Андреевич ответил ему: «Разве вы не видите, что в России идет революция. Мы строим бар-

рикады, мы защищаем свободу и, может быть, сегодня же погибнем на этих баррикадах, а вы говорите о больной жене!»

Открытой схватки в этот день, однако, не произошло. Правительство еще маневрировало, и участники митинга ушли из университета, сохранив свое оружие.

В конце октября мы ездили в Москву искать себе комнату и нашли подходящую на Малой Грузинской улице в семье какого-то служащего. Здесь мы поселились как супруги Волоховичи, с нелегальным паспортом.

Мужу была поручена организация боевых дружин. Уходил он утром на целый день и возвращался вечером, а иногда и ночью. У него было хорошее зимнее пальто с каракулевым воротником и каракулевая шапка. Купил он себе черные суконные ботинки, носил всегда белые воротнички, манжеты и галстук, был свежесбрирован и со своим чистым, открытым лицом не имел вида заговорщика. Да и слишком бурное было время,— уследить за всеми полиция уже не могла.

Жили мы на средства парторганизации. Муж получал 35 рублей в месяц, из которых мы платили за комнату 16 рублей. Конечно, надо было экономить, и я усердно этим занималась.

В те будние дни, когда столько было митингов и собраний, я должна была быть абсолютно «чиста» с политической точки зрения. Это была моя роль — роль молодой матери и жены профессионального революционера.

Муж рассказывал мне, что идея вызвать меня с ребенком, чтобы лучше и конспиративнее вести революционную работу, принадлежала Алексею Максимовичу Горькому. М. Ф. Андреева, слышавшая этот разговор, заметила, что Петр Андреевич так любит жену и дочь, что ему трудно будет подвергать их большой опасности. Но Алексей Максимович и муж с ней не согласились. И я пренхала. Было такое стремительное революционное движение, такой подъем, что думалось только о революции, о победе.

Побывала я один раз у Алексея Максимовича на Воздвиженке. Хотелось с его помощью найти себе

какую-либо работу, чтобы иметь заработок. Но, конечно, не до того ему было тогда.

На Грузинской мы прожили недолго, всего один месяц, и затем переехали на Серпуховскую площадь. Переезд был связан с работой мужа организатором боевых дружин. Впоследствии, когда я расспрашивала его об этой работе, он говорил, что в боевые дружины принимали только самых проверенных, самых надежных членов организации.

На Серпуховке мы жили в большом каменном доме (он стоит и теперь), во втором этаже. Дом был битком набит жильцами. Наши хозяева сами занимали только кухню и полутемную комнатку, а остальные две светлые комнаты сдавали. Одну из них — нам.

От нас была дверь в смежную комнату, где жила семья какого-то приказчика. Я законопатила бумагой эту дверь, но все же надо было в разговорах все время соблюдать осторожность, чтобы каким-либо словом не вызвать подозрения. Я ни о чем не расспрашивала, а муж сообщал только то, что мне нужно и можно было знать. Он в это время часто встречался с Алексеем Максимовичем и еще чаще с Антоном Феликсовичем Войткевичем. Во всей его работе видна была напряженная подготовка к вооруженному восстанию. Надо сказать, что он никогда от меня не скрывал опасности своей работы, никогда меня не успокаивал, а просто и спокойно говорил, что надо сделать то-то.

Однажды он сказал, что ему надо ехать за оружием и одну ночь он не будет ночевать дома. Товарищ, дававший ему это поручение, предупредил, что оно опасно, что недавно на вокзале в Иваново-Вознесенске задержали девушку, везшую шкатулку с браунингами, и тут же застрелили. Но муж сумел сделать все хорошо. Получив по явочному адресу десять винтовок, он купил большую плетеную багажную корзину, уложил в нее винтовки, переложенные сеном, нанял на вокзале носильщика и благополучно привез оружие к нам в комнату. Здесь он разобрал винтовки и уложил их в ящик нашего большого комода. На другой день к нам явилось восемь человек дружинников. Они подвесили винтовки под пальто и таким образом благополучно вынесли их.

В конце ноября Петр Андреевич сообщил мне, что ему дано новое поручение — изготавливать оболочки для бомб, чтобы вести борьбу с казаками. Оболочками этими служили соединения толстых металлических труб, в которых муж должен был дрелью просверливать отверстия.

С этих пор ему были запрещены всякие другие дела. Он должен был сидеть дома, заниматься только оболочками и не посещать никаких собраний. Я отнеслась к его новому поручению так же, как и ко всей его работе. Бомбы — значит, так надо!

За это время в нашей комнате появились еще разные технические вещи — пулелейка, бездымный порох. Мы складывали все в большой комод, который хорошо запирался.

Муж мне сказал, чтобы я на всякий случай переговорила со своей матерью, возьмет ли она Галю, если с нами обоими что-нибудь случится. Я переговорила и получила согласие. А когда моя сестра Люба и ее муж узнали об этом, то сказали, что они сами возьмут Галю. У них в это время было трое детей.

Наступил декабрь. В воскресенье 9 декабря 1905 года с утра мы еще ничего не знали о начавшейся накануне всеобщей забастовке. Вдруг часов в одиннадцать послышалась стрельба. Было ясно — восстание! Петр Андреевич тотчас же решил, что прежнее распоряжение о его затворничестве нарушается. Его место в рядах восставших. Он быстро оделся, взял с собой два браунинга, поцеловал Галю. Заперев комнату и комод, я вышла вместе с ним на Серпуховскую площадь. На углу мы попрощались, и я вернулась домой.

Впоследствии он рассказывал мне, как шел на баррикады. Вначале на улицах было много обывателей, спешивших по своим делам и ничего не подозревавших. Но ближе к центру картина менялась. На углах стали появляться солдатские патрули.

На одной из улиц он увидел: прошел человек мимо солдат, и, посланная ему вдогонку, пуля сразила его. То же случилось и с другим прохожим.

Тогда муж пошел прямо через улицу к солдатскому патрулю и спросил: «Скажите, пожалуйста, как мне пройти на Садовую?» Они ответили и стрелять в него не стали. Расчет мужа был верный: раз к ним человек обращается так просто, значит — не враг, не революционер! Так он прошел до самой Садовой с двумя браунингами в карманах.

Население относилось к дружинникам сочувственно, помогало строить баррикады, приносило съестные припасы. На стороне восставших были многие. Петр Андреевич рассказывал, что где-то восставшие захватили участкового пристава. Он предстал перед ними бледный, трясущийся от страха. Некоторые предлагали тут же расстрелять его, но затем взяли у него оружие и отпустили.

Я вернулась домой к дочери. Начался тревожный день. Все о чем-то рассказывали, волновались, но мне надо было сохранять спокойствие и даже равнодушие к событиям и делать вид, что нас они совершенно не касаются.

Наступил вечер. Стали слышны артиллерийские залпы. Вдруг в темноте со стороны Пятницкой улицы блеснуло яркое зарево. Оно все разгоралось и разгоралось и залило светом всю Серпуховскую площадь перед нашими окнами. Как потом оказалось, это горела Сытинская типография, зажженная артиллерийским снарядом.

Спать я, конечно, не могла. Сердце билось, как птица.

Я не могла больше оставаться дома. Захватив кое-что из нашей мелкой «техники», я заперла комод, взяла на руки Галю и отправилась к своей матери, жившей в то время на Зубовке в Неопалимовском переулке. Хозяйевам я сказала, что, очевидно, Петр Андреевич не мог пройти домой из-за стрельбы и что я пойду туда, к кому он пошел. Оболочки, конечно, остались в комодe.

На другой день я решила поискать мужа в больницах среди раненых и в мертвецких. Жуткие это были поиски! На улицах прохожих обыскивали, иска-

ли оружие. Я ехала на извозчике, и меня тоже два раза останавливали и смотрели, нет ли оружия в саниах. Побывала я в больнице у Петровских ворот, на Мещанской, в районе Самотеки. Осмотрела все трупы в мертвецких — мужа нет.

Странное было чувство: чего хотелось? Отыскать его? Конечно, нет. И тем не менее я искала.

Настал еще один вечер. Стрельба, снова возникшая, начала немного утихать. Мы с мамой вышли из дому и в безлюдном переулке спрятали в снегу кое-что из нашей мелкой «техники».

Наутро слышу в передней звонок. Открываю — в дверях стоит муж! Живой! Даже не верилось глазам, так трудно было ожидать, что он вернется.

Как известно, в силу огромного перевеса царских войск восстание не привело к победе. Дружинники получили приказ оставить баррикады, сохранив оружие.

Так с оружием и пришел Петр Андреевич к моей матери, не найдя меня дома на Серпуховке.

Он рассказал, что когда возвращался с баррикады домой и шел по Серпуховской площади, то около дома стоял патруль и всех обыскивал. В кармане у мужа было два браунинга, но ему помог случай. К дому подходили еще два человека, один из них гимназист. По команде «Руки вверх!» один поднял руки, а другой не захотел поднять. Патруль немедленно подошел к нему вплотную и начал обыскивать. В это время Петр Андреевич быстро прошел в ворота.

Теперь нам надо было скорее возвращаться домой, чтобы отсутствие не вызвало подозрений. И мы вернулись как раз вовремя. Приблизительно через час после нашего прихода дворник дома пришел к нашим хозяевам и спросил, дома ли их квартиранты. Ответ был: «Дома».

Восстание было подавлено. Но оно имело огромное значение как опыт открытой вооруженной борьбы. Многие были убиты, многие арестованы. Много связей было порвано. Уменьшился и приток денежных средств. Раньше мы жили на 35 рублей, получаемых от парторганизации, теперь оставалось 25 рублей. Прожить на них, платя 17—18 рублей за комнату, было невозможно. Мне надо было уезжать.

Я решила ехать к сестре, Любови Эдуардовне Тимошиной, в город Суджу Курской губернии, где ее муж, И. П. Тимошинин, был земским врачом.

Петр Андреевич остался в Москве. Провожал он нас с Галей на Брянском (ныне Киевском) вокзале. Тяжело было уезжать. Что станется с ним?..

После этого он переехал в другую, меньшую комнату в Ростовском переулке около Плющихи. Революционная работа и организация боевых групп продолжались, но оболочки для бомб не были нужны. Он завернул их в бумагу и оставил вечером в пустынном переулке.

Работать ему было трудно. Сказывалось огромное нервное напряжение за время побега, подпольной работы в Петербурге и в Москве.

Три месяца прожила я у сестры в Судже, а в конце апреля приехала к мужу на несколько дней.

Тогда мы решили, что попытаемся жить опять вместе в Москве, вызвав из Нижнего Новгорода его мать, Анну Кирилловну. Так мы и поселились в апреле 1906 года на Малой Царицынской улице в квартире из двух комнат и кухни. Анна Кирилловна как моя мать (обе Заломовы), а муж, «Волохович», переехал на несколько дней позже, как обыкновенный квартирант.

Как и прежде, Петр Андреевич уходил на целые дни. Работа по собиранию боевых сил революции продолжалась.

**„Привет вам,
смелые сердца!“**

РЕЧИ И ПИСЬМА

№ 1

«Я СОЗНАТЕЛЬНО ПРИМКНУЛ
К ДЕМОНСТРАНТАМ...»

НИЖЕГОРОДСКИЕ РАБОЧИЕ НА СУДЕ

Перепечатываем речи нижегородских рабочих с литографированного листка, изданного Нижегородским комитетом Российской социал-демократической рабочей партии. Прибавлять что-либо к этим речам значит лишь ослаблять впечатление, производимое этим бесхитростным рассказом о бедствиях рабочих и о росте среди них возмущения и готовности к борьбе. Наш долг теперь — приложить все усилия, чтобы эти речи были прочтены десятками тысяч русских рабочих. Пример Заломова, Быкова, Самылина, Михайлова и их товарищей, геройски поддержавших на суде боевой клич: «Долой самодержавие», воодушевит весь рабочий класс России для такой же геройской, решительной борьбы за свободу всего народа, за свободу неуклонного рабочего движения к светлому социалистическому будущему.

[В. И. Ленин]

РЕЧЬ СОРМОВСКОГО РАБОЧЕГО ЗАЛОМОВА

[Ноябрь 1902 года. Нижний Новгород]

Я сознательно примкнул к демонстрантам, но виновным себя не признаю, потому что считал себя

вправе участвовать в демонстрации, посредством которой был выражен протест против тех законов, которые, защищая интересы привилегированного класса богачей, не дают рабочим возможности улучшить условия своей жизни. А условия эти настолько ненормальны, что рабочие принуждены во что бы то ни стало бороться с препятствиями, стоящими на их пути, хотя бы эта борьба и была сопряжена с потерей свободы и даже жизни.

Я с раннего детства чувствовал непосильную тяжесть, взваленную на трудящийся класс. Благодаря преждевременной смерти отца, потратившего все свои силы на непосильную работу, нашему семейству пришлось вести полуголодное существование. Впоследствии я сам стал рабочим, сам стал затрачивать свои силы и здоровье, содействуя этим накоплению богатств в руках немногих людей. Я видел, что и членам моего семейства, если бы я пожелал иметь такое, грозит та же участь, что и мне. Отсутствие всякого света и понимания действительности, осуждающее рабочих на вечное рабство, невозможность для рабочих не только жить, но и мечтать о культурной жизни — весь этот заколдованный круг, из которого я не видел выхода, приводил меня в отчаяние. Бессмысленность подобной жизни заставляла меня страстно мечтать о самоубийстве как единственно возможном выходе из невозможного положения.

Но знакомство с историей других народов, трудящиеся классы которых благодаря неустанной борьбе выбились из положения, одинакового с нашим, привело меня к мысли, что такая борьба возможна и у нас. Возможность хотя бы в отдаленном будущем поднять экономический и нравственный уровень трудящейся темной массы дала мне богатый запас жизненных сил. Я видел, что тяжела будет борьба для рабочих, трудно бороться с беспросветным мраком невежества, в котором насильственно держат рабочих и крестьян, что много, много будет жертв с нашей стороны. Но какой человек, у которого не вставлен в грудь камень вместо сердца, которого не удовлетворяет чисто животная жизнь, за дело своего народа не отдаст свободы, жизни и личного счастья!

Из личного опыта, вынесенного за десять лет жизни по заводам, я пришел к заключению, что рабочий единичными усилиями не в состоянии добиться нормальных условий жизни, эксплуатация принуждает его довольствоваться положением вьючного животного. Многие думают, что благодаря задельным работам рабочие имеют возможность при старании заработать больше. Действительно, рабочий может усиленно работать, но это ведет лишь к преждевременному истощению сил, потому что невозможно до бесконечности усиливать напряженность труда, а удержать на известной высоте заработок возможно только при этом условии, так как больший заработок, вызванный усиленным трудом, ведет к сбавке расценок, сбавлять же расценки никогда не устанут. Дело сводится к тому, что рабочие благодаря задельной плате и сбавкам расценок лишаются последнего отдыха, будучи принуждены работать по ночам и по праздникам, сверх обычной денной работы, не имея в то же время возможности при самом непосильном труде заработать средства, необходимые хотя бы для сносной жизни. Точно так же не может рабочий единичными усилиями поднять уровень расценок и заработка до высоты, необходимой для удовлетворения настоятельных потребностей.

А потребности эти все увеличиваются, так как просвещение хотя и медленно, но все же проникает в народные массы. Рабочие всеми силами стремятся дать своим детям образование. Народные библиотеки могут доказать, насколько сильна жажда знаний среди рабочих. Во многих библиотеках, несмотря на то, что большинство полезных книг запрещено, число подписчиков превышает число книг. Рабочих не удовлетворяют грязные, засаленные тряпки, заменяющие им одежду. Насколько сильно у рабочих желание прилично одеваться, видно из того, что многие отказывают себе даже в пище ради приличного платья. Разумеется, не ради своего удовольствия рабочие ютятся и в каморках, не удовлетворяющих самым примитивным требованиям гигиены. Понимают также рабочие, что питательная пища и более продолжительный отдых лучше восстанавливают затраченные на тяжелый труд силы. Вообще рабочие нуждаются в культурных усло-

внях жизни, и не видеть этого могут только люди, нарочно закрывающие глаза.

Несоответствие условий, в которых приходится жить рабочим, с запросами, предъявляемыми к жизни, заставляет их сильно страдать и искать выхода из ненормального положения, в котором они находятся благодаря несовершенству существующего порядка. На гуманность предпринимателей рассчитывать нельзя, так как они, признавая сами себя людьми, на рабочего смотрят не как на человека, а как на орудие, необходимое для личного обогащения, и чем короче срок, в который можно выжать все соки из рабочего, тем для них выгоднее. Для более успешной эксплуатации труда рабочих предприниматели соединяются в акционерные общества. Для того чтобы удержать на желательной высоте цены на продукты, производимые трудом рабочих, но принадлежащие предпринимателям, образуются союзы и синдикаты, например, союзы сахарозаводчиков и нефтепромышленников. Для этой же цели предприниматели добиваются и запретительных пошлин на ввозимые в Россию более доброкачественные и дешевые иностранные товары.

Отдельный рабочий, защищаясь от эксплуатации, не может оказать предпринимателям большего сопротивления, чем кусок свинца давлению гидравлического пресса. Отдельный рабочий не может не соглашаться на условия труда, предлагаемые предпринимателем, так как без работы он существовать не может. И даже соединенными силами, при отсутствии благоприятных условий, рабочие не могут противостоять предпринимателю, которому от временной приостановки производства не грозит голод, как рабочим. Рабочие не могут добиться участия в прибылях, получаемых от их труда, не соединившись все вместе в один братский союз. Но и этого единственного выхода они лишены, так как закон, разрешая предпринимателям эксплуатировать рабочих, запрещает последним защищаться от эксплуатации, преследуя союзы и стачки.

Чтобы добиться более культурных условий жизни, рабочим необходимо иметь право устраивать стачки против предпринимателей, иметь право организовать

союзы, иметь право свободно печатать и говорить на сходках о своих нуждах и, наконец, через своих выборных принимать участие в законодательстве, так как всякая победа рабочих над предпринимателями может быть прочной лишь после ее узаконения.

В силу всех вышеизложенных причин, считая рабочих вправе добиваться за свой труд лучших условий жизни, я сознательно примкнул к демонстрантам. Узнав о предполагаемой демонстрации, я решил принять в ней участие и сделал знамена с надписями: «Да здравствует социал-демократия!» на одном, «Да здравствует 8-часовой рабочий день!» на другом и «Долой самодержавие!», «Да здравствует политическая свобода!» на третьем. Знамена, с которыми я пошел на демонстрацию, оказались очень кстати, так как у демонстрантов таких не имелось и они выражали свой протест лишь криками «Долой самодержавие!», «Да здравствует политическая свобода!» и пением революционных песен.

Я знал, что за участие в демонстрации грозит каторга. Наказание страшное, в моих глазах хуже смерти, так как человеческая личность там совершенно уничтожается и бесчеловечно унижается на каждом шагу. Но надежда на то, что, жертвуя собой, принесешь хоть микроскопическую пользу своим братьям, дает полнейшее удовлетворение за все страдания, которые пришлось и придется перенести. Личное несчастье, как капля в море, тонет в великом горе народном, за желание помочь которому можно отдать всю душу. Мелкими протестами рабочим до сих пор не удалось добиться чего-нибудь существенного, начальство и общество сквозь пальцы смотрят на злоупотребления и на явное нарушение законов со стороны предпринимателей. Следовательно, требуется что-нибудь из ряда вон выходящее, чтобы обратить внимание общества на ненормальное положение рабочих и на игнорирование их интересов правительством.

Рабочие, создавая богатство и защищая своей грудью общество от внешних врагов, все свои силы отдают государству, но им не дано никаких прав, так что всякий обладающий капиталом и покладистой совестью может обратить человека, не имеющего воз-

возможности жить без работы, в рабство. Я видел, что существующий порядок выгоден лишь для меньшинства, для господствующего правящего класса; что пока самодержавие не будет заменено политической свободой, дальнейшее культурное развитие русского народа невозможно; что рабочие в борьбе с предпринимателями на каждом шагу наталкиваются на их союзников в лице самодержавных порядков; что самодержавие является врагом русского народа. И вот почему я написал на своем знамени: «Долой самодержавие и да здравствует политическая свобода!»

№ 2.

«НЕ ПРИЗНАЕМ НАД СОБОЮ НИКАКОГО СУДА...»

Нижегородскому комитету РСДРП

[Декабрь 1902 года. Москва, Бутырская тюрьма]

Здравствуйте, товарищи! Шлю вам свой горячий привет и лучшие пожелания. Нас долго занимал вопрос о кассации. Думали, что кассация необходима для того, чтобы лишний раз показать, что у нас нет законов, что у нас царит произвол и что даже такое высшее судебное учреждение, как сенат, является простым орудием в руках правительства и что он готов каждую минуту в корень нарушить даже те законы, хранителем которых он является.

Разбирая полезность кассации с этой стороны, мы упустили из виду, что она может дурно подействовать на малосознательные массы, которые не смогут разобраться в юридических тонкостях и припишут нам желание, которого у нас нет и не было, а именно желание смягчить свою участь. Подобное последствие, как роняющее настроение, созданное демонстрацией, разумеется, для нас страшно нежелательно, и когда мы лучше разобрались в этом вопросе, то решительно отказались от кассации. Подали кассацию только те

лица, которые на суде не признали себя сознательными участниками демонстрации.

Не знаю, как вы находите мою речь; я, со своей стороны, очень ею недоволен. Она недостаточно продумана и в некоторых местах прямо натянута. Постараюсь объяснить вам, отчего она вышла у меня неудовлетворительной. Надо вам сказать, что я вообще против тактики, которой мы держались на суде, и примкнул к ней чисто из чувства товарищества. Я сначала вдвоем, а потом один против всех отстаивал совершенно противоположную тактику. Я настаивал на том, что мы должны отказаться от всякой защиты, что должны сами заявить на суде о том, что не признаем над собою никакого суда, что всякий суд над собой признаем насильем, а судей — простым орудием в руках правительства, которое не останавливается ни перед какими средствами, чтобы сломить своих врагов.

Я думал раньше и теперь так думаю, что при такой тактике получилось бы более яркое и сильное впечатление от всего нашего процесса. И мой совет товарищам держаться в будущем подобной тактики. Вам, наверное, интересно знать, как пришло большинство осужденных теперь к решению говорить на суде и как бы признать законность суда?

У нас было три направления: первое, которого я придерживаюсь, я уже описал; второе заключалось в том, что мы, дескать, должны беречь свои силы для будущего и сделать все от нас зависящее, чтобы получить более мягкое наказание; третьим было то, которого и держалось на суде большинство осужденных. Споры, и самых оживленных, конечно, было масса, так что долго не могли прийти к какому-нибудь определенному решению. Одно время думали, что само собой выйдет так, что мы окажемся без защитников.

Как вам уже известно, в самый разгар наших разногласий у нас произошло столкновение с тюремной администрацией, кончившееся голодовкой. Мы отказались тогда не только от пищи, но и от прогулок и от свиданий, а следовательно, связь наша с внешним миром была нарушена. Для подачи заявления о желании иметь защитника нам дали недельный срок, и он мог пройти раньше того времени, когда мы вновь мог-

ли бы сноситься с внешним миром. Итак, мы думали, что голодовка затянется и мы не будем иметь возможности снестись с адвокатами и вопрос о защите падет сам собой.

Я был отправлен в больницу и попал в тюрьму как раз в последний день срока, в который можно заявить о желании иметь защиту. Прибыв в тюрьму, я узнал, что все уже подали заявления и что, следовательно, в обоих процессах будет защита. Мое предложение было провалено, и я тоже присоединился к остальным. У нас было очень мало времени, для того чтобы как следует обдумать свои речи на суде. Я, например, набросал свою речь в самое последнее время в течение суток. О серьезной ее обработке не могло быть и речи, так как в воскресенье у нас были защитники, с которыми мы провели большую часть дня, а в понедельник нас подняли в четыре часа утра и отвели в суд.

Еще одно обстоятельство мне сильно повредило. Защитники уверяли нас, что мы не должны допускать в своих речах никакой резкости и что в противном случае нас совсем могут лишить слова. Разумеется, раз уже мы пригласили защитников и решили говорить на суде, то нам во что бы то ни стало надо было высказаться. Пришлось приспособляться, стараться придать речи более мягкую форму и в то же время все сказать.

А знаете вы басню Крылова, в которой говорится: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник»? Так и мы до некоторой степени взялись не за свое дело. Где же там у чертей мы привыкли речи говорить, а тут, хочешь не хочешь, пришлось говорить! Мне теперь страшно досадно, что я не смог провести свой взгляд на суд и что не употребил все возможные, находящиеся у меня в руках средства. Ну, да теперь уже поздно,— «снявши голову, по волосам не плачут!» Вот если бы снова пришлось нам судиться! Я думаю, что нашим опытом воспользуются другие, идущие за нами.

Мы теперь вычеркнуты из списка живых и опасаемся, что на менее сознательных рабочих полученное нами наказание произведет дурное впечатление, запугает их до некоторой степени. Я бы дорого дал за то,

чтобы опасения эти не оправдались. Там, на воле, все представляется в более ужасном виде. На самом же деле все их наказания — сущие пустяки. Самое большее, что в их власти, — это то, что они могут отнять у нас жизнь. Вот если бы они могли отнять у нас наши убеждения, — это было бы действительно ужасно. У нас против наших врагов имеется сильнейшее оружие — это вера в правоту нашего дела, вера в близкую победу, вера, что на наше место встанут товарищи, более сильные духом, чем мы, вера в то, что с каждым днем число борцов за свободу и справедливость увеличивается и что борцы эти на полдороге не остановятся, доведут свое дело до конца и отдадут всю свою кровь до капли за наше дело.

Я скажу вам, что за все время моего сидения в тюрьме ни разу мной не овладевала слабость, — напротив, настроение все время повышенное. Я только жалел, что не получил образования, так как образованный человек может сделать гораздо больше, чем малоразвитый, а я чувствую за собой слабость в этом отношении. Я теперь совершенно убедился, что тюрьма не в состоянии сломить ни энергии, ни силы убеждения; она, напротив, закаляет человека, делает его более непримиримым, и я говорю не по теории, а сам на себе испытавши все это. Я жалею об одном: что так мало могу дать нашему родному делу — дать только одну жизнь!.. Я бы пошел теперь на муки, на пытки, а мне дали... всего вечную ссылку.

Шлю я всем товарищам свой горячий братский привет. Пусть меня лихом не поминают. Я знаю, что делал много ошибок, знаю, что мной многие были недовольны. Меня можно упрекнуть во многом, но если я и поступал иногда, не соглашаясь с мнением своих товарищей, то мной руководило исключительно желание больше сделать для общего великого дела. В этом деле заключается весь смысл, вся цель, все наиболее страстные желания моей жизни.

Да! Я теперь вычеркнут из жизни! Но пока у меня останется хоть капля крови, во мне не умрет неудержимо-страстное стремление к свободе, не умрет твердая вера в нашу неизбежную победу над врагом. Да! Жизнь идет вперед. Она требует все больше и больше самоотверженности и стойкости у борцов за

свободу. И мы пойдем ей навстречу, товарищи; мы отдадим ей все наши лучшие силы без остатка. Счастливы мы, что живем в такое славное время. Нам не приходится искать пути в беспросветном мраке, как приходилось это делать людям, расчищавшим нам путь. Нас не мучают сомнения, то ли дело мы делаем, которое нужно, необходимо для блага народа. Перед нами лежит широкая прямая дорога, в конце которой виден вход в более светлую жизнь.

Правда, на этой дороге много препятствий, но мы польем эту дорогу своею кровью и заполним рытвины своими телами, и ничто уже не остановит победного шествия борцов за народное счастье и свободу. Да! Счастливы мы, что не родились сотней лет позднее, что имеем возможность отдать свои слабые силы за дело и счастье всего человечества!

Что еще сказать вам? Я от всей души обнимаю своих товарищей по делу и желаю им больше счастья, больше успеха в их деле. Нравственная связь между нами никогда не порвется, хотя нас будут разделять громадные пространства. Крепко жму руки. Привет вам, смелые сердца!

№ 3

«...УГАДАЛ В НЕЙ НАТУРУ РОДСТВЕННОГО ПОРЯДКА»

В. А. З а л о м о в о й

[1 мая 1903 года, Маклаково Енисейской губернии]

...Знаешь ли, через сколько лет я могу сделаться крестьянином? — Через 12. Батраком, пожалуй, сделаться можно. Плата от 30 до 50 к. в день за 18 часов работы. Годовой работник стоит рублей 60 в год.

Я с имеющимися у меня деньгами могу смело существовать еще 3 месяца. Всего у меня было 30 р. За апрель я израсходовал 7 р. 18 к., но у меня были еще запасы сахара, кофе, чаю, какао. Если это тебя интересует, то я опишу тебе свой бюджет. Кофе 20 к., какао 35 к., чай 10 к., сахар 2 ф.— 32 к., муки ржаной

пуд 90 к., керосин, мыло, спички — 72 к. Яйца 6 десятков — 72 к. Молоко 2 р. 3 к. в месяц. Рассыльному за письма — 20 к., за квартиру — 2 р. 50 к. Таким образом здесь можно почти роскошно жить на 8 рублей.

Белый хлеб вследствие его дороговизны и меньшей питательности против черного я не потребляю, мяса тоже не употребляю.

...Когда у меня будет ружье и когда можно будет ловить рыбу, я буду проживать меньше. Тогда можно будет рублей на 6 прожить.

Я ложусь не ранее 12, а встаю часов в восемь, в девять. Нередко сижу и до часу и до двух ночи. Гуляю я очень мало. Читаю, пишу, по хозяйству управляюсь. Керосинкой я очень доволен. Она позволяет мне во всякое время сварить кофе, чай, яйца.

Да. Сегодня хозяйка предложила мне брать у нее молоко по 5 к. за кринку. Вчера при расплате я отказался от потребления молока, и тогда она предложила сбавить цену. Я, собственно, для того показал материальную сторону своего существования, чтобы вы с маткой знали, что я ни в чем не терплю ни малейшего недостатка.

Недавно я начал заниматься английским языком. Дается он мне страшно трудно, но я все-таки хочу попытаться познакомиться с ним хоть поверхностно. Надо будет попробовать еще немецкий; который будет легче, тот можно будет и изучить. Я очень доволен, что имею полную возможность заниматься. Вероятно, я буду обеспечен книгами из Енисейской библиотеки.

Надо тебе сказать, что я страшно доволен своим положением, так как я ожидал по меньшей мере Туруханска. Да, забыл я тебе сказать в том письме насчет своего стихотворения «Доля». Ты не подумай, что я и взаправду ныть начинаю. Нет, это не больше как плохая поэзия и больше ничего. Я собственно привык к одиночеству. Одинокий человек всегда более свободен. Я один долго, по всей вероятности, не останусь. Летом кого-нибудь, наверно, привезут. Если попадет подходящий субъект, то моя жизнь будет совсем «разлюли малина». Скажу тебе на ушко, что мне не раз очень хотелось поиграть на гитаре, но ты не забывай,

что я тебе говорил... Если ты вздумаешь непременно прислать мне гитару, то уж никак не дороже 3 р. Вот почему я и ружье не желаю иметь ценное.

...Бывают у меня и припадки тоски, тоски острой, мучительной, от которой сердце готово разорваться. Она та же самая старая, что была и на воле до тюрьмы. Причина ее — недовольство самим собой, своими способностями, поступками, своим умом, своей мало-полезностью, своими мыслями и желаниями личного счастья... Последнее я никак не могу вычеркнуть из своей жизни. Если бы я попал куда-нибудь к чукчам, то из моей головы скорее бы вся дурь вылезла.

...Я не знаю и адреса т. Ю., а то бы написал ей письмо. Знаешь, я сразу угадал в ней натуру родственного порядка и сразу полюбил ее. Когда я узнал ее ближе, то сказал себе: «Вот чем мог бы быть я, но не достичь мне этого».

Вчера начался сильнейший ледоход на Енисее...

№ 4

«ПРИШЛЮ СВОЮ И ГАЛЬКИНУ ФИЗИОНОМИЮ»

Е. А. Гариновой

27 марта 1905 года, Маклаково

Здравствуй, Лиза!

Совершенно случайно твое желание исполнилось.

Недавно через Маклаково проехал торговец с фотографическим аппаратом, и я снялся с Галинкой на руках. Он обещал прислать карточки к пасхе. Так вот, после пасхи я тебе обязательно пришлю свою и Галькину физиономию. Желаю тебе всего наилучшего.

Твой *Петр*.

Лиза! Вы не сердитесь, что я вам мало пишу. Петру сейчас нездоровится, хотя он, наверное, это скрыл от вас — ну и поэтому я всё вожусь с дочкой. Всего хорошего.

Ю[зья].

«ТОВАРИЩ ЛЕНИН — ЧАСТЬ НАС САМИХ»

Н. К. Крупской

25 января 1924 года, Москва

Дорогая Надежда Константиновна! Мне так бы хотелось утешить Вас в Вашей утрате, но это невозможно. С полным правом я могу сказать, что мы потеряли не меньше, и даже больше! — Мы — рабочие.

Большой силы был Владимир Ильич, но он взвалил на свои плечи весь мир и, вытянув из буржуазного болота пролетарский воз, надорвал свои силы. А тот, кто должен был ему помогать, — Плеханов — тянул в болото. На протяжении десятков лет Ильич неуклонно шел к намеченной цели и был выразителем всех наших дум и стремлений. Мы не можем найти у него ни одной фальшивой ноты — он наш вполне. Если бы среди нас нашелся рабочий, равный гением и научными познаниями с Владимиром Ильичем, то он не смог бы лучше выразить глубину нашей души, не смог бы лучше отстаивать дело мирового пролетариата, не смог бы выбрать более короткого пути к мировой коммуне.

Нам так много, так часто изменяли... Каким блестящим вождем был Плеханов! И он себя опоганил, перекинулся на сторону буржуазии. А ведь какой был человек! Он ушел от нас, этот «господин» Плеханов, и, несмотря на все его прошлые заслуги, наш язык не поворачивается сказать «товарищ». Зачем, зачем он это сделал! Как бы рады были мы, если бы было возможно разделить его на две части и отбросить последнюю!

Вы понимаете, какой восторг охватывает нас, когда мы видим вождя, составляющего с нами одно целое?

Мы схоронили всех старых богов и никогда, никогда не создадим себе новых! Мы вовсе не думаем обожествлять товарища Ленина — мы с ним равны! Мы заслужили такого вождя, и он, достойный нас, вправе гордиться нами. Понимаете ли вы?! Ведь това-

рищ Ленин как вождь широких трудовых масс еще только-только рождается! Масса знает только имя Ленина и не имеет представления о совершенной им работе, незнакома с его идеями. По мере того, как идеи Ильича будут превращаться в достояние широких масс рабочих и трудовых крестьян, личность товарища Ленина будет вырастать, а наша сила крепнуть. Я не хочу сказать, что товарищ Ленин завоеует популярность,— это слишком дешевое слово. Ведь и Керенский был популярен! Нет! Товарищ Ленин — часть нас самих. Он органически связан с нами, и эта связь будет крепнуть по мере большего знакомства с его работами, с его личностью.

Говорят, что его похоронят где-то отдельно, как нэпмана, как самодовольного индивидуалиста-буржуа? Это оскорбление для него и обида для нас! И мертвые не хотим мы с ним разлучаться! Товарищ Ленин вполне заслуживает высокой чести быть похороненным в братской могиле на Перекопе, где мы десятками тысяч полегли, воодушевленные его идеями.

Вы понимаете, какое впечатление произведет это не только на русских крестьян и рабочих, но и на весь рабочий мир?! Я скажу, что товарищ Ленин хотел этого и лишь не успел сказать Вам.

Я больше чем уверен, что где-нибудь в бумагах будет найдено завещание нашего вождя и тело его с триумфом будет перевезено в великую славную могилу.

Много будет картин написано, много памятников сооружено, но буржуазные художники слепы, и я боюсь, что Ильича будут изображать одного. Если писать картину, то надо изобразить бушующий океан из живых людей, живые волны, представляющие компактное целое, а на гребне самой высокой волны должна выделяться громадная фигура нашего товарища вождя с серпом в одной руке и с занесенным для удара молотом — в другой. Фигура Ильича должна быть частью, продолжением живой волны солдат, рабочих, крестьян, детей, женщин; должна как бы вырастать из них. Мощная волна неудержимо несетя вперед со всеокрушающей силой. Лица напряженно-гневные, как у «Давида» Микеланджело, а Ильич

спокойно и зорко смотрит вперед, в еще не видимую для других даль.

Всякий памятник Ильичу должен быть частицей этой картины. Ни в каком случае, нигде и никогда не следует изображать пролетарского вождя оторванным от рабочих и крестьян. Наша сила заключается именно в том, что наш вождь есть одно целое с нами. Этого не следует забывать ни на одну минуту. Может быть, я не сумел достаточно ясно выразить свою мысль и Вы не сумеете меня понять? Помните, что нужно бить по нервам широких трудовых масс; считаться с их психологией, а не стремиться угодить вкусам интеллигенции. Роль Владимира Ильича в последующих стадиях борьбы за коммунизм громадна, и ее настоящий масштаб выявится только после ознакомления трудовых масс с его учением. Крестьянин и рабочий будет серьезно считаться только с тем, кого он любит, кому доверяет; поэтому в описаниях жизни Владимира Ильича, в воспоминаниях о нем особенно ярко должны быть выражены те моменты, которые наиболее тесно связывают его с пролетариатом и крестьянством. Необходимо, чтобы крестьяне и рабочие узнали, как Владимир Ильич болел душой, чувствовал и страдал вместе с ними и, если требовал от трудового народа тяжких жертв, то не в силу своей жестокости, а ввиду их неизбежности и необходимости для победы. В этом направлении Вы можете дать богатейший материал.

Мы, старые рабочие, начавшие борьбу против капитализма десятки лет тому назад, не создаем себе иллюзий и знаем, что еще много, много лет будет длиться самая напряженнейшая, жестокая борьба труда с капиталом, и мы готовы на все. Со всех сторон сыплются нападки на коммунизм, на коммунистов, и в последнем случае нередко заслуженные. Можете ли Вы понять нашу радость? Радость возможности показать действительно безупречного идейного коммуниста, перед именем которого умолкает всякая клевета.

Покажу Вам одну картину. Осенью я видел большой обоз продналога. Лошадь за лошадью, утопая в грязи, переходила через болотце около неисправного моста. У последней лошадки клади оказалось больше,

и она застряла. Мужики шли впереди и скоро с головой обоза повернули за угол. Обоз все дальше и дальше уходил. И вот лошадка, которую никто не понукал, с напряжением всех своих сил стала тянуть тяжелый воз. Она лишь чуть-чуть отдыхала; и снова и снова тянула, но все ее усилия были тщетны. Мужики вернулись и вытащили воз, а лошадка, радостно мотая головой, пустилась догонять обоз. И бессознательно, помимо воли, я крикнул: «Ты славный человек! Руку, товарищ!»

Мы маленькие заурядные рабочие, вроде описанной выше лошадки, и нам нужно было знамя, ничем не запятнанное, вождь, который не изменяет, который знает, куда вести и как вести.

Сколько было славных имен на протяжении трех десятков лет! И что можно после многих из них теперь поставить? — Слишком мелок. Продал. Струсил. Ушел от нас. Предал. Стал нашим палачом и проч.

Отныне нашим знаменем будет наш неумирающий вождь — товарищ Ленин.

Вот я подпишу свою фамилию под этим письмом, и эта фамилия Вам ничего не скажет. Но это неважно! Дело не в фамилии, а в том, что я обычный рядовой рабочий, каких миллионы. И мне так грустно, что я ничем не могу Вас утешить...

№ 6

«КАК МЫ ПРАЗДНОВАЛИ ПЕРВОЕ МАЯ»

Г. М. К р ж и ж а н о в с к о м у

20 мая 1924 года, Суджа

...Затевалось нечто грандиозное. Две недели комсомольцы готовились к выступлению и чуть не каждый день занимались физкультурой и всем, чем в таких случаях полагается. Девочки шили костюмы и красные галстуки пионерам, шили декорации и прочее. К сожалению, испортил все дождь. Улицы стали непролазны, и народу собралось не так много, как это

обыкновенно бывает, но все же порядочно. На площади у нас насажен молоденький садик — «красный сквер», и в нем высокая красная трибуна. Ораторов было мало, так как в этом году уком сделал очень умную вещь: бросил всех коммунистов и комсомольцев в уезд по деревням... Но я все же получил громадное наслаждение...

Ах, как это хорошо! Свободная толпа, красные знамена, веселые, дерзкие детишки, захватывающие боевые песни! Мне прямо хоть не показываться на манифестациях! Никак не могу совладать со своими нервами, со своим сердцем! Вот уже семь лет прошло, а я все не могу привыкнуть... Особенно сильно действует на меня энтузиазм детей. Это уже не поддельное! Не из-за жира, не за сладкий кусок — неподкупное!..

Партийцев здесь насчитывается 187 человек, причем один с высшим образованием, семь — со средним, а остальные — с низшим. В комсомоле 217 членов и 50 кандидатов. Пионеров в уезде около 200 человек. Есть еще граждане, не доросшие до пионерства, которых называют «волчатами»...

Комсомольцы молодцы! Придумали хорошую вещь! У нас в уезде восемь волостей, и вот всех призванных на военную службу комсомольцы выходят встречать со знаменами, с пением революционных песен, с музыкой. Отряд каждой волости приходит со своими знаменами.

Ко мне поставили на два дня пятерых; так я на них набросился, как изголодавшийся клоп, и не давал им спать до часу ночи. Политическая безграмотность удивительная!.. Я все же думаю, что особые учителя политграмоты необходимы. Хотя бы по одному на волость! Теперь уже есть учителя, которые с удовольствием войдут в партию, если им дать доступ. Был тут такой случай: чествовали ликвидаторов безграмотности, четверым была назначена награда — материя на костюм, и вот один из этих «оборванных» светочей народа отказался от материи и просил взамен принять его в партию. Факт этот очень замечательный! Ведь прежде в партию учителя невозможно было загноить и пулеметом!

Теперь бояться народного учителя не следует. Вообще наша цель, наше стремление — сделать весь трудовой народ СССР интеллигентным, и путь к коммуне не может миновать этого этапа, а тут говорят, что не надо учиться! Здесь особенно резко бьет в глаза разница между учившимися и неучившимися. В партии и в комсомоле лучшими работниками, несомненно, являются те, которые больше учились. Я не согласен с тем, что будто высшее образование делает рабочего буржуем. Возьмите себя в пример. Вы, Глеб Максимилианович, — человек высокообразованный, а сумели сохранить в себе истинно пролетарскую душу... Надо только более строго выбирать материал для «вузов» как среди рабочих, так и среди интеллигенции.

№ 7

«...ТЕБЕ НЕ ПРИДЕТСЯ КРАСНЕТЬ ЗА СВОЕГО УЧЕНИКА»

Я. С. Пятибратову

11 августа 1924 года, Суджа

Дорогой Яша! Твое письмо доставило мне большое удовольствие, так как ты являешься моим первым учителем пролетарской борьбы. Помнишь, как ты меня пропагандировал и предложил мне вступить в ряды социал-демократов?

Это было осенью 1892 года. Я тогда сказал, что мне надо подумать и я не могу такого важного вопроса решить сразу. Ты в ответ на это спросил: «Сколько тебе лет?».— «Пятнадцать»,— ответил я. «Я в пятнадцать лет был умнее тебя и долго не думал»,— сказал ты мне тогда и ушел, попросив не болтать. Недели через две я сам попросил у тебя литературу.

С тех пор прошло тридцать два года, но я не сходил со своего пути-никогда. Правда, я не имею партбилета, но мой коммунизм в моей крови, в сердце, в

моем мозгу, и его возможно вырвать из меня только вместе с жизнью.

Ты мой учитель, и я скажу, что тебе не придется краснеть за своего ученика.

Тебе нечего смущаться тем, что я не имею партбилета. С 1892 года я не изменился ни на йоту, я все тот же коммунист, каким сделал меня ты. Случаев «закончить свою жизнь последовательно с началом» у меня было гораздо больше, чем тебе это может казаться. Не может быть вопроса о моем вступлении в партию, а *только о получении мною партбилета*. Поскольку это в моих силах, я делал и делаю то, чему ты меня научил,—веду пропаганду за мировой социализм, за мировую коммуну.

О моем настроении ты можешь судить по моим стихам в письме к Саше. Правда, я плохой поэт, но мои стихи достаточно ярко характеризуют мое настроение.

Пришли мне свою личную рекомендацию с указанием приблизительной даты моего вступления в подпольный рабочий марксистский кружок с твоей подписью, заверенной губкомом. Я точно не помню. Возможно, что вступил в кружок немного раньше, то есть летом, а не осенью, но это не важно. Я уже послал свою автобиографию в Москву, и там мои старые товарищи заверят ее. Беседовал с секретарем волостного комитета партии. Он тоже находит мое вступление в ячейку желательным, несмотря на мою неспособность к планомерной активной работе.

Относительно прошлого скажу, что нам не приходится его стыдиться. И в прежнее время было, да и теперь есть много людей высокообразованных, которые мало полезны для пролетарской революции. Мы работали не за страх, а за совесть, не останавливаясь ни перед чем.

Крепко жму руку.

П. Заломов

Моя жена также не имеет партбилета, но ведет серьезную политработу среди учительства.

«КРЕПОСТЬ НАЗЫВАЕТСЯ: НЕДОВОЛЬНЫЙ КРЕСТЬЯНИН»

З. П. Кржижановской

14 августа 1924 года, Суджа

Дорогая Зинаида Павловна! Оказывается, я применяю не более, не менее, как «комплексный метод», и знал об этом так же мало, как мещанин во дворянстве,— о том, что всю жизнь «говорим прозой». Я рассказал некоторым педагогам, как, уцепившись за почтовую марку, изложил чуть ли не всю историю вселенной. Единогласно было решено, что я пользуюсь комплексным методом...

Дело было так. Мне понадобилось послать письмо и купить почтовых марок. Дождаясь на почте в маленькой очереди, я увидел крестьянина лет тридцати, который отправлял письмо за границу. Он купил марку, наклеил ее на конверт.

— За границей не любят Ленина, а я вот его им посылаю. Пусть там погуляет... Прежде у нас на марках был царь, а теперь Ленин...

Я подметил в словах крестьянина некоторую тень иронии и, понятно, сейчас же пошел в наступление. Спускаемся по лестнице, начинаю разговор.

— Вот вы говорите, что раньше везде был изображен царь — это правда! И на марках и на деньгах — везде были цари и царицы. Теперь настоящий хозяин — это рабочий и крестьянин...

— Какой же крестьянин хозяин? У него земли стало меньше, чем до революции!

— Как меньше? Куда же земля девалась?

— А вот так и меньше! Понаделяли разных цыган да рабочих, вот у настоящего крестьянина земли и стало меньше. Рабочие, которые по заводам, живут хорошо, а крестьянину — петля. Все дорого...

Мы уже сошли с лестницы и стоим на площади. По временам около нас остановится то один, то другой прохожий и, послушав, идет дальше. У крестьянина

накипело недовольство, и он, прицепившись ко мне, как репей, закидывает своими доводами, вопросами, возражениями. Я ему указываю, что крестьянство только в одной Европейской России получило сорок миллионов десятин помещичьей, церковной, монастырской, удельной и частновладельческой земли, а он говорит:

— У нас была земля князя Барятинского и вся отошла к сахарному заводу, а нам ничего. А налоги подавай?

— Да ведь от сахарного завода и вам польза есть?

— Какая польза! Мы чаю пять лет не пьем! Мы только на завод бурак доставляем...

Все это было только прелюдией к нашей дискуссии. Мне пришлось начинать чуть ли не с Адама, наступать шаг за шагом, отвоевывать одну позицию за другой. Прежде всего я указал ему на те колоссальные затраты, которые всё человечество, а прежде всего мы ухлопали на мировую войну, как нажились от войны фабриканты и разорились крестьяне и рабочие; указал ему ряд ужасающих цифр.

Мы стояли больше часу. Я доказывал, он возражал и спрашивал. Пришлось говорить и об Индии и о Китае, об английской колониальной политике, о непримиримой борьбе классов, о земледелии, примитивном и высококультурном, о сельскохозяйственных машинах, о коммунизме, о конечных целях коммунизма, о способах прийти возможно скорее к цели...

Не думайте, что так легко взять штурмом крепость, которая называется «недовольный крестьянин». В конце дискуссии мы пришли с ним к выводам: что все зло от мирового капитализма, что рабочие и крестьяне — это две руки, что одной рукой невозможно пахать или косить и что также невозможно рабочим или крестьянам победить мировой капитализм в отдельности. Отсюда необходим крепкий нерушимый союз мирового пролетариата и мирового крестьянства для окончательной победы над мировым капитализмом.

Он высказал пожелание, чтобы рабочие были прикреплены к заводам «навсегда», а крестьяне — к земле. Пришлось пояснить, что крестьянин, как мелкий

собственник, перестает существовать, что обработка земли будет коллективной, механизированной, а где это возможно — электрифицированной и что крестьянин превратится в такого же рабочего, как и заводской рабочий, то есть будет управлять машиной. Он, быть может, частью будет работать на заводе, а частью на земле. Говорил ему и о том, что государственная власть при коммунизме превратится в хозяйственный орган производства и распределения продуктов. Он согласился, что мы разорены, что чудес на свете не бывает и что мировую коммуноу мы должны завоевать своим собственным трудом, путем восстановления народного хозяйства.

Во время беседы меня поразило: как это человек, с одной стороны, проявляет тонкое понимание политики, а с другой — совершенно грубое непонимание, казалось бы, самых простых вещей. Под конец крестьянин спросил меня, кто я такой, а сам отрекомендовался малоземельным крестьянином из деревни Николаевки. На прощание крепко пожал мне руку. А отойдя уже шагов на пятнадцать, обернулся и крикнул: «До свидания! Благодарю вас!»

Еще более интересная дискуссия была у меня недавно в магазине кустарного союза. Собралось там человек десять. Бывший лавочник, бывший мелкий фабрикантик, столяр-хозяйчик, крестьянин-приказчик, трое рабочих, студент и двое крестьян. Опять мною был применен «комплексный метод». Исходным пунктом дискуссии явилось ведро из белого железа, которого не оказалось в магазине. И тут уж была не просто дискуссия, а самый яростный бой.

Публика вся с мелкобуржуазной психологией. Особенно меня поразили рабочие, которые приняли мое разъяснение о классовой борьбе как что-то совершенно им не известное, как откровение. Один даже пошел меня провожать и все задавал вопросы, поражаясь тому, что все так просто. Ну, конечно, я говорил опять о «двух руках», которые создают все богатства, о пролетариате и крестьянстве, об их союзе в борьбе с капиталом.

Особенно помогло мне присутствие столяра-хозяйчика и маленького фабрикантика. Они откровенно сожалели о прошлом и доказывали, что раньше было

лучше, что во всем виноваты коммунисты, вставшие на место прежних дворян. Говорили намеками, но я заставил их высказаться откровеннее, а потом обрушился:

— Вы видите, товарищи! Он говорит, что «кормил» двадцать пять человек рабочих. Что же он так злится? Теперь он уже никого не кормит! Он должен был бы благодарить рабоче-крестьянскую власть, что она избавила его от такой большой заботы. Теперь он кормит только самого себя, значит, должен жить в двадцать пять раз лучше...

Мои слова были встречены дружным смехом. Хозяйчик возмущался, что не дают возможности обучать «бедных учеников»: требуют страховку. Он яростно доказывал, что, от грамоты только один вред, и что грамотный никогда никакому мастерству не научится, и что вообще раньше рабочим жилось лучше... Я рассказал о фабзавучах, о тех результатах, какие ими достигаются, а потом прямо заявил:

— Обратите внимание, товарищи! Он работал на заводе по восемнадцать часов, и ему было очень хорошо. Он «очень любил» учить «бедных учеников», а поэтому бросил свое очень хорошее место и открыл собственную мастерскую. Дальше! Из любви к «бедным ученикам» он заставлял их работать больше, чем по восемнадцать часов в сутки, «бесплатно», а сам катался на рысаках! Он говорит: «Кому что нравится!» Так ему, видите ли, не нравится гнуть спину на заводе или за плугом, а нравится сосать кровь из детей и подростков. Но рабоче-крестьянская власть говорит: «Цыц! Руки прочь!» И от этого «добрый учитель» приходит в ярость. Вот вам наглядный пример борьбы труда с капиталом!..

— Это коммунисты все должности позанимали и живут, как дворяне!..

— Да! Пока сидел исправник, дворянин Спасский, все было хорошо! А теперь ему страшно досадно, почему сидит не дворянин, а простой мужик Чупруненко.

— Надо, чтобы была свобода, чтобы каждый мог дать своему делу развитие! Вон у него теперь было бы не меньше ста человек рабочих!

— Да! Он теперь «кормил бы» не двадцать пять, а сто рабочих и катался бы не на рысаках, а на автомобиле. Знаете что, братцы! Езжайте-ка вы в Америку! Там полная свобода личной инициативы! Там можно душить рабочих и крестьян с разрешения закона, и вы скоро сделаетесь Рокфеллерами и «будете кормить» уже не десятки, а десятки тысяч рабочих. А уж мы как-нибудь проживем без вашей гениальности! Верно, товарищи?

Дружный хохот. Хозяйчик обозлился невероятно, а фабрикантик всё время сохранял полное хладнокровие. Он только доказывал, что ему также надо «существовать». Хозяйчик, весь красный, подошел ко мне вплотную и выпалил с яростью:

— Теперь рабочих и крестьян давят еще больше, чем раньше!

— Кто давит?..

— Коммунисты всех давят!

— Но вы ведь не захотите быть коммунистом! Вы знаете, что коммунисты, защищая рабоче-крестьянскую власть, тысячами гибли на фронтах! Вы знаете, что они работают не для себя, а для всего народа. Вы не можете быть коммунистом, потому что не желаете работать даже сами на себя! А хотите жить за счет эксплуатации труда детей и подростков. И так как РКП, стоящая у власти, не позволяет вам высасывать детскую кровь, вы ненавидите всех коммунистов.

После этого я занялся крестьянами и рабочими. Тут уж нужен был совершенно иной, доброжелательный, вдумчивый подход. Надо было ответить на все возражения, казавшиеся на первый взгляд неопровержимыми, и притом ответить, не задевая самолюбия. Вы знаете, как это делается! Надо было разбирать по косточкам всю хозяйственную жизнь народа, переходя от хозяйства к политике, от политики — к хозяйству...

Буржуйчиков я бросил и совершенно не отвечал на их выпады, хотя они продолжали насканивать на меня, как петухи. На них уже никто не обращал внимания, а каждый стремился разрешить свои собственные вопросы и сомнения. Пришлось много говорить

о кооперации. Некоторые находили, что кооперация никогда не пойдет, так как «все — воры». Я рассказал о старой Сормовской кооперации, которая, несмотря на массу неблагоприятных условий, сумела так широко развернуть свою деятельность, что убила всю частную торговлю.

Посылаю Вам эти короткие отрывки своих дискуссий для ознакомления, так как Вы всем интересуетесь. Будете иметь некоторое представление о том, что и как я делаю, когда позволяет здоровье.

Скоро я буду членом «Пролетклуба», и мне понадобится тяжелое вооружение — серьезная литература. Прошу не смотреть на мои письма как на обузу. Я вовсе не жду, что Вы будете писать мне часто. С меня достаточно, если Вы напишете тогда, когда есть время и настроение. У Вас серьезная работа, и я не имею ни малейшего права портить Вам жизнь. Жму руку. Привет Глебу Максимилиановичу.

№ 9

«СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ ДЛЯ КРЕСТЬЯН САМАЯ ВЫГОДНАЯ»

Г. Я. Козину

16—17 сентября 1924 года, Суджа

...Не могу себе представить, как и чем можно жить, оторвавшись от революции, нам, пионерам рабочего движения? Я по чисто техническим обстоятельствам — болезни — оторвался от активной, планомерной работы, но продолжаю жить интересами партии и революции.

...Не могу сказать, что утратил моральную энергию, но физически — стал мало пригоден. Мне запрещена всякая работа, всякие волнения. Если бы не четырех с половиной месячное лечение в Москве и не пенсия, назначенная мне Обществом бывших политкаторжан и ссыльно-поселенцев, членом которого я состою, то этим летом был бы конец, так как я добы-

вал свой хлеб огородничеством и не мог бы выпустить из рук лопаты.

По временам я чувствую себя сносно, по временам приходится лежать в постели. Самое неприятное заключается в том, что болезни влияют на мозг, и у меня бывают затемнения рассудка, так что я теряю всякую способность соображать, как бы перестану существовать. Вот вчера пролежал целый день в постели, и сегодня тоже, из-за колющих болей в области сердца. Ночью всё задышался.

Нельзя сказать, чтобы такая жизнь была очень приятна, но жить надо, и я хоть немного, но еще полезен, так как мне иногда удается доказать тому или иному крестьянину, что Советская власть для крестьян самая выгодная. С крестьянами, разумеется, иметь дело значительно труднее, чем с рабочими, но дело это всё же не безнадежное. Приходится бросать письмо. Опять это проклятое сердце!

17/IX. Когда я встретился в Москве со старыми товарищами, то они стали настаивать, чтобы я вступил в партию официально, и я решил это сделать. Говорил с секретарем своего волостного комитета, и он находит, что мое вступление в ячейку желательно, несмотря на потерю активности. Ну что ж! Пусть будет так! Теперь дожидаясь своей автобиографии и поручительства из Москвы, чтобы подать заявление о желании вступить в РКП.

Яша Пятибратов прислал мне свою рекомендацию с удостоверением о вступлении в Группу освобождения труда в 1893 году. Моя автобиография у Зинаиды Павловны Кржижановской, бывшей Невзоровой. Ты ее, наверное помнишь?

...Я бы хотел узнать от тебя кое-что из прошлого. Память у меня стала очень плоха, и я многое позабыл. Так, не помнишь ли ты, в котором году была маевка в Слуде на Мызе? В ней еще участвовал Александр Семенович Розанов. Мне кажется, что это было в 1893 году. Сообщи мне также, ходил ли ты в Ковалиху к Нине Алексеевне Рукавишниковой и когда начал функционировать наш кружок? Вообще я по-

забыл все даты. Сообщите также, когда начались занятия у Николая Афанасьева, сколько времени занимался Марышев и сколько Александр Африканович Кузнецов? Вообще, если можешь, то сообщи мне краткие сведения о нашем кружке, с датами, кто и когда вступил, кто и когда занимался и проч.

Напиши мне, пожалуйста, подробно про Сашу Замошникова. Я ему писал три раза, но он почему-то отвечать не хочет, хотя я знаю наверное, что первое мое письмо он получил, да и два последних я посылая заказными и они пропасть не могли.

У меня есть маленькая слабость — это стихи, которые время от времени пишу.

Не находишь ли ты, что непризнанные поэты — народ несносный? Но я считаю, что особого вреда своими стихами не принесу, т. к. их можно и не читать. Написал эти стихи специально для Саши Замошникова и послал ему.

№ 10

«ТЕПЕРЬ У НАС ЕСТЬ КРАСНЫЙ УЧИТЕЛИ»

З. П. Кржижановской

[22 сентября 1924 года, Суджа]

В семье у меня большие перемены. Я «снял» Жозефину Эдуардовну с немецкого языка и перевел на обществоведение. Не скажу, что это было легко сделать, и я лишней раз убедился, что женщины — народ ужасно упрямый. Ей очень не хотелось бросать работу в союзе, в котором она проработала четыре года. Но я считаю, что, перейдя на обществоведение, она непосредственно будет воспитывать юношество в коммунистическом духе. Теперь и сама страшно рада...

Хочу рассказать Вам кратко о праздновании пятилетнего юбилея союза «Рабпрос». Двадцать первого сентября был волостной учительский съезд с докладами по текущему моменту и со всеми прочими, как это

полагается. Торжество началось с приветственных речей. По окончании каждого приветствия оркестр играл «Интернационал». Я тоже хотел было вылезти с коротеньким словом, но увидел, что оно не подходит под общий тон. Может, Вам интересно знать, что я думаю об учительстве?..

Сложилось и долго господствовало мнение, что учительство в целом беспартийно, что оно служит народу. Было ли учительство когда-нибудь действительно беспартийно? Нет. Учительство никогда не висело в воздухе, оно ходило по твердой земле, оно имело свои экономические интересы, было связано с известным классом.

Правда, народный учитель учил детей рабочих и крестьян, получал за свой труд хлеб, одежду и жилище, созданные трудом рабочих и крестьян, но все дело в том, что он получал это из рук своего хозяина — буржуазно-помещичьего земства. То, что рабочими и крестьянами было принято за измену, было на самом деле «верностью до гроба»... Учитель ценил свои привилегии, а потому служил верой и правдой помещикам и капиталистам, дрессируя и одурманивая детей рабочих и крестьян в религиозно-патриотическом духе.

Новый хозяин жизни, мускулистый, грубый, невежественный, оказался суровым хозяином. Напрягая все свои силы в титанической борьбе с мировым капиталом, жертвуя своей кровью, своим достоянием для победы, он потребовал жертв и от учителей... По мере восстановления экономической мощи страны, по мере улучшения своего материального положения оно стало втягиваться в новую жизнь, в новую работу, вплотную подходя к народным массам. Иллюзии рассеялись. Учительство увидело, что его судьба тесно связана с судьбой всего трудового народа, что только развитие промышленности и сельского хозяйства, что только общий экономический подъем страны даст ему материальное благополучие. И вот, отказавшись от старых симпатий, забыв свои старые обиды, учительство протянуло руку рабочим и крестьянам, заключило с ними братский союз на жизнь и на смерть. И союз этот несокрушим, так как основан не на кисло-

сладком сентиментализме, а на твердом экономическом фундаменте обоюдных выгод.

Отныне сломаны все преграды, лед растаял, педагогика и труд соединились в одно целое. Теперь мы с гордостью можем сказать, что у нас есть красный советский учитель, верный товарищ, который пойдет с нами до конца, который поможет нам перестроить старый мир на коммунистических началах. И этот наш новый товарищ уже не простой учитель наших детей, а один из главных строителей новой жизни...

№ 11

«ЧЕРЕЗ ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАСТОЯЩИМ И БУДУЩИМ»

А. И. Цветаеву

15 ноября 1924 года, Суджа

Крестьяне, как дети, ждали от революции какого-то необычайного чуда, вроде того, что каждая десятина земли превратится в десять десятин, что все им будет даваться бесплатно...

Вчера, например, пришлось рассказывать одному крестьянину не более не менее как о процессе фабричной выработки сахара из свекловицы. Он, видишь ли, рассчитывал, что на завод ему сдавать свекловину невыгодно, и захотел вырабатывать сахар домашним способом... Заранее никогда не знаешь, о чем тебя спросят. Приходится всем понемножку интересоваться. Одному посоветовал развести сад и питомник, указал руководство. Другому подарил руководство к выделке кож и овчин и растолковал ему все как следует. Уже работает, хорошие кожи... Моя главная цель, разумеется, заключается в том, чтобы вербовать сознательных защитников СССР или, вернее, делать таковыми индифферентных и враждебно настроенных...

Конечно, это партийной работой назвать нельзя, и я отдаю себе в этом полный отчет. Но все же это зв-

ляется сейчас главным содержанием моей жизни. Бывает, что я получаю громадное наслаждение, когда мне удается сбить человека с неправильной позиции. Но... «были когда-то и мы рысаками», а теперь я стреноженная кляча. Тяжело бить себя, но мне приходится это делать. Я писал уже и тебе и Саше Петрову, что решил вступить в РКП, чтобы умереть официальным коммунистом.

Я знаю, меня могут не признать достойным такой чести, так как основное положение большевизма заключается в том, что члены партии должны не только разделять ее идеи, но и активно работать в ней. Пора моего активизма прошла безвозвратно... Какие же претензии могу я иметь к РКП, к своим старым товарищам, если они мне скажут, что РКП не богадельня для инвалидов революции?.. Коммунист — это доска, которую перебрасывают через пропасть между настоящим и будущим, и эта доска должна быть надежна. Гнилую доску бросают в грязь, чтобы, проходя по ней, не пачкать ноги...

...Ясно, человек, как и всякая материя, подчинен известным физическим законам. Рассчитывать на чудо — то же самое, что рассчитывать на авось. Нельзя требовать невозможного от рабочего, будь это идейный-разыдежный коммунист. В основу хозяйственного возрождения СССР мы должны поставить не чудо, а науку. Вот отсюда я и делаю вывод, что путь к конечной цели коммунизма долг, что хозяйственное возрождение СССР пойдет медленно, но верно и надежно...

№ 12

«НЕХОРОШО СОЗНАТЕЛЬНОМУ РАБОЧЕМУ СТОЯТЬ В СТОРОНЕ...»

Я. С. Пятибратову

24 ноября 1924 года, Суджа

Дорогой Яша! Во что бы то ни стало мы должны дать крестьянам фабрикаты, особенно текстильной промышленности. Теперь уже в деревне не говорят

про гвозди, спички, керосин, железо, но много говорят про ситец... Здесь у нас земля черноземная, но ее мало. Если взять крестьянское хозяйство с наделом в три четверти десятины на душу, то такое хозяйство ни в каком случае 30—35 рублей в месяц не имеет.

В этом году рожь почти совсем не уродилась, озимые сильно поела совка, а налоги, хотя и в пониженном размере, пришлось платить. Те крестьяне, у которых земли на душу больше, говорят, что налог небольшой и заплатить его нетрудно, но малоземельные жалуются без конца. Из-за бескормицы крестьянство вынуждено сбывать скот. В Судже цены на мясо вместо 20—25 копеек за фунт понизились до 9—10 копеек, в Мироновке — до 5—6 копеек, в Белой (село больше и богаче Суджи) — по 3—4 копейки. Прежде много народу уходило на шахты в Донбасс. Но теперь чувствуется острая безработица. Для малоземельного крестьянства развитие нашей промышленности — вопрос жизни и смерти...

Мне много приходится слышать о том, что на фабриках и заводах рабочие страшно избаловались и разленились, больше шантажируют, чем работают. Приходилось это слышать и от рабочих. Наконец, в газетах то и дело попадают сообщения о борьбе за 8-часовой рабочий день, так как фактически таковой превратился в 6-часовой и нередко даже в 4-часовой. Это крайне ненормальное явление. Выходом из него является сдельная система. Но к этому должен быть научный подход, без перегибания палки, которое грозило бы пролетариату вырождением. В интересах революции необходимо, чтобы пролетариат крепнул и морально и физически, а поэтому крайняя степень интенсификации труда, каковой является система чикагских боен или ее копия — фордовская цепная система, для нас является нежелательной.

Я спрашивал младшего брата Александра, живущего в Ленинграде: чем объясняется падение производительности труда по сравнению с довоенной? И вот что он мне ответил: «Прежде всего нет материалов, простой из-за этого. Несоответствующий и негодный материал, неувязка производства, плохое распределение рабочей силы, слабая техника, изношенность и прочие недочеты. Все это, вместе взятое, дает боль-

шой накладной расход, а рабочий труд чисто физический, в смысле интенсивности, пожалуй, стоит выше, чем в довоенное время».

Брат работает на заводах непрерывно вот уже тридцатый год. Пишет, что его здоровье ничего, но голодные годы сильно подорвали семью. Двенадцатилетняя дочь умерла от истощения, старшая выдержала и жива, но поражена туберкулезом и, наверное, также погибнет. Страшно жалеет детей.

Еще пишет, что нехорошо рабочим, мало-мальски сознательным, стоять в стороне, не принимая никакого участия в строительстве новой жизни. И он принимает участие. Кончает работу в четыре часа и, не заходя домой, идет на одно собрание, потом на другое. Дома появляется в час, а то и в два ночи, и так все время. Пишет, что очень устает. Он состоит в производственном кружке, затем является организатором слесарно-столярной цеховой ячейки, членом общезаводского бюро коллектива, представителем бюро цеховой ячейки комсомола и еще выделен от бюро общезаводского коллектива к пионерам.

Он вступил в РКП в Ленинский призыв.

Как видишь, он тратит восемь часов на физический труд и минимум восемь — на партработу. К счастью, он уродился в мать, которая в свои 77 лет еще крепка и ничем не болеет. Вот тебе еще один коммунист, которого можно причислить к старой гвардии. Мать даже не утратила своей трудоспособности. Это большое счастье...

Для меня является особенно мучительным, что я не могу работать физически. Физический труд положительно необходим для моего душевного равновесия. Раньше я работал не менее 12—14 часов в сутки, а в голодные годы — от 6 утра до 12 часов ночи за два фунта черного хлеба. И вот теперь все это разом оборвалось. Теперь я должен расплачиваться. Ночью приходит возмездие: я начинаю задыхаться. Не подумай, что я жалуясь: во мне просто говорит досада на самого себя. Вон брат и то деликатно намекает, что нехорошо сознательному рабочему стоять в стороне...

«А ПОМНИШЬ ЛИ ТЫ СЛУЧАЙ...»

Я. С. П я т и б р а т о в у

30 декабря 1924 года, Суджа

Дорогой Яша! Осенью 1892 года, когда ты меня распропагандировал, я жил на Жуковской улице у своего дяди Якова Кирилловича Гаврюшова, и он видел у меня нелегальную литературу, которую я получал от тебя. Месяца полтора-два тому назад я писал о тебе Зинаиде Павловне Кржижановской и, думаю, что она все сделает для восстановления твоего стажа...

Мне можно говорить все прямо и откровенно. Я хотя и серьезно болен, но все же не утратил своего самообладания. Ведь если мне несколько раз удалось выкрутиться из петли, то это, главным образом, благодаря самообладанию.

Расскажу тебе одну смешную историю из своей юности. Когда осенью 1892 года ты предложил мне вступить в подпольную марксистскую организацию, я тебе ответил, что не могу сразу решить такого вопроса и что мне надо подумать. Так вот, главной причиной моей нерешительности была боязнь, что я не смогу выдержать пытки. И я делал опыты.

Несколько раз я разбивал себе руку ручником во время работы, и она распухала у меня, как подушка. Потом один раз, когда я внизу притирал шток к поршню с Федоровым, я, пролезая под железной рукояткой хомута, как бы нечаянно выпрямился под ней и ударился об нее головой так, что упал на пол, а когда встал, то все предметы вокруг меня танцевали. После этого опыта я признал себя «годным» и заявил тебе о своем желании вступить в организацию. Я стал считать себя полноправным членом Группы освобождения труда, но временами на меня находили сомнения, и я снова проверял себя.

А помнишь ли ты случай, когда схватил меня за волосы и, сжимая свою железную руку, старался выдрать у меня из головы как можно больше волос?

Но ты все же не выдавил из меня ни звука. Теперь я с удовольствием вспоминаю все это.

Конечно, все эти испытания были по-детски наивны и смешны. О них я боялся заикнуться из опасения быть жестоко высмеянным. Но одно несомненно: если бы я не смог выдержать тех детских испытаний, то не смог бы выдержать и всего того, что пришлось перенести впоследствии. И я помнил, дорогой Яша, о своем первом учителе, который казался мне *скованным из цельного куска железа, и старался быть достойным его.*

№ 14

«ВО МНЕ ГОРИТ ПРЕЖНИЙ ОГОНЬ...»

Я. С. Пятибратову

2 марта 1925 года, Суджа

Дорогой Яша! Получил от тебя открытку и очень рад за тебя. Рад не восстановлению твоего революционного стажа,— ведь твоей прошлой революционной работы все равно никто опровергнуть не сможет,— а рад я самому главному — возможности работать не отдыхая... Возможность работать и связанное с этим сознание собственной полезности для революции— для нас самое главное, самое важное. Когда это сознание отпадает, остается пустота. Только непосредственное участие в революционной работе может давать нам удовлетворение.

Я лично считаю тебя не старым, а одним из старейших большевиков, и таковым ты останешься, не смотря ни на что. Ты сообщаешь, что мое дело скоро решится. Я, конечно, очень благодарен тебе за все твои заботы и хлопоты, но жду решения без волнения. Комиссия при ЦК может не признать меня коммунистом, но таковым считают меня на месте все друзья и враги, стоящие вне партии. Недаром хватали меня белые, пытаясь то расстрелять, то повесить. Лучшие рекомендации для вступления в РКП(б) могли бы дать мне члены помещичьего «Союза хлеборобов», затем скоропадцы, деникинцы и вообще все контрре-

волюционеры, оперировавшие здесь. До получения пенсии, когда я ходил в рваном платье и худых лаптях, мне говорили: «Ходите в ошметках, а защищаете коммунистов».

Друзья и враги считали меня коммунистом.

Когда птица поет, то она не думает о полезности своего пения. Вот и я также пою все ту же старую песню, которую начал петь тридцать два с половиной года назад. Пою потому, что во мне горит прежний огонь, пою потому, что не могу не петь, потому что это дает мне наслаждение. Вот вчера я попал в театр, подсел в фойе к какому-то человеку в тулупе и за час нарисовал ему картину классовой борьбы, исходя из конкретных фактов жизни. Я видел, как его глаза постепенно разгорались, как его охватывало воодушевление, и это дало мне такую радость, которую я ни с чем сравнить не могу.

Мы только чернорабочие революции, а не высококвалифицированные деятели. Вожди устают, умирают, они могут изменять, как Каутский и другие. Но мы, рабочие, взятые в целом, непреклонно идем к своей конечной цели. Наша сила в объективных условиях жизни, которые толкали и будут толкать мировой пролетариат на борьбу за конечную цель, за мировой коммунизм. В нас, старых рабочих-бойцах, живет чувство равенства, мы скромны и ни в каких чинах и орденах не нуждаемся. Я уверен, что мы с тобой чувствуем одинаково.

Мой горячий привет, старый товарищ!

Твой П. Заломов

№ 15

«МЫ ПОБЕЖДАЕМ НЕ КРАСНОРЕЧИЕМ...»

Г. Я. Козину

5 мая 1925 года, Суджа

...Вовсе нет необходимости быть красноречивым, как Демосфен. В конце-то концов мы побеждаем не красноречием, но непреклонным упорством в достиже-

нии своих целей, несокрушимой верой в справедливость и торжество нашего дела.

Ты сам знаешь, что «наемников» с партбилетом в кармане у нас много, но настоящих идейных коммунистов недостаточно, и они надрывают все свои силы, стремясь сделать всё и за всех. Вот меня непрестанно и мучает мысль, что я не несу своей доли нагрузки. Я ведь имею ясное представление о том, с каким колоссальным напряжением всех сил работают наши товарищи в центре. Каждый из них представляет собой, буквально, свечу, зажженную с обоих концов. Смерть следует за смертью — и всё это от надрыва сил, от непомерной тяжести, добровольно взваленной на свои плечи.

Идейный коммунист не может «красиво болтать», а за его красивыми словами всегда скрывается еще более красивая большая работа. Что касается «болтунов», то они всегда были и всегда будут.

У нас, рабочих, есть такая черта — недооценивать работу интеллекта, а между тем эта работа является самой продуктивной, самой плодотворной. Только благодаря развитым интеллектам имеем мы современную культуру со всеми ее чудесами, со всем ее облегчением труда человека. [...] Если бы авангард нашей партии не имел в своей среде товарищей с сильно развитым интеллектом, то мы давным-давно были бы разбиты.

Развитие ума дается со значительно большим трудом, чем развитие мускулов. [...] Эта работа очень тяжела и требует большого расхода нервной энергии. Чтобы красиво говорить, надо первым делом очень много знать, а чтобы много знать, надо проделывать большую предварительную работу.

...Большинство нашего поколения не придет к конечной цели, но это для нас никакого значения не имеет, лишь бы выиграть битву.

Замкнуться в мещанскую скорлупу — это значит заживо умереть, вот поэтому, несмотря на все свои болезни, я всё еще трепыхаюсь и стремлюсь что-то делать. Выписал 10 экземпляров «Крестьянской газеты», 2 экземпляра «Бедноты», распространяю их среди крестьян в базарные дни, настойчиво рекомен-

дую выписывать, веду беседы на агрополитические темы.

Когда мне назначили пенсию, то моей мечтой было сделаться пропагандистом-книгоношей. Я думал ходить по деревням, распространять агрокоммунистическую литературу и вести беседы на агрополитические темы. Но мечта осталась мечтой, а действительность такова, что я не всегда могу использовать и базара. Мне бывает трудно ходить — задыхаюсь, а то так я перестаю соображать. Последнее от артериосклероза, и частые головные боли также от него и от сердца.

...Должен тебе сказать, что до получения пенсии морально я чувствовал себя лучше, так как хотя с большим трудом (падал с лопатой на землю), но обрабатывал 300 квадратных сажен огорода. Этот огород помог нам пережить трудные голодные годы, когда жена получала жалованья по 1 пуду немолотого овса в месяц, а то и совсем ничего. Ходил я рваный, в дырявых лаптях — и мне говорили: «ходите в ошметках, а защищаете коммунистов». Я получал от [огорода] 120—150 пудов картошки и до 250 пудов кормовой свеклы, которой кормил коз. На копку 300 сажен затрачивал от полутора до двух месяцев, работая частенько с 4 утра до 10 вечера. Зимой работал с 6 утра до 12 часов ночи — делал ложки, делал ведра. Зарабатывал я гроши, но чувствовал себя на картошке и на трех восьмушках плохого хлеба счастливым.

Теперь всё вывалилось из моих рук — я пережил сам себя — и чувствую большую неудовлетворенность. Очень тоскливо без физической работы, которая мне необходима, но это прямая угроза жизни. Профессора запретили заниматься мне даже кролиководством. Вот я вздумал этой весной обобрать в своем садочке озимых червей и не смог этого сделать. Такое, казалось бы, незначительное усилие уже вызвало припадок.

Я жалею о том времени, когда мог много и неутомимо работать. То, что я делаю на базаре, я, разумеется, парработой считать не могу, но это всё же доставляет мне некоторое удовлетворение. Вообще-то я по-прежнему интересуюсь только нашей борьбой с ми-

ровым капиталом и говорю об этом со всеми, где только сталкиваюсь с живыми людьми.

...Мещанская жизнь не по нас, дорогой Гриша, и в ее рамках мы не можем быть счастливы.

№ 16

«ТЫ БЫЛ МОИМ УЧИТЕЛЕМ...»

Я. С. П я т и б р а т о в у

11 июля 1925 года, Суджа

Дорогой Яша! Твои письма имеют для меня цену не потому, что они длинные, а потому, что это твои письма. Ведь нас связывает не столько переписка, сколько то обстоятельство, что ты был моим учителем, а я твоим учеником. Этого ведь забыть нельзя, тем более что мне не пришлось в тебе разочаровываться, как это часто бывает в жизни.

Три дня назад я узнал, что контрреволюционные элементы взяли меня, так сказать, на учет. Про меня говорят: «Эта седая голова пропала». Не могут простить мне моей пропаганды идей коммунизма и новых способов земледелия.

Лично я не придаю этому значения, так как про враждебное к себе отношение знаю уже давно. Сейчас мне надо идти в суд. Избран заглазно народным заседателем. Вчера уже отбыл один день, и придется отбывать еще пять. Дело весьма интересное, но только мешают мне головные боли и сердце.

Твой П. Заломов

№ 17

«...ИЛИ ДВА ФУНТА СЕЛЕДОК»

З. П. К р ж и ж а н о в с к о й

12 октября 1925 года, Суджа

Дорогая Зинаида Павловна! Вы, верно, думаете, что меня и в живых нет, — так долго я Вам не писал...

Начну со школьных дел. В этом году в школу поступило 195 человек, да на второй год осталось 30 человек. В прошлом году губисполком находил средства на содержание учителей, а в этом году предписал оставить только одну группу в I отделении и одну группу в IV отделении. Если бы приказ этот был выполнен, то из 195 человек, преимущественно детей крестьян и рабочих, пришлось бы принять только 10 человек, а остальных выкинуть. Можете судить, какое впечатление произвело бы это.

Из 225 человек следовало обложить платой только 25 человек, но, согласно приказу губисполкома, пришлось сверх этого обложить еще девяносто крестьянских детей. Вот этим и объясняется, что из Суджи лично к Анатолию Васильевичу Луначарскому приехал представитель Суджанского крестьянского общества Иван Крапивный. Его считают наиболее смелым и решительным, поэтому уполномочили на поездку в Москву. Не знаю, в чем заключалась беседа Крапивного с товарищем Луначарским, но сам лично он заплатить в состоянии: имеет хорошую пасеку. Тут уж сыграли роль чисто принципиальные соображения: Крапивный хочет полной законности и полной справедливости.

Ивана Крапивного я знаю с 1917 года. Он еще тогда твердо и определенно стоял на стороне Советской власти и большевиков; считая, что надо бороться с теми лицами, которые дискредитируют Советскую власть на местах. К местной власти он относится довольно подозрительно, а поэтому и двинулся «искать правды» в Москве. Своей поездкой он вполне удовлетворен и нашел, что в Москве обращаются с крестьянами хорошо, а здесь плохо.

Мне пришлось беседовать с некоторыми из крестьян. Одна женщина говорила: то, что сельхозналог сбавили,— это очень хорошо, но правительство должно изыскать еще средства, чтобы дать возможность получить среднее образование бесплатно не только детям рабочих, но и детям крестьян... Работают люди очень много, работают все, включая детей, но все же заплатить им 30 рублей в год за право учения чрезвычайно трудно. Даже крестьяне состоятельные к плате за учение относятся не менее отрицательно.

Они считают: дело обучения детей должно быть делом государства. Говорят, конечно, в иных выражениях, но смысл таков.

...Сокращение из-за недостатка средств коснулось и нашей центральной библиотеки.

Центральная библиотека является насущной необходимостью уже из-за одного того, что обслуживает и школы, и педтехникум, и-техническое училище. Ученики покупать книги не в состоянии, и вырвать из их рук библиотеку чрезвычайно невыгодно: себе дороже будет стоить. Ведь дети крестьян особенно малокультурны, чтение для них необходимо до крайности. Кто бьет по народному просвещению в волостях, тот бьет прямехонько по Советской власти, и удары эти особенно чувствительны и болезненны, так как губят дело в зародыше. Если бы библиотекой пользовались только одни народные учителя, то и в таком случае сокращать ее было бы преступно. В обоих приказах сказывается явная близорукость и непонимание интересов рабоче-крестьянского союза. Из того, что Суджанский уезд сокращен и переименован в Суджанскую волость, вовсе не следует, что в нем надо губить всякую культуру.

Летом я спрашивал в книжном магазине ВИКа, как идет продажа сельскохозяйственной и политической литературы крестьянам. Мне ответили: очень плохо...

Теперь книгой торгует почта, и я в восторге от достижений. В день продают стопку вершка в три-четыре. Берут больше самые дешевые брошюры — от 5 до 15 копеек. Политико-экономическая литература идет слабее, и покупают ее главным образом партийцы и комсомольцы. Покупают также пьесы, так как потребность в спектаклях громадная. Вообще надо сказать, что наша книга слишком дорога для крестьянина... Тонюсенская книжечка стоит 25—30 копеек — цена для крестьянина баснословная. За 30 копеек крестьянин может купить две пачки спичек, или два фунта селедок, или пять-шесть фунтов хлеба и так далее. Ему кажется верхом идиотства платить за крохотную книжечку эти тридцать копеек, которые добыты тяжелым трудом.

«СЕНТИМЕНТАЛЬНИЧАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ»

Я. С. Пятибратову

3 ноября 1925 года, Суджа

Дорогой Яша! Я зачислен в РКП(б) членом без кандидатского стажа. Доволен ли ты? Я сам, разумеется, очень доволен, так как это даст мне возможность быть более полезным для партии, чем раньше. Если я не смогу показать работу старого коммуниста, то этику старого коммуниста я показать, несомненно, могу, а подчас и это бывает полезно.

Я по-прежнему бываю на базарах, раздаю газеты, беседую. На сельхозналог теперь уже никто не жалуется, и все находят его легким. Из рук кулаков, торговцев и других врагов пролетарской диктатуры выбито опаснейшее оружие. Раньше они внушали крестьянам мысль, что Советская власть с них шкуру дерет, да так мыслили крестьяне и самостоятельно. Снижение налога я считаю крупнейшим достижением, блестящей победой, укрепляющей Советскую власть в деревне. Не надо забывать, что нам в более или менее близком будущем придется схватиться грудью с грудью с мировым капитализмом, схватиться с оружием в руках. Чем больше симпатий у крестьянства будет к Советской власти, тем более сильные удары мы сможем перенести, тем сильнее будут наши удары.

Что высокий налог является сильным прессом, способствующим выбрасыванию хлеба на рынок,— это правда, но правда и то, что он являлся источником открытого недовольства Советской властью. Теперь я чувствую громаднейшее облегчение и думаю, что аналогичное чувство у всех, кто часто сталкивается с крестьянами. Я очень боюсь, что на будущий год вздумают исправлять «ошибку» и вновь увеличат сельхозналог... Сентиментальничать и конфузиться перед Европами нам не приходится, и надо проводить все то, что увеличивает нашу реальную силу.

Хлеба на рынок сейчас поступает меньше, чем можно было ожидать. И главная причина здесь заключается в дороговизне фабрикатов, цены на которые страшно вспухают, когда они доходят до потребителя-крестьянина. Беднота хлеб продает и без налогового пресса: ей надо заткнуть множество дыр в своем хозяйстве, и более крепкие хозяйства хлеб придерживают, они надеются продать его весной по более высокой цене...

Давно обещали дать крестьянам дешевую обувь, а вот вчера на базаре за сапоги просят 17 рублей, а когда крестьянин предлагает 12 рублей, то продавцы смеются. А что такое 17 рублей? Это значит, что крестьянин должен за одни сапоги отдать целый воз хлеба, а поэтому 85 копеек за пуд ржи кажется ему ценой непомерно низкой. Крестьянину, которого не пришибла крайняя нужда, жалко отдавать хлеб «задурно», так как он высчитывает, что по сравнению с довоенным временем за свой хлеб он получит товаров слишком мало. Кооперация продает товары по одной цене с частником, и последние входят в сделку, перекупают товары у кооперативов. Это повсеместно. Лиц, ставящих таким образом нашу кооперацию под обух, надо сурово наказывать — и тех, кто скупает у кооперации, и тех, кто продает.

№ 19

«СВЯЗЬ ЭКОНОМИКИ И ПСИХИКИ»

З. П. Кржижановской

18 декабря 1925 года, Суджа

Дорогая Зинаида Павловна! Хочу написать Вам кое о чем. Прежде всего о выборах в сельсовет... Представьте себе школьное помещение в 25 кубических сажень, набилось человек 250 и стояли несколько часов вплотную друг к другу, как это бывает в церкви на пасху или рождество. Какой там был воздух? Тщетно президиум взывал, чтобы не курили,— ничего

не помогало. Меня хотели было посадить в президиум, но я отказался, ссылаясь на больное сердце. Мою мотивировку нашли уважительной, но компенсировали отказ тем, что посадили в президиум мою жену.

По участку надо было избрать 18 человек. Кандидатов было намечено 30. Председатель избирательной комиссии объяснил, что каждый избиратель должен поднять свою руку 18 раз. На деле же каждый голосовал за всех кандидатов, воздерживаясь лишь в том случае, когда кандидат являлся для него неприемлемым из-за личной неприязни или когда попадал дискредитировавший себя бывший член сельсовета. Когда дело подошло к избранию ревизионной комиссии, осталось совсем мало народа, и выборы пришлось отложить до ближайшего общего собрания. Конечно, не всякий и здоровый человек сможет выстоять семь часов в атмосфере, где вместо кислорода крепкий дым махорки. Но все же налицо и равнодушие избирателей к выборам.

Хотели выдвинуть в предсельсовета одного крестьянина с нашей улицы. Человек еще молодой, развитый и подходящий по настроению, но он предпочел поступить на службу и за две должности получает 30 рублей в месяц. Председательское жалованье — 25 рублей в месяц, не так уже прельщает. Чтобы быть хорошим председателем, надо отказаться от всякой другой работы, прожить с семьей на 25 рублей — при теперешней дороговизне дело трудное.

Не знаю, сумел ли я достаточно ясно изобразить Вам суть пассивного отношения крестьянства к выборам. В этой пассивности никакого злого протеста, по сути дела, нет, но крестьянину кажется, что он непроизводительно тратит время... Крестьяне ничего не хотят делать «задурно», хотя бы и для самих себя. На предвыборном собрании очень жаловались на разрушение дорог и мостов, а когда представитель УИКа предложил крестьянам своими силами исправить мостики проселочных дорог (а ВИК согласился отпустить лес бесплатно), раздались вопросы: будет ли уплачено за работу? И когда ответ получился отрицательным, — дело нашли безнадежным. Так и говорят: «За-

дурно никто робить не будет»... Я говорю все это для характеристики психологии крестьянства.

Следует ли из этого, что линия нашей партии по оживлению сельсоветов неправильна? Ничуть не бывало! Я на основании своих многолетних наблюдений с полной уверенностью могу сказать, что сельсоветы имеют для крестьянства громадное воспитательное значение. Это своего рода практический крестьянский университет. Самая текучесть состава сельсоветов является большим плюсом в деле общественного воспитания крестьянства. Я могу констатировать, что все предположения о роли сельсоветов оправдались. Этот фактор будет и впредь работать в том же направлении, и если что неверно, то лишь в силу некоторого преувеличения достигнутых результатов, каковое свойственно заинтересованным лицам. В действительности работа движется медленнее, чем это может казаться на основании сведений из печати, но эта работа идет, не останавливаясь ни на мгновение...

Должен отметить, что коммунисты на перевыборах держались великолепно. Абсолютно никакого давления не было — они только помогли. Отношение к выборам сознательное. Непригодным для работы кандидатам был дан отвод. Старались избрать лучших. Всякий раз, когда председатель к имени кандидата прибавлял — комсомолец, а к имени кандидата — комсомолка, поднималось множество рук, голосование было почти единодушным.

Крестьянство перерождается... Политически действует наш советский строй. Конечно, мелкобуржуазная, мещанская психология крестьянства остается и может исчезнуть лишь с коренным изменением экономических основ жизни, но рабская забитость исчезает, вековой косности нанесен сильнейший удар, крестьянство просыпается, начинает искать новых путей жизни. Пока еще лишь очень немногие крестьяне мечтают о госсельхозах, где земледельцы будут играть ту же роль, что и рабочие в промышленности. Большинство стремится устроить свою личную жизнь путем борьбы против всех, то есть путем чисто индивидуальным, а не коллективистским.

Встречаются такие типы, которые действительно способны и «на обухе рожь молотить». Как его ни ки-

дает жизнь, а он все, как кошка, цепко встает на ноги. Такой крестьянин всеми способами выбивается из нищеты, улучшает свое хозяйство. Он подчас будет питаться хуже своей лошади, но накопит денег и купит лучшие орудия труда, лучший скот.

В некоторой мере крестьянин сейчас зависит от самого себя, от мощности мозгового аппарата. Есть у нас на Гончаровке один крохотный мужичонка, к словам которого прислушивались раньше, прислушиваются и теперь. Есть промадный сильный мужище, над которым смеялись с самого детства, продолжают смеяться и теперь, несмотря на то, что он уже сильно поседел. Ему дали прозвище «Кукарек» на том основании, что в его речах мало мысли, что он не говорит, а «кукарекает». Несмотря на воловью силу; он плохой крестьянин и столь же плохой плотник. Хозяйством правит «Кукаречиха» — острая, смышленная баба, а «хозяин» вместо скота. Она вечно жалуется на своего мужа, но в столкновениях его с другими мужиками защищает своим острым языком. Его же единственный аргумент — здоровые кулаки, он не в состоянии защититься от ядовитых насмешек. Приходит в бычью ярость, размахивает громадными кулаками и с налитыми кровью глазами кричит: «Вот дам по морде! Вот дам по морде!» При всеобщем сочувствии и гоготе его противник заявляет:

— А ну! Дай! Мы тебе гуртом так надаем, что и до дому не доползешь! Смолоду дураком был, дураком и остался!

А жена подучивает:

— Ты скажи: «Хоть и дурак, да зато вором никогда не был, а жизнь прожил не хуже других!»

Всеобщий гогот. «Кукарек» скрипит зубами и кричит:

— Молчи, стерва! Убью!

Но противник «Кукарека» уже не смеется. Он задет за живое и наступает на «Кукаречиху».

— Какой я вор! Какой я вор! Докажи!

— И докажу! — кричит пронзительно «Кукаречиха». Потом, обращаясь к мужикам, говорит:

— Послала я к нему на млин (мельницу) Гришку, три пуда жита помолоть... известно, мальчонка глухой, весь в моего дурака вышел!..

— Молчи! Убью! — яростно кричит «Кукарек».

Всеобщий гогот, а «Кукаречиха», как ни в чем не бывало, продолжает:

— Ну, он его на девять фунтов и обвесил.

— Обвесил! Ошибка вышла, не обвесил! А ты не срами, не кричи на улице! Пришла бы ко мне до хаты и сказала, я б тебе добавил.

— У тебя всякий раз ошибка! Как мальчишку пошлешь, так и ошибка. В прошлом году на одиннадцать фунтов обвесил...

— Где у тебя свидетели?! Покажи свидетелей! — заикаясь от волнения и краснея, как свекла, наступают на бабу мельник.

Но «Кукаречиха» все знает и все помнит. Начинается длинный перечень «ошибок» мельника, крестьяне вспоминают собственные недоразумения, и понемногу их охватывает злость против мельника. Последний, еще более заикаясь и еще более краснея, защищается, но оппонентов слишком много, а он уже не знает, как ему вывертываться. На помощь приходит пассивная, бочкообразная мельничиха, она пренебрежительно изрекает:

— Пойдем, Григорий! Что с ними, дураками, горло драть!

Мельник уходит, а «Кукарек» с яростью кричит след:

— Вор, сукин сын! Вор! Вор! Сукин сын!..

Если мы возьмем туземцев, австралийцев, загнанных англичанами в бесплодные пустыни севера, то их родовой коммунизм, их почти абсолютное равенство, равенство хронического голода, вряд ли может нас прельщать. Пойманную змею, пойманного червя австралийцы делят на равные части. Но наш коммунизм есть коммунизм максимального, организованного овладения силами природы в интересах всего трудового человечества.

Люди, вульгарно понимающие коммунизм, требуют с меня признания немедленного и абсолютного экономического равенства на манер дележа червя. По их мнению, все наличное имущество надо поделить

поровну, ввести абсолютно равную оплату трудочаса, установить порядок, обеспечивающий полный продукт труда каждому работнику. Они говорят, что вот это-то и будет «истинным коммунизмом».

Это коммунизм мелкого лавочника, который любит обвешивать и ревниво следит, чтобы его не обвесили на тысячную грамма. Это коммунизм мещанский, узкоиндивидуалистический. Они забывают, что человек получает от общества буквально все; что вне общества он в лучшем случае может сделаться полускотом, полужверем, когда его достижения будут жалки и микроскопически ничтожны... Мещанину непонятно, что если он сделал для общества немножко больше соседа, то это является причиной более полного удовлетворения, причиной более полного счастья. Что всего более чудно, так это то, что они восхищаются героями человечества, сделавшими много для общества, а когда его самого заставляют работать для этого самого общества, он начинает скулить, как обиженный щенок. Подавай ему немедленно идеальный коммунизм.

В субботу был в театре. Ставили «Монастырь святой Магдалины». Пьеса отвратительная и является полнейшим анахронизмом. Зато мне пришлось сидеть рядом с интересной учительницей. Она уже вся седая, но сохранила живую душу. Видно, что страшно любит своих учеников, восхищается ими...

Одиннадцатилетний мальчик хотел сагитировать своего 82-летнего деда и все пытался читать ему новые книжки. Но дед, враждебно настроенный к Советской власти, заявил ему, чтобы он не смел больше приносить книг. Неприязнь старика объяснялась не только косностью, но и потерей собственной земли. Случилось так, что учительница рассказывала о крепостном праве, и мальчик, придя домой, стал пересказывать своим родителям о том, что слышал в школе. Старик прислушивался. Родители решили, что все это брехня. Тогда старик вмешался и сказал, что все так и было, а потом стал спрашивать внука, откуда учительница узнала о крепостном праве. Мальчик ска-

зал, что есть такая книжка, где все описано, и старик потребовал от внука, чтобы тот книжку принес. Теперь дед каждый вечер требует, чтобы внук читал ему, вспоминает сам крепостное право и говорит, что все верно, все было, говорит, что в школе учат хорошему и правильно. Внук сагитировал деда. Таковы пути революции.

А вот еще случай детской агитации. Школа полторы недели не работала по случаю морозов и полного отсутствия топлива. Сначала занимались, но когда начали болеть ученики, то впредь до получения топлива школу решили закрыть. Сама учительница во время спектакля кашляла почти непрерывно. Похоже, что у нее туберкулез. Ученики стали просить, чтобы им позволили собрать в школе родителей и устроить совещание. Сами же они притащили родителей. И вот один двенадцатилетний мальчик сделал доклад о положении школы. Между прочим, он сказал:

— Мы, дети, не хотим быть темными и безграмотными, нам хочется учиться, и мы просим вас, своих родителей, чтобы вы помогли школе топливом, а то мы уже полторы недели пропустили и приходится пропускать еще.

Один из крестьян ответил:

— Вы, деточки, это хорошо придумали, что обратились к нам. Мы вам дадим лошадь, а вы езджайте по селу и собирайте солому со всех, у кого дети учатся.

Теперь школа отапливается собранным учениками топливом. ВИК также принял меры: я видел, как в одну из школ везли четыре воза дубовых хороших дров. Спрашивал возчиков, куда и за какую плату везут, сказали, что в школу, за учеников. Дрова отпущены ВИКом, а родители взялись их доставить. Никакого неудовольствия выражено не было. Один сказал, что это дело необходимое, что они это делают для своих детей, да и учительку жаль.

Моя собеседница рассказывала обо всем очень охотно, с удовольствием. Говорила, что за эти восемь лет крестьянство так изменилось, так ушло вперед, что его узнать трудно... Мы видим, как сильно влияют поучившиеся дети на своих темных родителей. Когда охватим все население школами, то нам уже легче

будет формировать новое общественное мнение, в основу которого должна быть положена и новая мораль.

В буржуазном обществе самое ужасное преступление — бедность и самая величайшая добродетель — богатство. У нас высшей добродетелью должна быть наивысшая производительность труда, и самым позорным явлением жизни должна считаться эксплуатация человека человеком, в каких бы формах эта эксплуатация ни проявлялась.

Понятия об эксплуатации еще достаточно смутны. Взять хотя бы торговлю. Когда человек продает продукты собственного труда, когда торгуют госорганы в интересах государства, когда кооперативы снабжают членов-пайщиков удешевленными товарами, то все эти формы торговли мы должны признать нормальным явлением, лишенным элементов эксплуатации. Но когда торгуют частные лица для получения своекорыстных выгод, то такую торговлю мы должны признать позорнейшим поступком, хотя наши законы пока и разрешают этот вид грабежа. Некоторые склонны считать мелкого торговца полезным членом общества, чуть ли не наравне с рабочим или пахарем. Посмотрите — его «заработок» является плодом 200 — 300-процентных накидок.

Правда, он не может проглотить человека живьем, но все же пьет живую человеческую кровь, хотя и малыми дозами. Да еще ругает от нечего делать Советскую власть, толкуя вкривь и вкось о политике.

Мы уже строим социализм, но в толщах народных масс живут еще старые буржуазные понятия, живет старая буржуазная мораль. Мне пришлось беседовать с одним коммунистом, и он высказал мнение, что миллионы (в золоте) можно нажить и честным трудом.

Я страшно жалею, что у меня нет среднего литературного или поэтического таланта. Тогда я стал бы писать об этике коммуниста, об этике пролетария. У нас есть и талантливые литераторы и талантливые поэты, но они как-то не обращают внимания на необходимость борьбы за коммунистическую мораль; за коммунистическую этику. А между тем путем морального воздействия необходимо воспитывать людей в коммунистическом духе.

...Еще более надежным средством, конечно, является изменение материальных условий. Можно почти с точностью предвидеть, как будет поступать человек в связи с тем или иным изменением материальных условий, можно предвидеть, в каком направлении будет меняться его психология.

Связь между экономическими условиями и психикой указывает на то, что в наших руках имеются могучие воспитательные средства. Для осоветизирования крестьянства немаловажную роль имели всякие проводимые кампании, устная и печатная агитация и пропаганда, но все же главными факторами мы должны признать снижение сельхозналога, и льготы кустарям, и появление приработков, и связи с ростом нашей индустрии. Теперь на очереди борьба за снижение цен на самые необходимейшие для крестьянства фабрикаты.

Передайте мое горячее поздравление Глебу Максимилиановичу с открытием Шатурской станции: Я хоть и не принимал участия в ее постройке, но тем не менее страшно рад.

Вчера присутствовал на литературном кружке в школе II ступени при разборе произведений пролетарских поэтов. Некоторые иллюстраторы декламировали с большим чувством. У одного голос несколько раз срывался, и я думал, что он заплачет от волнения. Видно понимание настоящего, сочувствие к настоящему... Ведь есть же люди, которые умеют так огненно выражать свои мысли?

№ 20

«ГОТОВ ПЛАТИТЬ КРОВЬЮ СВОЕГО СЕРДЦА...»

М. М. Г р о м о в у

19 декабря 1925 года, Суджа

Дорогой Миша! Помнишь ли ты слова рабочей песни: «Купим мы дорогою ценою лучший мир, счастье наших детей»? Думаю, мы еще не уплатили по

счету. Самые ожесточенные бои за мировую коммуну впереди. Но мы можем гордиться тем, что первая позиция завоевана. Это не значит, что мы должны успокоиться, должны опустить руки и распустить слюни, должны превратиться в жалких мещан-шкурников... Я скажу тебе откровенно, что ненавижу и презираю деклассированные, мещанские слои пролетариата.

Ты пишешь о своем раздвоении, о врожденном чувстве ненависти к эксплуатации, откуда бы она ни была. Я пронес свою ненависть к эксплуататорам через тридцать три года сознательной жизни и не стану говорить о том, сколько мне приходилось рисковать своей жизнью,— это в порядке вещей для каждого революционера. У меня ненависть к эксплуататорам не менее сильна, чем у тебя, но раздвоения нет. Те рабочие, которые «горько усмеваются», не железные пролетарии, не строители социализма, а жалкие мещане!

Если рабоче-крестьянское правительство ставит квалифицированных рабочих в лучшее положение по сравнению с крестьянской массой, то оно надеется, что рабочие проявят не только сознательность, они приложат все усилия для укрепления и развития нашей социалистической промышленности, быстреего подъема производительности труда, для того, чтобы дать дешевые фабрикаты деревне, которая для развития этой промышленности несла и несет столько жертв.

Мы стремимся к полной организации нашего производства, стремимся к коммунистическому строю, и этот строй одинаково выгоден как для рабочих, так и для крестьян, выгоден для всех трудящихся. Но он не упадет к нам в рот с неба, как жареный рябчик. Мы должны завоевать его путем упорнейшей борьбы, путем новых, может быть, неисчислимых жертв. Мы — первая страна в мире с диктатурой пролетариата, и нам раскисать и хныкать не приходится... Парижские коммунары продержались всего два месяца. Насколько же мы счастливее их, если дожили... до социалистического строительства, если держим всю экономическую и политическую власть в своих руках?

Самые тяжелые времена прошли. Я помню, когда моя жена, учительница, вместо 120 рублей довоенного времени получала 1 пуд немолотого овса в месяц, а случалось, что и по два, по три месяца и ничего не получала. Я помню, как ежедневно, и в будни и в праздник, работал с 6 утра до 12 ночи, выдалбливая кленовые ложки, и был счастлив, зарабатывая на полфунта черного хлеба. Я помню, как мне приходилось обрабатывать своими руками 300 квадратных сажень земли, как падал на землю вместе с лопатой и, отдышавшись, вновь поднимался, вновь копал, чтобы прокормить пять душ картошкой.

Ты предполагаешь, что я счастлив своим неведением, что я далек от масс? Это совершенно неверно. Я десять лет проработал на заводе в качестве рабочего-революционера, а затем работал в той же среде, но уже в качестве подпольщика. Потом я 19 лет прожил в самой толще крестьянства и теперь продолжаю жить здесь. И я знаю одинаково хорошо как рабочих, так и крестьян. Ни о каком моем отрыве от масс не может быть и речи, точно так же, как не может быть речи и о моем «неведении». Я знаком со всеми язвами, со всеми недостатками действительности и с самого 1917 года вел борьбу с теми явлениями нашей жизни, против которых борются сейчас лучшие силы нашей партии, все лучшие силы пролетариата и крестьянства. Я был в самой гуще революционной борьбы, а при таких условиях невозможно сохранить невинность новорожденного младенца.

Знаю все, дорогой Миша, вижу наши язвы, но в сравнении с нашими достижениями — это мелочи. Никакая борьба невозможна без жертв, и я всегда готов платить кровью своего сердца за каждый миллиметр нашего продвижения вперед. Когда-нибудь в истории человечества будет сказано: «Мировую коммунистическую революцию произвели трудовые массы рабочих и крестьян». Это меня вполне удовлетворяет и наполняет гордой радостью, так как я органически неразрывно связан с этими массами.

К коммунистической революции я отношусь гораздо более трезво, чем это тебе кажется. Нельзя, доро-

гой Миша, требовать от людей мгновенного перерождения, а восемь лет диктатуры пролетариата — только историческое мгновение. Нам пришлось строить дело революции из того материала, который имелся в нашем распоряжении. Мы не могли ждать момента, когда человечество достигнет «самосовершенства», это было бы на радость капиталистам. Мы никогда бы ничего не дождались.

Если есть в Сормове среди беспартийных честные и смелые люди, которым дорого дело пролетариата, дело мировой коммуны, то их задача заключается не в том, чтобы стоять в сторонке и наводить критику, а в том, чтобы самим со всей энергией и активностью влезать в самую гущу работы, вступать в партию и внутри ее бороться с лжекоммунистами, активно помогать ЦК нашей партии. Пусть все сильное, честное и смелое в рабочей среде идет в нашу партию и приложит свои усилия для выпрямления нашего строительства. Черт возьми! Разве не наши идеи воплощаются в жизнь, чтобы нам сидеть сложа руки?!

Итак, долой все «горькие» и «кислые» улыбки и да здравствует сознательно-пролетарская борьба за мировой коммунизм! Шлю тебе и твоей семье сердечный привет. Твой старый друг и товарищ...

№ 21

«КАК ДВИЖЕНИЕ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ»

З. П. Кржижановской

26 ноября 1926 года, Суджа

Конечно, я не ученый и не могу разбираться в тонкостях марксизма, и, может быть, поэтому вопрос о строительстве социализма в одной стране не является для меня вопросом, как не является вопросом факт моего собственного существования.

...По моему мнению, мы строим его не в одной стране, а в мировом масштабе. Каждый наш шаг,

каждое наше достижение становится достоянием трудящихся всего мира. В своей стране мы строим социализм экономически, и это построение так же реально, как движение часовой стрелки в заведенных часах. Самого движения стрелки мы не видим, но пройденный ею путь с очевидностью ясен. В мировом масштабе мы строим социализм психологически, и это строительство не менее реально. Недаром же нашу революцию защищают рабочие всего мира...

Почему у нас у первых произошла социалистическая революция? На этот вопрос я отвечаю себе: это произошло благодаря тому, что мы более всего были подготовлены к революции, что в рядах нашего рабочего класса создалась достаточная прослойка рабочих-революционеров, сыгравших роль приводного ремня от пролетарски мыслящей (а значит, марксистски мыслящей), интеллигенции к широким массам пролетариата, а через него и крестьянства. Без помощи крестьянства мы победить не могли, и мы, рабочие, знали об этом десятки лет назад.

...Мне совершенно непонятна боязнь крестьянства. Владимир Ильич сказал, что 10—20 лет правильных отношений между пролетариатом и крестьянством приведут к социализму. Вернее этого никто не мог бы сказать. Вся суть именно в правильных отношениях... И вот теперь нам говорят, что мы рассоримся с крестьянством... Оппозиционеры могут указать на то, что крестьянство против диктатуры пролетариата восставало. Я считаю, что это неверно. Крестьянство восставало не против диктатуры пролетариата, а против методов военного коммунизма, против отобрабления излишков сельских продуктов. Продразверстка — вот то орудие, с помощью которого пролетариат оттолкнул от себя часть крестьянства в объятия буржуазии...

Сельское хозяйство без излишков не может не только развиваться, но и существовать. Отсутствие излишков обрекает крестьян на голод, на смерть... Если бы вовремя не был введен продналог, то нам пришлось бы пережить гораздо более грозную Вандею, чем мы имели...

Надо сказать, что крестьяне всего сильнее возмущались тем, что при продразверстке были сильные злоупотребления, и если бы они видели, что все взятое у них целиком до последнего зерна идет для нужд Красной Армии и государства, то они возмущались бы гораздо меньше. Белые никакой продразверстки не вводили, а брали все, что хотели... Деникинцы говорили, что они — за народ, но били крестьян шомполами, грабили их, расстреливали, насиловали женщин, отнимали землю, которую дали большевики. Они как бы вели агитацию действием за большевиков, сами говорили своими поступками: «Смотрите, сравнивайте и выбирайте».

И крестьянство сделало свой выбор в самый трудный момент для Советской власти. С тех пор много воды утекло, и ВКП(б) все более, все глубже ведет линию правильного отношения с крестьянством.

Методы военного коммунизма были единственными способными отстоять Соввласть от внешнего и внутреннего врага. Можно ли, однако, было говорить о правильных отношениях с крестьянством? До очевидности ясно: говорить так было нельзя...

С введением нэпа крестьянство ожило, так как постепенно начали появляться и удешевляться товары. Бесконечное ворчание продолжалось, но уже более в силу привычки, ворчание для порядка. Может быть, в вопросе о нэпе у меня есть уклон, но я считаю введение нэпа величайшим ударом по империализму, нашей крупнейшей победой. Всякий наш хозяйственный рост, всякое укрепление смычки пролетариата с трудовым крестьянством есть наступление на власть мирового капитализма. Мне непонятно, как можно бояться внутреннего капитала, когда он в наморднике и работает для социалистического накопления? Все командные высоты в руках пролетариата. Представьте себе, что американские миллиардеры стали бы пугаться рабочей кооперации! Ведь она у них в кармане. Так вот и частный капиталист со всеми потрохами у нас в кармане.

Кулак? — это дело серьезное. Но при правильных отношениях пролетариата с крестьянством его роль будет снижаться. Очень, очень надо быть осторожным с тракторами. По моему мнению, тракторов

заведомым кулакам давать в единоличную собственность не следует, так как это в громадной степени кулака усиливает, подчиняя его влиянию всех нуждающихся в тракторе, а следовательно, и бедняка, а следовательно, и середняка. У кого в руках более совершенные орудия производства, тот и командует. Это ясно.

Вы, наверное, знаете, что такое трактор для деревни, но я все же, рискуя вам наскучить, расскажу коротенько про дарьинский трактор. В Дарьине образовалась артель, которая вышла на хутор и получила трактор. К трактору было отношение весьма недоверчивое... И вот пронесся слух, что трактор едет. Народ высыпал на улицу. Секретарь комсомола с трактористом, местным крестьянином, приурочили въезд трактора к празднику. Трактор пронесся по деревне с красным флагом. Это произвело впечатление. Но сейчас же скептики заговорили, что на кобыле вспашешь лучше.

Трактор выехал в поле и сразу завоевал симпатии даже стариков. Тракторист объяснял, что с машиной надо обращаться осторожно, и один старик так это восчувствовал, что отпихнул сапогом слишком назойливого малыша. «Куда лезешь! Ен матушка для трудящегося, с ним надо осторожно. Ито поломаешь!» Когда трактор, показав свою работу на земле, насажал на громадные драги малую детвору, то все крестьянки пришли в умиление... Трактор пахал, трактор косил, трактор молотил...

Понятно, что у кулаков слюнки потекли. Я встретил на базаре одного хозяйственного мужичка, который все жаловался на бедность, а потом стал меня спрашивать, нельзя ли приобрести трактор. Я ему сказал, что надо организовать машинное товарищество или сельхозколлектив, и тогда можно.

— Я бы хотел купить один...

— Хотите бедноту эксплуатировать?

Замаялся, замолчал.

Машина в сельском хозяйстве нам друг, проводник социализма, но, повторяю, не надо давать ее в руки кулака. Где крестьянство вообще более крепкое, многоземельное, там могут быть и исключения, но в малоземельных обществах дать трактор кулаку — это значит увеличить его эксплуататорские ресурсы.

...Можно ли построить социализм в одной стране? Да ведь мы его уже девять лет строим! Поживите с годок в любой деревне, на любом заводе, и вы увидите, какая перемена произошла там по сравнению с дооктябрьскими временами. Мы-то это замечаем...

Каждый новый год, прожитый нашей страной, делает нас сильнее, делает союз пролетариата с крестьянством крепче, так как последнее на практике видит, что пролетариат употребляет свою гегемонию не для разорения и угнетения крестьянства, а для поднятия его экономической мощи, для перевода сельского хозяйства на социалистические рельсы, что приносит крестьянству неизмеримые выгоды. Ясно, что мы не сразу к этому перескочим; а будем идти постепенно, медленно, но дело от этого не меняется. Ожидать, когда все капиталистические страны будут одновременно готовы к социалистической революции, равносильно ожиданию царства небесного. Это было бы на руку капиталистам. Бывало, на заводе, когда просвистит свисток, всегда кто-нибудь первый ударит молотком, и потом уже идет непрерывный стук. А ведь земля-то немного побольше отдельного завода, и ждать, что все страны ударят на капитал враз, пришлось бы до бесконечности.

...Все, о чем я пишу, вы знаете в сто раз лучше меня, но не в этом дело. Пишу я потому, что для вас может представлять известный интерес отношение к действительности со стороны старого рабочего.

Теперь лично о себе. Со вступлением в партию в качестве официального коммуниста моя жизнь стала, несомненно, богаче, и плохо только одно, что я не могу вести никакой планомерной работы из-за болезни...

Часто меня охватывает мучительный стыд, что я не могу работать так, как работает молодежь. Куда-то моя энергия исчезла безвозвратно. Всякий раз, как я что-нибудь пишу, передо мной лежит портрет одного из лучших ленинцев — тов. Дзержинского. Какое у него прекрасное и в то же время скорбное лицо! Он мне напоминает Глеба Максимилиановича. Есть

что-то общее, но я не могу определить, что... Мой сердечный привет автору «Варшавянки» — это настоящая пролетарская песня.

№ 22

«СМЕХА ВРАГОВ НЕ ПУГАЙСЯ»

Я. С. Пятибратову

13 сентября 1927 года, Суджа

...Нас, партийцев, 72 человека на волость с 60-тысячным крестьянским населением. Нас засыпают приказами, циркулярами, но реальная наша сила от этого нисколько не увеличивается.

Ерема тянет увязший воз из грязи, а Пантюха да Фома стоят на сухом и кричат: «Поддай ишшо! Ты пузом, пузом-то упирайся!» Приедет человек и наговорит столько, что чувствуешь себя даже не первобытной мотыгой, а палкой по сравнению со стосильным гусеничным трактором. Поговорит и уедет. А реальной силы у нас не прибавляется ни на грош. Быть может, приятней вести борьбу за крестьянство, сидя в одном из крупных центров на высоком окладе, но вряд ли от этого реальные достижения будут высокими. Ты знаешь, как едут на работу в деревню? Поселяются в губернском городе, наезжают и повторяют то, что сказано в Москве, а потом с чувством выполненного дела уезжают обратно.

Нет, ты поселись всерьез и надолго в самой деревне, организуй там бедноту, пробей заскорузлую кору мелкобуржуазного эгоизма, создай ячейку настоящих коммунистов, настоящих комсомольцев, а потом учи других уже на основании собственного опыта. Почему не сделано то-то и то-то? Почему нет достижений там-то и там-то? Тот не коммунист, кто не может выполнить того-то и того-то! Одним словом: «Пузом, пузом-то напирай, Ерема!» А у Еремы и пуза-то никакого нет! Если не безграмотный, то малограмотный политически да загружен работой по добыванию куска хлеба для своей семьи.

...Последнее свое письмо я писал тебе применительно к той работе, которую ты выполнял. Мне казалось, что эта работа как раз по тебе, что ты не будешь распускать слюни, а будешь беспощадно карать. Вот поехал представитель нашей Гончаровской кооперации в Москву, в разные тресты за галошами.

— Нет, говорят, галош. Есть вот только пять пар номер 14-й, придите завтра.

Назавтра говорят, что имеется только три пары номер 14-й. Вышел человек из резинонтрестовского магазина, а к нему подлетают двое:

— Вам для кооперации?

— Нет, для частного.

— Пожалуйста на квартиру.

Пошел на квартиру, и через полчаса ему натаскали 250 пар галош всяких размеров из того же магазина резинонтреста. Таскало 15 человек. Галоши тут же упаковали, он заплатил деньги по 40 копеек за пару и сдал груз на вокзал. Потом пошел в управление резинонтреста, стал требовать разъяснений, стал возмущаться такими порядками. Ему сказали только одно слово: «Докажите...»

Ленин говорил, что строительство коммунизма есть дело широких трудовых масс, что каждая кухарка должна научиться управлять государством. Это все не фразы, а основные вопросы строительства социализма. Я никогда не отрицал, что мы должны учиться, и ты знаешь, что я делаю все от меня зависящее, чтобы мои дети были образованными коммунистами. Но нам приходится строить социализм с тем человеческим материалом, который в данный момент имеется, а поэтому я и говорю о дерзости, о крайней степени упорства и решительности в выполнении задач строительства социализма.

Мы боремся за бесклассовое общество, но пока наша задача заключается в том, чтобы всюду, где это возможно, посадить настоящих пролетариев, если таковые в состоянии справиться с данным делом. Ты будешь учиться в процессе работы, это твоя прямая обязанность... Смеха врагов не пугайся. Они много, очень много смеялись над нашими неудачами и теперь лопаются со злости от наших успехов.

Еще два слова о кооперации. Ленин поставил ее во главу угла, и мы все, коммунисты, ставим ее во главу угла. Но у нас на местах подход к ней дилетантский. Мы хотим привлечь население в кооперацию идеями, правда, хорошими идеями, хорошей агитацией, но мы поступаем, как институтка, которая, указывая на ползущую по стене муху, спрашивает: «Это корова?»

Сначала материальная, реальная заинтересованность и уже плюс к ней агитация, культурная работа. Пайщик должен иметь не проблематические, а явные, осязательные, в глаза бьющие преимущества, и тогда мы перестанем топтаться на одном месте, перестанем плодить частников. В правлении у нас сидят коммунисты — хорошие ребята, и злоупотреблений нет. Здесь виноваты уже объективные причины в недостатке товаров — и действительные и дутые, как в случае с резинокостром. Частники взяток давать не стесняются, а поэтому у них всегда есть редкий, но необходимый товар, вроде тех же галош. А низовая кооперация поставлена в трудное положение. Плати 10—12 процентов за кредит, плати налоги, снижай цены, а ходовой товар попадет из госпредприятий в руки частника, и последний посмеивается да радуется.

Потребителю — хороший товар за дешевую цену — таков лозунг конкурирующих капиталистов, и от этого лозунга не можем отказаться и мы, если хотим быстрее двигаться вперед к социализму.

№ 23

«В БОЮ Я ЗАГОРОЖУ ЕГО СВОЕЙ ГРУДЬЮ»

Студентке М-вой

15 февраля 1928 года, Суджа

Уважаемый товарищ М-ва! Очень рад, что мое письмо Вам пригодилось. Против использования его для Вашей статьи я, конечно, ничего не имею, хотя и

не согласен с Вашей оценкой Горького как *буржуазного писателя*.

У меня не было ни времени, ни возможности, ни достаточных знаний и даже не было и охоты, чтобы заниматься изучением художественной литературы, но все же у меня составилось мнение о Горьком как о писателе и человеке, симпатии которого на стороне пролетариата, и мы, рабочие, имевшие с ним какое-либо дело, считаем его своим. Это вовсе не одно мое личное мнение.

Я совершенно незнаком с научными методами и правилами классификации писателей, и мне не так важно, о ком данный писатель пишет, а важно, *как он пишет*. Да, Горький много изображал буржуазию и мещан, но как изображал? Он их бичует, презирает. Я знаком лишь с отдельными произведениями Горького, но ни в коем случае не могу согласиться, что он является *выразителем* мыслей и чувств мещанства. Если бы вы сказали *изобразителем*, тогда другое дело. Ведь выразителем мыслей и чувств того или иного класса может быть лишь тот, в ком эти чувства и мысли выкристаллизировались в превосходнейшей степени.

Я читал пьесу «Мещане». Эта пьеса для мещанства *убийственна*. Нет. Совсем не так будет писать мещанин о мещанах, он будет их идеализировать. Американская буржуазия приходила в восторг от Джона Рида до тех пор, пока не поняла, что он является ее смертельным врагом.

Мещане, по понятиям Горького, есть самое гнусное и мерзкое явление. Недаром Горький изображает мещанство в «Песне о Соколе» в виде Ужа, которому нужно лишь одно, *чтобы было тепло и сыро*, который смеется *над полетами в небо*, который не понимает пламенного боевого энтузиазма Сокола — пролетариата, единственного до конца революционного класса. И разве не тот же пролетариат изображен в виде Буревестника, который смеется над бурей, который весь — нетерпеливо-страстное, напряженнейшее ожидание бури?

Тридцать шесть лет назад, когда я начал работать на заводе Курбатова в Нижнем Новгороде, когда

вместе с другими товарищами призывал молодых рабочих в подпольную марксистскую организацию для непримиримой борьбы — на жизнь и на смерть — с мировым капитализмом, рабские-мещане, — а таких было немало, — говорили со злобой и ненавистью: «Политики проклятые! Вешать всех вас надо!»

Горький при первой встрече (в Куоккале в 1905 году. — А. Н.) обнял меня и крепко поцеловал. Потом немного отошел, посмотрел и сказал: «Так вот вы какой!» Я сказал ему, что ничего лучшего, чем «Песня о Соколе», он никогда не напишет и что в бою я загорожу его своей грудью. На это он ответил: «Я тоже загорожу вас своей грудью в бою».

Он, так же как и я, ждал революции, ждал вооруженного восстания.

Так разве же это Уж? Разве это выразитель личного благополучия? Разве это квинтэссенция мещанства?

Самый мощный, самый пламенный, самый гениальный выразитель мыслей и чувств пролетариата, *душа пролетариата* — это Ленин. Но если Горький мало знал рабочих и мало о них писал, то это вовсе не основание для того, чтобы включить его в цикл *выразителей* мыслей и чувств мещанства.

Он — наш!

№ 24

«АВТОРИТЕТ КОЛХОЗА ВОЗРАСТАЕТ»

З. П. К р ж и ж а н о в с к о й

17 июля 1930 года, Суджа

Дорогая Зинаида Павловна!.. Нисколько не кривя душой, могу сказать, что вашу и Глеба Максимилиановича рекомендации я оправдаю...

Когда началась кампания по коллективизации, я очень быстро расклеился, стало беспрерывно, и день ночь, болеть сердце, возобновились головные боли. Но я все же не пропускал ни одного из бесконечных

собраний и заседаний и не считался ни с чем. Особенно трудно бывало вставать с постели, когда в голове «зубная боль» и вольный свет не мил, но я поднимался, потому что видел необходимость своего присутствия. Один уполномоченный райкома, человек с высшим образованием, неоднократно говорил мне, что уже одно мое присутствие придает ему бодрость и уверенность...

Кулаков боятся не только бедняки и середняки, но нередко и партийцы стараются смазывать вопросы, боясь резко и определенно выступить против кулаков из опасения мести. В таких случаях мои несколько слов делали картину ясней и определенной. Например, на Гончаровке, где я живу, когда вопрос о раскулачивании и ликвидации кулачества как класса был вынесен на окончательное решение многолюдного схода, то два уполномоченных райкома немножко струхнули и начали «резину жевать». А я как раз очень люблю, когда крестьяне «распоясываются» и выкладывают все, что у них накипело, и очень не люблю, когда они молчат и покорно со всем соглашались...

Нашлись бедняки и середняки, которые стали защищать кулаков, и один из уполномоченных попросту начал грозить, что если бедняки и середняки будут защищать кулаков, будут выступать против коллективизации, то им будет то же, что и кулакам. Сразу же восстановился «порядок», все позакрывали рты. Я потребовал слова и указал собранию, что Советская власть и партия будут беспощадно бороться с кулаками до полной ликвидации кулачества как класса, но что они никогда не пойдут против бедняков и середняков. Я указал, что Советская власть и партия будут разъяснять им пользу и необходимость коллективизации, а не карать их за непонимание, не тащить насильно в колхозы. После этого опять много говорили и активно голосовали против каждого кулака персонально, а потом против всех вместе.

Моя повседневная задача заключается в том, что я каждого встречного и поперечного убеждаю в необходимости коллективизации.

В нашем гончаровском колхозе 350—370 дворов. Точно трудно определить, так как одни входят, дру-

гие выходят. Лошадей у колхоза 66, настоящих пахарей человек 25—30. Колхоз засеял 421 десятину яровых, 30 десятин сахарной свеклы, которая на Гончаровке сеется в первый раз, и сейчас три трактора с сахарного завода поднимают 200 десятин пара для озимого посева. У единоличников 140 лошадей и 120 настоящих пахарей, но они отстали в севе, свеклы у них всего 3—4 десятины и будут недосевы, чего у колхоза нет. Общий труд уже начинает оказывать свое воспитательное влияние, и у колхозников гораздо больше сплоченности, чем у единоличников. Мы стараемся убедить единоличников, чтобы они наняли тракторы для поднятия пара, а при уборке урожая после обмолота хлебов колхоза думаем с помощью своей сложной молотилки обмолотить хлеб и единоличникам. Несомненно, что многие на это пойдут, несомненно и то, что авторитет колхоза возрастет.

На днях было общее собрание районного кредитного товарищества, на котором я присутствовал в качестве уполномоченного от гончаровского колхоза «Красный Октябрь». Встретил там Пономаренко, бывшего члена ревкома. Я говорил с ним как с колхозником, а он все краснел. Потом один колхозник с насмешкой сказал, что гражданин Пономаренко не колхозник, а единоличник, что он спрятался за бабу, что баба ему не велит идти в колхоз. Пономаренко долго оправдывался, а когда начался доклад, то сел рядом и все старался передо мной оправдаться (жена не идет, а он с ней разводиться не хочет и т. д.). Шепчет и шепчет на ухо.

А когда съезд кончился, то он долго шел за мной и все оправдывался, говорил, что его не записали, одним словом, приводил всякие доводы. Человеку уже лет 50. Крепкий, большой мужик с седыми усами, похожий на Тараса Бульбу. Он когда-то в числе трех явился на земское собрание и объявил, что такое по приказу Суджанского революционного комитета упраздняется. Земцы заартачились, не хотят расколоться и потребовали мандат. И все «бывшие» бросились вон из зала, как от пулемета. Теперь этот человек меня стыдится. Думаю послать ему письмо.

«...ОН САМ ЖИВАЯ «ВАРШАВЯНКА»!

Я. С. П я т и б р а т о в у

19 января 1931 года, Суджа

Дорогой Яша! Завел я себе радиоприемник и наслаждаюсь, слушаю доклады. Слушал доклад Калинина о перевыборах Советов, слушал Глеба Максимилиановича Кржижановского. Очень мне понравилось, что в своем докладе он скромно умолчал о себе.

Глеба Максимилиановича я люблю. И вовсе не за то, что он один из тех, кто дал мне свое поручительство для вступления в ВКП(б), а за то, что он написал «Варшавянку», за то, что он энтузиаст, за то, что *он сам живая «Варшавянка»!*

Когда я узнал, что автором «Варшавянки» является он, то я расцеловал его, и хотя он немного сопротивлялся, но принял это с удовольствием.

«ПОСТАВИЛИ ТОЧКИ НАД ВСЕМИ «И»

Я. С. П я т и б р а т о в у

19 января 1931 года, Суджа

Добрый день, Яша! С большим удовольствием прочитал твое письмо, прочитал о том, что ты много работаешь для социалистического строительства. Конечно, трудно. Конечно, все партийцы перегружены. Но другого выхода нет и не может быть. У меня в настоящее время особенно плохо с сердцем, и вчера вечером я свалился в постель и думал, что не в состоянии буду встать. Но вот позвонили, позвали на организационное собрание нового сельсовета, и сразу же поднялся. На фракции помог уломать кандидата в председатели, который отказывался, ссылаясь на свою малограмотность; помог убедить членов сельсовета, что рекомендуемый ячейкой и фракцией кандидат действительно является наилучшим. Мы сделали все самым целесообразным способом, поставили точки над всеми «и»..

Получается так, что если усилиями воли я могу перебороть свою физическую слабость, то никак уж не удержусь, чтобы не принимать участия в жесточайшей драке за коллективизацию, в жесточайшей драке за социализм...

Пять дней пробыл на районном съезде Советов, который прошел с небывалым подъемом. Почти все делегаты съезда, не состоящие в колхозе, заявили перед съездом о своем желании пойти в колхозы. Устроили мы соревнование не только по расширению и укреплению колхозов, но и по добавочной подписке на пятилетку в четыре года. По докладу заведующего нашего финоргана я немного поговорил о неразрывной связи успехов социалистического строительства в городе и деревне с мобилизацией средств населения; заявил, что подписался на пятилетку на 355 рублей и подписываюсь еще на 100 рублей. В президиум стали поступать записки о принятии вызовов и о новых вызовах. Эти записки зачитывались время от времени под дружные аплодисменты всего съезда, на котором было около 400 делегатов. То же было и с заявлениями о вступлении в колхоз.

Мы не обманываем самих себя, не рассчитываем на самотек и твердо знаем, что каждый шаг продвижения к сплошной коллективизации возможно завоевать только упорнейшей, неослабной борьбой за эту коллективизацию, борьбой с кулаками и с кулацкими настроениями, борьбой с правым и левым уклонами, борьбой с примиренчеством к ним. Я решил заняться индивидуальной работой среди крестьян, сосредоточив все свои усилия на слободе Гончарной, где живу, где состою членом правления колхоза «Красный Октябрь».

Принялся за самых влиятельных людей, но в то же время и за самых упорнейших. Ходил и хожу по дворам с утра до вечера и разъясняю самую суть нашего социалистического строительства, самую суть генеральной линии партии. Общими, дружными усилиями местных партийцев и актива удалось сломить сопротивление главных коноводов, удалось вовлечь их в колхоз.

Работа по раскулачиванию была сорвана, так как многих раскулаченных восстановили и даже вернули

из высылки. Кулаки воспрянули духом, усилили свою агитацию, а коммунисты растерялись, оторопели оттого, что их начали бить сверху, и в результате начался «самотек» из колхоза. Перегибы были, но далеко не везде. По перегибам надо было ударить и ударить крепко, но места, как и всегда, перестарались и выплеснули с водой ребенка.

№ 27

«НАША БОРЬБА БЫЛА И ОСТАЛАСЬ НЕПРИМИРИМОЙ»

Ученикам Большесолдатской
школы крестьянской молодежи

27 февраля 1931 года, Суджа

Дорогие товарищи! Ваше письмо, напитанное ненавистью к классовым врагам, к угнетателям рабочего класса и всего трудового крестьянства, напитанное боевым революционным духом и героической готовностью до конца бороться за дело Октября, наполнило мое старое сердце большой радостью.

Прежде всего отвечаю на ваши вопросы. Произведение Горького не является простым пересказом моей жизни и жизни моей матери, и Горький взял две эти жизни лишь как канву для своего художественного произведения. Действительная жизнь была гораздо более сурова и менее красочна, блестяща. Мы, старые большевики, были опасными противниками самодержавия и капиталистического строя; наша ненависть достигла своего предела, она не могла остынуть, притупиться, а отсюда и наша борьба была и осталась непримиримой. Поэтому, естественно, я не мог оставаться в Восточной Сибири до Октябрьской революции, не мог примириться с пожизненной ссылкой и лишением всех прав состояния. Я сам вернул себе свободу, сам взял себе право бороться с самодержавием. Я бежал из ссылки, оставив там жену и трехмесячную дочку, которая теперь коммунистка, рабо-

тает на автозаводе в Нижнем Новгороде и, так же как вы, бьется за дело Октября.

Я бежал в начале марта 1905 года в Петербург к своим товарищам-большевикам. Там работал организатором на нескольких заводах, потом переехал в Москву, где меня назначили организатором боевых дружин в Замоскворечье, потом поручили изготавливать оболочки для бомб. Я участвовал в баррикадных боях на Пресне. После подавления вооруженного восстания меня назначили организатором боевых дружин Пресненского и Рогожско-Симоновского районов. Так я проработал, живя под чужим именем, до половины 1906 года.

Тюрьмами, голодовками, жестокими побоями и цингой, а также непрерывной напряженной революционной работой мое здоровье было подорвано, усилилось кровохарканье, появились кровоизлияния, и я принужден был оставить революционную работу. Я легализировался в ноябре 1906 года на основании манифеста 17 октября 1905 года и уехал в г. Суджу, где моя жена получила место учительницы в гимназии. Лишение всех прав состояния было мне заменено лишением всех особых прав и преимуществ, мне было запрещено выезжать из Суджи, было запрещено служить, заниматься торговлей и т. д. За каждым моим шагом следили сыщики и жандармы. Из-за непрерывной слежки моя работа не могла быть продуктивной, то есть такой, как я бы хотел.

После Февральской революции я был делегирован от рабочих в Суджанский временно-исполнительный революционный комитет. Там я повыкидывал из исполкома помещиков и кулаков, заменив их крестьянами, а после Октябрьской революции внес в Суджанский ревком письменный проект об организации «Суджанского уездного совета народных комиссаров». Мой проект был принят, а я сам на уездном съезде рабочих и крестьянских депутатов был избран комиссаром труда. Во время эвакуации советской власти из Суджи на ст. Готня я оставался в г. Судже, и белогвардейцы во главе с офицером Шкодным хотели меня повесить, о чем давали телефонограмму в г. Рыльск. Но сделать этого им не удалось. Перед самым приходом немцев я бежал, вернулся в

Суджу в сентябре. Но на меня донесли, я был схвачен гайдамаками, подвергался побоям, и меня союз хлеборобов, состоявший из помещиков и кулаков, приговорил к расстрелу. Ввиду начавшейся революции в Германии и ухода германских солдат приговор не был приведен в исполнение, и меня выпустили из тюрьмы.

Деникинцы судили меня военно-полевым судом как организатора Советской власти в Суджанском уезде и хотели повесить, но наша Красная Армия так быстро начала гнать белых, что они забыли про всех пленных комиссаров, и им впору было только спасать свою шкуру. Я остался жив, но деникинцы тоже меня не щадили и выпустили из своих рук полным инвалидом.

Я все же использую остаток своих сил,— меня избрали членом президиума районной контрольной комиссии ВКП(б), а потом я являюсь членом правления гончаровского колхоза «Красный Октябрь», бьюсь за организационно-хозяйственное укрепление колхоза, за выполнение хлебозаготовок на 100 процентов и готов отдать свою жизнь за каждый лишний центнер хлеба, который так необходим государству для строительства социализма.

Моя мать жива, ей 82 года, и она живет в рабочем поселке завода «Красная Этна» в Нижнем Новгороде. Она безбожница, она, как и вы, борется за дело Октября. Это она помогала нам в нашей революционной работе, это она возила прокламации из Нижнего Новгорода в Иваново-Вознесенск, когда там была стачка, это она привезла в Сормово красные знамена в ведрах, прикрыв их кислой капустой.

Когда везла прокламации в Иваново-Вознесенск, то в поезде нарочно села рядом с жандармами и всю дорогу вела с ними разговоры; когда везла знамена в Сормово, то также разыскала в поезде жандарма, ехала в нем рядом, втерла ему очки, и ее не обыскали. В 1905 году она приехала ко мне в Москву и не побоялась жить с организатором боевых дружин, которому грозило повешение, не дрожала от того, что ей самой грозила смерть как соучастнице, и сумела обставить мою семейную жизнь так, что ни у кого не возникало ни малейших подозрений. Почти каждый год она ко мне приезжает на месяц или на полтора, вспо-

минает старое, радуется тому, как удачно оставляла в дураках жандармов, а то всхлипнет, когда вспомнит, что мне грозила смерть во время тюремной голодовки, когда я отказался не только от пищи, но и от воды. Она бегала в тюремную больницу, куда меня увезли из тюрьмы; и ей тюремный доктор сказал, что если бы привезли на полчаса позднее, то спасти жизнь было бы уже невозможно. Она еще бодрa, и здоровье у нее лучше, чем у меня.

Вот я ответил на все ваши вопросы, дорогие товарищи, и хочу сказать вам несколько слов.

Таких, как я, миллионы, но все мы были ничтожными и жалкими рабами, пока не познакомились с учением величайших вождей пролетариата — Маркса, Энгельса, Ленина. Только их учение налило наши мускулы сталью, только их учение превратило нас в непримиримых бойцов за генеральную линию партии. Они умерли, но их дело живет...

Мы с вами, товарищи, должны еще больше усилить темпы строительства социализма, а для этого необходимо, чтобы все трудовое крестьянство в целом сознательно переключилось на усиление этих темпов, и тогда мы будем двигаться к социализму со сказочной быстротой.

Я ответил на ваши вопросы, дорогие товарищи. Теперь я спрашиваю вас: что сделали и что делаете вы для социалистического строительства и скорейшей победы дела Октября? Ответьте мне на все это через газету «Колхоз» (Суджанскую районную.— А. Н.).

Шлю вам горячий коммунистический привет, дорогие товарищи.

№ 28

«И Я ДАЮ СВОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО...»

Я. С. Пятибратову

[Весна 1931 года, Суджа]

...Первым сильнейшим ударом по коллективизации была контрактация скота. Цена за контрактованную откормленную свинью была предложена в 10 рублей

за пуд, тогда как на рынке цены были в несколько раз выше. Последнее и явилось решающим моментом, который вызвал массовую резню скота. Кулаки, конечно, агитировали всюю. А мы пошли дальше и стали проводить обобществление всего продуктивного скота, стали брать на учет кур... Колхозы распались в начале апреля, когда цены были хотя и ниже, но все же чрезмерно высокие, спекулятивные.

Наши же собственные ошибки толкнули массы в объятия кулачества, и сами мы очутились в положении кулаков, то есть на нас обрушилась вся ненависть крестьянства, как на виновников уничтожения скота и птицы, как на виновников подрыва крестьянского благосостояния. Плата за номер «Правды» со статьей Сталина дошла до трех рублей. Соседний колхоз в 1 000 с лишним дворов на громадном сходе проголосовал за закрытие колхоза, и последний перестал существовать. Понятно, что наш колхоз затрещал по всем швам. Собрался такой сход, что его возможно было проводить только на улице.

Колхозники пришли с твердым намерением сорвать колхоз и яростно требовали от президиума, куда прошли наши, чтобы последний поставил на голосование вопрос о закрытии колхоза. Несмотря ни на что, несмотря на угрозы, мы не уступили и предложили не желающим оставаться в колхозе подать заявления в трехдневный срок. Поднялся несмолкающий рев, нас силой хотели заставить удовлетворить требование схода, но мы выдержали большевистскую марку.

Первые два дня поступило около 8 заявлений, большинство заявлений о выходе из колхоза начиналось так: «На основании письма тов. Сталина и постановления ЦК партии прошу возвратить мне живой и мертвый инвентарь и не считать меня и мою семью членами колхоза» и т. д. Вышло из колхоза 360 хозяйств, осталось 408, затем количество колхозников постепенно стало уменьшаться и окончательно закрепилось на 292 хозяйствах, прошедших все трудности и являющихся теперь действительно прочной опорой Советской власти.

...Кулаки над нами издевались, кулаки грозили... Один раз меня поздней ночью взяли в кольцо в деся-

ти саженьях от дома, другой раз словили на мосту, но оба раза я сунул руки в карманы, и меня выпустили, напугавшись огнестрельного оружия, которого у меня не было. Обычно вслед мне неслась матерная брань за мои резкие выступления против кулачества.

Всю работу пришлось начинать нам почти сызнова. Теперь я могу сказать, что на том крохотном участке, где я работаю, победа коллективизации обеспечена.

Колхоз перенес тяжкие испытания и уже одержал моральную победу. Теперь наши колхозники высоко держат свою голову, и их вера в преимущества коллективного хозяйства еще более окрепла в связи с организуемой в Суджанском районе МТС. Мы уже послали двадцать человек на тракторные курсы и трех на курсы полеводов. Один из лучших колхозников уже принят ячейкой в кандидаты партии, и я даю свое поручительство еще за четырех человек...

Жозефина Эдуардовна шлет тебе привет. Она принята нашей ячейкой в ВКП(б). Ни одного свободного вечера у нее не бывает, да и я очень редко имею такой вечер — или в колхозе, или в сельсовете, или на совещании, или на партсобрании. Жизнь очень интересна и напряженна, и я недоволен только одним, что мало сил развернуться, как бы хотелось.

№ 29

«ДИСЦИПЛИНА В КОЛХОЗЕ КРЕПНЕТ»

Г. Я. Козину

16 апреля 1933 года, Суджа

...Мое детище — колхоз — крепнет. На его организацию и укрепление я потратил очень много энергии. Начал вести агитацию за коллективизацию еще с 1926 года. В 1927 году нас, семь человек инициаторов, организовало садово-огородное товарищество, а в 1929 году организовался и наш колхоз, который мы

сумели отстоять от развала в 1930 году весной. Стоило нам это напряженной борьбой, но все же 300 дворов осталось в колхозе, а к весне 1931 года вновь влилось 330 хозяйств до весеннего сева.

Я ходил из двора во двор по единоличникам и агитировал, агитировал. Сидел по два-три часа в хате. Приходилось в каждой хате побывать по 2—3 раза, а то и 5—6 раз и даже в некоторых по 8—10 раз. Прихватывал с собой вновь вступивших колхозников, и они учились у меня агитировать за колхоз и сами агитировали, оказывая мне большую помощь.

Молодые коммунисты тоже были увлечены коллективизацией и оказывали мне большую поддержку. Сегодня первый день пасхи, а у нас на конюшне из 150 лошадей ни одной не осталось — все были в поле на севе овса. Яровую пшеницу уже посеяли.

Три дня у нас было оторвано от сева на возку картофеля по самой ужасающей дороге. Возили картофель за 19 верст по непролазной грязи, и приходилось впрягать в каждую телегу по паре коней, а после этого коням давался день отдыха, ехали на свежих, отдохнувших. Картофель надо было перебросить с винзавода на железнодорожную станцию для отправки на Северный Кавказ как семенной материал.

Дисциплина в колхозе крепнет. Сегодня работало 150 женщин по прокладке новой дороги, чего еще в прошлом 1932 году добиться было бы невозможно. В этом году строим коровник на 100 голов, крольчатник на 100 маток, мастерскую, а если хватит средств, то построим еще овчарню и свинарник.

Положение с бюджетом напряженное, а готовых старых построек не имеется, все надо строить заново. В прошлом году закончили конюшню и построили инвентарный сарай. В этом же году проектируем электростанцию, которая будет работать водой (у нас водяную мельницу закрыл Мельтрест). Ночью электростанция будет давать свет, днем — энергию в мастерские.

Единоличников на Гончаровке осталось совсем мало.

«РЕШИЛ ИДТИ НА ШТЫКИ СОЛДАТ»

А. К. Баранову

6 сентября 1934 года, Суджа

Дорогой Леня! Иван Павлович Ладыжников сообщил мне, что ты вступил в члены ВКП(б). Правда ли это? Если правда, то сердечно поздравляю...

Осенью в 1905 году ты заезжал ко мне в Москву на Серпуховскую площадь, где я заготовливал и собирал железные оболочки для македонских бомб. Я сверлил дыры для запальных трубок, моя дочурка Галя ползала по полу, беременная жена готовила обед. Ты еще посоветовал мне применить для нажима доску, но мне было необходимо работать бесшумно, и я предпочитал легкий нажим рукой. Можно было бы поставить и сверлильный станок, и тиски, *но я делал не ведра и не чайники*. А потом за одной двустворчатой дверью жила семья приказчика, за другой рядом — жили хозяева... Все двери были со щелями. В довершение ко всему дворник оказался сыщиком...

Я все так же ненавижу капиталистов и капитализм, все так же верю в конечную победу пролетариата, как и в 1892 году, когда вступил на заводе Курбатова в марксистский революционный подпольный кружок...

Теперь от меня требуют воспоминаний, и я напрягаю свой мозг, чтобы выжать из памяти прошлое.

Мое величайшее счастье в том, что я с ранней юности, не жалея своих сил, не жалея своей жизни, бился за величайшие идеи...

Помнишь, как ты, Сеня, Митя и я ходили в лесочек (в окрестностях Сормова.— А. Н.) за знаменами, которые были зарыты в песок? Я знал, что несение знамени с надписью «Долой самодержавие!» означает публичный призыв к ниспровержению существующего порядка и что за это полагалось единственное наказание — смертная казнь через повешение.

Я об этом никому не сказал, а на собрании в Починках заявил, что знамя с надписью «Долой самодержавие!» понесу я сам, что это мое право, и из

восьмидесяти человек ни один этого моего права оспаривать не стал. Моей целью было революционизировать организацию и в то же время сохранить ее, и еще больше — революционизировать массы... Мы условились, что при приближении солдат знамена сорвем с древков, спрячем под пиджаками и рассеемся в толпе. Но я сознательно обманул вас, чтобы сохранить для организации, а сам решил идти на штыки солдат, чтобы погибнуть на глазах шеститысячной толпы. Мне казалось, что такая праздничная смерть произведет более сильное впечатление на рабочих, чем мое повешение в застенке.

Конечно, это революционная романтика. Но даже и теперь меня охватывает иногда острая тоска, что солдаты не подняли меня на штыки и сорвали мой план праздничной смерти. Меня только избили прикладами, после чего я не мог поднять рук. Да два раза били до потери сознания у пристава, да один раз топтали ногами в башне нижегородской тюрьмы. Я считал это для себя унижительным и на суде сказал только о побоях прикладами, т. е. винтовками, что мне унижительным не казалось.

На суде я защищал организацию и отмежевался от нее, заявив, что сам сделал знамена. Поступил так потому, чтобы за них засудили меня одного. Мне не хочется писать воспоминания, так как со своей точки зрения я ничего особенного не сделал и был только нормальным рядовым рабочим марксистом...

№ 31

«СЧИТАЛ И СЧИТАЮ КРУПНЕЙШИМ РЕВОЛЮЦИОНЕРОМ...»

В. Д. Бонч-Бруевичу

[Ноябрь 1934 года, Суджа]

Дорогой товарищ! Леонида Борисовича Красина я считал и считаю крупнейшим революционером, он привлекал меня к разным делам. Встречался я с ним на даче Алексея Максимовича Горького в Куоккале, в Москве у него же на Моховой, в Перловке на даче

М. С. Кедрова и на его собственной даче в Мытищах. Последнее, что я выполнил по его поручению, это изготовил оболочки для македонских бомб перед Московским вооруженным восстанием.

У Алексея Максимовича Горького я прожил на даче в Куоккале, в два срока, около десяти дней. Виделся с ним в последний раз 19 июня 1934 года в Москве.

Весной 1905 года (в марте) я получил в Киеве, благодаря Глебу Максимилиановичу Кржижановскому, через его жену Зинаиду Павловну, копию паспортной книжки на имя Антона Федоровича Волоховича с женой Юлией Ануфриевной. Познакомившись лично с Глебом Максимилиановичем в Москве только в 1923 году, в начале декабря, прожил у него на Садовнической улице недели полторы или две, тоже в два срока.

Но ни одного письма от этих трех крупнейших революционеров я не получал...

Я мучительно краснел, когда прочитал статью Орлова в «Известиях», что Л. Б. Красин до самой смерти поддерживал со мной дружбу и т. д.

У меня есть письма Якова Степановича Пятибратова, который познакомил меня с идеями революционного марксизма в 1892 году, в конце осени.

№ 32

«ПЕРЕПИСКА ИМЕЕТ ОСОБУЮ ВАЖНОСТЬ...»

Я. С. Пятибратову

16 февраля 1935 года, Суджа

Дорогой Яша! Давно тебе не писал. Занялся своими воспоминаниями, а потом забили меня болезни.

Дело вот в чем. Получил я письмо от директора Литературного музея Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича. Он просит меня прислать письма товарищей, с которыми я был в переписке. Я сообщил ему, что вел переписку только с рядовыми членами партии — рабочими...

На это он ответил, что музею важно иметь именно переписку рядовых коммунистов, что для изучения нашей эпохи подобная переписка имеет особую важность, так как она отражает настроения масс. Я сообщил ему персонально, с кем имел переписку, он просит выслать твои письма, просит, чтобы и ты выслал как мои, так и письма других товарищей, с которыми ты вел переписку, и чтобы ты убедил их переслать музею Твои письма.

Письма рабочих коммунистов наравне с письмами крупных работников будут храниться в музее на вечные времена в стальных несгораемых шкафах, и по ним будут изучать нашу эпоху дальнейшие поколения. Как ты на это смотришь?..

Я считаю, что нам с тобой свою переписку надо сдать музею полностью. Но, конечно, без твоего разрешения отправлять твои письма музею не буду. Сообщи, как ты решаешь этот вопрос?

№ 33

«НАПИСАЛ Я СВОИ ВОСПОМИНАНИЯ...»

Е. А. Гариновой

25 марта 1935 года, Суджа

Дорогая Лиза! Большое тебе спасибо за письмо. Я всегда рад, когда ты напишешь. Благодаря заметке Орлова мне время от времени присылают письма и просят ответа. Бывает, что ругают, но такие письма без подписи. Ученикам школ я всегда отвечаю.

...Написал я свои воспоминания: 1 — первая половина 90-х годов, 2 — вторая половина 90-х годов, 3 — Сормово и демонстрация 1902 года, 4 — тюрьма, голодовка и суд. Всё это отослано Горьковскому Истпарту и в Москву. В Горьком будет напечатано в июле — августе этого года.

Первая часть — о Курбатовском заводе до сестер Невзоровых. Вторая часть — о работе после ареста 1896 года, где фигурируют сестры Невзоровы. Напи-

сал еще кусочек о своей работе на пароходе в Муромском затоне за Мочальным островом, но еще не отсылал. Дальше буду писать о работе в Перми, на заводе Доброва, а потом перейду к Бутырской тюрьме, ссылке и т. д.

Писать хватит очень надолго и, я не знаю, успею ли я это сделать до старта небытия. Надо бы было браться за это дело раньше, но было некогда. Теперь, когда у меня стало мало сил, работы с меня не спрашивают, но зато и писать стало очень трудно.

№ 34

«Я ВСЕ ВРЕМЯ ПОЛУЧАЛ «ИСКРУ»

Г. Я. Козину

25 июня 1935 года, Суджа

Дорогой Гриша! Что случилось? В конце апреля я получил от тебя письмо, в котором ты писал, что будешь выступать на праздновании 1 Мая в Слуде, где расскажешь о нашей маевке 1894 г.

...Ты обещал прислать мне письмо, и вот я жду этого письма уже два месяца. Правда, есть старая поговорка, что «обещанного три года ждут». Но ведь я могу и не дотянуть этого срока, дорогой мой! Нас становится всё меньше,— Миша Громов умер, Василий Иванович Замошников умер, Миша Замошников умер и т. д.

...У меня к тебе еще просьба.

Среди корреспонденций в «Искру» есть мое письмо «Из-за решетки». Послано оно было из Бутырской тюрьмы и напечатано в «Искре», выпуск V, стр. 95—97, № 35.

Пожалуйста, сходи в архив, скопируй это мое письмо и пришли его мне.

Напиши мне также всё, что знаешь о Мише Громове и об инженере Круковском, об его аресте, о шрифте, спрятанном в пруду. Кто были участниками при этом и кто, по мнению Миши Громова, оказался предателем и указал жандармам нитку, с помощью

которой последние обнаружили спрятанную в пруду типографию. Ты мне это рассказывал, когда был у меня, но я помню всё это очень смутно, так как тогда не записал. Не сердись, что я наваливаю на тебя эту работу.

...[Распространяются] будто бы слухи, что Иван Павлович был экономистом, что он был против «Искры» и даже прятал «Искру», которую ему передавали для рабочих. Я все время получал «Искру» от И. П. Ладыжникова для Сормова, а потом меня сменили Леня и Сеня Барановы.

...Сроком я тебя не стесняю, но, пожалуйста, всё написанное посылай мне немедленно, не дожидаясь, когда будет закончено всё. В августе я жду к себе Семена Григорьевича Дурасова, который дал мне обещание приехать для проработки моих воспоминаний.

Я получил отпуск на месяц. Врачебная комиссия и секретарь райкома настаивали на отправке меня на курорт на Кавказ в Сочи или Мацесту, но я отказался, так как мне трудно ездить. И вот, по постановлению райкома, меня освободили от обязательного посещения летней партучебы и партийных собраний. С писанием воспоминаний дело подвигается туго, плохо работает гёлова.

Передай мой привет знавшим меня товарищам, Казе и Тоне.

Пише же, старый дружище, не теряй времени — жить нам обоим осталось не так уж много.

№ 35

«ВЫРАСТИЛА ЦЕЛУЮ СЕМЬЮ БОРЦОВ»

А. К. Заломовой

[Конец 1935 года, Суджа]

Дорогая мама!

Варя рассказала мне о твоих выступлениях. Я очень рад, одобряю и горжусь тобой. Твои выступления не менее ценны, чем доставка прокламаций, доставка знамени в прошлом.

...В твоей жизни было много тяжелого, но ты можешь гордиться тем, что вырастила целую семью борцов за коммунизм, что твоя жизнь не оказалась бесполезной, ненужной, как жизнь многих и многих тысяч мешан, живших только для самих себя.

Крепко тебя целую, моя мать!

Твой сын *Петр Заломов*

№ 36

«МЕНЯ ОТОЖДЕСТВЛЯЮТ С ТВОИМ ПАВЛОМ ВЛАСОВЫМ»

А. М. Горькому

19 января 1936 года, Суджа

Дорогой Алексей Максимович!

По случаю 30-летней годовщины сормовского вооруженного восстания 1905 года меня вызвали в Красное Сормово, где возили на автомобиле выступать перед рабочими, перед военными курсантами, перед 49-м полком в кремле, перед пионерами, перед секретарями заводских комитетов комсомола, перед коллективом артистов, перед коллективом учителей, в Сормовском дворце культуры по докладу писателя Авдеенко о повести А. М. Горького «Мать», на Сормовском заводе в паровозо-механическом цехе, где я когда-то работал, на торжественном заседании 24 декабря 1935 года в Сормовском дворце культуры.

...Я не обманываю себя и прекрасно учитываю, что моя популярность зиждется не столько на моих заслугах перед пролетарской революцией, сколько на том, что я случайно попал в лучи твоей мировой славы, что меня отождествляют с твоим Павлом Власовым.

Твоя роль в пролетарской революции России, в пролетарской революции всего мира громадна. Мы, все рабочие, крепко тебя любим не только как гения, но и как своего близкого, родного, как товарища по борьбе за высшую человеческую культуру.

Не сердись. Но я почему-то никак не могу писать тебе сегодня на «вы». Да ты ведь и сам разрешил мне 19 июня 1934 года говорить тебе «ты».

Вот ты говорил мне, что моя жизнь значительна и что я должен писать свои воспоминания. До тебя мне многие советовали то же, настаивали на том, чтобы я писал свои воспоминания, но я не придавал этому значения, так как не чувствовал и не чувствую значительности своей жизни.

Моя жизнь кажется мне обычной, нормальной для меня, и другой жизнью я жить бы не мог. Согласись сам, что жить интересно только тогда, когда можно драться за весь мир, как учили нас Маркс и Энгельс, как учил нас Ленин... Вот поэтому-то их имена и звучат для нас, как боевая труба.

Драться за медную пуговицу от штанов скучно и нудно, и нас привлекал и привлекает не твой ползучий шипящий Уж — мещанин, а твой смелый Сокол — пролетариат.

И как хорошо ты сказал: «Безумство храбрых — вот мудрость жизни!»

...Крепко тебя целую!

Твой П. Заломов

№ 37

«ПРИШЛОСЬ КРЕПКО ВЗЯТЬ СЕБЯ В РУКИ»

В. Д. Бонч-Бруевичу

22 июня 1936 года, Суджа

Многоуважаемый Владимир Дмитриевич!.. Я узнал о смерти Алексея Максимовича Горького 18 июня вечером. Две ночи я не мог спать. Меня попросили выступить на траурном заседании в Судже 19 июня, а 20 июня я должен был выступать на траурном заседании в Курске. Вернулся из Курска вчера.

Пришлось крепко взять себя в руки. У меня сделался приступ моей старой болезни — смертельной

сердечной тоски. Я знаю, что смерть своей матери, которую люблю, я буду переживать гораздо легче, чем смерть великого писателя и революционера Максима Горького. Он был другом Ленина. Но ведь он был и моим другом! Хотя я только рядовой рабочий революционер.

Ему было чуждо притворство, он волновался при встречах со мной, и я видел слезы в его необычайно выразительных, прекрасных глазах. Он крепко целовал меня, как и я, он радовался встрече.

И вот я ничем не смог ему помочь... А ведь я обещал загородить его своей грудью в бою.

Я бы мог отдать ему свое сердце, но оно склерозное. Я написал ему, что с огромной радостью отдам ему свое легкое для пересадки... Разве я жалел? Ведь я рисковал своей жизнью ради лишней винтовки, ради лишнего револьвера, когда был в Москве в 1905—1906 годах. И раньше рисковал своей жизнью за 70 копеек в день, когда был смазчиком трансмиссий в Перми.

Ответа от А. М. Горького я тогда не получил. И вот теперь я мучаюсь тем, что не сделал всего, что нужно было сделать. Я должен был сходить к нему, должен был обратиться к профессорам, которые его знали и любили.

Хотя мои легкие поношены, но с 1932 года кровь исчезла в моей мокроте, а в 1934 году рентген в Москве показал, что в моих легких очагов туберкулеза нет. Они бы, возможно, подошли для пересадки. И вот точно железная рука давит мое сердце и горло, а из глаз льются слезы. Это малодушие, недостойное большевика, но я ничего не могу с собой сделать...

Эту ночь я проспал шесть часов как убитый, и сердце стало болеть слабее, но зато голову давит железный обруч.

Алексей Максимович говорил мне, что я должен писать свои воспоминания. Мне очень трудно, но я пишу. И я выполню волю великого пролетарского писателя-революционера и моего друга. Я твердо решил не умирать до тех пор, пока мои воспоминания не будут закончены. Я ведь обладаю силой самовнушения. Я могу уморить себя голодом и жаждой, могу сжечь

себя на медленном огне, но могу и продлить свою жизнь сверх того срока, который определяется моим организмом. Я заставлю его жить и работать до тех пор, пока воспоминания не будут закончены, пока воля Максима Горького не будет выполнена.

№ 38

«СЧАСТЬЕ, О КОТОРОМ МОЖЕТ МЕЧТАТЬ ЧЕЛОВЕК»

Г. Я. Козину

18 июля 1936 года, Суджа

...Ты, наверно, читал крыловскую басню о гусях, которых крестьянин гнал хворостиной на базар продавать.

Гуси эти возмущались, жаловались, кичились своими предками, которые Рим спасли. Существует легенда, что на Рим напал неприятель, когда все воины спали. Гуси Рима подняли крик и разбудили воинов. Неприятель был отбит.

Есть люди, которые очень любят говорить о своих прошлых революционных заслугах, но упорно не хотят вернуться в ряды партии, упорно не хотят вести революционной работы в настоящем.

Прошлые революционные заслуги, не подкрепленные революционной борьбой в рядах партии в настоящем, это не более как наши предки, которые Рим спасли.

Самая скромная работа в железных рядах нашей партии стоит неизмеримо дороже хвастовства прошлыми революционными заслугами.

...Я скажу, что революционеры, добровольно ушедшие из рядов партии и не желающие вернуться в ее ряды, очень похожи на еврейско-христианского бога, который поработал шесть дней над сотворением мира, а потом и почил навсегда от дел своих.

...Всякий может задать мне вопрос, почему я сам вернулся в ряды партии только в 1925 году. Я не входил в ряды партии потому, что считал себя не достойным, так как утратил трудоспособность и не мог уже вести той активной работы, которую вел раньше.

Никогда не смотрел я на свою революционную работу, как на заслугу. Она была и осталась самым ярким, самым лучезарным счастьем всей моей жизни, и я говорил и говорю о ней только как о высшем счастье, о котором может мечтать человек.

№ 39

«РАССПРОСИ МАМУ ПОДРОБНО О ГОРЬКОМ...»

Е. А. Г а р и н о в о й

6 мая 1937 года, Суджа

Дорогая Лиза! Вот видишь, и я уже не очень аккуратно отвечаю на письма.

Про меня напечатали в журнале «Плодоовощное хозяйство» агрономы-садоводы, обследовавшие мой сад. Они описали, какие сорта яблок у меня имеются, и вот на мою голову посыпались письма.

Хочешь не хочешь, а пришлось отвечать. Только на одни марки для ответов потратил более 20 рублей. Со всех концов Союза начали у меня просить саженцев, отводков, черенков. Теперь сезон закончился, и меня перестали мучить. Я [сгиб письма, слово стерлось] не могу оставлять писем без ответа, так как считаю это неуважением к человеку, тем более что все ссылаются на журнал.

...Теперь перейду к своей просьбе. Пожалуйста, расспроси маму подробно о Горьком, мне хочется знать всё, что знает о нем она. Беседовала ли она с Горьким хоть раз и о чем? С какого времени стала она носить мне в тюрьму [передачи] от Горького и встречалась ли при этом с ним, разговаривала ли. Быть может, Горький ее о чем спрашивал. С отве-

том не спеши, напишешь, когда будет настроение, но маму постарайся расспросить теперь же.

Маме передай мой привет.

Целую тебя и маму.

Твой П. Заломов.

№ 40

«БУРЕВЕСТНИК РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

Редакции «Литературной газеты»

[До 20 августа 1937 года, Суджа]

Я давно полюбил Максима Горького за его честную, пламенную, пролетарскую душу, за то, что он являлся великим пролетарским писателем, за пылающее сердце Данко, за «Песню о Соколе».

Алексей Максимович Горький слышал обо мне еще до сормовской демонстрации 1902 года, хотел со мной познакомиться, но я был на плохом счету у полиции и мог ему повредить; я боялся навлечь на него еще большую ненависть полиции, которая видела в Горьком опаснейшего врага самодержавия.

Когда меня арестовали на Сормовской демонстрации 1 Мая 1902 года, Горький оказал мне большое внимание. Он ежедневно посылал с моей матерью мне в тюрьму обед и незадолго до суда велел передать всем нам, чтобы мы не пугались царских судей, обещал свою поддержку в ссылке, обещал выслать денег на побег.

Шестеро из нас, сормовцев, были сосланы в Восточную Сибирь навечно, с лишением всех прав состояния. Каждому за первый побег грозило 25 плетей и 6 лет каторги, а за второй — 50 плетей и 12 лет каторги.

Алексей Максимович свое слово сдержал. Он присылал мне в ссылку по 15 рублей в месяц и однажды выслал 300 рублей на побег.

Впервые я встретился с Горьким после побега из ссылки в 1905 году, на его даче в Куоккале.

Чтобы не привести шпииков, я слез с поезда на предпоследней станции и дальше пошел лесом, под

дождем. Подойдя к даче, я увидел во дворе высокого, крепкого, сухощавого человека. Он шел мне навстречу. Я вспомнил портрет Алексея Максимовича, узнал его и назвал себя.

Мы, старые рабочие, видевшие начало марксистского движения на фабриках и заводах, были революционными романтиками. «Песня о Соколе» звучала для нас, как боевая труба, вызывала слезы восторга. И вот передо мной стоял автор «Песни о Соколе», передо мной был живой, смелый сокол, буревестник русской революции — Максим Горький. Он обнял меня и крепко поцеловал. Потом посмотрел на меня и сказал: «Так вот вы какой!»

Мы пошли с ним на дачу, в его кабинет во втором этаже, выходящий окнами к морю. Я сказал ему, что люблю «Песню о Соколе» и загорю его в бою своей грудью. Он ответил: «Я тоже загорю вас своей грудью в бою».

Весь мокрый, я дрожал от холода. Алексей Максимович распорядился отвести мне комнату, прислал свое белье, ботинки, платье. Но больше всего согрел он меня суровой нежностью, которая излучалась из его прекрасных глаз. Он расспрашивал меня о моей жизни, об отце и матери, о революционной работе, о сормовской демонстрации.

Я сообщал больше сухие факты, мало говорил о своих настроениях, ничего — о своих мечтах. Из ложного стыда я совершенно умолчал о побоях в участке и в башне нижегородской тюрьмы, о своих переживаниях.

Мне и в голову не могла прийти мысль о том, что мои рассказы, моя жизнь послужат канвой для замечательного художественного произведения, которое сыграло большую роль в революционизировании широких рабочих масс.

Алексей Максимович набросал по моим рассказам записки, но их отобрала у него полиция при обыске, и свою повесть «Мать» он написал уже по памяти.

В 1905 году Горький был в центре подготовки вооруженного восстания. Благодаря своему громадному влиянию и своим связям он собирал на революцию сотни тысяч рублей.

«РАД, ЧТО ПОВИДАЛ ВОЛГУ...»

Е. А. Г а р и н о в о й

30 сентября 1937 года, Суджа

...Видел в Судже киножурнал «Семья Заломовых». Заснято было 900 метров для короткометражного фильма, но потом оставили только 300. Срезали в Москве. Я всё же очень рад, что повидал Волгу, Горький, Сормово, старых товарищей и тебя с мамой.

«СОЦИАЛИЗМА НЕ ПОШАТНУТЬ»

Г. Я. К о з и н у

10 ноября 1937 года, Суджа

...Я непрерывно лечусь. К артериосклерозам сердца, мозга и общему артериосклерозу прибавился еще суставный ревматизм. Теперь болит уже не одна коленка, а обе, иногда же боли бывают в лопатках, локтях и кистях рук. Пью йод в молоке и прогреваю колени синей электролампой с отражателем. Помогать — помогает, но не излечивает.

Несмотря на болезни, я чувствую огромное счастье от новой Конституции. Я вижу, как эта Конституция поднимает бодрость в людях самых разнообразных профессий, делает их более сильными, вызывает в них гнев против фашистов и империалистов.

...Теперь люди дерутся уже не только за великие идеи, как дрались мы 40—45 лет тому назад, но и за нашу великую действительность, увенчанную Конституцией.

Иногда меня на улице останавливают простые полуграмотные женщины и вступают со мной в разговор на политические темы. И мне приходится убеждаться в том, что самую-то суть дела они уже поняли. Когда приведешь в полную ясность их собственные мысли,

они расцветают улыбками и уходят с радостными лицами. Надо как можно чаще и больше беседовать с теми гражданами, в головах которых пока еще не всё ясно.

Осколки разбитого старого всё еще огрызаются.

Недавно я переходил через дорогу от своего дома и мимо меня проехало два мужика. Один — пожилой с большой бородой — что-то тихонько говорил молодому, бритому, указывая на меня рукой. Последний яростно и нарочито громко произнес: «Ему давно следует засунуть кинжал под печёнки». Я отвернулся и заулыбался их бессильной злобе, ибо им колхозов не свалить, социализма не пошатнуть, а смерть от кинжала врагов трудового народа для меня почетна.

Поздравляю тебя и Михаила Николаевича Князева с 20-й годовщиной Великого Октября и крепко вас обоих целую.

Ваш старый товарищ *П. А. Заломов*

Р. С. Знал ли ты Алексея Бондина, слесаря, молодого парня, который жил у Ухватова, работавшего в вагонном цехе и игравшего на скрипке? Он прислал мне свою книгу, в которой фантазирует, перевирая факты о сормовской демонстрации 1 Мая 1902 года.

№ 43

«ТАКИХ МАТЕРЕЙ У НАС МИЛЛИОНЫ»

ПРОЩАЛЬНАЯ РЕЧЬ НАД МОГИЛОЙ МАТЕРИ
А. К. ЗАЛОМОВОЙ

11 марта 1938 года, г. Горький

В последний раз из-за тысячи верст приехал я к тебе, моя мать! Я приехал говорить с тобой, приехал говорить с матерями нашей великой социалистической страны. Я приехал прочитать последние строки, написанные для тебя кровью моего сердца...

Для завоевания диктатуры пролетариата, для построения социализма и коммунизма во всем мире тре-

буются героические усилия не только со стороны вождей, со стороны людей высокоодаренных, но и со стороны скромных тружеников, к числу которых принадлежала и ты — моя мать!

С огромным трудом, с огромными усилиями пришла ты к пониманию идей Маркса, но когда поняла все величие этих идей своим умом и сердцем, то уже не жаждала для борьбы за них ни своей собственной свободы и жизни, ни свободы и жизни своих детей.

Незаметна, скромна была твоя работа, но для победы пролетариата она была так же необходима, как и усилия десятков и сотен бойцов за коммунизм, подобных тебе.

Ты получила великую награду, — твоя жизнь стала основой образа героини повести «Мать», созданной гением великого пролетарского писателя Максима Горького.

И ты дожила до лучезарного счастья — победы социализма на одной шестой части земного шара!

Наша Коммунистическая партия сильна и непобедима, как легендарный Антей, потому что она никогда не отрывалась от широчайших трудящихся масс, потому что она всегда боролась только за их счастье.

Ты знала, родная, что за публичный призыв к низвержению существующего при царизме строя было только одно наказание — смертная казнь через повешение.

Ты знала, родная, что по приказу офицеров солдаты могли поднять меня на штыки, но ты сама привезла мне Красное знамя с грозной надписью: «Долой самодержавие!», сама вложила его в мои руки. Таких матерей у нас миллионы.

Когда наступит грозный час борьбы за неприкосновенность границ нашего многонационального Союза Советских Социалистических Республик, все матери страны социализма последуют твоему примеру и сами вложат винтовки в руки своих сынов и дочерей.

Я люблю и буду любить тебя, родная! Буду любить не только за то, что ты дала мне жизнь, но и за то, что ты была моим другом, была смелым и верным товарищем в борьбе за сказочные мечты лучших людей человечества, в борьбе за лучезарно-прекрас-

ное коммунистическое общество, неизбежность завоевания которого установлена гениями науки.

Ты честно прошла свой долгий, трудный, но славный путь, и ты будешь жить в моем сердце до тех пор, пока оно не перестанет биться.

№ 44

«ВАС ВСЕХ ЖДЕТ ВЕЛИКАЯ РАБОТА»

Седьмому классу «В» школы № 382
Сокольнического района Москвы

[1938 год, Суджа]

Мои юные дорогие друзья!

Не было и нет в мире ничего более великого, более прекрасного, более могучего, чем величайшие идеи марксизма-ленинизма. Для первого поколения рабочих-большевиков борьба за победу этих идей была и осталась высшим счастьем, высшим смыслом жизни.

Да, жизнь рабочих при царизме и капитализме была угнетающе тяжела. Мы были только придатками машин, кующих деньги для капиталистов, или сами были машинами.

При жизни отца я был обеспечен простой грубой пищей и не знал, что такое голод. После смерти отца наступило хроническое недоедание, и мне приходилось есть с помоек заплесневелые корки, от которых отказывались свиньи. Из-за недостаточного, плохого питания мой организм был ослаблен, и я перенес почти все инфекционные болезни.

Как и все, вы смешиваете Павла Власова с Петром Заломовым, но Петр Заломов является всего лишь прообразом Павла Власова. В 1905 году Алексей Максимович Горький составил по моим рассказам заметки, но последние были у него отобраны при обыске, и свою повесть «Мать» он писал по памяти, силой своего художественного таланта.

Я стал рабочим в пятнадцать лет, и моя жизнь действительно стала беспросветной, мучительной,

бессмысленной. Я мечтал о самоубийстве, и только мысль о матери удерживала меня в числе живых рабов капитала.

Только в силу резких контрастов постигается счастье жизни, и я узнал это счастье лишь после того, как прочитал и понял своим мозгом и сердцем «Коммунистический манифест» Маркса и Энгельса, понял всю красоту, все величие коммунистического общества, понял великое счастье борьбы за это общество.

Только после усвоения «Коммунистического манифеста» спала пелена слепоты с моих глаз, я вновь родился уже по-настоящему, и жизнь моя стала лучезарно прекрасной. Нет в мире счастья выше, чем борьба за коммунистическое общество, и нет смерти прекрасней, чем смерть за мировую коммуноу!

Как старый большевик-рабочий я буду говорить с вами откровенно, тем более что иначе говорить не умею. Все вы мне близки и дороги, как будущие бойцы за мировую коммуноу, но впечатление от вашего письма получилось у меня очень тяжелое.

Римская чернь рукоплескала уцелевшему в кровавой бойне гладиатору, вы готовы рукоплескать Павлу Власову — герою повести Максима Горького «Мать».

А вы-то сами! Кто вы? Бойцы за мировую коммуноу или слепорожденные рабы?

Вы пишете, что вам даны все возможности для учебы и вместе с тем сообщаете, что в вашем классе несколько (!!!) хороших учеников.

Выходит, что гора родила мышь!

Где ваши отличники? Где ваша борьба за учебу на «хорошо» и «отлично»?

...Наука — это вертикально поставленная лестница, каждую ступень которой можно одолевать только с полным напряжением всех своих усилий, но не играючи, подобно новорожденному младенцу, который пускает губками пузыри.

Вы должны, вы обязаны выучивать и усваивать весь учебный материал прочно и полностью, без всяких перерывов и прорывов.

Борьба за учебу на «хорошо» и «отлично» — это не детская игра, а величайшее дело, необходимое для

построения коммунистического общества в СССР, для завоевания мировой коммуны.

Вас всех ждет великая работа, и чем лучше усвоите вы науку, тем плодотворнее будут результаты вашей работы, тем легче будет вам работать, тем больше будете вы испытывать огромное наслаждение своей работой.

Шлю вам свой коммунистический привет!

Ваш дедушка

П. А. Заломов

№ 45

«Я САМ В ДЕТСТВЕ УВЛЕКАЛСЯ ГЕРОИЧЕСКИМИ ПОДВИГАМИ...»

Е. А. Г а р и н о в о й

8 февраля 1939 года, Суджа

Дорогая Лиза! Очень благодарен тебе за те сведения, которые ты сообщила о прошлом. Ты не очень сердись, что я тебе докучаю, но мне надо, чтобы ты ответила еще на один вопрос, а именно: когда переехал к нам дедушка Михайла? Сколько было тебе лет, когда он поселился у нас в большом флигеле?

С помощью твоего уже полученного письма я могу проверить и установить точные даты фактов из моего детства, над которым я теперь работаю.

Я получаю письма от школьников, которые, изучая повесть Горького «Мать», интересуются моей жизнью, задают мне различные вопросы. Несомненно, что эти школьники с интересом прочитают мое «Детство», когда я его закончу и когда его напечатают.

Я просто записывал то, что было, но когда прочитал написанное, то мне стало видно, как развивалась моя личность, как складывался, формировался мой характер, и мне стало ясно, что иного пути, чем пройденный мной, у меня не могло быть,— сама жизнь

толкала меня на определенный путь, который привел меня к борьбе за коммунистическое общество.

Ты когда-то мечтала о том, чтобы из нашей Заломовской семьи вышел хотя бы один замечательный человек, который сделался бы доктором или учителем.

Твои мечты частично осуществились — Варя стала теперь учительницей. Чуть-чуть не сделалась доктором моя Галя, и сделалась бы, если бы не помешал Коля Чикин, отец моей внучки Юльки.

Твоя племянница Леля Заломова окончила Московский университет и теперь преподает в московской школе-десятилетке историю. Твоя племянница Галя учится теперь на хорошо и отлично в Московской промышленной академии и будет инженером.

Я сам в детстве увлекался героическими подвигами сказочных героев и мечтал стать героем сам. Правда, героем я не сделался, но моя жизнь всё же не прошла бесполезно и бесследно и послужила прообразом для горьковского Павла Власова.

Несомненно одно, что я тоже был учителем и остался им и останусь до самой смерти, так как и теперь учу молодежь, как надо бороться за коммунистическое общество. Меня слушают, мне верят, потому что свою преданность делу мирового пролетариата я доказал всей своей жизнью, которая приходит теперь к концу.

Мое счастье огромно, потому что я непоколебимо уверен в победе коммунизма на всей земле.

В какой-то пьесе смерть говорит умирающему: «Если прожил честно свой короткий век, будь и тем доволен, бедный человек!»

Свой век я прожил честно, но бедняком себя не считаю. Напротив, я считаю себя самым богатым, самым счастливым человеком на земле, и это счастье я получил только потому, что узнал и понял величайшее учение Маркса — Ленина.

Алексей Максимович Горький заставил меня описывать всю мою жизнь, начиная с детства. Я тогда смеялся. Мне казалось это ненужным, казалось бессмысленным. Но теперь я понял, что моя жизнь мо-

жет научить других тому, как надо жить, и она потому может научить, что я являюсь обыкновенным человеком, каких миллионы, и мое преимущество только в том, что я ясно понял самую суть учения марксизма-ленинизма.

...В моем мозгу иногда проносятся грандиозные картины будущих великих боев за мировую коммуны, и я весь дрожу от восторга: я знаю, что мировая коммуна победит, и это знание дает мне величайшее счастье.

Ты можешь быть довольна тем, что не была простым зрителем нашей борьбы, что ты помогала этой борьбе, а ведь не всякий может это про себя сказать и думать.

№ 46

«СПАСАЛА НАШУ ОРГАНИЗАЦИЮ ОТ ПОГОЛОВНОГО АРЕСТА»

Горьковскому облсобесу

24 августа 1939 года, Суджа

Елизавета Андреевна Гаринова стала членом нашей марксистской рабочей организации еще с 1897 года, то есть одновременно со своим мужем, рабочим Григорием Ивановичем Гариновым (прототип горьковского Рыбина из повести «Мать»). В квартире моей двоюродной сестры, Анны Михайловны Весовщиковой, у нас осенью 1897 года происходили собрания рабочих, на которых присутствовали Зинаида Павловна и Софья Павловна Невзоровы, члены первого петербургского кружка Владимира Ильича Ленина, от которых мы, рабочие, и восприняли идеи Маркса — Энгельса — Ленина.

После отбытия Петропавловской крепости курси-стки, сестры Невзоровы, были высланы из Петербурга в Нижний Новгород, под надзор полиции.

За сестрами Невзоровыми следили сыщики, и на Елизавету Андреевну Гаринову и на моего дядю, Яко-

ва Кирилловича Гаврюшова была возложена задача хранения нашей нелегальной литературы и охрана наших собраний от внезапного налета сыщиков и жандармов.

Два раза Елизавета Андреевна Гаринова спасала нашу организацию от поголовного ареста, причем ей в этом оказывал содействие и мой дядя, сапожник Яков Кириллович Гаврюшов, брат моей матери.

Елизавета Андреевна прятала нелегальную литературу и в Сормове, куда с завода Доброва и Набоголец перешел ее муж, а осенью 1899 года и я, после своего увольнения из Пермских железнодорожных мастерских.

В Сормове Елизавета Андреевна также охраняла наши собрания, прятала нелегальную литературу, предупреждала о готовящихся обысках, чем неоднократно спасала нашу Сормовскую рабочую марксистскую организацию от разгрома.

Знакомый извозчик, который всегда привозил прокурора и жандармов из Канавина в Сормово на обыски, присылал своего сынишку, который прибегал к Елизавете Андреевне и передавал ей слова своего отца: «Сегодня ждите гостей».

От сыщиков и провокаторов прокурор получал точные сведения о лицах, у которых хранится нелегальная литература, но всякий раз его ожидания были обмануты и он уходил от нас с плохо скрытой яростью.

После моего ареста ротой солдат, на Сормовской политической рабочей демонстрации 1 Мая 1902 года, моя сестра Елизавета Андреевна Гаринова продолжала свою революционную работу. Так, во время Сормовского вооруженного восстания 1905 года она переносила в корзинке револьверы, прикрыв их сверху картошкой.

Без шума, без громких фраз моя сестра годами работала для победы социалистической революции, но она настолько скромна, что совершенно не ценит своей революционной работы, не признает своих революционных заслуг и неизменно всем говорит, что она делала только то, что ей велели.

«БЕСТРЕПЕТНО И ЧЕСТНО ПРОШЛИ ПУТЬ»

Г. Я. Козину

29 августа 1940 года, Суджа

...Меня дети зовут в Москву, я могу проехать оба конца по орденскому билету бесплатно в любом направлении и на любое расстояние, причем можно делать остановки, можно ехать морем и пересаживаться на железные дороги и обратно.

Такая поездка разрешается один раз в год. У меня есть целая книжечка таких билетов, но нет самого главного — здоровья, и я еще ни разу не использовал своего права на путешествия. Все это пришло ко мне слишком поздно, когда уже все силы вымотаны, когда болезни приковывают к одному месту, когда затруднительно ходить за один километр на почту, и если я все-таки хожу, то это только по предписанию врачей, которые говорят, что мое сердце совсем откажется работать, если я его не буду тренировать.

С памятью у меня дело тоже плохо, что очень сильно тормозит мою работу над своими воспоминаниями, за которые я взялся слишком поздно, да и то только по настоянию Алексея Максимовича Горького.

Как видишь, я накопил денег и купил пишущую машинку (письмо написано на машинке.— А. Н.), но моя память не стала от этого лучше и работа стоит мне огромного напряжения, а мне врачи запретили всякую физическую, нервную и умственную нагрузку. Ну что ж! Будем работать по своим силам.

Если бы мне дали возможность заснуть на сто лет и проснуться при полной победе коммунизма во всем мире, то я бы от этого отказался, потому что борьба за коммунизм для нас, старых подпольщиков, ценнее, чем коммунизм, упавший с неба, без всяких наших усилий. Несомненно, что будущие поколения будут завидовать нам, что мы имели великое счастье жить в самый напряженный период борьбы за коммунистическое общество.

Мы прекрасно знаем, что самое великое счастье заключается не в том, чтобы как можно больше взять от жизни, а в том, чтобы как можно больше дать для завоевания коммунистического общества. Так мыслим, так чувствуем мы, старые коммунисты-подпольщики, а в этом наше самое величайшее счастье, и этого счастья не сможет отнять у нас сама смерть, и мы спокойно и твердо идем к своему закату, так как коммунизм в основном уже победил, осталось только его оформление, и нет силы на земле, которая бы смогла повернуть трудящихся нашей планеты вспять.

Только тот может в полной мере наслаждаться настоящим, кто не жалел своих сил и самой жизни в борьбе за это настоящее. И мы оба с тобой можем сказать, что бестрепетно и честно прошли путь от капитализма до социализма и коммунизма, который в настоящее время уже рельефно показывает свои контуры.

№ 48

«ВООБЩЕ Я УЧУ ЛЮДЕЙ ВСЕМУ...»

Г. Я. Козину

1 декабря 1940 года, Суджа

...Я стараюсь по дому всё сделать сам. Вот развалилась труба на крыше, у меня головокружения, но я не менее полусотни раз влезал на крышу по высокой лестнице, пока окончательно не отремонтировал трубы.

Из старого толстого железа я согнул и склепал широкую трубу для усиления тяги, чтобы меньше уходило топлива, потом часть этой трубы превратил в квадратную и, воткнув, заложил ее кирпичом на извести с песком, а потом сделал колпак для защиты трубы от дождя, снега и ветра, что ослабляет тягу и увеличивает расход топлива. Этот колпак у меня качается на железном шпиле, закрывая трубу и от дождя, и снега, и от ветра. Для удержания пластин срыва ветром устроил из четырех железных пластин

нечто вроде конической клетки, крепко прикрепленной к трубе, и мой колпак пляшет, качается по произволу ветра, но последний сорвать его не может. Моя труба единственная в Судже, и на нее все «двываются», и, возможно, некоторые переймут мое приспособление, сохраняющее топливо.

Вообще я учу людей всему, что знаю сам, и это доставляет мне большое удовольствие. Урожай плодов в моем садике был очень слабый, и большую часть урожая раскрави, а я только яблоками и спасаюсь от невыносимой изжоги. Из моих рук вышло несколько колхозных садоводов, которых я наделил черенками лучших своих сортов для прививки дичков.

Завтра начну ремонт печи и ремонт железной трубы, которая, выходя из плиты через всю комнату в печную трубу, обогревает наше зимнее жилище. Работаю я очень медленно, но с большим удовольствием, тем более что за работу теперь берут очень дорого, если бы я вздумал кого нанять. Когда всё налажу для зимы, тогда вновь примусь за работу над воспоминаниями.

Надо бросать [письмо] и греть чайник, скоро Юзя придет с учительского совещания своей школы.

№ 49

«ВОСПРИНИМАЮ КАК ВЕЛИЧАЙШЕЕ СЧАСТЬЕ...»

Г. Я. Козину

5 мая 1941 года, Суджа

...Наши настроения созвучны. Как и ты, я не устаю радоваться нашей победе, в борьбу за которую мы с тобой вступили с ранних лет нашей юности, и мы с полным правом можем сказать, что наше дело, дело рабочих и трудящихся крестьян, победило, и нет силы на земле, которая бы смогла повернуть вспять победное шествие к коммунизму.

Очень много тяжелого и тяжкого пришлось мне перенести за социализм и коммунизм, но нет ничего

в моей жизни, что я хотел бы из нее вычеркнуть. Даже пыток и истязаний я не хотел бы выбросить из моей жизни, потому что они сделали меня особенно сильным морально, хотя и подорвали мое физическое здоровье.

Теперь я спокойно смотрю в глаза приближающейся смерти. Моя совесть чиста, я сделал для победы коммунизма все, что было в моих силах, и я могу умирать спокойно, без всяких угрызений совести.

Всю свою жизнь целиком я воспринимаю как величайшее счастье именно потому, что нигде не отступил, ни перед чем и ни перед кем не согнулся и сущностью моей жизни была и осталась борьба за коммунизм.

Облсобес меня запрашивает, в каком курорте я нуждаюсь, но я от курортов отказываюсь, так как мне трудно ездить. Да и не все ли равно, в сущности, прожить ли чуть-чуть подольше или чуть-чуть поменьше, когда дело победы коммунизма твердо обеспечено?!

У нас наступила теплая погода, в саду распускаются почки на яблонях и грушах, предвидится урожай фруктов, пенсию я получаю исправно. Чего же еще мне надо? Чем Суджа хуже какого-нибудь Пятигорска? Только невыносимой жары нет, вот и все, это для моего большого сердца только полезно.

Крепко тебя целую! Будь здоров!

№ 50

«БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ СВОИХ ОТЦОВ И ДЕДОВ»

ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ П. А. ЗАЛОВОВА
С МОЛОДЫМИ РАБОЧИМИ ЗАВОДА «КРАСНОЕ СОРМОВО»

[Конец октября 1942 года, г. Горький]

Юные друзья мои!

Вы третье поколение сормовичей. По возрасту вы мои внуки. Выслушайте же мой наказ.

Сормович — это гордое слово. Называться сормовичом — большая честь. Это значит принадлежать

к старейшему и передовому отряду русского рабочего класса.

Знаете ли, ребята, как ваши деды устраивали стачки, забастовки, как выходили они на революционные демонстрации? Вот здесь, по соседству с главной проходной, где сейчас стоит школа, в пятом году рабочие дрались на баррикадах. В цехах, где вы сейчас работаете, во время гражданской войны по заказу Ленина делались первые русские танки. На броне первой машины рабочие сделали надпись: «Боец революции тов. Ленин». Стоявшие в затоне буксиры покрывали броней, ставили на них пушки,— это готовились суда для Волжской флотилии.

Отсюда, из Сормова, в ноябре 1917 года уезжали красногвардейцы в Москву драться с юнкерами, отсюда отправлялись рабочие полки на все фронты гражданской войны.

Слава о революционном Сормове гремела на всю Россию. Великий Ленин обращал сюда свои взоры, руководил нашей борьбой.

Гордитесь, ребята, тем, что вы дети коренных пролетариев, в ваших жилах кровь потомственных сормовичей. Помните об этом всегда и будьте достойны своих отцов и дедов.

Русского рабочего всегда отличали любовь к своей родине, верность делу своего класса, братская солидарность, настойчивость, вера в свои силы, способность к преодолению любых трудностей и воля к победе. Перенимайте эти качества и развивайте их.

Много трудностей было на пути у моего поколения. Вся Россия стонала под царским сапогом. Вздохнуть не давали свободно. На каждом шагу — полицейские, по улицам шпики шныряли, вынюхивали «крамолу». Слова сказать нельзя было.

На заводах за копейку жизнь отдавали. А иного выхода не было, иначе подыхай с голоду.

Тяжело жилось рабочему-сормовичу в проклятое царское время. Голодно, холодно было в убогих домишках, разбросанных по [улицам] Большим и Малым. Канавам, [деревням] Мышьяковкам и Варихам.

Недаром у нас пели тогда:

Сормовска больша дорога
Вся слезами залита...

Рабочая слободка Сормово была точь-в-точь такой, какой описал ее Максим Горький.

«Каждый день над рабочей слободкой, в дымном, масляном воздухе, дрожал и ревел фабричный гудок, и, послушные зову, из маленьких серых домов выбегали на улицу, точно испуганные тараканы, угрюмые люди, не успевшие освежить сном свои мускулы... Грязь чмокала под ногами. Раздавались хриплые восклицания сонных голосов, грубая ругань зло рвала воздух...

Вечером... фабрика выкидывала людей из своих каменных недр, словно отработанный шлак, и они снова шли по улицам, закопченные, с черными лицами, распространяя в воздухе липкий запах машинного масла, блестя голодными зубами».

Вспоминаю я свое детство. Семья у нас была большая: кроме меня, семеро детей. На старого дедушку смотрели как на обузу.

Мой отец зарабатывал в месяц рублей пятьдесят. Приходилось бедствовать. Бывало мать сварит горшочек кашицы, подаст на стол, мы съедим и опять не сыты. Мать — в слезы.

Когда мать уходила за делом, мы оставались одни. Гуляли по улицам в одних рубашках и босиком. Вернувшись домой, мы просили у старшей сестры хлеба. Она нам говорила: «Мама ушла, хлеба нет, да и денег нет».

Мне было семь лет, когда отец умер от ядовитых газов. Было ему 38 лет. Двадцать пять лет он проработал на заводе.

Вскоре после смерти отца меня отдали в мастерскую учеником слесаря. Приходилось вставать в четыре утра, а домой возвращаться поздним вечером. Целый день поэтому хотелось спать. Во время перерыва я садился около тисков на ящик из-под свечей и, уткнув голову в колени, мгновенно засыпал. Мускулы ныли от непосильной работы, руки казались покрытыми сплошными нарывами. Нередко при обрубке гаек молоток срывался, и руки мои покрывались кровью. Но в заводскую лечебницу с этим не ходили; я засыпал кровоточащие места толченым мелом, завязывал грязной, промасленной тряпкой и продолжал работу.

Заводская обстановка производила удручающее впечатление. Рабочего оскорбляли на каждом шагу. Мастер ругался всяческими словами. Нередко нас, учеников, били, да и не только учеников. Однажды мастер палкой избил литейщика. В другой раз мастер заставил седого старика делать с палкой ружейные приемы. Нас, подростков, мастер заставлял в ноги ему кланяться.

— Я вам богом поставлен,— говорил он.

Нередко люди становились калеками или погибали, как мой отец. При мне двое мастеровых остались без глаз, выжженных огненными стружками. Механик заставлял нас рукой на ходу надвигать ремень на шкив.

Работа отнимала все силы. В семнадцать лет я обнаружил, что не могу делать быстрых движений, задыхаюсь, не могу даже танцевать. Мои ноги стали кривыми, спина согнулась, грудь стала впалой.

Такую жизнь нельзя было терпеть. В пятнадцать лет я стал участвовать в революционном движении. С тех пор я и мои товарищи твердо шли к намеченной цели, не сворачивая со своего пути.

Находились люди, которые сомневались в нашей победе. Они говорили:

— Помилуй бог, разве нам справиться с такой силой? У царя армия, жандармы, полиция. Фабриканты и помещики все заграбастали. У них прислужников не счесть. Можно ли бороться с царем? Он триста лет правит.

Но так думали не все. С каждым годом все больше рабочих включалось в революционное движение. В 1894 году в местечке Слуда, в четырех километрах от Нижнего Новгорода, была первая маевка. В следующем году маевка собралась на Моховых Горах, и была она более многолюдной. На третью маевку сошлись за Волгой, против Сормова. Первомайские сходки сормовичей происходили ежегодно. В 1899 году рабочие устраивали стачку. 1 мая 1902 года в Сормове состоялась многолюдная революционная демонстрация. На Главной улице собралось более пяти тысяч человек. Пели революционные песни. Раздались крики: «Долой царя!» Впереди с большим

знаменем шел я. На красном полотнище было написано: «Долой самодержавие!» За мной братья Барановы несли еще два знамени.

Шли мы по направлению к Дарьинской проходной и пели «Варшавянку». Вдруг раздался барабанный бой. Из переулка вышла рота солдат. Мы продолжали идти вперед, безоружные против вооруженных. Офицер скомандовал: «Ружья на руку!» Мы все шли и пели. Ни один товарищ не покинул рядов.

Уже дошли мы до ручья, пересекавшего улицу, когда солдаты со штыками наперевес бросились на нас. Кто-то потянул мое знамя к земле. Я крикнул: «Я не трус!» — и с высоко поднятым знаменем перепрыгнул через ручей и пошел на приближающиеся штыки.

Но ни один штык меня не коснулся. Рота остановилась без команды. Штыки поднялись кверху. Потом раздалась какая-то команда...

Очнулся я в тюрьме. Били, пытали. Потом состоялся суд, приговорили к вечному поселению. Сослали в Восточную Сибирь, откуда бежал.

Сормовичи всегда шли в первых рядах своего класса. В декабре 1905 года они покрыли Сормово баррикадами. Своими руками они сделали пушки и смело встретили царское войско. Несколько дней длился бой. Баррикады покрылись кровью. Сормовичи защищались до последнего дыхания.

И после подавления вооруженного выступления сормовичи не сдались. Они продолжали борьбу, устраивали забастовки, политические демонстрации.

И когда в октябре 1917 года сюда докатилось известие о революции в Петрограде, сормовичи поднялись как один. Они устанавливали Советскую власть в своем районе, в Канавине, в Нижнем Новгороде, в Нижегородской губернии. Они дрались с белогвардейцами, подавляли эсеровско-кулацкие мятежи, помогали москвичам устанавливать Советскую власть в столице.

Сильно опустело в эти годы родное Сормово. Рабочие ушли на фронты, они дрались с Колчаком и Деникиным, защищали Царицын и Петроград, участвовали во взятии Перекопа и в сражении под Ка-

хóвкой. Особо отличалась в боях за родину так называемая «Шестая сормовская комсомольская лихая рота».

Оставшиеся в Сормове рабочие день и ночь готовили вооружение для молодой Красной Армии.

Голодно и холодно было в Сормове в эти годы. Дома стояли нетоплеными, в цехах гулял ветер. На день давали осьмушку хлеба. Обуться было не во что, пальцы выглядывали из сапог.

Враг приближался. Белые захватили Казань. По Волге плавали их корабли.

Положение было очень тяжелым. Но разве кто пал духом, разве у рабочих опустились руки, разве они потеряли веру в победу? Нет! Сормовичи сжимали зубы и подтягивали ремни. Они все ожесточеннее работали для фронта. И они добились победы.

Веру рабочего класса в свои силы неустанно крепил большевистская партия. Могли ли мы победить, если бы не верили в свои силы, не напрягали всю энергию, не использовали всех возможностей? Конечно, нет. Сила рабочего класса в том, что он не боится трудностей и умеет их преодолевать.

Мы завоевали вам счастье. Вы узнали золотую пору детства, нужда неведома вам. Родина заботливо растила и воспитывала вас. Все лучшее, что у нас есть, было ваше: парки, дворцы, школы.

Сормова не узнать. На месте хибарок выросли многоэтажные дома. Там, где стояли кабаки, разбиты сады и парки, выстроены замечательные школы, театры, дворцы. Все это — ваше достояние.

Чтобы сберечь эти завоевания, наши товарищи сейчас дерутся с немецкими захватчиками. Сормовичи дерутся и в Сталинграде, и под Воронежем, и в районе Моздока. Снова льется рабочая кровь. Сормовичи не на жизнь, а на смерть дерутся со своими заклятыми врагами — фашистами.

Снова нас хотят сделать рабами. Не выйдет! Фашисты хотят поставить на улицах гестаповцев. Хватит! Навидались мы жандармов.

Много страшного видел я в годы царизма: били меня в тюрьмах, пытали, в Сибирь ссылали, трижды приговаривали к смертной казни. Но жить под гит-

леровцами страшнее. Нет таких мук, которым не подвергли бы они советского человека. Помните об этом всегда! И пусть ваши юные сердца зажгутся ненавистью к проклятым захватчикам-фашистам. Пусть ненависть даст вам новые силы, чтобы руки ваши не знали усталости в труде для фронта.

Сейчас, когда ваши отцы и старшие братья ушли на фронт, выросла ваша ответственность. Вы хозяева производства и отвечаете за родной завод.

Я, старый сормович, даю вам отцовский наказ: свято храните революционные традиции русского рабочего класса! Будьте достойными продолжателями дела своих старших товарищей.

Трудитесь так же самоотверженно, как трудились ваши отцы в годы гражданской войны, стойко переносите лишения, смело преодолевайте трудности.

Работайте по-стахановски, будьте мастерами своего дела! Рабочий любит свое дело, гордится своей профессией.

Не отставайте от товарищей. Если ты сегодня сработал меньше соседа, тебе должно быть стыдно. Неужто ты хуже его? Покажи, что это не так. Завтра обгони соседа!

Про искусного мастера в старину говорили: «Это мастер на все руки». Надо, чтобы и у вас была рабочая сноровка, умение работать на всех операциях в своих цехах.

Будь трудолюбив, дорожи каждой минутой на производстве. Не будь неряхой! Береги свой инструмент — это твое оружие. Работай на славу, выполняй свои обязательства. Рабочий ценится за дело, за умение, а не за красивые слова.

Если у тебя что-нибудь не ладится, не отступай. Помни пословицу: «Терпение и труд все перетрут».

Помогай товарищу. Видишь — у соседа что-нибудь не так, помоги непременно, дай совет, покажи на деле, поделись своим опытом. Если кончил работу раньше товарища, помоги ему быстрее справиться с заданием. В следующий раз он тебе поможет. Взаимная выручка — великое дело. Сила рабочего класса в солидарности.

Слушайте, друзья мои, стариков. Уважайте своих старших товарищей. Присматривайтесь, как работают

старые производственники, прислушивайтесь к их голосу, перенимайте их опыт.

Вот вам советы старого русского рабочего.

Помните, ребята, война идет суровая. Она не щадит слабых, не прощает ошибок. На войне нельзя медлить. Если ты вовремя не выстрелишь, враг выстрелит раньше. Это касается и вас, друзья! Своей работой для фронта вы участвуете в победе. Если ты не выполнишь норму, завод не даст фронту всего, что нужно. Без винтика и пушка не стреляет и самолет не летит.

Друзья мои! Родина поставила вас у станков, а это ведь тоже боевой рубеж. Каждый точный удар молота бьет без промаху в сердце врага. Чем больше деталей сделает каждый из вас за смену, тем крепче он ударит в этот день по фашистам. Работайте так, чтобы фронтовики в день 25-й годовщины Октября сказали вам: «Спасибо!»

А мы, старые рабочие и большевики, скажем: «Вот достойные преемники наших революционных традиций! Сыны наши и дочери, мы гордимся вами!»

Огонь Прометея

СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Мой мозг — экран.
В нем рой картин запечатленных.
Там голод, нищета,
Тяжелый рабский труд.
Там круг друзей,
Свободой вдохновенных,
Аресты и тюрьма,
И тяжкий царский кнут...
Там первая любовь,
И девушка там с черною косой,
И радостный,
Как солнце
После ночи темной,
Там первый баррикадный бой!

[1905—1920 годы]

НОВИЧОК

В суровую школу железных борцов,
Работы и точного знания, -

Где чуть переносят насилье оков,
Таится где пламя восстанья,
В завод мальчуган-сирота поступил
Учиться слесарному делу.
Карьеры другой ему бог не сулил —
Держалась душа лишь бы в теле.

Мальца обступили подростки кругом
И гайку в тиски завернули.
Потом показали, как бить молотком,
Друг другу слегка подмигнули:
Украдкой намазали салом боек —
Вот будет, наверно, потеха!
Неточный удар — и скользит молоток.
Парням ли сдержаться от смеха?

Удар по зубилу — удар по руке.
Слились в одну линию брови.
Он яростно рубит, хотя в кулаке
Алеет зубило от крови...
Притихли ребята: «Да он молодец!
Не хнычет, как баба, от боли.
Он бьет молотком, как заправский кузнец,
Носить будет с честью мозоли!»

Рука, как подушка, зубило в крови,
А он не моргнет даже бровью.
«Довольно, ребята, ворон не лови —
Крещен он железом и кровью!»
Все вновь за работу: стучат молотки,
Пила по железу скрежещет,
И гонят без усталости стружку станки,
А воздух гудит и трепещет.

Душа утонула от боли в слезах,
Но сдвинуты в линию брови.
И гордая радость блеснула в глазах.
Он рубит... Не вытер он крови.
Он в школе суровой рабочих-борцов
Найдет и друзей и призванье,
Поверит в невечность тяжелых оков,
В могучую силу восстанья!

Суджа, 2 марта 1923 года

ПЕРВОЕ МАЯ 1902 ГОДА В СОРМОВЕ

Посвящается сормовским рабочим

Солнце светит над улицей нежно.
Половодья людского даль.
Разливаясь, волнуясь мятежно,
Щевелится толпа. Это сталь!

Энергичны суровые лица,
Руки крепкие, словно клещи.
Тут и баба с детьми, и девица —
Белоручек средь них не ищи.

Здесь и там забралась уж на плечи:
Перед мощной рабочей толпой
Льются гордые страстные речи,
И призыв сбросить гнет вековой.

А вдали реет красное знамя,
Революции песня гремит.
Ближе, ближе. Не песня, а пламя!
Огненным языком говорит!

«Знаем-знаем, забиты мы тьмою,
Час победы еще не настал.
Но мы сбросим могучей рукою
Ненавистный труду капитал.

Наше время еще не приспело,
Надо братьев-рабочих учить,
Чтоб поднялись за общее дело,
Чтоб сумели врагов победить!»

За ручьем, ошетинясь штыками,
Показались две роты солдат.
Взять могли бы их просто руками:
Теснота — ни вперед, ни назад.

Вот уж близко. На солнце сверкают
Устремленные к бою штыки.
Демонстранты в толпе исчезают —
Их укрыли рабочих полки.

Так решили. Но красное знамя
Смело реет навстречу штыкам.
Революции будущей пламя
В нем горит на погибель врагам.

Знаменосец назад не отступит.
По закону петля его ждет.
Но смерть его подвиг искупит —
И один на врагов он идет.

Хочет он, чтоб подняли высоко
Пред толпою его на штыки,
Чтобы месть захватила глубоко
Еще темных рабочих полки.

Он идет, от восторга чуть дышит
С гордо поднятой вверх головой.
Ветер красное знамя колышет:
«Самодержцев, царей — всех долой!»

Вот сошлись. Замелькали приклады.
В грудь наотмашь враги разят.
Он стоит и не просит пощады,
Лишь глаза его гневом горят.

Переполнены тюрьмы до края —
Ждет рабочих тяжелый удел.
Но дождутся, от страсти сгорая,
Чтоб последний их бой закипел!

Суджа, 28 марта 1923 года

В ССЫЛКУ

В вечную ссылку меня отправляют —
В ночь непроглядную поезд несется.
Родина милая вдаль убегает,
Буря рыдает, злобно смеется.

Братьев тиран беспощадный терзает.
Скоро последняя битва начнется.

Дума до боли сердце сжимает;
Уже ль не в бою умереть мне придется?

*Маклаково Енисейской губернии,
март 1903 года*

ЕНИСЕЙ

За горами, среди необъятных равнин,
Где сплошной пеленой снег лежит,
В лед закованный спит исполин.
Темный лес его сон сторожит.

Кто того исполина так крепко сковал
И на спячку в снегах осудил?
То коварный мороз вероломно напал —
Вековечной свободы лишил.

Но не мог у великой реки он отнять
Весь запас ее жизненных сил —
Не хотели мятежные волны дремать,
Хоть мороз их на смерть осудил...

Долго спорили с волнами серые льды,
Заграждая им путь в островах.
Волны дружной ватагой насилья следы
Разметали, развеяли в прах.

И теперь ничего не осталось от льда —
Взяли силой свободу бойцы.
В море дальнее радостно рвется вода,
Мчатся с вестью победной гонцы.

...Так извечное зло заковало весь мир,
В лед сердца превратило людей.
Только скоро насилия рухнет кумир:
Май несет песни радостных дней.

И настанет чудесная в мире пора —
Торжество наших правых идей,
И растает сердец ледяная кора
У счастливых и вольных людей!

*Маклаково Енисейской губернии,
1 мая 1903 года*

1917 ГОД

*Посвящается
Октябрьской революции.*

Слишком —
в двадцать пять лет —
поседел.
Все ее ожидал.
Из-за тысячи верст
все смотрел,
а ее не узнал.

Надо ехать скорей,
ближе к ней.
Надо точно узнать:
кто она?
За нее ль с юных дней
я решил умирать?

Как увидел,
сгорел со стыда:
где же были глаза?
И из них,
от восторга, тогда
покатилась слеза.

Все последние силы
отдать,
возвратясь, надо ей.
Пусть придется
за то умирать
от руки палачей!

*Суджа — Петроград,
22 ноября (5 декабря) 1917 года.*

ЭПИТАФИЯ

Схватили, сковали — на площадь ведут.
На лицах их радость и злоба.
Я знаю, на помощь ко мне не придут —
Казнят, закопают без гроба.

О, родина-мать, я прощаюсь с тобой!
В глаза мои смерть заглянула.
На мощной груди ты меня успокой,
Чтоб в ней моя жизнь потонула...

Я с юности силы свои напрягал
В борьбе за святую свободу.
И лишь об одном неустанно мечтал,
Чтоб власть вся досталась народу.

Хоть царские слуги терзали меня,
Наотмашь прикладами били,
Морили в подземной тюрьме без огня,
Но веру в мечту не убили.

В истерзанной битвой, разбитой груди
Пылало всегда вдохновенье:
Я верил, настанут счастливые дни,
Народу придет избавленье.

Из мертвого края я смело бежал,
Рискуя своей головою,
И красное знамя опять поднимал.
Над рабски покорной толпою!

Я снова в руках беспощадных врагов,
И друг мой меня не услышит.
Как тихо! Ловлю лишь бряцанье оков,
Да ветер веревку колышет.

Неужто путь кончен и миг настает,—
Земля меня навеки сдавит...
Но верю, всемирное братство придет,
Идей наших мир не оставит!

Суджа, 1918 год

НОЧЬ ПЕРЕД РАССТРЕЛОМ

В тюрьме у денкинцев

Крепки тюремные мрачные стены,
Злоба сильна беспощадных врагов.

Ждет меня гибель от низкой измены,
Смерть лишь избавит меня от оков.

С детства я бился с врагом неустанно.
Я не жалею, что много страдал.
Пусть я погибну в застенке бесславно,
Жить будет братства святой идеал!

Если б судьба мне сулила свободу,
Если б враги мне позволили жить,
Снова хотел бы служить я народу,
Снова хотел бы страдать и любить.

Нет, мне не жить. Палачи появились.
Вот уж гремит, отворяется дверь.
Лица от злобы у них исказились,
И все на подбор — к зверю зверь.

Клонится к вечеру день догорая.
Меркнет зари угасающий свет.
Я умираю, моя дорогая.
Шлю тебе сердца последний привет.

Смотрят в лицо мне ружейные дула.
С грохотом в сердце несется свинец...

Суджа, сентябрь 1919 года

ДОЧЕРИ ПРОЛЕТАРИЯ

Бьемся мы с капиталом уж тысячи лет
За весь мир.
Лишь теперь пошатнулся и рухнуть готов
Тот кумир.

Рождены мы для битв. Крепче волю свою
Закаляй!
На заре юных дней от печали своей
Не рыдай!

Не затем пролетарии брошены в мир,
Чтоб грустить.

Буржуа лишь под стать над собою вздыхать,
Слезы лить.

Пусть удары судьбы поражают тебя
Все грозней.
Смейся ты веселей и кричи: «Ну, еще!
Ну, сильнее!»

Пусть великим примером послужит тебе
Прометей!
Ты под пыткой без стона сумеешь умереть
За людей!

Нам не кроткие лани — орлицы нужны,
Чтоб разить!
И в грядущем последнем бою мы должны
Победить!

[Суджа, 2 января 1922 года]

* * *

Друзья, мы в битвах поседели!
Нам смерть грозила каждый час,
Держаться дружно мы умели —
Теперь сменили внуки нас.

Зажечь сердца их мы успели —
Поднялись новые бойцы.
И песни те, что мы запели,
Теперь гремят во все концы.

Идут железными рядами,
Вселяя в трутней мира страх.
И вот уж двигают горами —
Бессмертна молодость в веках!

Суджа, 8 декабря 1922 года

КАЗНЬ МАТРОСА

Он пальцы рук своих скрестил,
Потом на голове сложил —

Всю грудь могучую открыл.
Спокоен, как гранит, он был.

Солдат построил офицер,
Велел взять ружья на прицел.
Ему в ответ: «Мы никогда
Стрелять не будем без суда!»

Решили стражников позвать —
Они привыкли убивать.
И скоро залп загрохотал.
Матрос — в крови, но устоял.

Вновь офицер команду дал —
И залп опять загрохотал.
Матрос, пробитый, пал к стене
И грозно замер на земле.

Громадный, бледный, весь в крови,
С глубокой раной на груди —
Так величаво молчалив,
Он жутко был красноречив.

Художник слова Демосфен
Среди своих афинских стен
Всею красноречием своим,
Наверно, не сравнялся б с ним.

Суджа, 6 февраля 1923 года

ГИМН ПРОЛЕТАРИЮ

Неустанно, как время, вперед и вперед,
Поднимаясь и падая вновь,
Как судьба, непреклонно он к цели идет
Через грозы, страданья и кровь.

Он на сотне наречий теперь говорит.
Он везде — он и там, он и тут.
И единою страстью в нем сердце горит,
Коммунизмом — цель эту зовут.

Он решил от хозяев и алчных попов
Беспощадно очистить весь край.
Схоронил он и старых и новых богов —
На земле созидает свой рай.

Как титан, он коммуны трудом создает,
За работой чуть ест и чуть спит,
Неустанно мир старый он молотом бьет,
Капитала твердыни крушит.

Больше жизни своей братство он бережет.
Лишь запахнет военной грозой —
Тяжкий молот бросает, винтовку берет,
Словно сокол, несется он в бой.

У него от победы не слабнет рука,
Лишь остался бы только живой.
Как железный, он снова стоит у станка,
Добывает руду под землей.

Крепче грани алмазной душа у него —
Он в горниле труда закален.
Где бы ни был — не бросит поста своего.
В битвах жизни для битв он рожден!

Суджа, 10 февраля 1923 года

РАБОЧИЙ И БОГ

К рабочему в гости бог старый зашел:
«Знать, плохо тебе жить, бедняга?
Забыл ты меня и из церкви ушел.
Дала ль тебе счастье отвага?
Ты, вспомни, я мир для тебя сотворил,
Пришлось мне шесть дней потрудиться,
Душою бессмертной тебя одарил.
Ты должен всю жизнь мне молиться!»
«Здорово!.. Из всех своих сил
И я новый мир строю тоже —
Все руки в мозолях. А ты их набил?
Уйди, буржуазный боже!»

Суджа, 15 февраля 1923 года

КРАСНЫМ ВОЙЦАМ ГЕРМАНИИ

Вновь душит коммуну дракон-капитал.
Вожди под арестом,
Вожди под арестом.
К оружью, товарищ! День битвы настал
С кровавым трестом,
С кровавым трестом.

Стучат пулеметы и рвется шрапнель
Со свистом, с треском,
Со свистом, с треском.
Сверкает штыками вдали наша цель
Холодным блеском,
Холодным блеском.

Идут батальоны бойцов в грозный час.
Левой, левой!
Левой, левой!
Кто первый в атаку пойдет из вас?
Самый смелый!
Самый смелый!

Суджа, 6 марта 1923 года

МАТЬ

Человек!..

Он миры открывает и сам их творит
В царстве мысли, искусства, науки.
Прометей огонь в нем все ярче горит,
Шар земной подает ему руки.

Необъятное может он мыслью объять.
Его лозунг: «Умри иль достигни!»
Но его создает вечно женщина-мать,
Чистый пламенный луч нашей жизни.

То она нам рождает героев-борцов,
Красоты и ума исполинов,
Дарит миру она матерей и отцов
Всех рабочих — труда властелинов.

Берегите ее как прекрасный цветок,
Не мешайте творить Человека!
В ней прогресс, в ней Коммуны росток
Наших дней и грядущего века.

Суджа, 8 марта 1923 года

БАЛЛАДА О ДВУХ КУРГАНАХ

В поле под Бахмачем есть две могилы.
Насмерть там бились враждебные силы.
Не уступая ни пяди земли,
В землю холодную все полегли.

В первой могиле, как братья, лежат
Две с половиною сотни солдат.
Все они — красные, дети труда.
Взяли их в плен беляки-господа.

«Эй вы, мужицкая красная сволочь!
Белому войску пойдете на помощь?..»
«Землю и волю назад не сдадим,
Смертью своею, но вас победим!..»

Чтобы развеять господскую скуку,
Красным придумали лютую муку:
Выстроен конный казачий отряд,
Пленных раздели, поставили в ряд.

«Дать полверсты им. А вы — не зевать,
Каждый казак одного должен взять!
Если сумеет кто в лес убежать,
Значит, молилась жена или мать!»

Вот по приказу раздетые люди
В разные стороны, выпятив груди,
Быстро бегут... И коней горяча,
Рубят, догнав их, казаки сплеча.

Все перебиты, — и лишь невредим
Пленник молоденький в поле один.

Быстрый, как ветер, как горный олень,
Он ускользает от сабли как тень.

Лес уже близко: там жизнь и свобода.
Миг для него — словно долгие годы.
Сабля сверкает, сабля свистит —
Прыгнет он в сторону, снова бежит...

Пал и последний, — все в землю зарыты,
Белыми быстро они позабыты:
Зверствам своим потеряли и счет,
Не ожидая, что ждет их расчет.

Хмуро крестьяне на казнь ту смотрели,
В злобе бессильной зубами скрипели,
Гневные слезы у многих лились —
Мстить без пощады все поклялись.

Последний труп в поле еще не остыл —
Белым крестьяне ударили в тыл,
Местью пылая за жен и детей,
За землю свою и своих сыновей.

Белых не спас их воинственный жар,
Был неожиданным этот удар.
Ночь опустилась — сто сорок дворян
Стали добычею местных крестьян.

Рядом стоят два высоких кургана —
Лежат два навеки враждебные стана.
Вольный ветер над ними летит,
То нежно шепчет, то грозно гудит!

Суджа, 1 декабря 1923 года

ВОЖДЬ ПРОЛЕТАРИАТА

Влачили жизнь мы долгими годами
Покорными и жалкими рабами.
Ильич поднес нам ковш воды живой:
Мы ожили и ринулись на бой.

Он наши мысли в кровь и плоть облек;
Он все предвидел впереди; он смог
Стремленья, вспышки превратить в поток,
Пожаром ярким весь зажечь Восток,

Он умер. Но у нас не льются слезы,
Кровавые давно их высушили грозы.
Пушкой печальный марш играют трубы:
Сомкнем ряды, сильнее стиснем зубы.

Его нам скульптор так изобразит:
Ильич серп с молотом в руке соединит,
Он наверху в одно слился с волной
Рабочих и крестьян, идущих в бой.

Рукою твердой маску он сорвал
Со всех, кто класс рабочий предавал;
Одно мы с ним! Он с нами неделим!
И с ним пролетарьят неодолим!

Кто говорит: он умер? Вместе с нами
Он вечно будет жить, расти с годами.
Над миром раздается мощный клич:
Живет наш пролетарский вождь Ильич!

Москва, 26 января 1924 года

ПАРИЖСКИМ КОММУНАРАМ

Спят давно под землею Парижа бойцы —
Наши братья по духу, Коммуны отцы.
Но их мертвый язык и теперь говорит,
Их душа все живет и огнем в нас горит.

Чтить их память мы будем с любовью всегда,
Не изменим мы ей никогда!
Как они, кровь до капли свою отдадим,
Иль умрем, иль Коммуны врагов победим!

Англичанин, германец, поляк и француз —
Все войдем мы в могучий и братский союз.

На врага мы поднимем рабочий наш мир —
Золотой и кровавый погибнет кумир!

Наших братьев бесстрашных исполним завет:
Будет править Землею рабочий Совет!
Будет реять над миром лишь знамя труда,
Капитала жрецы, да падут навсегда!

Спят давно под землю Парижа бойцы —
Наши братья по духу, Коммуны отцы.
Но их мертвый язык и теперь говорит,
Их душа все живет и огнем в нас горит!

Москва, 18 марта 1924 года

ЗАВЕТ СТАРОГО БОЙЦА

Я стар, мое ослабло тело,
Лежу нередко чуть дыша.
Но мысль мелькнет: а наше дело?
И снова рвется в бой душа!

Я стар и сед, но духом молод,
Живет отвагой прежней ум.
Ни тяжкий труд, ни боль, ни голод
Не усыпили прежних дум.

Все та же мысль меня тревожит:
Когда придет Коммуны день?
Никто, ничто нам не поможет
Подняться к ней ни на ступень.

Все-все должны мы сами справиться.
Мы рук не смеем опускать!
Нет-нет, не можем мы оставить
Коммуны мировую рать!

Наш долг: крестьян, рабочих сблизить.
По всей земле дать бой врагам...
Чтоб хоть на миг тот день приблизить,
Я кровь и жизнь свою отдам!

Суджа, 20 августа 1924 года

БЕССМЕННЫЙ ЧАСОВОЙ

*Посвящается соратнику по революционной борьбе
А. И. Пискунову*

Бессменный стоит на посту часовой,
Готовый на труд и готовый на бой.
Хотел бы весь мир он по-братски любить,
Но должен врагов беспощадных разить.

Стоит он и двадцать, и тридцать лет,
Но смены не ждет он —
Ему смены нет!..
И с каждым ударом по слугам тирана
В груди его глубже становится рана.

И вот, весь истерзанный тяжелой борьбой,
Пал верный товарищ с бессмертной судьбой.
Без вахты октябрьской стране жить нельзя,
Бессменную вахту продолжим, друзья!
Суджа, 21 августа 1924 года

КОММЕНТАРИИ

ПЕТЬКА ИЗ ВДОВЬЕГО ДОМА. АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Автобиографическая повесть о детстве и отрочестве революционера была написана П. А. Заломовым по совету А. М. Горького как своеобразный пролог к повести «Мать». Почти полвека рукопись хранилась в семейном архиве Заломовых, и лишь в семидесятые годы она была извлечена из него и литературно обработана А. Г. Никитиным. Впервые вышла отдельным изданием в 1977 году в городе Горьком. Второе почти идентичное издание повести увидело свет в 1983 году в издательстве «Советская Россия» в Москве.

В новое издание впервые включены XXVI глава и другие дополнения, взятые из оригинала повести.

Стр. 41. *...на завод Колчина...* — Купец Колчин, открывая буксирно-пассажирскую линию от Нижнего Новгорода до Перми, в 1857 году основал механический завод для ремонта собственных судов и выполнения заказов. У Колчина работал отец А. М. Горького — столяр и драпировщик Максим Савватиевич Пешков. После смерти Колчина завод перешел по завещанию к Курбатову. На курбатовском пароходе «Добрый» служил посудником юный Алеша Пешков.

Их у него уже три... — Старшая дочь Елизавета родилась в 1869 году, Александра — в 1871-м, Ольга — в 1873 году. Первый сын Сергей родился в 1875 году, умер в конце 1876-го. (Сообщила Г. П. Заломова.)

Стр. 42. *Механик Василий Иванович Калашников...*— На сохранившемся здании бывшей заводской конторы установлена мемориальная доска: «Здесь, на заводе, с 1870 по 1889 и с 1895 по 1898 гг. работал выдающийся русский механик, новатор в речном флоте Василий Иванович Калашников». Будучи механиком завода, Калашников сконструировал экономичную пароходную машину тройного расширения, приведя в изумление весь судостроительный мир. Среди других его изобретений — знаменитая форсунка, которую отливал А. М. Заломов со своим подручным.

Стр. 43. *...построил крохотный домишко...*— Деревянный домик мещанина Ивана Золотова сохранился до наших дней, правда, в сильно перестроенном виде (ул. Кошелевская слобода, 14). Расположен на крутом полусклоне волжского берега, недалеко от бывшего завода Колчина.

Стр. 44. *...его записали.*— В то время паспортные книжки выдавались при призыве на военную службу.

...верстах в четырех от слободы...— по всей видимости, в районе Нижнего базара, напротив Рыбного переулка.

Стр. 45. *...на девятнадцатилетней Анне...*— В опубликованной до сих пор литературе о семье Заломовых говорится, что Анна Кирилловна родилась в 1849 году, без указания точной даты рождения. При подготовке к изданию повести был обнаружен паспорт А. К. Заломовой, выданный ей в 1925 году, где указано, что она родилась 5 октября 1850 года (по новому стилю). Умерла Анна Кирилловна на 88-м году жизни — 7 марта 1938 года.

Стр. 49. *Квартира в конце Набережной улицы...*— имеется в виду флигель во дворе дома Весовщиковых (ныне Верхне-Волжская набережная имени А. А. Жданова, 20).

Стр. 51. *...Александрия Яковлевна Гаврюшова...*— Была крестной матерью Варвары Кашириной, матери А. М. Горького, которая родилась в этом доме Гаврюшовых в 1844 году. Семьи Гаврюшовых и Кашириных находились в родственных отношениях, приехали из Балахны в Нижний в первой половине XIX века.

Мальчик родился третьего мая 1877 года.— Дата приведена по старому стилю (по новому стилю — 15 мая 1877 года). Умер П. А. Заломов 18 марта 1955 года в Москве. В Государственном архиве Горьковской области сохранилась метрическая книга Троицкой Верхнепосадской церкви Нижнего Новгорода с подлинной записью о рождении Петра Заломова: «1877 года, мая третьего дня у крестьянина Кошелевской усадьбы Ельнинской волости Нижегородского уезда Андрея Михайлова Заломова и жены его Анны Кирилловны родился сын Петр». (Фонд Нижегородской

духовной консистории, оп. 3, д. 589, л. 946 об.). Публикуется впервые.

...на высокую гору... — имеется в виду все тот же флигель (малый) во дворе дома Весовщиковых на Откосе.

Стр. 53. *...на Жуковскую улицу...* — Там находилась усадьба Гаврюшовых и жила бабушка Петьки — Александрия Яковлевна. Деревянный рубленый дом сохранился до наших дней (ныне ул. Минина, 42). В то время усадьбы Гаврюшовых и Весовщиковых, у которых жили Заломовы, имели единый проходной двор. В глубине его находились, кроме двух флигелей, кузница и баня.

Стр. 61. *Читай богородицу!* — молитва в честь библейской непорочной девы Марии, матери сына божьего Христа.

Стр. 63. *...по длиннейшему пологому съезду.* — Речь идет о Казанском съезде — дороге для спуска с Сенной площади (недалеко от нее дом Весовщиковых) к Волге и заводу Колчина.

Стр. 64. *Опоки* — обычно металлические ящики без дна, в которых помещаются земляные формы для отливки деталей из расплавленного металла.

Стр. 65. *Раскаленный тигель* — емкость из огнеупорной глины; применяется для плавки металла.

Литники опок — отверстия, через которые расплавленный металл заливается в земляные формы.

Стр. 70. *Село Печеры* — расположено ниже по течению Волги, за Кошелевской слободой и Печерским монастырем.

Стр. 72. *Апокалипсис* — раннее христианское каноническое произведение (откровение апостола Иоанна Богослова) о страшном суде и конце света.

Стр. 73. *Саваоф* — одно из названий христианского бога-отца.

...Как Стеньку Разина! — Руководящей верхушкой русской православной церкви были преданы анафеме (проклятию) вожди народных восстаний Иван Болотников, Степан Разин, Емельян Пугачев.

В ночь на крещение... — церковный праздник (первая половина января), установленный в честь крещения мифического Христа пророком Иоанном.

Стр. 75. *...от паралича сердца.* — Анна Кирилловна указывала на другую причину смерти мужа: «Умер он тридцати девяти лет, отравившись газами» (Семья Заломовых, с. 109). Наверное, сказались здесь и тяжелая работа, и ядовитые газы медной литейки, и запой вместе взятые.

...еле уловимую фальшь... — Впоследствии Анна Кирилловна говорила об этих днях: «Я не могла плакать. Горя в моей жизни

было так много, что оно иссушило слезы...» (Семья Заломовых, с. 109).

Стр. 77. *Осталось семь ртов...*— Кроме Петьки семи с половиной лет и старших дочерей — Елизаветы, Александры и Ольги, на руках у А. К. Заломовой в то время находились шестилетний Саша, четырехлетняя Настя и двухмесячная Варя.

...должен был родиться еще один ребенок.— Здесь смещены события: Варя родилась осенью 1884 года, еще при Андрее Михайловиче, который умер 25 января 1885 года (по старому стилю).

Стр. 80. *Семишник* — двухкопеечная монета.

Стр. 81. *Верхний базар* — базар в нагорной части города на месте нынешней площади Минина и Пожарского.

Большая Печерская — теперь улица Лядова.

Малая Печерская — теперь улица Пискунова.

Стр. 84. *...от умершего первого мужа.*— Александра Кирилловна в пятнадцать с половиной лет вышла замуж за 34-летнего Весовщикова. В 22 года она уже была вдовой, но вскоре снова вышла замуж. (Сообщила В. П. Жукова — дочь Ольги Андреевны Заломовой, внучка Анны Кирилловны.)

...отдала сестре Анне бесплатно.— Это произошло после смерти Андрея Михайловича в 1885 году. До этого сначала малый флигель, а потом большой снимались Заломовыми за плату.

...одна дочь.— Впоследствии Петр Заломов дружил со своей двоюродной сестрой Анной Михайловной Весовщиковой. Осенью 1897 года в ее квартире на Набережной собирался марксистский кружок.

Стр. 89. *Архангел Михаил* — согласно христианской мифологии — высший ангел, который разъезжает по небу в огненной колеснице и поражает огненными стрелами злых духов.

...Оля рассказывает про аленький цветочек — сказка С. Т. Аксакова «Аленький цветочек».

Стр. 91. *...в церковноприходскую школу.*— располагалась в приходе Троицкой церкви, недалеко от дома Весовщиковых, где в то время жили Заломовы. Школа состояла в ведении церкви и приходского духовенства.

Стр. 94. *«Родное слово»* — книга для чтения в начальной школе, составленная талантливым русским педагогом К. Д. Ушинским.

...читает про тетерева и лисицу.— басня Эзопа «Лисица и тетерев» в пересказе Л. Н. Толстого.

Стр. 96. *Наль и Дамаянти* — герои популярной древнеиндийской поэмы «Махабхарата», повествующей о любви и верности

Нале его жены красавицы Дамаянти. Рассказ о Нале был переложен на русский язык поэтом В. А. Жуковским.

Стр. 98. *Страстная неделя* — последняя неделя перед весенним церковным праздником, пасхой, во время которой, согласно евангельской легенде, Христос испытывал страсти (страдания), будучи распят на кресте.

Говенье — один из обрядов православной церкви, подготавливающий верующих к таинству исповеди. Во время говенья, в частности, запрещается есть мясо.

Вечером читают двенадцать евангелий... — общее название двенадцати книг, повествующих о жизни мифического Христа.

Стр. 99. *Ванька Рязанов* — школьный товарищ Петьки, работавший впоследствии вместе с ним на заводе Курбатова; умер от чахотки во время пребывания Заломова на Урале в 1898—1899 годах.

Стр. 101. *Епитимья* — наказание за грехи, назначаемое священником во время исповеди: например, продолжительные молитвы или отбивание множества поклонов.

Стр. 105. *Клирос* — место для певчих в церкви на возвышении по обеим сторонам алтаря.

Стр. 107. *Причащение* — религиозный обряд, связанный с пробой «тела христового» (просфоры) и «крови христовой» (церковного вина) якобы для избавления от грехов и вечного спасения.

Просфора — маленькая лепешка, выпеченная из двух кружочков теста и предназначенная для церковного обряда причащения.

Стр. 109. *Заутреня* — ранняя церковная служба по праздничным дням.

Стр. 110. *Паперть* — крыльцо перед входом в церковь.

Стр. 111. *Плащаница* — ткань с изображением тела Христа в гробу.

Алтарь — главная (восточная) часть церкви, отделенная иконостасом от общего помещения.

Стр. 117. *Селедки проклятые! Фараоны!* — простонародное прозвище полицейских в дореволюционной России.

Стр. 118. *Кизеветтерская улица* — была названа в честь нижегородского архитектора; теперь улица Фрунзе.

Стр. 120. *Кизеветтерские казармы* — находились в начале одноименной улицы. Деревянные двухэтажные здания разобраны в 1972 году.

Стр. 129. *...знаменитый хор миллионера Рукавишникова...* — Хор Троицкой церкви на Старой Сенной площади содержался купцом Рукавишниковым и имел всероссийскую известность. Революционер С. И. Мицкевич вспоминал: «В этом хоре пели тенор

Кошиц и бас Трезвинский, которые потом были первыми солистами Московского Большого театра. Хор исполнял такие песнопения русских композиторов (Бортнянского, Чайковского и др.), которые вследствие их «светскости» были запрещены для исполнения в церквах, но богатому купцу Рукавишникову это сходило с рук. Я был усердным слушателем этого чудесного хора». (Мицкевич С. И. Революционная Москва. М., 1940, с. 19). Вторым тенором в знаменитом хоре был Александр Каширин, сын Якова Каширина, дяди А. М. Горького.

«Веделевское покаяние» — популярное произведение для церковного хора, автором которого был Артемий Ведель (1767—1806), украинский композитор и хоровой дирижер.

Стр. 140. *По царским дням...* — то есть в дни именин царя и его коронации, которые в дореволюционной России отмечались как официальные праздники.

Стр. 143. *...как на наследнице церковного места.* — Согласно порядкам той эпохи, преимущественное право на занятие места священника принадлежало тому из служителей культа, кто женился на дочери умершего настоятеля церкви.

...рукополагали в чин священника. — Обряд возведения в священнический чин, во время которого архиерей клал руки на голову будущего священника.

Крестное знамение — изображение верующим креста рукой на себе или на каком-нибудь предмете. Крестному знамени приписывали волшебную силу.

Стр. 144. *...открытие Нижегородской ярмарки...* — имеется в виду одна из ежегодных традиционных летних ярмарок, перенесенных еще в 1817 году из Макарьева в Нижний Новгород.

...плашкоутный мост — наплавной разводной мост через Оку, постоянно обновляемый, просуществовал до 1933 года, пока не был заменен металлическим, соединившим центральную нагорную часть города с Канавином.

Самокатная площадь — ныне площадь Ленина в Канавинском районе города Горького. Здесь, рядом со знаменитой Стрелкой, местом слияния Волги и Оки, находились Нижегородская ярмарка и Сибирские пристани.

Паноптикум — музей или собрание восковых фигур и других редкостей.

Стр. 147. *Ковалиха* — Ковалихинская улица, в одном из домов которой 28 марта 1868 года родился А. М. Горький.

Стр. 149. *...рядом с курбатовскими ледорезами.* — Перед заводом Курбатова не было естественного затона, а потому была устроена небольшая искусственная гавань для стоянки отремонтируе-

мых пароходов и барж. Чтобы весной их не повредил идущий по Волге лед, а летом — сорвавшиеся с якорей суда или плоты, гавань огораживали слева мощные быки-ледорезы.

Софроновская пристань — главная пристань Нижнего Новгорода; ныне район площади Николая Маркина.

Стр. 150. *...вдовый дом на несколько сотен семей.* — Дом был построен в основном на средства нижегородского богача купца-старообрядца Н. А. Бугрова. По воспоминаниям В. А. Заломовой, младшей сестры Петра Андреевича, в доме помещалось 250 семей, а ребят было больше тысячи.

...напротив девичьего монастыря... — имеется в виду Крестовоздвиженский женский монастырь, давно упраздненный; ныне район площади Лядова.

Стр. 151. *«Вокруг света»* — журнал, издававшийся в Петербурге с 1861 года.

Стр. 156. *...палатки девятого и десятого полков...* — На этом месте теперь расположены учебные корпуса Горьковского государственного университета.

Стр. 157. *...гусьяны и беляны* — баржи особой конструкции для сплава строительного леса и дров с верхней Волги, Камы и Оки.

Стр. 158. *Рашень* — самодельная снасть для донного лова раков.

Стр. 163. *В ней рассказывалось о четырех днях войны...* — Рассказ В. М. Гаршина «Четыре дня» впервые был опубликован в 1877 году. Из-за антивоенного характера рассказа читать его в казармах запрещалось.

Стр. 166. *Телячья улица* — ныне улица Гоголя.

...у книготорговца на Балчуге... — на бывшем толкучем рынке в Почаинском овраге у Лыковой дамбы.

Марьина роща — теперь обширный район новостроек в южной части города.

Стр. 170. *...человек пять золоторотцев...* — нижегородских босяков, не имевших ни постоянной работы, ни постоянного места жительства.

Стр. 171. *Большая Покровка* — главная улица Нижнего Новгорода; ныне улица Свердлова.

Арестантская площадь — называлась по расположенным на ней в ту пору зданиям арестантских полуроток; теперь площадь Максима Горького.

Благовещенская площадь — ныне площадь Минина и Пожарского.

Тихоновская улица — ныне улица И. Н. Ульянова.

...где и находилось уездное училище.— Здание училища, ранее двухэтажное, надстроенное в советское время; расположено напротив городского Дворца пионеров и школьников.

Стр. 172. ...на Черном пруду...— Этот пруд, ныне засыпанный, и окружавший его небольшой сад служили горожанам местом для гуляний; находился в районе современного Чернопрудского сквера.

Стр. 176. *Ветхий завет* — наиболее древняя часть Библии, включающая в себя около пятидесяти книг, которые носят религиозный и летописно-исторический характер.

...божественное сотворение мира...— Согласно религиозным легендам, мир был создан богом 7,5 тысячи лет тому назад, тогда как, по подсчетам ученых, возраст земного шара определяется в пределах от 5 до 7 миллиардов лет.

Стр. 187. ...по Иловайскому...— Историк Д. И. Иловайский — автор распространенных в дореволюционное время учебников по русской и всеобщей истории, носивших консервативный характер.

Стр. 189. *Лассо* — аркан со скользящей петлей, который служил снастью для индейских племен, занимающихся конной охотой.

Стр. 190. «*Детский музей*» — магазин учебных пособий на Дворянской (ныне Октябрьской) улице.

Стр. 191. ...со Звездинских прудов...— система искусственных прудов, ныне засыпанных; находились в районе современной улицы Звездинки.

Стр. 192. ...из какого-то заволжского лесного скита...— имеется в виду старообрядческий монастырь. Заволжье, в частности левый приток Волги — река Керженец, издавна служило приютом для староверов.

Стр. 195. «*Испанские студенты*» — роман ныне забытого автора приключенческих книг Андре Лори.

...роман Крестовского «*Сергей Горбатов*»...— по-видимому, речь идет об историческом романе Вс. Соловьева «Сергей Горбатов», который печатался в петербургском еженедельном журнале «*Нива*» в 1881 году (с № 1 по № 28).

Стр. 203. ...читает только Поль де Кока.— Французский писатель Поль Шарль де Кок, автор многочисленных романов о любовных похождениях молодых повес и старых холостяков.

...На Напольную улицу.— Имеется в виду не одна улица, а целая система продолжающих друг друга улиц, полукольцом опоясывавших Нижний Новгород от вдовьего дома до Сенной площади; Напольно-Монастырская, Напольно-Лесная, Напольно-Острожная и Напольно-Печерская. Тогда эти окраинные улицы являлись границей города. Ныне на их месте улица Белинского,

Стр. 205. *Кожаный Чулок* — один из главных героев приключенческих романов американского писателя Джеймса Фенимора Купера (1789—1851).

Иногда Петька ходил к ипподрому... — Имеется в виду первый Нижегородский ипподром, существовавший с 1877 по 1896 год на месте нынешнего Пушкинского сквера.

Стр. 213. «*Маленькие женщины*» — речь идет о детской сентиментальной повести «Маленькие женщины, или Детство четырех сестер» американской писательницы Луизы Мей Олкотт (1832—1888), которая во время Гражданской войны в США была сестрой милосердия.

Стр. 218. «*Всадник без головы*», «*Приключения капитана Гаттераса*» — книги американского писателя Томаса Майн Рида и французского писателя Жюль Верна.

Зюечка — лицо реальное. Впоследствии у П. А. Заломова была еще одна встреча с Зюечкой Стеблевой, которая действительно не узнала его: «...В тот момент я ясно понял, что в жены мне нужен не прекрасный трепещущий ангел..., а единомышленник по борьбе и бестрепетный мужественный товарищ» (см. воспоминания). Такой женой стала для Заломова революционерка Жозефина Эдуардовна Гашер.

Стр. 223. *...вышла замуж за столяра.* — Старшая сестра Петра Заломова Елизавета вышла замуж за сормовского рабочего Г. И. Гаринова. В их доме на Первой линии (ныне ул. Пугачева, 6) Петр жил не только в 1892 году, но и в 1900—1902 годах, когда работал на Сормовском заводе. Отсюда 1 мая 1902 года он ушел на знаменитую политическую демонстрацию.

Стр. 228. *Порецкая учительская семинария* — открыта в 1872 году И. Н. Ульяновым, отцом В. И. Ленина. Была расположена в селе Порецком ныне Чувашской АССР. Теперь в этом здании школа-интернат.

Стр. 230: *...со слесарем Степанычем...* — речь идет о Якове Степановиче Пятибратове, который входил в первый марксистский рабочий кружок Нижнего Новгорода и которого Петр Заломов называл своим первым учителем пролетарской борьбы.

МОЯ ЖИЗНЬ. ВОСПОМИНАНИЯ

Воспоминания Петра Андреевича Заломова печатались четыре раза под разными названиями: в Курске (1939), Горьком (1947), Ленинграде (1948) и Москве (1956). В настоящем сборнике воспоминания печатаются по книге «Семья Заломовых» (Сб. воспоминаний и документов. М., 1956), но с редакторскими

уточнениями в тексте. В воспоминания впервые включены частично сохранившаяся, ранее не публиковавшаяся глава «В Перми», а также несколько глав, посвященных Бутырской тюрьме и сибирской ссылке, которые были опубликованы отдельно. (Ленинградский альманах. Л., 1956, кн. 11, с. 304—314.)

Стр. 235. *На Курбатовском заводе.*— Начало этой главы здесь опущено, поскольку оно посвящено тем же событиям, что и последняя глава автобиографической повести П. А. Заломова «Петя из вдовьего дома».

Стр. 238. *«Эрфуртская программа»* — Программа Социал-демократической партии Германии, принятая на съезде в Эрфурте осенью 1891 года. Несмотря на существенные недостатки, программа в целом носила марксистский характер; она широко изучалась и обсуждалась в кружках российских революционеров.

Стр. 247. *А. С. Розанов* — студент-марксист; был выслан из Москвы за революционную деятельность и появился в Нижнем Новгороде в январе 1894 года. До своего ареста летом 1896 года играл видную роль в нижегородском марксистском подполье. В конце 1897 года выслан на четыре года в Архангельскую губернию под гласный надзор полиции.

Стр. 255. *Я слышал имена революционеров-интеллигентов...*— Нижегородцы А. А. Ванеев и М. А. Сильвин вступили в революционное движение со школьной скамьи. В 1893 году уехали учиться в Петербург. Входили в ленинский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В 1895 году арестованы одновременно с В. И. Лениным и сосланы в Восточную Сибирь, где А. А. Ванеев умер от туберкулеза. М. А. Сильвин после Октябрьской революции работал в Наркомпросе. Михаил Григорьевич Григорьев приехал в Нижний Новгород осенью 1889 года из Казани, откуда был выслан как участник марксистского федосеевского кружка. В Нижнем дважды — в 1893 и 1894 годах — встречался с В. И. Лениным. Организовал здесь первый рабочий марксистский кружок. Именно в него входил учитель П. А. Заломова — Я. С. Пятибратов. Социал-демократическая деятельность Григорьева в Нижнем Новгороде была прервана его арестом и высылкой весной 1894 года в Самару.

Стр. 275. *Василий Александрович Ванеев.*— Брат известного революционера-ленинца А. А. Ванеева (см. комментарий к с. 255).

Стр. 279. *Григорий Моисеевич Круковский* был в 1892 году (по другим данным — в 1893 году) выслан из Москвы в Нижний Новгород за революционную деятельность. Быстро установив связи с местными марксистами — А. С. Розановым, Н. А. Рукавишниковой и другими, — начал вести занятия с кружком сормовских

рабочих. В Нижний Круковский привез с собой типографию, которую хранил у себя на заводе. Это была первая в провинциальной России социал-демократическая типография. После ареста нижегородскими жандармами Г. М. Круковский заболел туберкулезом и умер в сибирской ссылке в 1895 году.

Стр. 282. *Василий Алексеевич Десницкий...*— Партийные псевдонимы — Строев, Лопатá. Активное участие в социал-демократической работе принимал с 1897 года в Нижнем Новгороде. В период 1903—1909 годов был крупным работником партии. Впоследствии от партийной деятельности отошел, став профессором-литературоведом.

Стр. 286. *...доктор Золотницкий.*— Врач Владимир Николаевич Золотницкий, лечивший А. М. Горького; один из его ранних нижегородских биографов.

Стр. 291. *В Перми.*— Глава включена в воспоминания впервые. Печатается с машинописной копии, сохранившейся в семейном архиве Г. П. Заломовой. Впервые в отрывках опубликована в альманахе «Рабочее Прикамье». Выпуск 1, Пермь, 1966. (См.: Никитин А. Г. Прототип горьковского героя. По страницам неопубликованных воспоминаний рабочего-революционера П. А. Заломова, с. 166—175). Последние три абзаца пермской главы взяты из другого источника — неопубликованной брошюры П. А. Заломова «Моему молодому другу», текст которой обнаружен в ЦГАЛИ (ф. 1580, оп. 1, д. 56, л. 7).

Иван Павлович Ладыжников...— Революционная деятельность Ладыжникова в Нижнем Новгороде была прервана его арестом в 1903 году. В 1904—1905 годах он активно работал в Петербурге, в 1905 году по поручению партии выехал за границу для руководства изданием произведений русских писателей партийными издательствами. И. П. Ладыжников был близким другом А. М. Горького, много лет помогал ему в целом ряде издательских начинаний. В последние годы жизни Алексея Максимовича заведовал его архивом, а затем работал по собиранию литературного наследия великого писателя.

Стр. 292. *Зять...*— Павел Михайлович Денисов, муж сестры Заломова — Ольги Андреевны.

Стр. 297. *Молодой токарь...*— ижевский, пермский и бакинский революционер, Е. А. Бабушкин, впоследствии видный советский дипломат.

Стр. 306. *А. В. Яровицкий.*— Алексей Васильевич принимал деятельное участие в работе Нижегородского комитета, сотрудничал в местной газете, много писал. А. М. Горький возлагал на него большие надежды. Умер в 1903 году.

А. И. Пискунов, Е. И. Пискунова, О. И. Чачина.— Супруги Александр Иванович и Екатерина Ивановна Пискуновы являлись видными деятелями нижегородского «искровского подполья» начала 1900-х годов. На формирование их взглядов, как последовательных марксистов, огромное влияние оказали две встречи с В. И. Лениным. Обе они состоялись в 1900 году: первая в Нижнем Новгороде, когда В. И. Ленин проездом останавливался на квартире у Пискуновых, а вторая — в Уфе, где в то время в ссылке жили Н. К. Крупская и ее близкий друг и товарищ по работе Ольга Ивановна Чачина, сестра Е. И. Пискуновой. Возвратясь в Нижний, Пискуновы держали постоянную связь с ленинским заграничным центром — «Искрой». Эта связь сказывалась на всей деятельности первого Нижегородского комитета; Е. И. Пискунова была его секретарем.

Д. А. Павлов.— Дмитрий Александрович был горячим пропагандистом и агитатором, превосходным организатором, человеком огромного обаяния. После ареста П. А. Заломова Павлов возглавил соромовскую партийную организацию, но вскоре был арестован и выслан. Из ссылки бежал и в ноябре 1904 года вел работу в Ярославле вместе с Я. М. Свердловым. В 1905 году снова в Нижнем, член Нижегородского комитета партии, затем в Москве. Принимает участие в работе Московского комитета партии. Во время второй русской революции Д. А. Павлов — член Петроградского бюро ЦК. Умер в 1920 году, будучи военкомом 3-й бригады 14-й стрелковой дивизии.

Стр. 332. *Лубоцкий*.— Владимир Михайлович Загорский (партийный псевдоним) вырос в крупного работника партии. По суду 1902 года он был сослан на вечное поселение в Енисейскую губернию, откуда бежал в 1904 году. После Октябрьской революции В. М. Загорский работал в советском полпредстве в Германии, затем — в Московском комитете партии. Погиб в 1919 году от взрыва бомбы, брошенной левыми эсерами в здание МК партии.

Стр. 338. *В Бутырской тюрьме*.— Эта глава и все последующие включены в воспоминания впервые; печатаются по тексту «Ленинградского альманаха» (Л., 1956, кн. 11, с. 304—314. Публикация Дм. Левоневского). Для настоящей книги текст последних глав расширен и уточнен по оригиналам этой части воспоминаний, хранящимся в семейном архиве Заломовых.

Стр. 360. *...родилась дочь Галя*.— Это произошло 20 декабря 1904 года (2 января 1905 года по новому стилю). Старшая дочь Заломовых — Галина Петровна сохранила до наших дней подлинную выписку из метрической книги, выданную приходом Городищенской Спасской церкви Енисейского уезда «о рождении

и крещении поселенческой дочери Галины Заломовой». О родителях в метрике сказано так: «Деревни Маклаковой поселенец Петр Андреевич, православного вероисповедания, и законная жена его Жозефина Эдуардовна, лютеранского исповедания». Известной становится и восприемница дочери революционера: «Тобольской губернии, Ялуторовского уезда, Омутнинской волости, деревни Старой Окуневки крестьянская дочь — девица Евфлампия Филипповна Кузьмина». Это была дочь хозяйки, где жила тогда Заломовы. Запись подтверждает сведения революционера о том, что семья эта была сослана в Восточную Сибирь из Тобольской губернии. Текст из метрик публикуется впервые.

Стр. 362. *Отсутствие мужа было обнаружено не скоро...*— В Красноярском краевом архиве сохранился жандармский документ о розыске П. А. Заломова, составленный лишь 9 апреля 1905 года. Текст документа гласит: «Сосланный за государственные преступления ссыльно-поселенец Петр Андреев Заломов, бывший на водворении в дер. Маклаковой Енисейского уезда, в минувшем марте неизвестно куда скрылся. Приметы его: 26 лет, рост 2 аршина 8 с половиной вершков, глаза карие, лицо чистое, нос обыкновенный, волосы на голове, бороде и усах темно-русые; особых примет не имеет». Сообщая об этом, начальник Енисейского губернского жандармского управления предписывал «принять меры к розыску Заломова и, в случае обнаружения, задержать и сдать местной полиции и мне донести». (Опубликовано впервые в статье: Никитин А. Г. «И снова рвется в бой душа!» — Прометей, № 13, М., 1983, с. 205.— *Прим. ред.*)

«ПРИВЕТ ВАМ, СМЕЛЫЕ СЕРДЦА!»

Речи и письма

Публикуемые письма П. А. Заломова расположены в хронологическом порядке. Печатаются частично по оригиналам и копиям, находящимся в семейном архиве Заломовых (письма к Я. С. Пятибратову, А. К. Баранову), частично по оригиналам, хранящимся в фондах Центрального Государственного архива литературы и искусства СССР в Москве (письма к В. Д. Бонч-Бруевичу, Н. К. Крупской) и другим источникам.

Использованы также публикации писем П. А. Заломова, а частично и примечания к ним, появившиеся в последние годы. Прежде всего это подборка «Из писем и воспоминаний», сделанная Н. Г. Бирюковым в «Волжском альманахе» (г. Горький, 1956, № 10, с. 178—220); заломовские письма в брошюре В. В. Чикина

«Возвращение Павла» (М., 1967, с. 13—64); в публикации А. Г. Никитина «Мой первый учитель пролетарской борьбы». Из истории переписки П. А. Заломова с Я. С. Пятибратовым». — В сборнике «Записки краеведов» (г. Горький, 1977, с. 27—35) и в других изданиях. Ряд писем публикуется впервые.

Авторская дата воспроизводится обычным шрифтом. Редакторские даты, указания места написания письма или выступления заключены в квадратные скобки. Даты дореволюционные указаны по старому стилю. В квадратные скобки взяты редакторские вставки в текст. Сокращения авторского текста отмечены многоточиями, взятыми в квадратные скобки, и многоточиями в начале или в конце абзаца.

Сведения об адресате даются в примечании к первому письму, адресованному данному лицу. Сведения об упоминаемых П. А. Заломовым лицах, событиях и т. д. также даются, как правило, при первом упоминании о них.

Заголовками служат строки П. А. Заломова из писем и речей.

№ 1. «Искра» опубликовала 1 декабря 1902 года (№ 29) речи Заломова, Быкова, Самылина и Михайлова. Затем весь этот материал был выпущен редакцией «Искры» отдельным изданием. Предисловие написал В. И. Ленин (Полн. собр. соч., т. 7, с. 63).

№ 2. Печатается по тексту газеты «Искра», № 35, 1 марта 1903 года. Текст представляет собой письмо П. А. Заломова Нижегородскому комитету РСДРП. Ранее «Искры» оно было напечатано отдельной гектографической листовкой без заголовка с подписью «Петр Заломов» и указанием: «Издание Нижегородск. Комитета Российск. Социал-Демократической Рабочей Партии. 1903 г.». Расхождения этого издания с публикацией «Искры» в подаче письма (помимо мелких разночтений, в листовке — с пропуском четырех мест) говорят о независимой друг от друга и одновременной подготовке текста к изданию.

Считалось, что письмо было отправлено П. А. Заломовым из Нижегородской тюрьмы не позднее конца ноября 1902 года. Однако дата нижегородского гектографического издания, время опубликования письма в «Искре», а главное, тон некоторых мест («Нас долго занимал...», «Я теперь...», «нас будут разделять громадные пространства...») заставляют считать более достоверным временем обстановку, непосредственно предшествующую отправке осужденных в Сибирь, то есть декабрь 1902 года, Москву, Центральную пересыльную (Бутырскую) тюрьму. Это же подтверждается прямым, хотя и поздним указанием самого П. А. Заломова относительно этого письма: «Послано оно было из Бутырской тюрьмы». (См. письмо Г. Я. Козину от 25 июня 1935 года.)

Письмо было дано в газете «Искра» под заголовком «Из-за решетки», без подписи автора. Письму «Искра» предпослала редакционное вступление, посвященное разбору взглядов автора на роль подсудимых в политическом процессе и выбор правильной тактики поведения революционеров на суде. В частности, «Искра» отмечала, что протест революционера против чиновничьего суда «не требует отказа от всякой защиты» и тем более от произнесения речей на суде, и отстаивала тот взгляд, что «участие» в судебном следствии в целях разоблачения приемов жандармского дознания и пользование правом последнего слова — для защиты своих убеждений — представляются важным орудием политической борьбы нашей партии, от употребления которого нам не приходится отказываться», что «было бы большим уроном для дела, если бы Воеводин, Заломов, Самылин и др. осужденные сошли со сцены, не сказав своих последних агитационных речей». Высказав уверенность, что «близкие друзья, без сомнения, и без подписи узнают светлую личность писавшего», редакция заключила свою заметку пожеланием широкого распространения печатаемому письму — в убеждении, что оно «не одного молодого борца заразит своим идеалистическим энтузиазмом». (См. «Волжский альманах», 1956, № 10, с. 178—184.)

Нас... занимал...— Нас — осужденных по делу о Сормовской политической демонстрации 1 Мая 1902 года.

Я был отправлен в больницу...— Лечение П. А. Заломова в тюремной больнице было следствием перенесенной им многодневной голодовки. (См. воспоминания.)

№ 3. Публикуется по «Волжскому альманаху».

В. А. Заломова.— Варвара Андреевна, впоследствии по мужу Баранова, младшая сестра П. А. Заломова.

Маклаково — место ссылки П. А. Заломова на вечное поселение по приговору суда. Село на реке Енисее в 380 километрах на север от Красноярска. Ныне — город Лесосибирск.

...жить на 8 рублей — это размер пособия, выдаваемого ссылкой из казны.

из Енисейской библиотеки... — то есть из библиотеки в Енисейске, ближайшем уездном городе — в 35 километрах от Маклакова.

...но ты не забывай, что я тебе говорил... — намёк: «ценные вещи — напрасная трата денег. Долго оставаться здесь не собираюсь».

...т. Ю. — товарищ Юзи — Жозефины Эдуардовны Гашер.

№ 4. Дата в оригинале (27 марта) П. А. Заломовым созна-

тельно указана неверно — 27 марта его в Маклакове уже не было. Открытка написана заранее и отправлена в точно назначенный наперед день. Это — одно из обдуманых звеньев маскировки побега. «Я бежал в начале марта», — пишет П. А. Заломов ученикам Большесолдатской школы. В воспоминаниях Ж. Э. Заломовой обстановка побега рисуется так: «Дом был двухэтажным, мы жили вверху... За несколько дней до побега муж совсем перестал выходить, я сказала, что он болен... Числа 20 марта он ушел ночью...» Побег в этот раз не состоялся — Заломов вернулся через час; соглашавшийся увести его крестьянин струсил, не повез. Крестьянина утром удалось уговорить, и на следующую ночь Петр Андреевич покинул Маклаково. «Отсутствие мужа было обнаружено не скоро, недели через три», — добавляет Ж. Э. Заломова.

Е. А. Гаринова. — Елизавета Андреевна, старшая сестра П. А. Заломова.

...С Галинкой на руках. — Галинка — дочь П. А. и Ж. Э. Заломовых, родившаяся в ссылке, в Маклакове.

Петру сейчас нездоровится... — Маскирующая положение дел фраза.

Юзя. — Приписка сделана Жозефиной Эдуардовной Гашер, приехавшей к П. А. Заломову в ссылку и ставшей здесь его женой.

№ 5. Письмо было передано Н. К. Крупской через З. П. Кржижановскую. П. А. Заломов находился в Москве на лечении. Публикуется полностью по черновому оригиналу. Хранится в ЦГАЛИ. Впервые опубликовано в журнале «Коммунист», 1979, № 6, с. 38—40. (Публикация А. Г. Никитина. — *Прим. ред.*.)

...с его личностью. — II съезд Советов СССР единодушно вынес решение об увековечении памяти В. И. Ленина и принял обращение к трудящемуся человечеству, подчеркнув, что лучшим памятником вождю будет широкое и массовое распространение его произведений, которое сделает идеи коммунизма достоянием всех трудящихся. Съезд поручил Институту Ленина принять самые срочные меры к выпуску для народа его произведений в миллионах экземпляров на разных языках, а также подготовить в строго научном духе полное собрание его сочинений.

...воодушевленные его идеями. — Идея навстречу пожеланиям трудящихся, II съезд Советов СССР принял решение о сохранении гроба с телом Владимира Ильича Ленина в специальном Мавзолее на Красной площади, у Кремлевской стены, среди братских могил борцов Октябрьской революции.

№ 6. Публикуется по тексту брошюры В. В. Чикина «Возвращение Павла» (М., 1967).

№ 7. Публикуется по тексту, приведенному в ст.: Никитин А. Г. «Мой первый учитель пролетарской борьбы...» Из истории переписки П. А. Заломова с Я. С. Пятибратовым.— Записки краеведов, г. Горький, 1977, с. 27—35.

№ 8. Публикуется по брошюре «Возвращение Павла».

З. П. Кржижановская.— Зинаида Павловна Невзорова — одна из сестер Невзоровых, видных участниц подпольной марксистской работы в Нижнем Новгороде 90-х годов. По характеристике П. А. Заломова именно сестры Невзоровы «после провала 1896 года и создали первоначальный, основной костяк сормовской организации». З. П. Невзорова уехала из Нижнего в апреле 1898 года к своему жениху Глебу Максимилиановичу Кржижановскому, к месту его ссылки, в Минусинский округ Енисейской губернии.

№ 9. Публикуется по тексту в «Волжском альманахе» (г. Горький, 1956, № 10, с. 178—220).

Г. Я. Козин.— Григорий Яковлевич Козин, участник подпольных марксистских кружков, друг и товарищ П. А. Заломова по нелегальной работе с 1894 года. В пору знакомства Заломова с ним — котельщик завода Курбатова (См. воспоминания П. А. Заломова). Потом перешел на работу в Сормово. В 1901—1910 годах пропагандист Нижегородского комитета РСДРП. Выполнял его поручения в Сормове, Муроме, помогал в постановке подпольной типографии в Понетаевке под Арзамасом. В начале Октябрьской революции вел активную работу в Архангельске.

...продолжаю жить интересами партии...— П. А. Заломов в это время не в партии. На объявленной по решению VIII съезда партии Всероссийской перерегистрации членов партии (апрель 1919-го) он не считал себя вправе перерегистрироваться, не заявил о себе, как о члене партии: «Считал себя недостойным, так как утратил трудоспособность и не мог уже вести той активной работы, которую вел раньше» (См. письмо Г. Я. Козину от 18 июля 1936 года). Письмо отражает как раз тот момент, когда влияние старых товарищей помогло П. А. Заломову избавиться от этой ограниченности прежнего толкования: он пришел к мысли о необходимости восстановить свою принадлежность к партии, «несмотря на потерю активности».

Когда встретился в Москве со старыми товарищами...— Имеются в виду прежде всего сестры Невзоровы и, кроме них, Александр Иванович и Екатерина Ивановна Пискуновы, видные деятели нижегородского «искровского» подполья начала века, С. А. И. Пискуновым Заломов был лично знаком, во всяком слу-

чае, с лета 1901 года — времени создания первого Нижегородского комитета РСДРП, в состав которого они входили вместе. Есть предположения, что именно Пискуновым принадлежат корреспонденции в «Искре», освещающие судебный процесс над участниками первомайской демонстрации 1902 года в Сормове. Встреча Заломова и Пискуновых в Москве, о которой говорится в письме, относится к весне 1924 года.

Я бы хотел узнать... кое-что из прошлого.— Эта часть письма отражает начало работы П. А. Заломова над воспоминаниями; упоминаемые ниже лица и события обрисовываются в них.

Александр Семенович Розанов — после высылки в 1895 году М. Г. Григорьева в Самару и до июньского провала 1896 года был основным руководителем нижегородских марксистов.

...в 1893 году.— Маевка в Слуде состоялась в 1894 году.

...к Нине Алексеевне Рукавишниковой... Марышев... Александр Африканович Кузнецов...— П. А. Заломов вспоминает руководителей тех марксистских кружков, в каких он участвовал. (См. его воспоминания.)

...у Николая Афанасьева...— Афанасьев — сосед П. А. Заломова по работе на Курбатовском заводе, рабочий-болторез. На квартире Афанасьева некоторое время собирался подпольный марксистский кружок, в который входили П. А. Заломов и другие рабочие этого завода.

...Сашу Замошникову.— Речь идет о товарище юности П. А. Заломова — тогда модельщике завода Курбатова, Александре Николаевиче Замошникове. Посланные ему стихи публикуются в этом же сборнике отдельно под заголовком «Завет старого бойца».

№ 10. Публикуется по брошюре «Возвращение Павла».

№ 11. Публикуется по брошюре «Возвращение Павла».

А. И. Цветаев — суджанский учитель, большевик. В начале 1918 года — суджанский уездный комиссар народного образования. Впоследствии жил в Саратове, преподавал.

Саша Петров — товарищ П. А. Заломова по нижегородскому подполью.

№ 12. Публикуется по брошюре «Возвращение Павла».

№ 13. Публикуется по сборнику «Записки краеведов». Оригинал в семейном архиве Заломовых.

№ 14. Публикуется по сборнику «Записки краеведов».

№ 15. Публикуется по «Волжскому альманаху».

...«Крестьянской газеты»... «Бедноты»...— «Крестьянская газета» и «Беднота» — две специально издававшиеся для деревни массовые газеты той поры.

...в своем садочке...— В Судже П. А. Заломов стал искусным садоводом,— он переписывался с И. В. Мичуриным. Как указывает В. А. Заломова в своих воспоминаниях (Журнал «Звезда», 1938, № 11), «Садоводство помогало ему существовать и вместе с тем служило ширмой для революционной работы среди крестьян».

№ 16. Публикуется по «Запискам краеведов». Написано на почтовой открытке.

№ 17. Публикуется по брошюре «Возвращение Павла».

№ 18. Публикуется по брошюре «Возвращение Павла».

№ 19. Публикуется по брошюре «Возвращение Павла».

№ 20. Публикуется по брошюре «Возвращение Павла».

М. М. Громов — товарищ П. А. Заломова по нижегородскому подполью.

№ 21. Публикуется по брошюре «Возвращение Павла».

№ 22. Публикуется по брошюре «Возвращение Павла».

№ 23. Впервые напечатано (без обращения и первого абзаца) в сборнике «М. Горький в Нижнем Новгороде» (Нижний Новгород, 1928).

Студентке М-вой — студентка второго Московского университета, которая в 1927 году готовила реферат о повести «Мать» и в связи с этим обратилась к П. А. Залому с рядом вопросов. Статья М-вой, о которой идет речь в письме, предлагалась к публикации в упомянутом сборнике, но опубликована не была. Письмо печатается по сборнику «Семья Заломовых».

№ 24. Публикуется по брошюре «Возвращение Павла».

№ 25. Публикуется по черновику незаконченного письма. Хранится в семье Заломовых.

№ 26. Печатается по брошюре «Возвращение Павла».

№ 27. Это ответ на очень характерное письмо школьников, которое наглядно отражает круг вопросов, волновавших юных адресатов П. А. Заломова. Публикуется письмо полностью:

«Мы, ученики Б.-Солдатской ШКМ 7-й группы, проработав произведение М. Горького «Мать», узнали, что героем его является Вы, а героиней — Ваша мать. В произведении Вы изображены в лице Павла Власова. Мы узнали, что в настоящее время Вы живы и живете недалеко от нас, поэтому решили написать Вам письмо, где выразить свое мнение о Вас как о политическом работнике-революционере и, кроме того, узнать дальнейшую Вашу жизнь и деятельность после ссылки в Сибирь, куда вы были сосланы за знаменитую речь на суде. Нам очень хочется знать, как и когда Вы вернулись из далекой, холодной Сибири: бежали Вы или, может быть, освободил Вас только Красный Октябрь.

Ваша мать как женщина-революционерка произвела на нас необычайно хорошее впечатление. Но и здесь автор точно не указал, что стало с женщиной, разославшей листовки, которые призывали трудящихся к борьбе и искали правду в народе.

Автор остановился на том, что ее схватили шпионы, здесь наскочила полиция и начала избивать ее, но не указывает, осталась ли она жива после этого или ее до смерти тогда же убили эти людишки, служившие царскому правительству, как цепная собака своему хозяину. Нам очень хочется знать: пришлось Вам встретиться с нею после этого, или уж больше Вы не встречали ее никогда? Все эти вопросы нас очень занимают, и хочется разрешить их с Вашей помощью.

Дорогой товарищ! Мы, молодое поколение, изучающее теперь революционное движение в России, иногда приходим в ужас от тех условий, в которых приходилось Вам жить и бороться за будущее социалистическое общество, фундамент которого у нас теперь имеется. Проследив Вашу жизнь по произведению, мы выявили, что Вы были честным, прямым, стойким и мужественным рабочим-революционером, поднявшим первым красное знамя трудового народа в черные годы реакции. Такие люди, как Вы, подготовили Красный Октябрь. Вы прошли от 1905 до 1917 года трудный период борьбы. У нас теперь борьба иная. Мы боремся... с темнотой, отсталостью и некультурностью нашей деревни, мы боремся за темпы, за качество, мы боремся за выполнение пятилетки, мы боремся за построение социализма в нашей стране.

Мы, молодежь, выносим Вам и таким людям, как Вы, благодарность за то, что Вы подготовили для нас новые условия жизни, что Вы подготовили Красный Октябрь, который приведет к победе коммунизма. Дорогой товарищ, мы Вас убедительно просим ответить на поставленные нами вопросы, если это не тяжело вспоминать». (30 подписей учащихся)

Печатается по сборнику «Семья Заломовых»..

№ 28. Печатается по брошюре «Возвращение Павла».

...со статьей Сталина.— Имеется в виду статья «Головокружение от успехов», опубликованная в «Правде» 2 марта 1930 года.

№ 29. Печатается по «Волжскому альманаху».

№ 30. Печатается по тексту в газете «Труд» за 14 мая 1967 г. (См.: Никитин А. Жизнь во имя революции. К 90-летию со дня рождения П. А. Заломова. По страницам неопубликованного письма). Оригинал хранится в семье Заломовых.

Леня и Сеня — братья Алексей и Семен Константиновичи

Барановы, *Митя* — Дмитрий Павлов. Все — товарищи по сормовскому подполью.

№ 31. Печатается по «Запискам краеведов». Оригинал в ЦГАЛИ. История письма освещена во вступительной статье к настоящему сборнику.

В. Д. Бонч-Бруевич — в то время директор Литературного музея в Москве.

...когда прочитал статью Орлова.— Статья С. Орлова «Сын», напечатанная в «Известиях» 17 октября 1934 года, содержала много неточностей и ошибок.

№ 32. Печатается по «Запискам краеведов». Оригинал в семье Заломовых.

№ 33. Печатается по «Волжскому альманаху».

Благодаря заметке Орлова...— Речь идет о посвященной П. А. Заломову корреспонденции С. Орлова «Сын». Ей предшествовала в «Известиях» 4 октября 1934 года корреспонденция того же автора «Мать», посвященная Анне Кирилловне Заломовой.

В Горьком будет напечатано...— Выпуск в июле — августе 1935 года в Горьком воспоминаний П. А. Заломова отдельной брошюрой не состоялся. Часть их (глава «Сормово») была включена в вышедший в конце 1935 года сборник «Сормово на баррикадах в 1905 году» (Горьковское областное издательство).

...в Муромском затоне...— Муромским назывался затон, расположенный напротив Нижнего Новгорода, на левом берегу Волги (теперь затон имени Карла Маркса).

...перейду к Бутырской тюрьме, ссылке и т. д.— Знакомая читателю ранее изданная часть воспоминаний П. А. Заломова оканчивалась рассказом о суде и приговоре по делу о политической демонстрации 1 Мая 1902 года в Сормове. В рукописи воспоминания продолжают несколько дальше: революционер довел свои записки до момента побега из ссылки — марта 1905 года. Эта часть воспоминаний включена в настоящий сборник.

№ 34. Печатается по «Волжскому альманаху».

...о... маевке 1894 г.— Маевка 1894 года в Слуде, в 3—4 километрах от Нижнего Новгорода вверх по Оке,— первая нижегородская рабочая маевка. (См. о ней в воспоминаниях П. А. Заломова.)

...Миша Громов., Василий Иванович Замошников... Миша Замошников...— еще по заводу Курбатова знакомые П. А. Заломова, участники подпольной социал-демократической работы. М. Замошников — старший брат упоминавшегося ранее Александра Николаевича («Саши») Замошникова, а В. И. Замошников — их двоюродный брат.

...мое письмо «Из-за решетки». — См. здесь письмо № 2.

...об инженере Круковском... — Речь идет об инженере-технологе Григории Моисеевиче Круковском, авторе популярных «Бесед», в которых излагались основы экономического учения К. Маркса. В Нижнем работал «на заводике гарного масла за Канавином» (завод Д. Высоцкого и Р. Гоца), вел нелегальный кружок сормовских рабочих. Деятельность Г. М. Круковского была прервана арестом весной 1894 года. Нижегородские жандармы проследили, что он организовал подпольную типографию... (См. комментарий к стр. 279.).

...Семена Григорьевича Дурасова — одного из работников Горьковского Истпарта.

...Казе и Тоне — жене и дочери Г. Я. Козина.

...не теряй времени... — Совет касается начатых Г. Я. Козиным воспоминаний.

№ 35. Печатается по тексту сборника «Семья Заломовых». Датируется по упоминаемым событиям.

Анна Кирилловна Заломова (1850—1938) — мать П. А. Заломова. См. о ней здесь письмо № 27 ученикам Большесолдатской школы крестьянской молодежи Курской области и другие материалы.

Варя — Варвара Андреевна Баранова, младшая сестра П. А. Заломова.

...о твоих выступлениях. — Речь идет о выступлениях Анны Кирилловны в 1935 году в Ленинграде: перед рабочими завода «Севкабель», в гильзовом цехе табачной фабрики имени Урицкого, в школе № 23 и других местах.

№ 36. Печатается по тексту сборника «Семья Заломовых».

№ 37. Печатается впервые с оригинала (ЦГАЛИ, ф. 612, оп. I, д. 1075, л. 52—52 об.).

№ 38. Печатается по «Волжскому альманаху».

№ 39. Печатается по «Волжскому альманаху».

№ 40. Из статьи П. А. Заломова в «Литературной газете», № 51, 1937, 20 авг.

№ 41. Печатается по «Волжскому альманаху».

...киножурнал «Семья Заломовых». — Документальный кинофильм, выпущенный в 1937 году Ленинградской студией кинохроники по сценарию Д. Левоневского и Г. Долинова.

№ 42. Печатается по «Волжскому альманаху».

...Михаила Николаевича Князева... — М. Н. Князев (1877—1955), сормович, рабочий-модельщик, один из ветеранов сормовской партийной организации, знакомый П. А. Заломову еще со времени его работы в Сормове.

...прислал мне свою книгу...— Речь идет о повести «Моя школа» уральского писателя А. П. Бондина, который в 1902 году жил и работал в Сормове.

№ 43. Печатается по тексту газеты «Труд» за 8 марта 1967 года (См. Никитин А. Слово о матери). Речь произнесена П. А. Заломовым на могиле матери 11 марта 1938 года в городе Горьком. Вот как комментирует эту речь старшая дочь революционера Г. П. Заломова:

«— Речь эта была набросана, по-видимому, сразу же по приезде отца в Горький. Но складывалась она еще в пути: семья наша жила тогда в городе Судже Курской области. Анна Кирилловна жила у своей старшей дочери Елизаветы Андреевны в Горьком. Так или иначе, отец знал эти строки наизусть. Он произнес их на траурном митинге. Отец говорил громко, и голос его, как никогда, дрожал от волнения. Я понимала, каких нечеловеческих усилий стоила ему эта речь. Ведь мать была для него не только самым дорогим человеком, но и близким другом. Она прожила долгую, тяжелую жизнь, воспитав семерых детей. 7 марта 1938 года, когда она умерла, ей шел 88-й год. Смелая в своих мыслях и делах, она была для нас гражданской совестью нашей, примером во всем. Мы преклонялись перед ее добрым умом и умным сердцем». («Труд», 1967, 8 марта). Черновой набросок речи на трех тетрадных страницах сохранился в семье Заломовых.

№ 44. Печатается по сборнику «Семья Заломовых».

№ 45. Печатается по сборнику «Семья Заломовых».

...дедушка Михайла...— Дед П. А. Заломова по отцу.

...мое «Детство».— Речь идет об автобиографической повести «Петька из вдовьего дома», над которой П. А. Заломов тогда работал.

...моя Галя... (и ниже) твоя племянница Галя...— старшая дочь П. А. Заломова.

Леля Заломова — вторая дочь П. А. Заломова — Елена Петровна.

№ 46. Печатается по копии справки, написанной П. А. Заломовым при установлении Е. А. Гариновой пенсии.

...Григорием Ивановичем Гариновым...— Г. И. Гаринов, муж Елизаветы Андреевны. Его распропагандировал и вовлек в подпольную работу сам П. А. Заломов. Гаринов был столяром завода Доброва и Наболец в Нижнем Новгороде (механические цехи завода находились в Почаинском овраге, у Лыковой дамбы), а затем, по решению социал-демократической организации, перешел на работу в Сормово. «Тот самый Гаринов, которого в свое

время «мобилизовала» моя мать, чтобы он отговорил меня от революционной работы. Он был на 15 лет старше меня, и все же уговорил не он меня, а я его». (См. воспоминания П. А. Заломова).

№ 47. Печатается по сборнику «Семья Заломовых».

...по орденскому билету...— В 1939 году, в связи с 90-летием Сормовского завода, Президиум Верховного Совета СССР наградил П. А. Заломова за его революционные заслуги орденом Трудового Красного Знамени.

№ 48. Это письмо П. А. Заломова удачно дополняет и раскрывает как раз та самая статья, о которой пишет адресат. (Журнал «Плодоовощное хозяйство», 1937, № 1). Автор статьи «Суджанские плодороды-опытники» В. К. Заец, работник Орловского плодово-ягодного опорного пункта. Статья рассказывает о творческом подходе к любому делу, за которое брался Заломов:

«...С некоторыми из плодородов-опытников Суджанского района Курской области мы хотим познакомить нашу общественность. Заломов Петр Андреевич (г. Суджа Курской области) — 60 лет. Старый революционер, коммунист, организатор первомайской демонстрации в Сормове в 1902 году (прототип основного героя повести «Мать» — Павла). Бежав из сибирской ссылки, Заломов несколько лет жил на нелегальном положении. С 1912 года поселился в Судже и начал заниматься плодородством. При этом Заломов поставил своей целью — испытать существующий сортимент плодовых растений, в первую очередь новые мичуринские и южные сорта яблонь и груш, чтобы отобрать из большого сортового разнообразия лучшие зимние сорта, которые могли бы произрастать и плодоносить в Куреккой области.

П. А. Заломов вел переписку с И. В. Мичуриным, получал от него новые селекционные сорта. Он размножал, испытывал и распространял среди местного населения лучшие мичуринские сорта. Выращенные саженцы мичуринских сортов Заломов бесплатно раздавал садоводам-любителям, беря с них только устное обязательство, что они будут распространять эти сорта.

Вокруг П. А. Заломова организовался кружок плодородов-любителей, среди которых он заслужил репутацию талантливого руководителя.

В своем небольшом приусадебном садике площадью в 0,3 гектара Заломов собрал богатейший сортовой и видовой состав растений со всех концов нашей страны — из Сибири, с Кавказа, Украины, Крыма и других мест. Имеются лучшие мичуринские сорта «бельфлер-китайка», особенно любимая и распространяемая тов. Заломовым, «кандиль-китайка», «шафран-китайка», «бельфлер красный» и мичуринские груши. Хорошо растут и пло-

доносят лучшие американские сорта: «принцесса Луиза», «Онтарио», «Феймьюз», «бельфлер американский», «Винтер-бапана», «Джонатан», «Вагнера призовое» и др. Благодаря хорошему уходу неплохо себя чувствуют и дают прекрасные плоды такие южные сорта груш и яблонь, как «бередиль», «бон кретьен Вильямс», «кандиль-синап», «шампанский ранет», «розмарин белый», «ранет Симиренко» и многие другие.

Кроме того, у П. А. Заломова имеются мичуринские сорта винограда, фундуки, грецкие орехи, маньчжурский орех, мичуринские и южные сорта слив и вишен. Каждый клочок земли в саду максимально использован. Собрано и испытано 116 сортов плодовых и ягодных растений. Благодаря хорошему уходу сад плодоносит ежегодно.

П. А. Заломов ведет и селекционную работу. В прошлом году начали плодоносить новые сорта, выведенные им, например, «ранет Заломова» (название дано нам предварительно). Этот сорт имеет плоды среднего размера, с приятным пряным ароматом. Дерево сильнорослое, мощное, листья круглые, интенсивно окрашенные. Начали плодоносить несколько новых форм крупноплодной «сибирки», среди которых очень ценными качествами выделяется одна форма, имеющая крупные, до 5—6 сантиметров в диаметре, плоды с очень своеобразным приятным вкусом. Опорный пункт организует изучение этих ценных новых сортов.

П. А. Заломовым ведется большая общественная работа — он воспитал целую группу энтузиастов-плодоводов: М. С. Рыбко, Н. А. Найденко, И. А. Редькин, Т. Н. Самбуров, С. Н. Самбуров, Ф. З. Мартынович. Все эти плодоводы-опытники — ученики Заломова, которым он сумел передать свои знания и любовь к плодоводству.

Но П. А. Заломов не только плодовод-опытник, он и конструктор-изобретатель, неутомимый рационализатор. Он сконструировал и сам сделал комнатную плодосушилку на 60 килограммов яблок, машинку для резки яблок, окулировочный нож, механизированный кузнечный горн и особого устройства садовую лестницу...»

Отметим одну неточность автора статьи. Приблизительно к 1912 году относится начало занятия П. А. Заломова садоводством, в связи с приобретением дома в слободе Гончарной. Поселился же Заломов в Судже еще осенью 1906 года.

№ 49. Печатается по «Волжскому альманаху».

№ 50. Печатается по сборнику «Семья Заломовых».

Беседа состоялась в одном из цехов «Красного Сормова», куда П. А. Заломов пришел по приглашению заводского комитета

комсомола. Под заголовком «Отцовский наказ молодежи» запись беседы была впервые опубликована в «Комсомольской правде» 1 ноября 1942 года.

ОГОНЬ ПРОМЕТЕЯ

Стихотворения

Основная часть стихотворений П. А. Заломова расположена в хронологическом порядке. Исключение составляют три первых, отражающих более ранний период биографии революционера. Большинство стихотворений публикуется впервые.

«Мой мозг — экран...» Оригинал (машинописный) хранится в личном архиве Г. П. и Е. П. Заломовых. Точное время и место написания стихотворения неизвестно. По мнению Галины Петровны Заломовой, оно было написано в 1903 году. Однако упоминание о первом баррикадном бое дает повод считать, что стихотворение, носящее, безусловно, автобиографический характер, могло быть написано лишь после Московского вооруженного восстания 1905 года, когда Петр Заломов с оружием в руках сражался на баррикадах Пресни.

Новичок. Публикуется впервые. В семье Заломовых хранится несколько вариантов стихотворения. На одном из них указаны место и дата написания: «Суджа, 2 марта 1923 года».

Первое Мая 1902 года в Сормове. Целиком стихотворение публикуется впервые. Четвертая строфа его приведена в очерке А. Никитина «Прототип горьковского героя». (См. сб.: «Рабочее Прикамье», выпуск I, Пермь, 1966, с. 166). На машинописном оригинале стихотворения, хранящемся в личном архиве Заломовых, незначительные исправления стилистического характера, сделанные рукою жены революционера — Ж. Э. Гашер. Стихи печатаются с учетом этих исправлений. Написаны, согласно авторской пометке на черновике, 28 марта 1923 года в Судже.

В ссылку. Публикуется впервые. Под оригиналом, хранящимся в семье Заломовых, стоит дата: «Март 1903 года». Судя по дате, это — самое раннее из всех известных нам стихотворений революционера.

Енисей. Аллегорическое стихотворение, которое приводится здесь в сокращенном виде, было послано 1 мая 1903 года вместе с письмом к младшей сестре Варваре в Нижний Новгород из села Маклаково Енисейской губернии. В письме есть строка: «Вчера начался сильнейший ледоход на Енисее...»

1917 год. Публикуется впервые. Написано 22 ноября (5 декабря) 1917 года во время поездки П. А. Заломова в Петро-

град на Всероссийский съезд крестьянских депутатов. Оригинал в семейном архиве Заломовых.

Э п и т а ф и я. Заголовок дан Жозефиной Эдуардовной и начертан ее рукой над стихотворением, ранее не имевшим названия. Публикуется впервые. Написано во время первого ареста Петра Заломова захватившими Суджу украинскими националистами (гайдамаками) в 1918 году.

Ночь перед расстрелом. Публикуется впервые. Написано в сентябре 1919 года в тюрьме у денкинцев в Судже, где Заломов сидел в ожидании приговора военно-полевого суда.

Дочери пролетария. Публикуется впервые, без сокращений. Написано в 1922 году в Судже и посвящено старшей дочери Галине, которой в то время исполнилось семнадцать лет.

«Друзья, мы в битвах поседели!» — Публикуется впервые. Написано 8 декабря 1922 года в Судже. Оригинал хранится в семейном архиве Заломовых.

Казнь матроса. Публикуется впервые. Представляет собой заключительную часть большого стихотворения, в котором рассказывается о судьбе бывшего черноморского матроса, большевика Ивана Падалкина, выступавшего в начале 1918 года на митингах в Судже. После прихода белых и немецких оккупационных войск Падалкин был заключен в тюрьму, обвинен там в попытке организации бунта и расстрелян без суда. Стихотворение написано 6 февраля 1923 года в Судже.

Гимн пролетарию. Публикуется впервые в сокращенном виде. Написано 10 февраля 1923 года в Судже. Это стихотворение, как и некоторые другие, П. А. Заломов читал на встречах со школьниками Суджи в двадцатых и тридцатых годах.

Рабочий и бог. Написано 15 февраля 1923 года в Судже. Впервые опубликовано в статье А. Г. Никитина «Бессмертные дела» («Наука и религия», 1978, № 11, с. 57).

Красным бойцам Германии. Публикуется впервые. Относится ко времени революции в Германии. Написано 6 марта 1923 года в Судже. Примерно в это же время Заломов в письме к И. П. Ладыжникову просил достать ему в Москве и выслать в Суджу издания немецких коммунистов. В стихотворении сказалось влияние поэзии В. В. Маяковского.

Мать. Публикуется впервые, в сокращенном виде. Написано 8 марта 1923 года в Судже.

Баллада о двух курганах. Публикуется впервые. С литературной правкой текста. Написано 1 декабря 1923 года в Судже.

Вождь пролетариата. Впервые опубликовано в журнале «Коммунист» (1979, № 6, с. 41. Публикация А. Г. Никитина.— *Прим. ред.*). Оригинал хранится в ЦГАЛИ (ф. 140, оп. 3, д. 12).

Парижским коммунарам. Целиком публикуется впервые. Написано в День Парижской коммуны—18 марта 1924 года в Москве, где П. А. Заломов находился тогда на лечении. В тот год делегация коммунистов Франции привезла в Москву и передала в дар советскому народу знамя парижских коммунаров, которое ныне хранится в Центральном музее В. И. Ленина.

Завет старого бойца. Стихотворение приведено в письме Петра Заломова к нижегородскому революционеру Григорию Козину, посланном из Суджи 17 сентября 1924 года. В письме говорится: «Написал эти строки (стихи.— А. Н.) специально для Саши Замошникова и послал ему». В письме речь шла о товарище юности, модельщике курбатовского завода Александре Николаевиче Замошникове. Под стихотворением стоит дата: «20 августа 1924 года». Впервые опубликовано вместе с письмом в 1956 году. (См. Волжский альманах, г. Горький, 1956, № 10, с. 187—190.)

Бессменный часовой. Публикуется впервые в сокращенном виде. Написано 21 августа 1924 года в Судже. Стихотворение посвящено известному революционеру, руководителю Нижегородского комитета РСДРП в 1902 году Александру Ивановичу Пискунову (1870—1924), который был знаком с В. И. Лениным и А. М. Горьким. В канун подготовки к первомайской демонстрации в Сормове Пискунов принял участие в обсуждении лозунгов на знамени, которое должен был нести Заломов. Поводом для написания стихотворения послужила преждевременная смерть А. И. Пискунова, жившего в то время в Москве.

* * *

Составитель выражает глубокую благодарность дочерям революционера — Галине Петровне и Елене Петровне Заломовым, оказавшим помощь в сборе материалов для настоящей книги.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>А. Г. Никитин. Жизнь и революция в литературном наследии</i> Петра Заломова	3
Петька из вдовьего дома. Автобиографическая повесть . . .	41
Моя жизнь. Воспоминания.	235
«Привет вам, смелые сердца!» Речи и письма.	373
Огонь Прометея. Стихотворения.	498
Комментарии : :	498

- Заломов П. А.**
З-24 Запрещенные люди/ Сост., вступ. ст. и ком.
А. Г. Никитина; Ил. А. К. Яцкевича.— М.:
Правда, 1985.—528 с., ил.

В книге впервые собраны вместе автобиографическая повесть, воспоминания, речи и письма, неизвестные ранее стихотворения Петра Заломова (1877—1955), прототипа героя повести А. М. Горького «Мать». Большое место отведено переписке революционера со своими товарищами по борьбе — «запрещенными людьми», говоря словами горьковской Пелагеи Ниловны. Это история роста самосознания русского рабочего, история страстных поисков цельной и осмысленной жизни.

4702010200—882
З 080(02)—85 882 — 85

84 Р 7

Петр Андреевич Заломов
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЛЮДИ

Редактор
Н. Н. Ермолаева
Оформление художника
Г. А. Раковского
Художественный редактор
Г. О. Барбашинова
Технический редактор
Л. Ф. Молотова

ИБ 882

Сдано в набор 25.10.83. Подписано к печати 10.08.84.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага газетная.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 27,72. Усл. кр.-отт. 27,72. Уч.-изд. л. 26,89.
Тираж 500 000 экз. (2-й завод: 150 000—250 000 экз.).
Заказ № 25. Цена 2 р. 56 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137,
улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Таврида». Крымская область,
333700, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44.